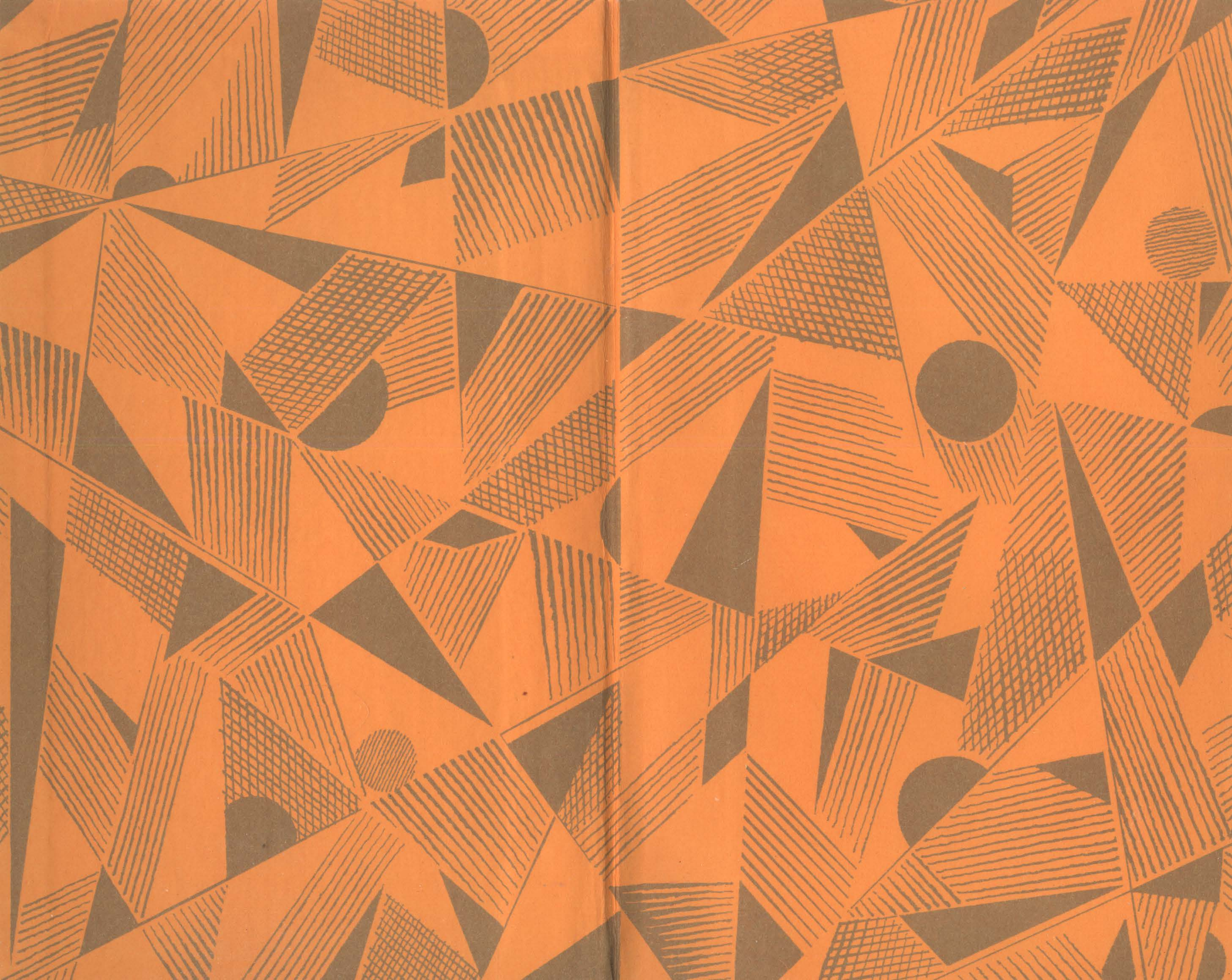


РУССКАЯ СОВЕТСКАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Алексей Толстой
Николай Никандров
Константин Федин
Илья Ильф
Евгений Петров
Михаил Булгаков
Михаил Зощенко
Андрей Платонов



РУССКАЯ СОВЕТСКАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ





Алексей Толстой

Николай Никандров

Константин Федин

Илья Ильф

Евгений Петров

Михаил Булгаков

Михаил Зощенко

Андрей Платонов



РУССКАЯ СОВЕТСКАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

20-е годы



МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1989

Р2
Р89

Составитель,
автор вступительной статьи и примечаний
С. Г. Боровиков

Художник
М. З. Шлосберг

Р $\frac{4702010201-204}{М-105(03)89}$ 100—1989 г.

ISBN 5—268—00648—7

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Этот сборник составлен давно. К сожалению, издательский «марафон» (в котором повинны не издательские работники, а издательская система) как бы ослабил остроту его. Собранные воедино сатирические произведения 20-х годов, где писатели вели речь с забытой затем на многие годы откровенностью,— выйди они тогда, в 70-е годы,— социальный резонанс их, надо полагать, был бы больше, чем сейчас.

Однако это лишь одна сторона значения сборника. Если бы смысл произведений, в него включенных, исчерпывался пафосом разоблачительства, утрата была бы куда бо́льшей. Но перед нами — большая русская проза, не сводимая, за исключением, пожалуй, лишь «Светлой личности», собственно к сатире. Все писатели, представленные в книге, суть наследники русского реализма XIX века. Именно это, при всей разности, вплоть до контрастности и даже полярности творчества и судеб,— Алексей Толстой — и Михаил Булгаков — объединяет их и делает вполне закономерным соседство под одною обложкой.

1

Появление повести А. Толстого «Похождения Невзорова или Ибикус» было встречено неодобрительно, как, впрочем, встречались в 20-е годы в критике все произведения «третьего Толстого». Но если отвлечься от несправедливых задиров времени, основной недоуменный вопрос к «Похождениям» может возникнуть и у современного читателя: над чем же так веселился писатель, описывая почти непрерывную цепь страданий,

вызванных чередой войн и революций? В комических тонах описываются даже сцены пыток в одесской белой контрразведке! А уж тяготы беженского быта — это просто незатихаемый хохот,— и поедание человекоподобной австралийской обезьяны, и великосветская очередь к дощатому нужнику, эмигрантские константинопольские будни — это комичные ужимки жалких людей, неизвестно почему попавших на чужой берег.

«Ибикус» — забавен; всего забавнее, что А. Н. Толстой думает, будто описанное им происходило не в Париже на Понсон-де-Террайля, а в России 18—19-го года. А впрочем, думал ли он что-нибудь, когда писал? «Ибикус» — не повесть, а чехарда, где герои прыгают друг через друга»[1],— писал критик 20-х годов.

— Мы привыкли к трагическому освещению исторических событий, однако об осаде Трон написана не только «Илиада», но н «Прекрасная Елена».

Вообще: что такое объективное изложение исторических событий художником н возможно ли оно? А если н возможно, то нужно ли оно? Ведь лучше обратиться к историкам. Преломление исторических событий через «здравость» позиции в «Войне н мире» или модерннзированно-скептнческая реставрация истории у Тынянова — все это имеет с объективностью мало общего, несмотря на следование художников фактам,— но тем они, художники, н интересны. Жнзнеподобное течение эпоса, вероятно, высший в освещении истории литературный уровень, но он не просто редок, а исключителен, ибо, кроме «Тихого Дона», нам по совести назвать нечего.

Повесть искусно отлита в такую прочную форму, что при чтении воспринимается как легкое, стремительно влекущее чтение, но затем оставляет впечатление крупного, многопланового, шнрокоохватного произведения. Так оно н есть — ведь в «Ибикусе» развернута панорама исторических событий, которая «к лицу», казалось бы, лишь эпопее. Февральская революция в Петрограде. Лето н осень 1917 года в Москве. Украина, занятая немцами, лето 1918 года, имение под Харьковом. Банда атамана Ангела в украинских степях осенью того же года. Зима 1919 года в Одессе. Бегство белых нз Одессы в апреле. Эвакуация на пароходе. Константинополь.

Толпа лиц окружает читателя этой сравнительно небольшой повести. Солдаты, поэты, наркоманы, контрразведчики, крестьяне, авантюристы, палачи, анархисты, бандиты, самогонщики, обыватели, генералы, спекулянты, журналисты, сыщики, политики, офицеры, дамы, проститутки. Немцы, французы, греки. Даже англичанин-антиквар. Даже лидер московских футуристов. Даже устроитель подпольных игорных притонов.

И может быть, самое удивительное, что повествование остается сугубо

---

[1] Стрелец (псевд. М. Столярова). Письма о современной литературе: Писатель н современность // Россия.—1925.— № 4.

реалистическим, жизиеподобным, что множество персонажей имеют каждый свое лицо, а не карнавальную маску, что при всей сатиричности авторского взгляда, комизме ситуаций, калейдоскопичности сюжета «Ибикус» не выходит за рамки вероятного: ни гротеском, ни фарсом его не назовешь.

В чем секрет повести?

Во многом «виноват» неожиданный выбор героя. Толстой взял на себя удивительную задачу: показать историческую эпоху глазами мелкого проходимца! Именно «угол отклонения», с которым воспринимает события Невзоров, придает повествованию особую живость и убедительность. Это интересно вдвойне — ведь читатель хорошо осведомлен о событиях в историко-политическом их измерении, а тут как бы записки обывателя, которому виделись детали, в которых — пусть искривленно, но весьма убедительно — запечатлелась эпоха. Скажем, Февральская революция начинается случайной пулей, залетевшей в окошко к Невзорову, да криками во дворе, где «какой-то бритый, плотный человек с крашеными баками кричал удушенным голосом:

— На Екатериногофском канале лавошники околотошного жарят заживо... [...] А из тумана бухало, хлопало, тактактакало». А, скажем, увидеть наступившую «свободу» в том, что «на перекрестке, где стаивал грузный, с подусниками, пристав,— болтался теперь студент в кривом пенсне, бандиты и жулики просто подходили к нему прикурить». Или таким образом воспринять футуристический «вечер-буфф»: «Вышел, руки в карманы, здоровенный человек и, широко разевая рот, начал крыть публику последними словами,— вы и мещане, вы и пузатенькие, жирненькие сволочи, хамы, букашки, таракашки... Невзоров... сказал:

— Эту словесность каждый день даром слышу».

Выбор ведущего действие персонажа определил степень авторской над ним власти. Голос рассказчика то и дело вмешивается в действие, как бы помогая Семену Ивановичу Невзорову справляться с навалившейся на него, «цыпленка пареного», суровой эпохой.

Так что комическое восприятие Алексеем Толстым бурных и драматических событий 1917—1919 гг в бывшей Российской империи, а также продолжение этих событий для бывших граждан бывшей империи за пределами оной — вполне закономерно.

Писатель прежде всего заинтересованный летописец, не желающий вмешиваться в действительность, лезть с оценками. Его, словно ребенка, веселит само течение жизни, и это с редчайшей непосредственностью отражается на страницах повести.

Но в «Ибикусе» есть и другое.

Если оставить в стороне массу живописных подробностей и посмотреть отстраненно на содержание повести А. Толстого, мы оценим очень не стандартно увиденную и поданную фигуру главного героя — бессмертного обывателя Семена Невзорова, которому война не война, и революция не революция, и смерть не смерть. Его текучее сознание работает еще быст-

рее обстоятельств. Он начал ненавидеть Отчизну, еще не успев отправиться к дальним берегам. Обладая бесовским даром перевоплощения, он пародийно воспроизводит квинтэссенцию эмигрантских идей среди пьяных офицеров, он, наконец, становится европейским буржуа. Невзоров — значительнее ситуаций, в которых поставлен. Толстому удалось дать черты типа поистине бессмертного, оказавшегося в небывалых исторических условиях, которые ему, как и все на свете, нипочем.

Вот эти две стороны: живописно-комическая летопись, если угодно — комическая энциклопедия, и фигура Невзорова — и позволили «Ибикусу» стать весьма примечательной страницей русской прозы.

2

От других авторов данного сборника Никандров отличается куда меньшей известностью.

Странное все-таки дело слава, в том числе и писательская. Николай Николаевич Шевцов (настоящая фамилия Никандрова) прожил восемьдесят пять лет, печатался с 1905 года, написал много, издавался тоже немало. Талант его несомненен и незауряден. Его произведения заслуживали отзывы вроде горьковского: «Никандров,— это — да! Талант». Он встречался с Львом Толстым, принимал очень деятельное участие в революционном движении от агитации до террористических актов, был в ссылке, в эмиграции, работал учителем, ходил в народ, плавал с рыбаками. Его творчество было ценимо Буниным, Куприным, Андреевым. Нередко, скажем, в 20-е годы, он попадал в струю моды, даже скандального успеха, как было с публикацией произведений, вписавшихся в контекст бурного обсуждения тогдашней прессой вопросов новой морали, пола, семьи и брака.

Некий писатель каждому известен. То есть: спроси так называемого среднего читателя: да, знает. Что именно читал, скорее всего затруднится ответить, может быть, что-то и читал, да как-то смутно помнит, но вот имя известно точно. Но вот загадка: человек долгие годы работал в литературе, создал немало просто первоклассных вещей, однотомник его рассказов, пусть и довольно скудно представляющий его творчество, не раз переиздавался, а имя кануло в Лету.

Повесть «Диктатор Петр», подобно «Похождениям Невзорова», рассказывает о судьбе тех, кого в послереволюционной России называли «бывшими». Но если у Толстого калейдоскопическая смена мест действия, лиц, событий, то в повести Никандрова время как бы остановилось. Место действия — квартира. Событие одно — приезд в Крым столичных родственников, которые привезли продукты. Вокруг них, продуктов питания, вертится, по существу, все: мысли и поступки, радости и горести, заботы взрослых и фантазии детей. С крика несчастного хозяина дома: «Опять проворонили!» — начинается это трагикомическое повествование об исчезновении, истаивании личности.

Но не о голоде. Да, бывший литератор стеснен, неимущ, не может

питаться, как привык. За его плечами, судя по всему, голод, холод, унижения выселений, эвакуаций — все те события, которые привели его сюда, в Крым, чтобы закончить дни свои безумным криком: «Дом в опасности! Война семьи со смертью продолжается!» Петра должно быть жалко, но большей частью он противен. В чем же дело?

Насмешка писателя над несчастным Петром вызвана несоответствием положения Петра тому, как он это положение осознает. Положение — неудобства, лишения, пусть драмы — для него превращается в положение трагическое, и это вызывает протест мужественно настроенного автора. Да, Петру несладко, но юродствовать, уродуя детей, доводя до исступления близких женщин... Ничего, кроме презрения, поведение домашнего диктатора Петра вызвать не может. И это как бы заслоняет действительный драматизм его положения.

Можно прочитать повесть и так: вот до чего довели человека. Был литератор, жил, работал, а превратился в кухонного тирана. Основания и для такого толкования, притом объективные, имеются. И все-таки Николай Никандров не столько жалел, сколько осуждал своего героя, и потому о былой его значимости думаешь самгинской фразой: а был ли мальчик?

Была ли личность, если так без остатка размазалась по собственным страданиям? Да и страдания ли это? Ведь подобное сравнивают с подобным. Кто из честных людей в ту эпоху веселился, благодушествовал, был вполне сыт?

«Высмеять профессиональных страдальцев — вот хорошее дело, дорогой Михаил Михайлович,— писал М. Горький М. Зощенко,— высмеять человека, который, обнимая любимую женщину и уколов палец булавкой, уничтожает болью укола любовь свою, человека, который восхищался могучей красотой Кавказа до поры, пока не ушиб о камень на дороге большой палец на ноге — и проклял «уродливое нагромождение чудовищных камней»,— высмеять всех, кого идиотские мелочи и неудобства личной жизни настраивают враждебно к миру».

Нельзя не обратить внимания на редкое чувство смешного у этого писателя. Об этом писал еще А. И. Куприн: «У него кроме всех достоинств еще одно большое: есть юмор — хороший здоровый юмор, а сейчас это очень большая редкость». Мастерски он использует какую-нибудь пустячную, не таящую в себе, казалось бы, никаких возможностей, ситуацию и достигает поразительного эффекта.

Думается, открытие Николая Никандрова для широкого читателя еще впереди.

3

После повестей «Наровчатская хроника» и «Трансвааль», написанных в одном, 1925 году, Константин Федин никогда уж не обращался к сатире.

Были тому причины и объективные. Федин, подобно другим писателям, начинавшим в 20-е годы, был поначалу внутренне раскрепощен, и естественно, что гражданское чувство приводило его к сатирическому пафосу отрицания, а художественные поиски — к попыткам освоения различных жанров. Последующие десятилетия смеяться отучали. Забегая вперед, скажем, что и Платонов уже не писал в жанре сатиры. Ильф и Петров до смерти Ильфа после двух блестящих сатирических книг успели написать книгу об Америке, и даже Зощенко стал искать себя совсем в иной области, что, впрочем, не уберегло его от верховного гнева.

«Наровчатская хроника» воспринималась при появлении в естественном ряду других произведений. Российский быт, российская глухомань — и революция, столкновение этих двух сил вызвало к жизни многие страницы творчества Л Леонова, Б. Пильняка, В. Шишкова, В. Иванова.

Стилизованная форма записок персонажа также характерна для молодых писателей тех лет, настойчиво искавших стиля на различных лексических и интонационных путях. Так называемая орнаментальная проза вела родословную от Лескова, подправленного, увы, не лучшим образом, Замятиным и Ремизовым.

Читая «Наровчатскую хронику», нельзя не задуматься, насколько близко к достижениям русского реализма зачиналась послереволюционная литература, как много она обещала. Ведь начинающие, в сущности, писатели легко, а то и победно выдерживают сравнение с маститыми собратьями. Разве скажешь, что мастерство Леонова, Федина, Зощенко уступает мастерству Алексея Толстого, Замятина, Пришвина, других известных еще до революции писателей?

Что же касается жизненных реалий, затронутых в повести, то и здесь писатель на высоте. Изящно проведет он читателя по анекдотическим ситуациям, вроде поглощения странного «молока», оказавшегося разбавленным одеколоном, или же расшития монашками красного знамени надписью: «Мы свой, мы новый мир построим!»

4

Зощенко.

Редкий писатель приобретал такую популярность. Легендарный успех 20—30-х годов. Зловещие последствия ждановской критики. Дальнейшее сумрачное забвение. И — новое открытие писателя, к которому мы, пожалуй, лишь подошли.

Стала общим местом мысль о том, что Зощенко не понимали, видели в нем развлекателя, отождествляли с его косноязычными персонажами, тогда как он был художником высоких нравственных задач.

Это, конечно, так. Но подобные оценки писателя ни в коей мере не могут объяснить его успеха у самых разных слоев читателей.

Сколько недоумевали: почему невинные «Похождения обезьяны» навлекли на себя столь грозный гнев? Меж тем А. А. Жданову не откажешь в своеобразном политическом «чутье». И время выбрано неслучайное. После войны, может быть, именно Зощенко суждено было вновь стать самым популярным советским прозаиком. Если не ему, то кому?

Так что совсем не случайно первый послевоенный год стал годом разгрома культуры и началом потока романов, который даже в те годы, и даже Фадееву, представился бедствием.

Потенциальное значение, а стало быть, и опасность М. М. Зощенко были угаданы А. А. Ждановым безукоризненно. Ведь ни самому писателю, никому другому, думаю, не могло показаться возможным создание в то время произведений, напрямую противостоящих тому, что творилось. Стало быть, реальная опасность содержалась в том, что не прямо, а в тонком настрое чувства, в грустной усмешке воспитывает человека в неугодном культу духе — вот отсюда удар именно по Ахматовой и именно по Зощенко.

В четырех (!) предисловиях к изданиям «Сентиментальных повестей» автор то ли защищался, то ли нападал, во всяком случае сражался с заведомым непониманием и извращением его творчества: «На общем фоне громадных масштабов и идей эти повести о мелких, слабых людях и обывателях, эта книга о жалкой уходящей жизни действительно, надо полагать, зазвучит для некоторых критиков какой-то визгливой флейтой, какой-то сентиментальной оскорбительной требухой.

Однако ничего не поделаешь. Придется записать так, как с этим обстояло в первые годы революции. Тем более мы смеем думать, что эти люди, эта вышеуказанная прослойка пока что весьма сильно распространена на свете. В силу чего мы и предлагаем вашему высокому вниманию подобную малогероическую книгу».

Из восьми «Сентиментальных повестей» нами выбрана одна: «О чем пел соловей». Повести образуют цикл, потому выбор был достаточно затруднительным, его определило то, что «О чем пел соловей», пожалуй, наименее сентиментальная из сентиментальных повестей. В том, уже цитировавшемся предисловии к первому изданию есть строки, как бы прямо относящиеся к этой повести: «А что в этом сочинении бодрости, может быть, кому-нибудь покажется маловато, то это неверно. Бодрость тут есть. Не через край, конечно, но есть».

Ибо начинается повесть словами: «А ведь посмеются над нами лет через триста! Странно, скажут, людишки жили. Какие-то, скажут, у них были деньги, паспорта. Какие-то акты гражданского состояния и квадратные метры жилой площади»...

Зощенко — писатель, буквально одержимый нравственными идеалами. Мечты о будущей светлой жизни, подозрения, что будет она вовсе не так прекрасна, сумрачные опасения невозможности переделать заскорузлость человеческих отношений — редкий писатель наш был «нравственнее»

Зощенки. Посмотрим, как тему человека проводит он в этой маленькой повести об «истинной любви и подлинном трепете чувств», о «совершенно необыкновенной любви».

Поразмыслив в начале о «будущей прекрасной жизни», автор все-таки задается вопросом: «Да будет ли она прекрасна?» Расхожий вариант светлого будущего он тут же рисует: «Может быть: все будет бесплатно, даром. Скажем, даром будут навязывать какие-нибудь шубы или кашне в Гостином дворе». И приступает к человеку.

Непосредственно, прямо, пародийно наигравшись в громкие слова, которыми пестрили газеты, обговорив собственную несозвучность эпохе и т. д., русский писатель, исполняя старый завет, приступает к человеку. Недалекому, вроде бы невидимому за частоколом служебных функций и чужих слов. Рядовой из рядовых Василий Былинкин.

Автор вовсе не так потешается над его чувством, как может показаться. Нет-нет, писатель серьезен, когда утверждает, что Былинкин страстно влюбился в Лизу Рундукову. И нарастание гадостей в их отношениях, которое кончается разрывом из-за недоданного невестиной мамашей комода (здесь, конечно, можно припомнить и героя чеховского рассказа «Брак по расчету»), это отвратительно-смешное действо для его участников — серьезная драма.

Где та точка отсчета, по одну сторону которой комедия, по другую — драма? Не подменяем ли мы качество количеством? Мы упиваемся драмой у Достоевского, видя, как горят деньги, и смеемся над комодом, вставшим на пути чувства.

Я намеренно развел примеры подальше — для наглядности.

Нет, отношение Зощенко к персонажам, к тем чувствам, которые их посещают, совсем не так просто. Он знает, сколько всякого стоит на пути человека к истинной, предназначенной человечности, как труден путь к ней, и не хочет обольщаться и обольщать читателя радостными посулами. Он знает, что пока Вася Былинкин на вопрос: «О чем поет этот соловей?» — отвечает сдержанно: «Жрать хочет, оттого и поет»,— пока эта правда жизни управляет людьми, далеко еще до тех райских картин, которые в изобилии обещали и теоретики и художники. Не надо даже предельного внимания, чтобы увидеть: скептицизм Зощенко отнюдь не «право́го», реакционного свойства — нет для него идеала в прошлом (достаточно перечесть «Голубую книгу»), просто он знает, сколько тяжких веков за плечами человечества, и понимает, что надеяться враз очистить от худшего и привести человека за ручку к лучшему — вредная утопия.

5

Не так давно о судьбе Андрея Платонова было сказано: «Читатель разминулся с А. Платоновым при его жизни, чтоб познакомиться с ним в 60-е годы и открыть его заново уже в наше время» (В. Васильев). По-моему, лучше не скажешь.

Появление «Ювенильного моря», «Котлована», «Чевенгура», пьес расширило наши представления о Платонове. Но эти, в основном посвященные «великому перелому», произведения в чем-то временно и сузили восприятие писателя, повышенное к ним внимание как бы отодвинуло ранее изданные произведения. И среди них — сатирическую повесть «Город Градов».

Что же такое этот Градов — наследник ли щедриинского Глупова, порождение ли извращений советской власти или просто плод воображения сатирика?

Разумеется, и то, и другое, и третье, вернее, Градов — это платоновская фантазия на материале трудного рождения нового общества.

Общность Градова с прошлым двоякого происхождения — общность реальной действительности, сохранившей вековечные черты российского захолустья и восстановившей в новой бюрократии множество черт бюрократии царской, да еще и подразвившей их удивительно быстро. Второе — из авторской связи с русской классикой. То есть тут и жизнь, и писатель — наследники, взявшие каждый свое: действительность — старые нравы, писатель — традиционную гражданскую злость писателя на засилье бюрократии, на утверждение ею в жизни бумажного абсурда.

А. Платонов в повести выступает как наследник весьма творческий. Перед нами несомненно Платонов, ни на кого не похожий Платонов, и вместе с тем мы видим связь градовской хроники с теми листами русской прозы, на которых воспитывались поколения русских демократов.

Случайно ли, что в 30-е годы Андрей Платонов уже не обращался к сатире и даже каялся в сатирических грехах? То был не акт показной или во спасение, Платонов поверил, что его пути — другие.

Меж тем «Город Градов» говорит о блистательных его возможностях сатирика. Достаточно небольшую его повесть сравнить с другими вошедшими в нашу книгу, чтобы увидеть, что Платонов несомненно социальнее, ядовитее, глобальнее, беспощаднее остальных. Не сведешь повесть к «теме», даже и столь огромной, как власть бюрократии. А ведь последняя раскрыта прямо-таки в эпических масштабах, от кропотливых методов ежедневной работы до духовных идеалов ее «лучших представителей»: «И как идеал зиждется перед моим истомленным взором то общество, где деловая официальная бумага проела и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными». Идеал, как мы знаем, был осуществлен на практике Сталиным, думается, вовсе не случайно враждебно внимательно относившимся к А. Платонову.

От какого же идеала шел сам писатель, когда обличал пороки действительности? (Насколько проще звучит этот вопрос по отношению к М. Булгакову!)

М. Горький по поводу романа «Чевенгур» писал Платонову: «...при

неоспоримых достоинствах работы Вашей, я не думаю, что ее напечатают, издадут. Этому помешает анархическое Ваше умонастроение, видимо свойственное природе Вашего «духа».

Анархический? Не случайно ли легло на бумагу это слово у Горького? Если рассуждать от противного, то не случайность, а обдуманность горьковского определения станет очевидной.

Вскоре, уже в другом письме, Горький напишет: «В психике Вашей,— как я воспринимаю ее,— есть сродство с Гоголем. Поэтому попробуйте себя на комедии, а не на драме. Драму оставьте для личного удовольствия.

Не сердитесь. Не горюйте... «Все — минется, одна правда останется».

«Пока солнце взойдет — роса очи выест?»

Не выест.

А. П.»

Знал ли М. Горький «Город Градов», предлагая Платонову комедию? Во всяком случае, всегдашняя его чуткость к творческой индивидуальности художника и здесь была направлена на пользу писателю, и можно лишь жалеть о том, что с годами Платонов не развил, а затомил в себе великолепный сатирический дар, проявившийся не только в «Городе Градове», но и в рассказе «Усомнившийся Макар», пьесе «14 красных избушек», романе «Чевенгур».

Герой повести «Город Градов» — и поэт канцелярского дела, из наслаждения переписывающий бумаги. Башмачкина мы жалеем вместе с Гоголем. А Шмакова?

Понять Шмакова, отношение к нему автора можно во всей раме градовского действия, в хороводе шмаковских собратьев, увлеченных бюрократическим переустройством действительности. Эти лица слиты воедино и, словно сказочное чудище, обладают тремя вполне автономными головами и лицами. Одно — для начальства и народа — лицо социально-озабоченное, имеющее в глазах непреходящую веру в социализм и неустанную заботу о трудящихся, второе лицо — друг для друга: феноменально-бюрократическое, осознающее себя как важнейшую, даже ведущую силу любого общества, меж которыми для них нет принципиального различия — им по плечу любое; и наконец, лицо просто человеческое, бытовое, с разными мелкими симпатичными и несимпатичными черточками, привычками и слабостями.

«Канцелярия стала их милым ландшафтом. Серый покой тихой комнаты, наполненной умственными тружениками, был для них уютней девственной натуры. За огорожами стен они чувствовали себя в безопасности от диких стихий неупорядоченного мира и, множа писчие документы, сознавали, что множат порядок и гармонию в нелепом, неудостоверенном мире».

Все они — идеологи. И почти патологически чуждый нормальной жизни Шмаков, сочиняющий «Записки государственного человека», и бойкий Бормотов, высказывающийся на вечеринке перед сослужив-

цами. Они отлично понимают и друг друга и роль свою, ибо «не было бы в Градове учреждений и канцелярий, не уцелела бы советская власть и не сохранилось бы деловой родственности от старого времени, без чего нельзя нам жить». Сцена «в условном доме вдовы Жмаковой» исполнена зловещей энергии, которую сообщает ей впечатление неостановимой силы бюрократического бумажного племени. Они и сами свою силу осознают: «История текла над их головами, а они сидели в родном городе, прижукнувшись, и наблюдали, усмехаясь, за тем, что течет. Усмехались они потому, что были уверены, что то, что течет, потечет-потечет и — остановится».

Разумеется, увиденное художником абсурдное для здравого человеческого смысла их бытие содержит тьму смешного. Андрей Платонов вводит это смешное как бы равнодушно, без малейшего нажима, и оттого оно лишь убедительней, при всей абсурдности:

«Бормотов собрал на своей квартире старожилов и хотел объявить в Градовской губернии автономную национальную республику, потому что в губернии жили пятьсот татар и штук сто евреев».

Коммуна под названием «Импорт» строит железную дорогу к другой коммуне, но «железная дорога осталась недостроенной: коммуна «Вера, Надежда, Любовь» была ликвидирована губернией за свое название, а член правления «Импорта», посланный в Москву купить за двести рублей паровоз, почему-то не вернулся».

Впрочем, так ли нереальны все эти дикие «новшества»?

Смешно, конечно, что, вычитав из газеты «Градовские известия» заметку о «пролетарском Илье Пророке», профессоре — изобретателе аэропланов для орошения, жители хутора Девьи Дубравы требуют прислать им волшебную машину. Только разве не похожи на хуторян те многочисленные руководители, что с готовностью кидались на любую затею, обещавшую при помощи сказочных превращений мгновенно справиться с любыми задачами: оросить, соединить, накормить,— словом, то, что в реальности требовало ежедневных усилий, работы и терпенья? Разве не пришли мы в конце XX века к необходимости расчистки навороченных этими «сказочниками» завалов?

Разве так уж фантастичны нелепые претензии градовской комиссии к набору техников: «...чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего Карла Маркса»? Кто посчитает, сколько драгоценного времени убито было на то, чтобы вбить в голову домохозяек политграмоту, чтобы заставить верующего человека притворяться марксистом; сколько миллионов трудовых часов было потрачено на заполнение всяческих анкет, удостоверяющих то же «знание всего Карла Маркса» — то есть внешнюю политическую благонадежность.

Манифестом этого абсурдного, но очень стойкого на практике бытия выступают в повести отмеченные в отрывном календаре «беспрерывные обязанности», венцом которых является знаменитое: «Не забыть составить 25-летний перспективный план народного хозяйства — осталось 2 дня».

Смеяться ли нам, разглядевшим в деталях светлое общество благоденствия каких-то 25 лет назад, нам, привыкшим все и вся сдавать непременно к дате, будь то новый год или пионерский праздник,— нам ли смеяться безмятежно над глупыми градовцами?

Придя к нам заново, во всем величии своего таланта, Андрей Платонович Платонов выступил хранителем здравого смысла русского народа.

6

У Платонова — Градов, у Ильфа и Петрова — Пищеслав.

Авторы книг часто пересекаются, как пересекались те жизненные явления, которые вызывали их гнев или усмешку. Так, Бормотов, с его бурной деятельностью по поводу превращения Градова в губернский центр, живо напоминает руководителя «Геркулеса» Полыхаева из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок».

Черты будущих романов проявляются в повести «Светлая личность» и в иронически-лирических отступлениях, например, о судьбах носителей счастливых и несчастливых фамилий, и в некоторых образах: Ивановпольский — Остап Бендер, изобретатель Бабский — изобретатель Полесов. Но будь «Светлая личность» лишь школой подготовительных эскизов к знаменитой дилогии про Остапа Бендера, не стоило бы ее помещать среди таких значительных повестей, как «Город Градов» и «Собачье сердце».

Ну, прежде всего сатирическое насыщение повести довольно значительно, хотя и носит несколько фельетонный характер. Жизненные явления, которые стоят за повестью,— общие для сатириков тех лет.

Бюрократическое учреждение — отдел благоустройства Пищ-Ка-Ха, во главе с матерым Каином Александровичем — идеал канцелярской нравственности, тайной семейственности, имитации работы, показухи и безделья.

Зуд борьбы с прошлым от сноса единственного в городе исторического памятника до переименования самого города из Кукуева в Пищеслав.

Фантастические планы по процветанию города (вспомним опять-таки градовские затеи — и мечты нью-васюковских шахматистов): возведение центрального клуба, где неизмеримую площадь занимали коллонады, но отсутствовала уборная. Или завод по производству труб и барабанов.

Памятниковая лихорадка. Борьба литературных групп «Чересседельник» и ПАКС, плодом которой были не книги, а многочисленные полемические письма.

Нэпманские предприятия, вроде «Тригер и Брак», а также «приятнейший» дом Браков — карикатура иа тягу тогдашних нуворишей к европейской жизни, для описания которой писатели находят выразительную деталь: вожделенные бананы вырваны из пасти заезжей гориллы.

Найдя остроумный сюжетный ход — появление в городе невидимого человека, писатели тем самым приобретают возможность высветить бесцельное, бессмысленное, оскорбительное для человека существование обитателей Пищеслава.

К достоинствам «Светлой личности» следует отнести и тот легкий, иронический стиль, который будет развит ими в романах.

И все же повесть молодых в ту пору писателей явно и бесспорно уступает большой сатире. Легкость подчас переходит в легковесность, поверхность, зачастую они явно забавляются, не утруждая себя ни глубоким размышлением, ни гневом, ни тем более сочувствием.

7

Ни одна из повестей этого сборника не получила столь громкой мгновенной славы, как «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Причиною тому, конечно же, и ее блистательные литературные достоинства, но и уникальность ее появления в печати — через 62 года после создания.

Судьба Булгакова «ввела», собственно, в нашу литературу, наше сознание невозможные, казалось, сроки выхода к читателю произведений: роман «Мастер и Маргарита» ждал своего часа четверть века, «Театральный роман» — 30 лет. Это относится ко всем почти прозаическим произведениям писателя. 1986-й и последующие годы быстро приучили нас к едва ли не массовому появлению давно написанных и не опубликованных доселе произведений советской литературы, но Булгаков, повторимся, был первым: ведь с «Мастера и Маргариты» в 1965—1966 годах началась эра републикаций.

Конечно, повесть знали, так же как и «Котлован», «Чевенгур» А. Платонова, как знали многие другие запретные произведения литературы. И все-таки нелегальное существование книги — и пример с «Собачьим сердцем» это доказывает — не может быть и вполовину полноценным. Лишь получив права гражданства, отделившись от хранимого в архиве оригинала, ксерокопии или списка, став в полном смысле слова Книгой, пустившись в независимое плавание по времени и читателям, произведение может быть раскрыто так, как оно того заслуживает.

Какое же принципиальное отличие повести М. Булгакова от остальных, опубликованных «вовремя», остановило тогда ее публикацию, испугало в общем-то еще раскрепощенных издателей середины 20-х годов? Или на ее пути встала лишь одиозная слава «политически вредного» автора?

Если судить по издательским мытарствам рукописи (см. послесловие М. Чудаковой к публикации «Собачьего сердца» в журнале «Знамя», 1987, № 6), да и по судьбе практически всех произведений писателя, за-

прещаемых, как правило, «на корню»,— то это, вероятно, сыграло решающую роль.

Но были и в содержании ее моменты, объясняющие (но не оправдывающие!) эти запреты.

Читатель не мог не почувствовать авторской солидарности с крамольными, или, как говорит доктор Борменталь, «контрреволюционными» рассуждениями профессора Преображенского, скажем, о разрухе: «Это мираж, дым, фикция. [...] Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? [...] Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах». Яростно-ядовитые тирады профессора Преображенского, не скрывающего своей неприязни к новой действительности,— это первый, наиболее явный слой сатиры Булгакова.

Второй, более серьезный и казавшийся более опасным,— фигуры активных представителей новой действительности в лице домового комитета, и прежде всего председателя его Швондера, а также легко и естественно вставшего в их ряд собако-человека Шарикова.

Писатель вслед за Преображенским оспаривает присвоение Швондером со товарищи право распоряжаться людьми, нх мыслями и образом жизни.

Швондер и Шариков вырастают в зловеще-типические явления. Почему-то М. Чудакова в послесловии к первой публикации, тонко и точно охарактеризовав Шарикова как «существа социально опасного, но при этом социально привилегированного», и В. Лакшин в предисловии обошли молчанием Швондера. Только ведь Шариков без Швондера невозможен. Это Швондер вдолбил в его тупую башку мысль о его якобы классовом превосходстве, о праве первенствовать. Шариков невозможен без Швондера, но и Швондеру без него не на кого опереться, ему нужен «народ». Эти зловещие плюс и минус заряжают поле насилия и безнравственности под прикрытием классовых интересов,— то поле, торжество которого принесло столько бед...

Однако нельзя не видеть и достаточно критического отношения автора к профессору Преображенскому, во всяком случае о тождестве их мнровоззрений не может быть и речи. Писатель сходится со своим героем в неприятии организованной разрухи, хамства швондеров и шариковых. Он предлагает читателю разделить восхищение выдающейся одаренностью и трудоспособностью профессора. Но давайте посмотрим, кто же использует его блестящие достижения, кого, так сказать, обслуживает его талант, его руки?

Чередою проходят через кабинет Преображенского клиенты. Это некий

фрукт, с совершенно засаленными волосами, омоложенный доктором: «Пароль д'оннер — 25 лет ничего подобного,— субъект взялся за пуговицу брюк,— верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы — кудесник».

«Шуршащая дама» со страшными черными мешками под глазами, желающая омолодиться ради молодого негодяя, карточного шулера.

Некто лысый, умоляющий помочь неприятному финалу его увлечения четырнадцатилетней девочкой... Вот от кого принимает профессор толстенькие пачки денег, обеспечивая себе и квартиру, и оперу, и тот роскошный стол, лукулловским описанием которого так тешит читателя автор.

Но и главный научный подвиг героя, который привел к столь чудовищным результатам,— не рожден ли и он брезгливым презрением к нравственности, уверенностью в превосходстве научной мысли над всем? И думается, не совсем прав В. Лакшин, видя в происшедшем лишь «близорукость взгляда академического ученого» и непредсказуемость результатов опыта, говоря далее о страшном прогрессе опасных опытов, вышедших из-под контроля человеческой нравственности. Но ведь и Преображенский отлично сознает, что творит, обладая большим запасом равнодушия к материалу научных опытов, в том числе и человеческому. Случайно ли одиночество ученого, в котором окружающие могут играть лишь функциональную роль,— помощник в работе Борменталь, горничная Зина, кухарка Дарья Петровна. Для души — лишь опера, вино, обед.

История появления и исчезновения странного и страшного существа — гибрида собаки и балалаечника-алкоголика, блистательно разыгранная персонажами Михаила Булгакова, это в конечном счете история столкновения старых и понятных человеческих ценностей с агрессивным нашествием разрушительной новизны. На наш взгляд, видеть ее надо не только в Шарикове и Швондере, но и в опытах профессора Преображенского.

* * *

«Смех не может быть нейтральным. Любой смех показывает на отношение к тому, что смешно. И уж это одно исключает равнодушие. Любая улыбка, даже, казалось бы, самая безразличная,— это уже оценка, это уже критика, уже вмешательство. [...] Сатирическое изображение отрицательного мира есть всего лишь умение изобразить этот отрицательный мир. Это умение не означает, что отсутствует иной, положительный мир и что художник не видит и не признает его. Другое дело, что художник, быть может, не в состоянии его изобразить в силу недостаточно развитых художественных способностей или в силу физических и психических свойств. Но было бы нелепо в сатирическом писателе увидеть человека, который ставит знак равенства между своим сатирическим произведением и всей окружающей жизнью».

Какому критику принадлежат эти слова?

Их написал Михаил Михайлович Зощенко, размышляя над произве-

дениями Чехова и отношением к нему критики. В чеховские времена критика еще не несла в себе директивных функций, самому же Зощенко довелось в полной мере отведать обвинений в том, что он ставит знак равенства между сатирой и жизнью.

Долгий путь понадобилось проделать нам, чтобы литература высокой нравственности — сатира приобрела права гражданства. Она и сейчас продолжает оставаться бельмом на глазу некоторой части нашего общества, для которой нормальная жизнь — это застой. Сопротивление большой литературе, и прежде всего литературе сатирического обличения, не стихает. Врагов у сатиры всегда много.

Так и должно быть. Зло не уходит без боя.



ПОХОЖДЕНИЯ НЕВЗОРОВА, ИЛИ ИБИКУС



КНИГА ПЕРВАЯ

Давным-давно, еще накануне Великой войны, Семен Иванович Невзоров, сидя как-то с приятелем в трактире «Северный полюс», рассказал историю: — Шел я к тетеньке на Петровский остров в совершенно трезвом виде, заметьте. Не доходя до моста, слышу — стучат кузнецы. Гляжу — табор. Сидят цыгане, бородатые, страшные, куют котлы. Цыганята бегают, грязные — смотреть страшно. Взять такого цыганенка, помыть его мылом, и он тут же помирает, не может вытерпеть чистоты.

Подходит ко мне старая, жирная цыганка: «Дай, погадаю, богатый будешь,— и — хвать за руку: — Положи золото на ладонь».

В совершенно трезвом виде вынимаю из кошелечка пятирублевый золотой, кладу себе на ладонь, и он тут же пропал, как его и не было. Я — цыганке: «Сейчас позову городового, отдай деньги». Она, проклятая, тащит меня за шатер, и я иду в гипнотизме, воли моей нет, хотя и в трезвом виде. «Баринок, баринок,— она говорит,— не серчай, а то вот что тебе станет,— и указательными пальцами показывает мне отвратительные крючки.— А добрый будешь, золотой будешь — всегда будет так»,— задирает юбку и моей рукой гладит себя по паскудной ляжке, вытаскивает груди, скрипит клыками.

Я заробел,— и денег жалко, и крючков ее боюсь, не

ухожу. И цыганка мне нагадала, что ждет меня судьба, полная разнообразных приключений, буду знаменит и богат. Этому предсказанию верю,— время мое придет, не смейтесь.

Приятели Семена Ивановича ржали, крутили головами. Действительно: кого, кого — только не Семена Ивановича ждет слава и богатство. «Хох-хо! Разнообразные приключения! Выпьем. Человек, еще графинчик и полпорции шнельклопса, да побольше хрену».

Семен Иванович,— нужно предварить читателя,— служил в транспортной конторе. Рост средний, лицо миловидное, грудь узкая, лобик наморщенный. Носит длинные волосы и часто встряхивает ими. Ни блондин, ни шатен, а так — со второго двора, с Мещанской улицы.

— А я верю, что меня ждет необыкновенная судьба,— повторял Семен Иванович и хохотал вслед за другими. Ему сыпали перец в водку. «Хо-хо, необыкновенная судьба! Ну и дурак же ты, Семен Невзоров,— сил нет...»

Дни шли за днями. На Мещанской улице моросил дождь, расстилался туман. Пахло на лестницах постными пирогами. Желтые стены второго двора стояли, как и сейчас стоят.

Семен Иванович служил без прогулов, добросовестно, как природный петербуржец. В субботние дни посещал трактир. Носил каракулевую шапку и пальто с каракулевым воротником. На улице его часто смешивали с кем-нибудь другим, и в этих случаях он предупредительно заявлял:

— Виноват, вы обмишурились, я — Невзоров.

По вечерам иногда к Семену Ивановичу приходила любовница, по прозванию Кнопка. После баловства она обыкновенно спорила, обижалась, шуршала, чтобы он на ней женился. Жить бы ему да жить: шесть дней будней, седьмой — праздничек. Протекло бы годов, сколько положено, опустевшую его комнату, с круглой печкой, с железной кроватью, с комодиком, на котором тикал будильник, занял бы другой жилец. И снова помчались бы года над вторым двором.

Так нет же,— судьба именно такому человеку готовила беспокойный и странный жребий. Недаром же Семен Иванович заплатил за гаданье маленький золотой. В цыганкины слова он верил, хотя, правду надо сказать,— пальцем не пошевелил, чтобы изменить течение жизни.

Однажды он купил на Аничковом мосту у мальчишки

за пятак «полную колоду гадательных карт девицы Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеона». Дома, после вечернего чая, разложил карты, и вышла глупость: «Символ смерти, или говорящий череп Ибикус». Семен Иванович пожалел о затраченном пятаке, запер колоду в комод. Но, бывало, выпьет с приятелями, и открывается ему в трактирном чаду какая-то перспектива.

Эти предчувствия, а может быть какие-нибудь природные свойства, а может быть самый климат — туманный, петербургский, раздражающий воображение,— привели Семена Ивановича к одной слабости: читать в газетах про аристократов.

Бывало, купит «Петербургскую газету» и прочтет от доски до доски описание балов, раутов и благотворительных базаров. «У графа такого-то на чашке чая парми присутствующих: княгиня Белосельская-Белозерская, графиня Бобринская, князь и княгиня Лобановы-Ростовские, светлейший князь Салтыков, князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон...»

Графини представлялись ему с черными бровями, среднего роста, в кружевных платьях. Княгини — длинные, блондинки, в платьях электрик. Баронессы — рыжеватые и в теле. Граф — непременно с орлиными глазами. Князь — помягче, с бородкой. Светлейшие — как бы мало доступные созерцанию.

Так Семен Иванович сиживал у окошка; на втором дворе капало; туман застилал крыши... А на зеркальных паркетах звенели шпоры, шуршали шлейфы. Разговоры вполголоса... Духи, ароматы... Происходил файф-о-клок. Лакеи вносят торты разных видов, сахарные печенья, вазы с вареньем. Ни графини, ни княгини даже не притрагиваются к еде. Разве какая высунет из кружев пальчики, отщипнет крошку. Только ножками перебирают на скамеечках.

В сумерки приходила Кнопка. Носик торчком, и тот весь заплаканный,— просит, чтобы женился. Семен Иванович встряхивал волосами, отвечал неопределенно.

Многие события, большие дела произошли с той поры: заехали в пропасть, перевернулись кверху колесами,— война. Но Семена Ивановича эти дела мало коснулись. По причине слабости груди его на фронт не взяли. Один год проходил он в защитной форме, а потом опять надел пиджачок. «Северный полюс» закрылся.

Жить стало скучнее. Спиртные напитки запретили. По-

знакомишься с приятным человеком,— хвать-похвать, он уже на фронте, он уже убит. Никакой ни у кого прочности. Кнопку увез на фронт драгунский полк, проходивший через Петроград. Все семь дней теперь стали буднями.

Попались Семену Ивановичу как-то, при разборке комода, гадательные карты девицы Ленорман. Усмехнулся, раскинул. И опять вышел череп Ибикус. Что бы это обстоятельство могло значить?

Одно время Ибикус привязался по ночам сниться: огромный, сухой, стоял в углу, скалил зубы. Нападала тоска во сне. А наутро противно было думать, что опять он приснится. Семен Иванович раздобыл бутылку ханжи, очищенной нашатырем. Выпил, одиноко сидя у мокрого окошка в сумерках, и будто бы снова померещилось ему какое-то счастье... Но защемило сердце. Нет. Обманула цыганка.

И вдруг стукнула судьба.

Семен Иванович кушал утренний кофе из желудей, без сахару, с кусочком мякинного хлеба. За окном февральский туман моросил несказанной гнилью.

Вдруг — дзынь! Резко звякнуло оконное стекло, и сейчас же — дзынь! — зазвенело, посыпалось зеркальце, висевшее сбоку постели.

Семен Иванович подавился куском, ухватился за стол, выкатил глаза. Внутреннее оконное стекло треснуло мысом, в наружном была круглая дырочка от пули. Из прокисшего тумана булькали выстрелы.

Семен Иванович наконец осмелился выйти на двор. У ворот стояла кучка людей. Женщина в ситцевом платье громко плакала. Ее обступили, слушали. Дворник объяснил:

— Испугалась. Два раза по ней стреляли.

Чей-то бойкий голос проговорил:

— На Невском страшный бой, горы трупов.

Женщина ударилась плакать громче. Опять сказал бойкий голос:

— Так и следует. Давно бы этого царя по шапке. Вампир.

И пошли разговоры у стоящих под воротами — про войну, про измену, про сахар, про хлеб с навозом. У Семена Ивановича дрожали руки, подгибались колени. Он пошел в дворницкую и сел у горячей печки.

Напротив на лавке сидела дворничихина дочка в платке и валенках. Как только Семен Иванович пошевелится,

девочка принималась шептать: «Боюсь, боюсь». Он рассердился и опять вышел на двор. В это время послышался крик. Посредине двора какой-то бритый, плотный человек с крашеными баками кричал удушенным голосом:

— На Екатерингофском канале лавошники околотошного жарят заживо.

Это было до того страшно, что из подъездов раздались женские взвизги. Под воротами замахали руками. Человек с баками скрылся. А из тумана бухало, хлопало, тактактакало.

Семен Иванович вернулся домой и сел на стул. Наступал конец света. Шатался имперский столп. Страшное слово — Революция — взъерошенной птицей летало по улицам и дворам. Вот, это оно опять поднимало крик под воротами. Оно, не угомонясь, гулко стукало из тумана.

Мрачно было на душе у Семена Ивановича. Иногда он вставал, хрустел пальцами и опять садился. В наружную оконную дырочку свистал ветер, насвистывал: «Я тебе надую, надую пустоту, выдую тебя из жилища».

В глухие сумерки кто-то стал трогать ручку входной двери. Коротко позвонили. Семен Иванович, ужаснувшись, отворил парадное. Перед ним, освещенная из прихожей, стояла женщина удивительной красоты — темноглазая, бледная, в шелковой шубке, в белом оренбургском платке. Она сейчас же проскользнула в дверь и прошептала поспешно:

— Затворите... На крючок...

На лестнице послышались шаги, грубые голоса. Навалились снаружи, бухнули кулаком в дверь. «Брось, идем...» — «Здесь она».— «Брось, идем, ну ее к черту...» — «Ну, так она на другой лестнице...» — «Брось, идем...» Шаги застучали вниз, голоса затихли.

Незнакомка стояла лицом к стене, в углу. Когда все затихло, она схватила Семена Ивановича за руку, глаза ее с каким-то сумасшедшим юмором приблизились:

— Я останусь... Не прогоните?

— Помилуйте. Прошу.

Она быстро прошла в комнату, села на кровать.

— Какой ужас! — сказала она и стащила с головы платок.— Не расспрашивайте меня ни о чем. Обещайте. Ну?

Семен Иванович растерянно обещал не расспрашивать. Она опять уставилась на него,— глаза черные, с припухшими веками, с азиатчинкой.

— На краю гибели, понимаете? Два раза вырвалась. Какие негодяи! Куда теперь денусь? Я домой не вернусь. Боже мой, мрак!

Она затопала ногами и упала в подушку. Семен Иванович проговорил несколько одобрительных слов. Она выпрямилась, сунула руки между колен.

— Вы кто такой? (Он вкратце объяснил.) Я останусь на всю ночь. Вы, может быть, думаете,— меня можно на улицу выкинуть? Я не кошка.

— Простите, сударыня, я по обхождению, по одежде вижу, что вы аристократка.

— Вы так думаете? Может статься. А вы не нахальный. Это хорошо. Странно — почему я к вам забежала. Бегу по двору без памяти, гляжу — окошко светится. Умираю, устала.

Семен Иванович постелил гостье на диване. Предложил было чаю. Она мотнула головой так, что разлетелись каштановые волосы. Он понес свой матрац на кухню. Незнакомка крикнула:

— Ни за что! Боюсь. Ложитесь здесь же. С ума сойду, несите назад тюфяк.

Семен Иванович погасил свет. Лег и слышал, как на диване — рррррр — разлетелись кнопки платья, упали туфельки. В комнате запахло духами. У него побежали мурашки по спинному хребту, кровь стала приливать и отливать, как в океане. Гостья ворочалась под шелковой шубкой.

— Мученье, зажгите свет. Холодно. (Семен Иванович включил одинокую лампочку под потолком.) Небось лежите и черт знает что думаете.— Она проворно повернулась лицом в подушку.— Одна только революция меня сюда и загнала... Не очень-то гордитесь. Потушите свет.

Семен Иванович растерялся. Не осмелился снять даже башмаков. Но лег, и опять — мурашки, и кровь то обожжет, то дернет морозом.

— Да не слышите разве, я плачу? Бесчувственный,— проговорила гостья в подушку,— у другого бы сердце разорвалось в клочки глядеть на такую трагедию. Зажгите свет.

Он опять включил лампочку и увидел на диване на подушке рассыпанные волосы и из-под черно-бурого меха — голое плечо. Стиснул зубы. Лег. Тонким голосом незнакомка начала плакать, опять-таки в подушку.

— Сударыня, разрешите — чаю вскипячу.

— Ножки, ножки замерзли,— комариным голосом про-

плакала она,— вовек теперь не успокоюсь. В двадцать два года на улицу выгнали. По чужим людям. Свет потушитеееe.

Семен Иванович схватил свое одеяло и прикрыл ей ноги и, прикрыв, так и остался на диване. Она перестала плакать. Разъятые ноздри его чувствовали теплоту, идущую из-под шубки. Но он робел ужасно, не зная, как обходиться с аристократками. За спиной, в углу, в темноте,— он не видел, но почувствовал это,— возник и стоял голый череп Ибикус.

— Завтра, наверно, буду лежать, раскинув рученьки на снегу,— ужасно жалобно проговорила гостья,— а тут еще царство погибает.

— Я всей душой готов утешить. Если не зябко — разрешите ручку поцелую.

— Чересчур смело.

Она повернулась на спину. Смеющимся пятном белело ее лицо в темноте. Семен Иванович подсел ближе и вдруг рискнул — стал целовать это лицо.

Утром незнакомка убежала, даже не поблагодарила. Тщетно Семен Иванович поджидал ее возвращения — неделю, другую, месяц. В комоде, вместе с картами девицы Ленорман, лежала часть туалета, забытая чудесной гостьей. Часто теперь по ночам Семен Иванович метался в постели, приподнимаясь — дико глядел на пустой диван. Ему представлялось, что в ту ночь, под свист ветра в оконную дырочку, он рискнул — прыгнуть в дикую пустоту. Порвались связи его со вторым двором, с плаксивым окошком, с коробкой с табаком и гильзами на подоконнике.

В свободное от службы время он теперь бродил по улицам, тоже диким и встревоженным. Город шумел невиданной жизнью. Собирались толпы, говорили от утра до поздней ночи. Флаги, знамена, лозунги, взбесившиеся мотоциклетки. На перекрестке, где стаивал грузный, с подусниками, пристав,— болтался теперь студент в кривом пенсне, бандиты и жулики просто подходили к нему прикурить. На бульварах пудами грызли семечки. Мужики в шинелях влезали на памятники, били себя в грудь: «За что мы кровь проливаем?» На балконе дворца играл талией временный правитель в черных перчатках.

Семен Иванович с тоненькой усмешечкой ходил, прислушивался, приглядывался. Великие князья, солдаты, жулики, хорошенькие барышни, генералы, бумажные деньги, коро-

ны — все это плыло, крутилось, не задерживаясь, как в половодье.

«Тут-то и ловить счастье,— раздумывал Семен Иванович и кусал ноготь,— голыми руками, за бесценок — бери любое. Не плошать, не дремать».

Продутый насквозь весенним ветром, голодный, жилистый, двуличный — толкался он по городу, испытывал расширенным сердцем восторг несказанных возможностей.

Сутулый господин в бархатном картузе был прижат к стене троими в солдатских шинелях. Они кричали:

— У меня вшей — тысячи под рубашкой, я понимаю — как воевать!

— Кровь мою пьете, гражданин, это вы должны почувствовать, если вы не бессовестный!

— Землица-то, землица — чья она? — кричал третий.

Господин таращил глаза. Длинный, извилистый рот его посинел. Семен Иванович, подойдя на этот крик, сказал твердо:

— Видите, граждане, он ни жида по-русски не понимает, а привязались.

Солдаты плюнули, ушли спорить в другое место. Господин в бархатном картузе (действительно на плохом русском языке) поблагодарил Семена Ивановича. Они пошли по Невскому, разговорились. Господин оказался антикваром, приезжим, город знал плохо. И тут-то Семен Иванович заговорил, прорвало его потоком:

— Пойдите на Сергиевскую, Гагаринскую, на Моховую, вот где найдете мебель, бронзу, кружева... Столовое серебро десятками пудов выносят на файфоклоках. А посмотрели бы вы на туалеты. Сказка! Бывало, стоишь с чашкой кофею около баронессы, княгини,— дух захватит. Клянусь богом — видать, как у нее сердце просвечивает сквозь кожу. С ума сойти! Одни глаза видны, а кругом страусовые перья. Я не кавалергард — камер-юнкер, но роптать нечего — пользовался у аристократок успехом. Бывало, прямо со службы, не поевши, бежишь на чашку чая. Вот еще недавно одна прибегала ночью, оставила на память — и смех и грех — часть туалета из стариннейших кружевцев. Цены нет. А теперь — усадьбы у них пожгли, есть нечего. Если взяться умеючи,— вагонами можно вывозить обстановки.

Господин в бархатном картузе крайне заинтересовался сообщениями Семена Ивановича и просил его заглядывать в антикварную лавку.

Чего только не было в антикварной лавке! Павловские черные диваны с золотыми лебедиными шеями. Екатерининские пышные портреты. Александровское красное дерево с восхитительными пропорциями, в которых наполеоновская классика преодолена российским уютом наполненных горниц. Здесь была краса русского столярного искусства — карельская береза, согнутые коробом кресла, диваны корытами, низенькие бюро с потайными ящиками.

Господин в бархатном картузе показывал Семену Ивановичу лавку, любовно притрагивался к пыльным полированным плоскостям, мудрено вытягивал извилистые губы. Полизав пыльный палец, говорил:

— Это искусство умерло, этого уже не делают на всем свете. Этот лес сушился по сотне лет. Вот — кресло. Можете полировку ошпарить кипятком. Полировано тонко, как зеркало. А вы чувствуете выгиб спинки? А эта парча? Мастер ткал в сутки только одну десятую дюйма. Вы, русские, никогда не умели ценить вашу мебель. Между тем в России были высокие художники-столяры. Русский столяр чувствовал человеческое тело, когда он выгибал спинку у кресла. Он умел разговаривать с деревом. Надо понимать, любить, уважать человеческий зад, чтобы сделать хорошее кресло.

Между разговором антиквар предложил Семену Ивановичу комиссионные в случае нахождения им добрых вещей. Семен Иванович стал часто заходить в лавку, исполнял кое-какие поручения. Но серьезно заняться делом мешало ему ужасное возбуждение всех мыслей. Над городом плыли весенние дни. Все бродило. Мимо, близко, у самого рта, скользили такие соблазны, что кружилась голова у Семена Ивановича, захватывало дух: а упущу, а прозеваю, а прогляжу счастье?

Однажды он застал антиквара, низко нагнувшегося над какой-то вещицей, и около — седую, высокую даму с горьким лицом. Антиквар выделывал сложные гримасы губами.

— Ах, вы ждете денег,— сказал он рассеянно и стал шарить рукой сбоку карельского бюро.

Семен Иванович отчетливо видел его пыльные, слабые пальцы,— средним он надавил на незаметную щеколдочку, крышка отскочила, рука антиквара влезла в ящичек и вытащила оттуда пачку кредитных билетов. Семен Иванович только тогда перевел дыхание.

Его мысли в этот день получили иное несколько направление: появилась ясность, ближайшая цель — достать несколько сот тысяч рублей, бросить службу и уехать из Пет-

роград. Довольно войны, революции! Жить, жить! Он ясно видел себя в сереньком костюме с иголочки, на руке — трость с серебряным крючком, он подходит к чистильщику сапог и ставит ногу на ящичек, сверкающий южным солнцем. Гуляют роскошные женщины. Так бы и зарыться в эту толпу. И всюду — окорока, колбасы, белые калачи, бутылки со спиртом.

До поздней ночи Семен Иванович бродил по улицам. В весеннем небе слышались гудки паровозов. Это прибывали истерзанные поезда со скупым хлебом, с обезумевшими людьми в солдатских шинелях, прожженных и простреленных. Паровозы кричали в звездное небо: «Умираааааем». Семен Иванович, насквозь пронизанный этими звуками, ночной свежестью, голодный и легкий, повторял про себя: «Первое — достать деньги, первое — деньги».

Незаметно для себя он очутился близ знакомой антикварной лавки. Стал, усмехнулся, покачал головой: «С бухты-барахты — нельзя. Придется обдумать». Улица была пуста, освещена только серебристым светом ночи. Семен Иванович вгляделся, подошел к лавке; странно — дверь оказалась приоткрытой, внутри — свет. Он проскользнул в дверную щель, поднялся на четыре ступеньки и негромко вскрикнул.

Бюро, диваны, кресла, вазы — все это было опрокинуто, торчало кверху ножками, валялось в обломках, на полу разбросаны бумаги, осколки фарфора. Здесь боролись и грабили. Семен Иванович выскочил на улицу. Перевел дух. Свежесть вернула ему спокойствие. Он оглянулся по сторонам, опять вошел в лавку и, притворив за собой входную железную дверь, заложил ее на щеколду.

Осторожно отодвигая поваленную мебель, он стал пробираться к стене, где стояло карельское бюро. Вдруг ужасно, на весь магазин, что-то застонало, и сейчас же Семен Иванович наступил на мягкое. Он отскочил, закусил ногти. Из-под опрокинутого дивана торчали ноги в калошах, в клетчатых, знакомых брюках. Антиквар опять затянул «ооооо» под диваном. Семен Иванович схватил ковер, бросил его поверх дивана, повалил туда же книжный шкаф. Кинулся к бюро. Нажал щеколду. Крышка отскочила. В глубине потайного ящика он нащупал толстые пачки денег.

Шесть недель Семен Иванович скрывал деньги, то в печной трубе, то опускал их на веревке в вентилятор. Страшно

бывало по ночам: вдруг — обыск. Боязно и днем, на службе: вдруг на квартиру налет? (Из предусмотрительности он все еще посещал транспортную контору.) Но все обошлось благополучно и как нельзя лучше. Утром, зажигая примус, Семен Иванович вдруг рассмеялся: «Какая чепуха,— Александровскую колонну унести, и то никто не заметит». Он занавесил окно, вытащил из вентилятора деньги и стал считать.

Чем дальше он считал — тем сильнее дрожали пальцы. Крупными купюрами временного правительства было триста восемьдесят тысяч рублей да мелочью тысяч на десять. Семен Иванович встал со стула и, как был, в тиковых подштанниках и носках — принялся скакать по комнате. Зубы были стиснуты, ногти впились в мякоть рук.

Весь этот день Семен Иванович провел на Невском — купил пиджачный костюм, пальто, котелок и желтые башмаки. Приобрел в табачном магазине янтарный мундштук и коробку гаванских сигар — «боливаро». Купил две перемены шелкового белья, бритву «Жилет» и тросточку. В сумерки привез на извозчике все это домой, разложил на кровати, на стульях и любовался, трогал. Затем считал деньги. Подперев голову, устремив глаза на вещи, долго сидел у стола. Примерил новую шляпу, попробовал улыбнуться самому себе в зеркальце, но губы засмякли бледными полосками. Долго стоял у комода, слушая, как трепещет возбужденное сердце. Снял новую шляпу и надел старую, надел старое пальто. Поехал на Невский. Здесь он стал ходить жилистыми, мелкими шажками, заглядывая осторожно и недоверчиво под шляпки проституток. Задерживался на перекрестке, расспрашивал девушек — где живет, здорова ли, ни хипесница ли?

А рассвет розовато-молочным заревом уже трогал купол собора, яснее проступали бумажки на тротуарах,— миллионы выборных бюллетеней, летучек, обрывков афиш,— остатки шумного дня. Ноги едва держали Семена Ивановича. Невский опустел. Лишь на дряхлой лошаденке, на подпрыгивающей пролетке тащился, свесив голову, пьяный актер с судорожно зажатыми в кулаке гвоздиками.

«И это — жизнь,— раздумывал Семен Иванович,— бумажки, митинги, толкотня, наглое простонародье в грязных шинелях... Сумасшедший дом. Надо уезжать. Ничего здесь не выйдет, кроме пошлости».

На следующий день Семен Иванович сказал дворнику, что по делам службы уезжает надолго, и с курьерским поездом действительно выехал в Москву. Он расположился

в международном вагоне, один в бархатном купе, где был отдельный умывальник и даже ночной горшок в виде соусника. Поскрипывали ремни, горело электричество, сверкали медные уголочки. Семен Иванович испытывал острое наслаждение.

Семен Иванович гулял теперь по Тверской. Здесь было потише, чем в Петербурге, но — все та же, непонятная ему, отвлеченность и скука. Вместо вещественных развлечений — газеты, афиши, бюллетени, споры. Он часто заходил в кафе «Бом» на Тверской, где сиживали писатели, художники и уличные девчонки. Все кафе «Бом» стояло за продолжение войны с немцами. Удивительное дело,— видимо, у этих людей ни гроша не было за душой: с утра забирались на диваны и прели, курили, мололи языками! «Хорошо бы,— думал Семен Иванович, сидя в сторонке перед вазой с пирожными,— нанять огромный кабинет в ресторане, пригласить эту компанию, напоить. Шум, хохот. Девочки разденутся. Тут и драка, и пляски, и разнообразные развлечения. Эх, скучно живете, господа!»

Жаль — не удавалось Семену Ивановичу ни с кем познакомиться. Заговаривал несколько раз, но его оглянут, ответят сквозь зубы, отворотятся. Хотя одет он был чисто, но язык — как мороженый, манеры обывательские, мелкие. Он чувствовал — необходимо шагнуть еще на одну ступень.

Особенно понравилась ему в кафе девица в черном шелковом платье с открытыми рукавами. С ней всегда сидел отвратительный субъект с бабьим лицом, нечесаный, грязный, курил трубку. Девица засаживалась в угол дивана. Руки голые, слабые, запачкает их об стол, помуслит платочек и вытирает локоть. Сидит, согнувшись, курит лениво. Веки полузакрыты, бледная, под глазами тени. Ее спросят,— не оборачиваясь, усмехнется еще ленивее припухшим красивым ртом. Стриженая, темноволосая. Но как с ней познакомиться?

Тогда Семен Иванович решился наконец на давно уже им обдуманное. Рядом с кафе «Бом» в скоропечатне заказал он себе визитные карточки, небольшого размера, под мрамор: «Симеон Иоаннович граф Невзоров». В скоропечатне приняли заказ, даже не удивились.

Когда он пришел за ними дня через три и приказчик сказал: «Ваши карточки готовы, граф», когда он прочел напечатанное,— охватила дикая радость, сильнее, чем в купе международного вагона.

Из скоропечатни граф Невзоров вышел как по воздуху. На углу, оборотясь с козел, задастый лихач прохрипел:

«Ваше сясь, я вас ката...» Трудно было смотреть прохожим в глаза,— еще не привык. Граф прошелся по Тверской, завернул в кафе «Бом», сел за свой столик и спросил вазу с пирожными.

На стене висела афиша. Темноволосая девица с красивыми руками глядела на нее, прищурив подведенные ресницы. Граф надел пенсне и прочел афишу. На ней стояло:

«Вечер-буф молодецкого разгула футуро-творчества. Выступление четырех гениев. Стихи. Речи. Парадоксы. Открытия. Возможности. Качания. Засада гениев. Ливень идей. Хохот. Рычание. Политика. В заключение — всеобщая вакханалия».

Здесь же в кафе граф приобрел билет на этот вечер.

«Вечер-буф» происходил в странном, совершенно черном помещении, разрисованном по стенам красными чертями,— как это понял Семен Иванович,— но это были не православные черти с рогами и коровьим хвостом, а модные, американские. «Здесь и бумажник выдернут — не успеешь моргнуть»,— подумал граф Невзоров.

Неподалеку от него сидела девица с голыми руками, при ней находился кавалер — косматый, с трубкой. Она глядела на освещенную эстраду, куда в это время вышел, руки в карманы, здоровенный человек и, широко разевая рот, начал крыть публику последними словами,— вы и мещане, вы и пузатенькие, жирненькие сволочи, хамы, букашки, таракашки... Граф Невзоров только пожимал плечами. Встретясь глазами с девицей, сказал:

— Эту словесность каждый день даром слышу.

Девица подняла темные брови, как оса. Невзоров поклонился и подал ей визитную карточку.

— Позвольте представиться.

Она прочла и неожиданно засмеялась. Невзорова ударило в жаркий пот. Но нет,— смех был не зловредный, а скорее заманивающий. Косматый спутник девицы, зажмурившись от табачного дыма, повернулся к Невзорову спиной. Девица спросила:

— Кто вы такой?

— Я недавно прибыл в Москву, видите ли, никак не могу привыкнуть к здешнему обществу.

— Вы не писатель?

— Нет, видите ли, я просто богатый человек, аристократ.

Девица опять засмеялась, глядя на графа с большим

любопытством. Тогда он попросил разрешения присесть за ее столик и подал лохматому человеку вторую свою карточку. Но лохматый только засопел через трубку, поднялся коряво и ушел, сел где-то в глубине.

Граф Невзоров спросил крюшону покрепче — то есть из чистого коньяку — и, держа папиросной лорнеточкой папироску, нагнувшись к девице, принялся рассказывать о светской жизни в Петербурге. Девица тихо кисла от смеха. Она чрезвычайно ему нравилась.

На эстраде какой-то человек лаял стихи непристойного и зловещего содержания. Трое других, за его спиной, подхватывали припев: «Хо-хо, хо-хо! дзым дзам вирли, хо-хо!» Это жеребячье ржание сбивало графа, он встряхивал волосами и подливал коньяку.

Девицу звали Алла Григорьевна. От коньяку зрачки ее расширились во весь глаз. Красивая рука с папироской побелела. Невзоров бормотал разные любезности, но она уже не смеялась,— уголки губ ее мелко вздрагивали, носик обострился.

— Едемте ко мне,— неожиданно сказала она. Граф оробел. Но пятиться было поздно. Проходя мимо столика, за которым сидел косматый с трубкой, Алла Григорьевна усмехнулась криво и жалко. Косматый засопел в трубку, отвернулся, подперся. Тогда она стремительно пододвинулась к столику:

— Это что еще такое? — и ударила кулачком по столу.— Что хочу — то и делаю. Пожалуйста, без надутых физиономий!..

У косматого задрожал подбородок, он совсем прикрылся рукой, коричневой от табаку.

— Ненавижу,— прошептала Алла Григорьевна и ноготками взяла Невзорова за рукав.

Вышли, сели на извозчика. Алла Григорьевна непонятно топорщилась в пролетке, подставляла локти. Вдруг крикнула: «Стой, стой!» — выскочила и забежала в еще открытую аптеку. Он пошел за нею, но она уже сунула что-то в сумочку.

Граф, весьма всему этому изумляясь, заплатил аптекарю сто двадцать рублей. Поехали на Кисловку.

Как только вошли в полуосвещенную, очень душную комнату,— граф ухватил Аллу Григорьевну за талию. Но она странно взглянула, отстранилась:

— Нет, этого совсем не нужно.

Она слегка толкнула Невзорова на плюшевую оттоманку. В комнате был чудовищный беспорядок,— книжки, платья, белье, склянки от духов, коробочки валялись где придется, кровать смята, большая кукла в грязном платье лежала в умывальнике.

Алла Григорьевна поставила перед диваном на низеньком столике початую бутылку вина, надкусанное яблоко, положила две зубочистки и, усмехаясь, вынула из сумочки деревянную коробочку с кокаином. Накинув на плечи белую шаль, забралась с ногами в кресло, взглянула в ручное зеркальце и тоже поставила его на столик. Жестом предложила нюхать.

Опять оробел Семен Иванович. Но она захватила на зубочистку порошку и с наслаждением втянула в одну ноздрю, захватила еще — втянула в другую. С облегчением, глубоко вздохнула, откинулась, полузакрыла глаза:

— Нюхайте, граф.

Тогда и он запустил в ноздри две понюшки. Пожевал яблоко. Еще нюхал. Нос стал деревенеть. В голове яснело. Сердце трепетало предвкушением невероятного. Он понюхал еще волшебного порошку.

— Мы, графы Невзоровы,— начал он металлическим (как ему показалось), удивительной красоты голосом,— мы, графы Невзоровы, видите ли, в близком родстве с царствующей династией. Мы всегда держались в тени. Но теперь в моем лице намерены претендовать на престол. Ничего нет невозможного. Небольшая воинская часть, преданная до последней капли крови,— и переворот готов. Отчетливо вижу: в тронной зале собираются чины и духовенство, меня, конечно, под руки — на трон... Я с трона: «Вот что, генералы, дворяне, купечество, мещанишки и прочая черная косточка, у меня — чтобы никаких революций!.. Бунтовать не дозволяется, поняли, сукины дети?» И пошел, и пошел. Все навзрыд: «Виноваты, больше не допустим». Из залы я, тем же порядком, направляюсь под руки в свою роскошную гостиную. Там графини, княгини, вот по сих пор голые. Каждой — только мигни, сейчас платье долой. Окруженный дамами, сажусь пить чай с ромом. Подают торт, ставят на стол...

Семен Иванович уже давно глядел на столик перед диваном. Сердце чудовищно билось. На столике стояла человеческая голова. Глаза расширены. На проборе, набекрень — корона. Борода, усы... «Чья это голова, такая знакомая?.. Да это же моя голова!»

У него по плечам пробежала лихорадка. Уж не Ибикус

ли, проклятый, прикинулся его головой?.. Граф захватил еще понюшку. Мысли вспорхнули, стали покидать голову. Рядом в кресле беззвучно смеялась Алла Григорьевна.

Несколько недель (точно он не запомнил сколько) граф Невзоров провозился с Аллой Григорьевной. Вместе обедали, выпивали, посещали театры, по ночам нанюхивались до одури. Деньги быстро таяли, несмотря на мелочную расчетливость Семена Ивановича. Приходилось дарить любовнице то блузку, то мех, то колечко, а то просто небольшую сумму денег.

В голове стоял сплошной дурман. Ночью граф Невзоров возносился, говорил, говорил, открывались непомерные перспективы. Наутро Семен Иванович только сморкался, вялый, как червь. «Бросить это надо, погибну»,— бормотал он, не в силах вылезти из постели. А кончался день,— неизменно тянуло его к злодейке.

На одном и том же углу, в продолжение нескольких дней, Семен Иванович встречал молчаливого и неподвижного гражданина. По виду это был еврей, с ярко-рыжей, жесткой, греческой бородой. Он обычно стоял, запрокинув лицо, покрытое крупными веснушками. Глаза — заплаканные, полузакрытые. Рот — резко изогнутый, соприкасающийся посредине, раскрытый в углах. Все лицо напоминало трагическую маску.

— Опять он стоит, тьфу,— бормотал Невзоров и из суеверия стал переходить на другой тротуар. А человек-маска будто все глядел на галок, растрепанными стаями крутившихся над Москвой.

Наступили холода. По обледенелой мостовой мело бумажки, пыль, порошу. Шумели на стенах, на воротах мерзлые афиши. Надо было кончать с Москвой, уезжать на юг. Но у Невзорова не хватало сил вырваться из холодноватых, сладких рук Аллы Григорьевны. Он рассказал ей про человека-маску. Неожиданно она ответила:

— Ну и пусть, все равно недолго осталось жить.

В этот вечер она никуда не захотела ехать. На темных улицах было жутко — пусто, раздавались выстрелы. Алла Григорьевна была грустная и ласковая. Играли в шестьдесят шесть. Дома не оказалось ни еды, ни вина, не с чем было выпить чаю. Понюхали кокаинчику.

В полночь в дверь постучали, голос швейцара пригласил пожаловать на экстренное собрание домового комитета. В квартире помощника присяжного поверенного Человеко-

ва собрался весь дом,— встревоженно шумели, рассказывали, будто в городе образовался Комитет Общественного спасения и еще другой — Революционный комитет, что стреляют по всему городу, но кто и кого — неизвестно. Из накуренной передней истошный голос проговорил: «Господа, в Петербурге второй день резня!» — «Прошу не волновать дам!» — кричал председатель, Человеков, стуча карандашом по стеклянному абажуру. Оратор, попросивший слова, с обиженным красным лицом надрывался: «Я бы хотел поставить вопрос о закрытии черного хода в более узкие рамки». Седая возбужденная дама, протискиваясь к столу, сообщила: «Господа, только что мне звонили: Викжель всецело на нашей стороне».— «Не Викжель, а Викжедор[1], и не за нас, а против, не понимаете, а вносите панику»,— басили из-за печки. «Господа,— надрывался Человеков,— прошу поставить на голосование вопрос об удалении дам, вносящих панику».

Наконец постановили: собрать со всех по одному рублю и выдать швейцару, с тем чтобы он в случае нападения бандитов защищал дом до последней крайности. Глубокой ночью дом угомонился.

На следующий день Семен Иванович собрался было идти к себе на Тверскую, но в подъезде две непроспавшиеся дамы и старичок с двуствольным ружьем сказали:

— Если дорожите жизнью,— советуем не выходить.

Пришлось скучать в комнате у Аллы Григорьевны. Граф сел у окошка. На улице, в мерзлом тумане, проехал грузовик с вооруженными людьми. Изредка стреляли пушки: ух — ах,— и каждый раз взлетали стаи галок. Невзоров был сердит и неразговорчив. Алла Григорьевна валялась в смятой постели, прикрытая до носа одеялом.

Папиросы все вышли. Печка в комнате не топлена.

— Вы пожрали половину моих денег. Через вас я потерял весь идеализм. Такую шкуру, извините, в первый раз встречаю,— сказал граф. Алла Григорьевна отвечала лениво, но обидно. Так проругались весь день.

В седьмом часу вечера раздался тревожный колокол. Захлопали двери, загудела голосами вся лестница. С нижней площадки кричали:

— Гасите свет. Нас обстреливает артиллерия с Воробьевых гор.

---

[1] Викжедор — Всероссийский исполнительный комитет железных дорог.— *Примеч. А. Н. Толстого.*

Электричество погасло. Кое-где затеплились свечечки. Говорили шепотом. Человеков ходил вниз и вверх по лестницам, держась за голову. Далеко за полночь можно было видеть дам в шубах, в платках, в изнеможении прислонившихся к перилам. Алла Григорьевна пристроилась на лестнице около свечки, зевая, читала растрепанную книжку.

Среди ночи графу Невзорову предложено было пойти дежурить на двор. Ему придали в пару зубного врача в офицерском полушубке. Едва они вышли на обледенелый двор, освещенный отсветом пожарища,— врач закрыл лицо руками и выронил ружье. Впрочем, он объяснил это тем, что ужасно боится кошек, которых множество ползает между дров.

Ночь была наполнена звуками. Вдали, между темных очертаний крыш, ярко светилось одинокое окошко. Поширкивали в воздухе снаряды. Порывами, как ветер, поднималась перестрелка. Зубной врач шептал из подъезда:

— Слушайте, граф, разве возможна нормальная жизнь в такой стране?

За два часа дежурства Семен Иванович продрог и с удовольствием завалился под теплое одеяло к Алле Григорьевне. Помирились. Следующий день начался таким пушечным грохотом, что дрожали стекла. Представлялось, будто Москва уже до самых крыш завалена трупами. Ясно, там, на улицах, решили не шутить.

Алла Григорьевна в халатике, неприбранная, увядшая, варила на спиртовке рис. Невзоров закладывал окошки книгами и подушками. Телефоны не работали. Газ плохо горел. В окна верхних квартир попали пули. Среди дня зазвонил тревожный колокол, начался переполох. Оказалось: у самого подъезда на улице упал человек в шинели и лежал уткнувшись. На площадках лестниц всхлипывали дамы. Было созвано собрание по поводу того, как убрать труп. Но твердого решения не вынесли. Рассказывали шепотом, будто прислуга в доме уже поделила квартиры и что швейцар ненадежен. А пушки все ухали, били, рвались ружейные залпы. Потрясая землю, проносился броневик. Шрапнель барабанила по крыше. Так прошел еще день.

Всю ночь Алла Григорьевна проплакала, завернув голову в пуховой платок. Семен Иванович приподнимался спросонок: «Ну, что вам еще не хватает, спите», и мгновенно засыпал. За эти дни в нем собиралась колючая злоба, видимо — он всходил еще на одну ступень.

Рано поутру Алла Григорьевна оделась,— не напудри-

лась, не подмазалась,— положила в сумочку деньги и пошла из комнаты. Граф схватил ее за подол:

— Куда? Вы с ума сошли, Алла Григорьевна!

— Оставьте юбку. Я вас презираю, Семен Иванович. Лучше помалкивайте. Прощайте.

Она ушла. Рассказывали, что сам Человеков не пускал ее, хватаясь за голову, но Алла Григорьевна сказала: «Иду к сестре за Москву-реку»,— и ушла через черный ход.

За дверью хриповатый веселый голос спросил:

— Аллочка дома?

Вошел рослый человек в грязном полушубке. Снял папаху,— череп его был совсем голый, лицо бритое, обветренное, с большим носом. Он оглянул комнату сверкающими, глубоко сидящими глазами. Невзоров поднялся с дивана и объяснил, что Алла Григорьевна два часа тому назад ушла к тетке, за Москву-реку.

— Черт! Жаль! Девчонку ухлопают по дороге,— сказал веселый человек, расстегивая бараний полушубок,— ну, давайте знакомиться. Ртищев,— он подал большую руку с перстнем, где сверкал карбункул,— а в Москве-то что творится, пятак твою распротак! Я только что с Кавказа. Продирался две недели. Прогорел начисто, это я-то, на Минеральных Водах, да, да. Я — игрок, извольте осведомиться. А жаль — Аллочка улетела. Я ее старинный приятель. С утра сегодня, прямо с вокзала, бегаю по подворотням, пятак твою распротак! Видите, полушубок прострелен. Решил — к Аллочке под крыло. Ну, ничего не поделаешь, выпьем без хозяйки. Жрать хотите небось?

Он вытащил из огромных карманов полушубка кусок мяса, жареную курицу, десяток печеных яиц и бутылку со спиртом. Большой рукой указал Семену Ивановичу на стул. Выпили спирту, принялись за еду. Чокнувшись по третьей, Ртищев сказал:

— Граф Невзоров, если не ошибаюсь? (Семен Иванович подтвердил.). Ну, так вы врете, вы не граф.

— Позвольте, что это за разговор!

— Таких графов сроду не было. Вы — авантюрист. Не подскакивайте. Я ведь тоже не Ртищев. Очень просто, пятак твою распротак. А плохи наши дела, граф.

— Виноват, как вы со мной обращаетесь!

Ртищев только весело подмигнул ему на это.

— Уже когда по Москве начали пушками крыть, это значит — четыре сбоку, ваших нет. Надо подаваться в Одес-

су, граф. Деньги есть? (Семен Иванович пожал плечами.) Ну, ладно, поговорим вечером.

Ртищев выпил последнюю, снял полушубок и, повалившись на постель, сейчас же заснул под буханье пушек, дребезжанье стекол. Семен Иванович с изумлением, с уважением рассматривал этого чудесного человека. «Вот он — ловец, смельчак, этот возьмет свое».

В сумерки Ртищев заворочался на скрипящих пружинах, откашлялся и начал рассказывать о своих неудачах в Кисловодске, где он держал игорный дом. Дела шли блестяще, курортная публика играла как накануне Страшного суда. Но проклятые чеченцы с гор шестнадцать раз брали игорный дом в конном строю. Увозили деньги в тороках. Пришлось свернуться.

— Стране нужна твердая власть, иначе я отказываюсь работать. А эти буржуи, как индюшки,— только: чувик, чувик, никакого сопротивления. Ну, а вы по какой линии? — спросил он у Невзорова. Тот ответил, что просто живет в свое удовольствие.— Э, бросьте, малютка, не шутите со мной. По политике, да?

— Может быть.

— И это занятие. Изо всего можно сделать себе занятие — был бы царь в голове. А то у нас на Минеральных Водах объявился один, тоже по политике; намекал, будто он по боковой линии наследник престола. Но глупышка, видите ли, надумал играть в железку с накладкой; это при Пушкине играли с накладкой,— люди были доверчивые, возвышенно настроенные. Бросьте политику, граф!

Невзоров сердито топнул ногой. Ртищев захохотал, накинул полушубок, подсел к столу.

— Давайте в картишки. Честно, как порядочные люди, пятак твою распротак!

Ртищев и граф Невзоров сели играть в карты и проиграли ночь, весь следующий день и еще ночь. Ртищев выиграл свыше ста тысяч. Но Семен Иванович почти что и не жалел о проигрыше: за картами многое было переговорено, перспективы раздвигались. Ртищев представлялся ему опытным и надежным товарищем.

На седьмые сутки выстрелы в городе затихли. Население робко вылезало на улицы, обезображенные борьбой. Невзоров и Ртищев переехали в гостиницу «Люкс» на Тверскую.

Разница в характерах способствовала успеху общего дела. Ртищев был шумлив, кипуч и легкомыслен. Невзоров — подозрительный, расчетливый, всегда мрачный. Один дополнял другого. Они разыскали большую квартиру на Солянке и открыли литературно-художественный клуб «Белая хризантема». Юноши из кафе «Бом» читали там стихи за небольшое вознаграждение. Устраивались диспуты об искусстве. Там можно было получать чай с сахаром и пирожными. В тайных задних комнатах резались в железку.

Тревожное время, неизвестность, крутые декреты нового правительства, тоска замерзающего, голодного города погнали игроков в «Белую хризантему». Там бывали дельцы, сбитые с толку революцией. Темные личности, торгующие деньгами, иссиня-бритые, с воспаленными, изрытыми лицами. Заходили метнуть награбленное взломщики и бандиты — осторожные юноши с быстрыми глазами. Бывали завсегдатаи скачек в еще изящных пиджаках, сохранивших запах английских духов. Два-три озлобленных писателя с голодной тревогой следили за течением миллионов по зеленому сукну. Здесь можно было свободно спросить вино, спирт, шампанское.

Дела дома шли превосходно. Ртищев обычно под утро напивался пьян и сам садился играть по крупной. Семен Иванович ставил себе задачей вовремя отбирать у него деньги: он покупал валюту и держал ее на груди в замшевом мешочке. Однажды в игорной комнате появился косматый человек — бывший спутник Аллы Григорьевны. Невзоров спросил о судьбе девушки. Косматый, не вынимая трубки, усмехнулся кривым ртом:

— Убита на улице в октябре месяце.

Настала весна. Пошли тревожные слухи с юга, с Украины. Грозовой тучей надвигался террор. Граф Невзоров настоятельно предупреждал товарища:

— Надо кончать с предприятием. Пора. Лавочку хлопнут. В конце концов это дело не по мне. Я не буфетчик.

На это Ртищев кричал ему пьяный:

— Граф, в тебе нет широты. Ты мещанин, ты на Невском сиги продавал!

Опасения оказались резонными. Однажды ночью «Белая хризантема» была оцеплена солдатами, и все гости и Ртищев отведены в район. Невзорову удалось ускользнуть от ареста,— он выскочил через окно в уборной, унося в мешочке полугодовой доход игорного дома. Надо было бежать из Москвы.

Ехать пришлось уже не в бархатном купе с горшочком. Семен Иванович три дня простоял в проходе вагона, набитого пассажирами сверх всякой возможности. Весь поезд ругался и грозился. В ночной темноте от него, как от черного кота, сыпались искры.

Пролетали ободранные железнодорожные станции с разбитыми окнами, угрюмые села, запустевшие поля, ободранные мужики, пустынные курские степи. Даже в сереньком небе все еще неразвеянное, кровавое уныние несчастной войны.

«Паршивая, нищая страна,— думал Семен Иванович, с отвращением поглядывая сквозь разбитое окошко вагона на плывущие мимо будничные пейзажи,— туда же — бунтовать. Вшей бить не умеете. Что такое русский человек? — свинья и свинья. Тьфу, раз и навсегда. Отрекусь, наплюю, самое происхождение забуду. Например: Симон де Незор — вполне подходит». Семен Иванович тайно ощупывал на груди мешочек с валютой и погружался в изучение самоучителя французского языка.

Одет он был в гимнастерку, в обмотки, в картузишко с изорванным козырьком — вид вполне защитный для перехода через украинскую границу. Кроме того, при паспорте имелось удостоверение,— приобретенное на Сухаревке,— в том, что он, С. И. Невзоров,— артист Государственных театров. Все же переход через границу требовал большой осторожности.

В Курске пришлось около суток сидеть на вокзале, где среди пассажиров передавались жуткие россказни. Здесь Семен Иванович спрятал мешочек с валютой на нижней части живота, вполне укромно. Выехали на границу ночью, в теплушках. На каждой станции подолгу дергались, иногда принимались ехать назад, к Курску, причем в теплушках начиналась тихая паника. Наконец на рассвете остановились на границе.

Семен Иванович осторожненько вышел из вагона. Место было голое, пустынное. Бледный свет зари падал на меловые холмы, источенные морщинами водомоен. На путях стоял одинокий вагон, где сейчас спал пограничный комиссар. Несколько телег и мужики стояли поодаль, дожидаясь седоков, чтобы перевезти их через нейтральную полосу к немцам.

Из теплушек вытаскивали детей, чемоданы, узлы. Выскочил кругленький, улыбающийся господин и помог вылезти обессиленной барыне в спустившихся шелковых чулках. Барыня, господин и няньки с детьми раскрыли склад-

ные стульчики и сели под открытым небом, среди огромного количества кожаных чемоданов.

Наконец в комиссаровом вагоне опустили окошко: проснулся. На вагонную площадку вышел молодой человек, в ситцевой рубашке распояской, и веничком стал подметать пол. Подмел и сел на ступеньках, подперев кулаком подбородок. Это и был сам комиссар, про которого шепотом говорили еще в Курске,— человек необыкновенной твердости характера. Глаза у него были совсем белые.

— Подойдите-ка сюда, товарищ,— поманил он пальцем кругленького господина. Тот сорвался со стульчика, благожелательная, радостная улыбка растянула его щеки.— Что это у вас там?

— Это моя семья, товарищ комиссар. Видите ли, мы возвращаемся в Харьков.

— Как?

— Видите ли, мы — харьковские. Мы гостили в Москве у тети и возвращаемся.

— Я спрашиваю — это все — это ваш багаж?

— Видите ли, пока мы гостили у тети,— у нас родилось несколько детей.

Господин говорил искренне и честно, улыбался добродушно и открыто. Комиссар медленно полез в карман за кисетом, свернул, закурил и решительно сплюнул.

— Не пропущу,— сказал он, пуская дым из ноздрей. Господин улыбался совсем уже по-детски.

— Я только про одно: мы детей простудим под открытым небом, товарищ комиссар, а вернуться уже нельзя,— тетя в Москве уплотнена.

— Я не знаю, кто вы такой, я обязан обыскать багаж.

— Кто я такой? Взгляните на меня,— господин стал совсем как ясное солнце,— хотите взглянуть, что я везу? — Он крикнул жене: — Соня, котик, принеси мой чемодан. Я не расстаюсь с этими реликвиями моей молодости: портреты Герцена, Бакунина и Кропоткина. Меня с малых лет готовили к революционной работе, но — появились дети, опустился, каюсь. Для ответственной работы не гожусь, но, как знать, в Республике каждый человек пригодится, верно я говорю? Кстати, я и не собираюсь бежать: устрою детей в Харькове и через недельку вернусь...

Комиссар насупился, глядел в сторону, уши у него начали краснеть:

— А вот я вас арестую, тогда увидим, кто вы такой на самом деле.

Господин восторженно подскочил к нему:

— Именно, нельзя верить на слово, именно такого ответа я и ждал...

Семен Иванович, внимательно слушавший весь этот разговор, счел за лучшее отойти подальше. Он побродил по станции. Всюду было пусто, запустело, окна разбиты. За ним никто не следил. Он вышел в поле и лег на траву. Полежав около часа, пополз и опять лег. Послышались голоса: невдалеке прошли два солдата, и между ними — человек в парусиновом пальто, с узлом за спиной.

Обождав небольшое время, Семен Иванович пополз среди репейников и полыни к оврагу, пролегавшему у подножия меловых холмов. Осторожно скатился в сухой овраг и пошел по его дну в западном направлении.

Когда солнце поднялось высоко, Семен Иванович вылез наверх. Станции и комиссаровского вагона уже не было видно. Перед ним невдалеке лежало железнодорожное полотно, за ним — пустынная красноватая степь с вьющейся пыльной дорогой.

Под вечер с востока на дороге показались телеги. Семен Иванович оглянулся,— спрятаться было негде. Тогда он снял гимнастерку, надорвал карманы и подмышки, вывалял ее в пыли, надел опять, сел у дороги и принял самый жалкий вид, какой только возможен. Телеги подъезжали на рысях. Он потащился навстречу, протягивая руки и крича: «Помогите, помогите». Передняя телега остановилась. В ней сидел, радостный и беззаботный, кругленький господин и обессиленная барыня. На задних помещались няньки с детьми и горы сундуков.

Семен Иванович, трясясь всеми членами, рассказал, что его избили и ограбили до нитки. Он показал удостоверение артиста Государственных театров. «Э, садитесь на заднюю телегу, трогай!» — крикнул кругленький.

На закате из-за степи поднялись вершины тополей и соломенные крыши хутора. Жерлами на дорогу — к большевикам — стояли две немецкие пушки.

С новыми спутниками Семен Иванович доехал до Харькова. На вокзале обессиленная дама, подбежав к буфету, воскликнула со слезами: «Белые булочки, булочки! Глядите, дети,— булочки!» Она обняла мужа, детей. Даже Семен Иванович прослезился.

Он переложил деньги из потайного места в карман и на лихаче запустил в лучшую гостиницу. В тот же день он приобрел отличный костюм синего шевиота и пил шампан-

ское. Харьков опьянил его. По улицам ходили — тяжело, вразвалку — колонны немецких солдат в стальных шлемах. На лихачах проносились потомки древних украинских родов в червонных папахах. Множество дельцов, военной формации, в синих шевиотовых костюмах, толпились по кофейням, из воздуха делали деньги, гоняли из конца в конец Украины вагоны с аспирином, касторкой, смазочными маслами. В сумерки озарялись ртутным светом облупленные двери кабаре и кино. Гремела музыка из городского сада, на берегу заросшей ряскою реки Нетечи, где кишели, орали, ухали жабы и лягушки, вились туманными змейками двенадцать лихорадок.

Семен Иванович гулял по городскому саду. Гремел оркестр, шипели фонари среди неестественной листвы под черным небом. Семен Иванович присмотрел двух дам: одна — черноглазая блондинка в берете и в шелковом платье, сшитом из занавеси; другая — сухонькая — в огромной шляпе с перьями. «Аристократки»,— решил он, и по-столичному приподняв соломенный картузик, сказал: — Все один да один. Позвольте представиться: конт Симон де Незор. Не откажитесь вместе поужинать.

Аристократки не выразили ни удивления, ни сомнения и сейчас же пошли вместе с Симоном де Незором в кабинет. Дощатые стены его были исписаны надписями самого решительного и непристойного содержания. Де Незор потребовал водки с закуской и шампанского. Было очень непринужденно. Вспоминали столичную жизнь. «Ах, Петроград!» — повторяли дамы... Де Незор кричал: «Будь я проклят, сударыни, если через месяц мы не вернемся в Петроград с карательной экспедицией».

Водка шла птицей под чудные воспоминания. Били бокалы. Затягивали несколько раз гимн. Уже дощатые стены стали зыбкими. В табачном дыму, непонятно как, за столом появился четвертый собеседник — тощий, подержанный господин с унылым носом и раздвоенной русой бородкой. Он с чрезвычайным удовольствием занялся икрой и шампанским.

«Неужели опять — Ибикус, фу, черт его возьми!» — пьяными мозгами подумал де Незор.

— А все-таки, ваше сиятельство, рановато нам умирать, еще попрыгаем,— картавя, говорил ему незнакомец. Дамы называли его Платон Платонович. Одна из дам, в шляпе,— видимо, хорошо его зная,— попыталась сесть ему на колени. «Оставьте, мне жарко»,— сказал Платон Платонович, спихивая ее локтем.

— Вы, ваше сиятельство, думаете здесь обосноваться?
— Не знаю... Подумаю...
— Сильно пострадали от революции?
— Особняк разграблен вдребезги... Конюшни сожжены. Моему лучшему жеребцу выкололи глаза... Я понимаю — выколи мне... Но при чем мой жеребец?..
— Лошадям выкалывать глаза! Это все от Льва Толстого пошло! — говорил Платон Платонович.— Так вы любитель лошадей, граф?
— Странный вопрос.
— Ну, тогда и говорить нечего, вы должны купить землю в Малороссии. Раз в тысячу лет подобный случай, можете приобрести цензовый участок даром, за гроши. Чего далеко идти,— я вам продам именье: «Скрегеловка», чудесные виды, стариннейший дом графов Разумовских... Милейший граф, кончится эта проклятая заварушка — на будущий год мы вас в уездные предводители проведем.
— Меня в предводители? Почему именно меня?
Так граф де Незор был оглушен этой новой возможностью. Приоткрывалась роскошная перспектива. «Меня в предводители дворянства,— ну, что ж, я готов»,— бормотал он, и плыли стены, шляпы, длинные носы, покрытые потом, валились со стола бутылки. Был уже день, когда его, поддерживая под руки, посадили на лихача. Дальнейшее расплылось.
Граф де Незор проснулся в сумерки. Затылочные кости трещали от боли. На стуле перед постелью сидел Платон Платонович и покойно покуривал.
— Поздненько,— сказал он,— не опоздать бы на поезд.

Усадьба, куда Платон Платонович привез Невзорова, была действительно прекрасно расположена среди холмов, невдалеке от речки. Дом был с колоннами и даже с двумя львами на кирпичных столбах; Семен Иванович нет-нет да и поглядывал на них: «Собственные львы, неужто возможно?» В нижнем этаже все окна выбиты. Платон Платонович, обратив внимание на этот ущерб, ударил себя по коленкам: «Третьего дня градом выхлестало». Он очень вежливо поклонился двум немецким солдатам, которые лежали на траве около кухни. Проходя мимо, захлопнул ворота каретника (хотя Невзоров успел заметить, что в каретнике ничего, кроме старого колеса, не находилось). Не задерживаясь с осмотром служб, провел графа прямо в сад. Тополя, липы, акации стояли пышно среди густой травы.

Платон Платонович долго смотрел, задрав голову, на пустое грушевое дерево: «Гм, сволочи»,— сказал он и повел показывать старинный бельведер. Это была облупленная беседочка, на полу ее, еще издали, виднелось то, что остается от человека, когда он посидит. «Гм»,— повторил Платон Платонович. Пошли в дом. Внизу было пусто и намусорено, двери сорваны. В окошко шарахнулась ворона. Платон Платонович только крякнул с досадой: «Здесь — зала, там бильярдная, а там летняя столовая. Уберем, вставим стекла, не наглядитесь. Зато наверху у меня — уют». Он потащил графа на скрипучую винтовую лестницу. Верхние комнаты были действительно меблированы, и висели даже занавеси и картины, но все это представляло странное зрелище: как будто всю обстановку вытащили отсюда, ободрали, переломали, перемешали и опять расставили кое-как.

— Мужики у нас добродушнейшие,— говорил Платон Платонович,— прошу, граф, в кресло. Представьте: полгода в деревне сидел большевик, уговаривал разграбить мою усадьбу. Так они, только чтобы от него отвязаться, пришли, плачут: «Грабить приказано». Я их сам уговаривал: «Берите, берите, мужички». Ну, разумеется, потом все принесли обратно. У нас самые сердечные отношения. Монархисты все отчаянные.

Семен Иванович поглядывал в окно на львов. Казалось, среди вихря и праха этих дней одни только эти каменные морды покойно и брезгливо глядели в вечность. На что-то ужасно знакомое они походили... «А кто поручится,— может быть, я действительно граф де Незор»,— подумал он, и холодок мурашками пошел по спине.

— Дорого мне будет стоить ремонт, выгоды не вижу,— сказал он сухо,— но, хорошо, я покупаю вашу усадьбу.

Платон Платонович сейчас же моргнул и стал глядеть на висевший косо портрет какого-то усатого толстяка, в халате и с трубкой. Видимо, Платон Платонович испытывал значительное волнение. «Вот, и это уже все ваше, граф». Он еще раз моргнул, и слеза поползла у него по большому мешку под глазом.

Удача настолько сопутствовала Семену Ивановичу, что он не только по очень сходной цене купил «Скрегеловку», но купил ее на имя графа де Незора,— паспорт и документы были приобретены им в Харькове у специалиста-гравера.

Честолюбивые перспективы раскрывались все ослепи-

тельнее. Он ездил в Киев и был представлен гетману Скоропадскому, который строго намекнул ему о священных обязанностях в такое тяжелое для молодого отечества время. Он спешно начал учиться мове — украинскому языку. Несколько ночей удачной игры в клубе пополнили убыль в деньгах. Была куплена роскошная обстановка для деревенского дома, ковры, вазы, экипажи... Ремонт в «Скрегеловке» шел полным ходом. Чего было еще желать? Выборов в уездные предводители? Чушь: Семен Иванович был уверен: пожелай он гетманской короны,— судьба шутя швырнет его и на эту высоту. «Да уж не сон ли все, что со мной?» — думалось ему иногда. Нет, наморщенные морды львов у ворот были из камня, не во сне, и новые ворота сочились смолой, и румянцем пылало закатное солнце во вставленных окнах невзоровского дома...

И вдруг, среди удач и честолюбивых мечтаний,— судьба перемешала карты, и Семен Иванович очутился снова на пути необыкновенных приключений.

Платон Платонович скрыл, как потом оказалось, одно важное обстоятельство: из 270 десятин скрегеловской земли 250 лежало под крестьянской запашкой, и мужики эту землю считали своей. Граф де Незор написал в личную канцелярию гетмана, прося принять меры к возвращению ему законной земли. Из канцелярии ответили в общих выражениях, туманно — советовали главным образом обождать до полного поражения большевиков и восстановления порядка и законности. Графу де Незору оставалось действовать собственными силами. Он решил оттягивать землю исподволь и для этого ходил в деревню и беседовал с мужичками. Они охотно снимали шапки, завидев графа, но, когда разговор заходил о землице,— странно переглядывались, отвечали мирно, но двусмысленно.

Вечерком, когда уже прошло стадо и улеглась пыль, отскрипели колодцы, загнали домашнюю птицу и свиней, когда над ракитами и грушами, над соломенными кровлями принялся летать козодой, грустно покрикивая: «сплю, сплю», когда степенные мужики, отужинав, вышли посидеть на бревнах, покурить тертых корешков,— в один из таких вечеров Семен Иванович завел политический разговор:

— Вот хотя бы немцы,— есть у них чему поучиться. Весь мир их не может победить. А почему? — порядок, закон. Что мое, то мое, что твое — твое. У них насчет собственности — священно.

— Это верно,— отвечали мужики.— Немцу дано.

Голос из густой травы сказал:

— Немцы аккурат шестого июня разложили нашу деревню и всыпали по ж... Мужикам по тридцати пяти, бабам по двадцати — прутьями. Вот — почесались.

Сидевший рядом с графом старичок проговорил:

— А что ж хорошего: растащили весь барский дом, барину и сесть негде.

Чей-то, с краю бревен, незнакомый Семену Ивановичу, бойкий голос заговорил весело:

— Барин четыре службы в городе имеет, захотел — деньги в карты за одну ночь проиграл. На что ему земля? Нет, мы десять лет станем бунтовать, с голыми руками пойдем, ружья отнимем, а свое возьмем. Это все пока малые бунты, а вот все крестьянство поднимется — вот будет беда.— Он засмеялся. Мужики молчали.— Десять лет будем воевать, вот штука-то! А ты — немцы.

Разговор этот не понравился графу де Незору. Он до времени прекратил прогулки на деревню. Не нравились ему и какие-то незнакомые личности, часто появлявшиеся на дворе,— солдатский картуз — посмеивается в карманах, идет мимо барского дома — посмеивается в усы.

Однажды, рано утром, граф проснулся от хлесткого выстрела за окнами. Сейчас же раздались злые крики. Он подбежал к окошку: толпа мужиков с вилами, топорами, ружьями обступила немецкого солдата, коловшего во все стороны штыком. Другой немец, из живших в усадьбе, лежал около кухни в луже крови. Семен Иванович, захватив одежду, бумажник, кинулся в сад и залез в глушь, в кусты, где кое-как оделся. Отсюда он слышал звон разбиваемых стекол и удары топоров. Продолжалось это очень долго. Затем было слышно только потрескивание. Он осмелел, разобрал кусты, выглянул: из-под крыши валил черный дым, в окнах плясало пламя. Он увидел также льва на кирпичном столбе,— старая морда его равнодушно глядела пустыми глазами на эту иллюминацию.

Пешком, проселочными дорогами пришлось добираться до станции. Ночью видны были зарева за холмами. Доносились далекие выстрелы. Однажды по тракту, по ту сторону канавы, где притаился Семен Иванович, пронеслись вскачь телеги,— свист, гиканье, крики... После этого видения он лежал некоторое время в полуобморочном состоянии.

В другом месте он увидел толпу немецких солдат,— они мрачно шагали с винтовками за плечами, у многих были забинтованы головы, повязаны руки. С ума можно было

сойти: что случилось? В одну ночь взбунтовался весь край, запылали зарева.

Добравшись наконец до станции, ободранный и полуживой, Семен Иванович узнал причину: император Вильгельм был свергнут с престола, немцы уходили из Украины, на Харьков надвигались большевики. Семен Иванович немедленно переменил маршрут и бросился на юг.

Черт знает, с какими затруднениями пришлось ему ехать — преимущественно на крышах вагонов. У теплушек загорались оси. На подъемах отрывалась половина поездного состава и сваливалась под откос. Неизвестные личности отцепляли паровозы и угоняли их с нечеловеческими проклятиями. На станциях шла непереставаемая стрельба. Начальники станций прятались по ямам и погребам. По пути из кустов стреляли в окошки. На одном перегоне поезд стал в чистом поле. В вагон вошли рослые казаки в червонных папахах, в синих свитках:

— Которые жиды — выходите.

Произвели личный осмотр. Отобрали с десяток животрепетных душ, повели их в поле, к стогу сена. Когда поезд тронулся — раздались выстрелы, дикие крики.

Меняя поезда, Семен Иванович заехал в захолустный степной городишко, в глухой тупик. Населения там было очень мало,— одни говорили, что разбежалось, другие — что вырезано. Но все же на базар у заколоченных лавок выезжали торговать телеги с калачами, салом, вяленой рыбой. Семен Иванович ночевал на вокзале, днем бродил по городу. То увидит ощеренную, околевшую собаку и подолгу глядит, покуда не плюнет. То остановится поговорить с бабой, едва прикрытой ветошью. За городом в степи целыми днями стояли дымы, в сумерках мерцали далекие зарева. Ужасная скука.

Однажды, купив на базаре вяленого леща и калач, Семен Иванович шел по широкой улице к одному из крайних, у самой степи, домиков, где можно было достать самогону. С испуганными криками дорогу перебежали мальчишки. Из ворот выскочила простоволосая женщина, стала запирать ставни. Приготовления казались знакомыми, но откуда в этой пустыне могла прийти опасность? Семен Иванович дошел до знакомого домика, где продавался самогон, и увидел самого хозяина: положив руки на поясницу, он с усмешкой глядел на степь, выставив туда же рыжую пыльную бороду.

— Опять, пожалуйте, гости дорогие,— сказал он, покачав головой. На широкой степной дороге поднималась

пыль.— Непременно это он. Никому другому не быть. (Семен Иванович спросил: «Да кто же?») Как кто? Атаман Ангел. Зайди, дружок, в избу, кабы чего не вышло.

В окошко Семен Иванович увидал, как из пыльного облака бешено выскочили тройки, запряженные в небольшие телеги — тачанки; троек более пятидесяти. На передней (рыжие, лысые донские жеребцы), на развевающемся с боков телеги персидском ковре стояло золоченое кресло-рококо. В нем сидел, руки упирая в колени, приземистый, широкоскулый человек, лицо коричневое, бритое, как камень. Одет в плюшевый, с разводами, френч, в серую каскетку. Это и был сам атаман Ангел. За его креслом стояли два молодых, с вихрами из-под картузов, атаманца — держали винтовки наизготовку. С заливными колокольцами промчалась тройка. За ней на других тачанках, свесив ноги, сидели атаманцы в шинелях, в тулупах, с пулеметами, поднятыми бомбами, револьверами. Великий был шум от конского топота, гиканья, звона бубенцов.

— Вот так и гоняют по степи, озорничают, атаманы-разбойнички,— сказал вполголоса самогонщик,— деревнями к ним мужики уходят, отбою нет, да, слышь, не всех берут в разбойники-то. Сейчас они генерала Деникина добровольцев бьют, а встретят большевиков — и с большевиками бьются.

В ворота бухнули. Самогонщик перекрестился, пошел отворять. Вернулся он с двумя атаманцами, черными от пыли,— только блестели глаза у них и зубы.

— Шесть ведер самогону, посуда наша,— сказал один, другой кинул на стол деньги.— А ты что за человек? — спросил он Невзорова.

— Я бухгалтер.

— Это как так — бухгалтер?

Семен Иванович поспешно объяснил. Сказал, что бежал от большевиков, а к деникинцам идти не хочет — против совести. Поэтому прозябает здесь, в городишке.

— Эге,— сказал первый,— давно атаман горюет, что нет у нас счетовода-казначея. Иди за мной.

Семена Ивановича повели на улицу, куда самогонщик выносил посудины с самогоном, поставили его перед атаманом. Тот тяжело повернулся в кресле, нагнулся низко к Семену Ивановичу, впился в него запавшими тусклыми глазами:

— Ты что умеешь? Считать умеешь? (Семен Иванович только слабо крякнул в ответ, закивал.) Ладно. Заводи счетную книгу, казна великая. Проворуешься али тягу

дашь,— в два счета голову шашкой прочь — понял, чертов сын?

Понять это было нетрудно: Семен Иванович сделался бухгалтером при разбойничьей казне. В тот же день его посадили на тачанку, рядом с двумя дюжими казаками и кованым сундуком, набитым деньгами и золотом, и опять — атаман в кресле на ковре впереди, за ним пятьдесят троек — залились в степь.

Атаман шел на Елизаветград. На тройках была вся его сила — и пехота, и кавалерия, и пулеметы, и пушки, и обоз. Передвигался он с чрезвычайной скоростью,— даже на тачанках, на каждой, сзади дегтем написано было: «Хрен догонишь». Часто, заняв деревню или городок, он посылал в стороны летучие отряды, которые возвращались с мясом, водкой, овсом, сахаром. Иногда все колесное войско устремлялось за сизый горизонт степи, на месте оставался лишь Семен Иванович с казной да охрана.

Нередко ночевали в степи, а время было осеннее, студеное. Ставили тачанки в круг старинным казацким обычаем, распрягали коней, высылали дозоры. У телег зажигали костры, вешали в котлах варить кур, баранину, кашу. Цедили самогон из бочонков.

Дико, непривычно было Семену Ивановичу глядеть, как атаманцы, рослые, широкие, почерневшие от непогоды и спирта,— в тех самых шинелях и картузах, в которых еще так недавно угрюмо шагали по Невскому под вой флейт,— шли на фронт, на убой — те самые, знакомые, бородатые, сидят теперь у телег на войлочных кошмах под осенними звездами. Режутся в карты, в девятку, кидают толстыми пачками деньги. Вот один встал, цедит из бочонка огненный спирт и опять валится у костра. А там затянули песню, степную, с подголосками... Певали ее еще в годы, когда вот так же бродили по ковылям с тмутараканским князем. А вон — бросили карты, вскочили, полетели шапки, вцепились в волосы: «Бей».

Но, как из-под земли, вырастал атаман, и утихала ссора. Ангел много не говорил, но взглянет мутно из глазных впадин — и хмель соскочит у казака. Не раз на таких привалах атаман подходил к Семену Ивановичу, приказывал подать бухгалтерскую книгу и дивился хитрости буржуев, придумавших тройную бухгалтерию.

— Ты по городам болтался,— чепуху, наверно, про нас пишут? — спрашивал его атаман. (Семен Иванович сейчас

же соглашался, что читал про него и именно чепуху.) — То-то. Где им понять? Истребить эти самые города, вот что надо. Дай срок — я истреблю. Вот книгу мне надо одну достать, есть такая книжка: «Анархизм». Читал?

— Читал, Ангел Иванович, как-то забылось.

— Дурак ты, Семен... Кабы не твоя бухгалтерия... Ну, не дрожи, не трону... А вот возьму Елизаветград,— ты мне эту книжку достань.

Однажды в такую же ночь на привале, в степи, между телег появился на захрапевшем коне молодой казак с накрест опоясанными пулеметными лентами. «Атаман!» — крикнул он. Спешился и тихо что-то сказал Ангелу.

— Зааа-пря-гать! — спокойно, но так, что у всех телег было слышно, скомандовал атаман. И в несколько минут табор свернулся. В телеги покидали котлы, попоны, бочонки. Впрягли лошадей — без шума. Подвязали колокольцы. Круг развернулся. И тройки с места рванулись вскачь.

Семен Иванович сидел в тачанке, вцепившись в денежный сундук. Впереди, с боков, сзади — летели тройки. Под звездами степь казалась седой, без края. Свистел ветер в ушах. У Семена Ивановича стучали зубы.

Далеко раздались выстрелы. Тройки рассыпались. На полном ходу повернули к северу. Та-та-та-та-та,—казалось, со всех сторон гулкой дробью посыпали пулеметы. Атаманцы стреляли стоя, с телег. А тройки снова повернули к югу. Две тачанки сцепились, опрокинулись. Семен Иванович увидел,— из беловатой мглы появились всадники невероятной величины. Казака, державшего вожжи, сдунуло с телеги. Другой схватил вожжи и повалился ничком. Теперь Семен Иванович слышал, как визжали огромные всадники,— махая шашками, они налетели со всех сторон. Вдруг телега затрещала, накренилась,— и Семен Иванович, закрыв лицо, полетел в мерзлый бурьян. Ударился и потерял сознание.

Семен Иванович очнулся от холода. Рассветало. Звезды побледнели. Низко, белыми озерами лежал туман. Кое-где из него торчала лошадиная нога, виднелись колеса опрокинутой телеги. Семен Иванович сел, ощупал себя,— цел, хотя все тело болело. Около него валялся сундук с казной. Не из корысти — бессознательно — Семен Иванович вынул из сундука свертки с царскими десятирублевками, пере-

считал: семь штук,— рассовал их по карманам и побрел, придерживая поясницу, прочь от места битвы.

Когда солнце поднялось из багровой мглы над озерами тумана, он увидел с удивлением и радостью полотно железной дороги.

Дальнейшее передвижение на юг было сопряжено со всевозможными затруднениями и случайностями. Но Семен Иванович до того уж наловчился, вид его был до того ободранный и жалкий, что, миновав станции и города, он благополучно добрался до Одессы. Стоял конец февраля 1919 года.

КНИГА ВТОРАЯ

Что за чудо — Дерибасовская улица в четыре часа дня, когда с моря дует влажный мартовский ветер! На Дерибасовской в этот час вы встретите всю Россию в уменьшенном, конечно, виде. Сильно потрепанного революцией помещика в пальтеце не по росту,— он тут же попросит у вас взаймы или предложит зайти в ресторан. Вы встретитесь с давно убитым знакомцем,— он был прапорщиком во время Великой войны, а смотришь — и не убит совсем и еще шагает в генеральских погонах. Вы увидите знаменитого писателя,— важно идет в толпе и улыбается желчно и презрительно этому, сведенному до миниатюрнейших размеров, величию империи. Вы наткнетесь на нужного вам до зарезу иссиня-бритого дельца в дорогой шубе, стоящего от нечего делать вот уже час перед витриной ювелирного магазина. Вы поймаете за полу бойкого и неунывающего журналиста, ужом пробирающегося сквозь толпу,— он наспех вывалит вам весь запас последних сенсационных известий, и вы пойдете дальше с сильно бьющимся сердцем и первому же знакомому брякнете достоверное: «Теперь уже, батенька мой, никак не позже полутора месяцев будем в Москве с колокольным звоном».— «Да что вы говорите?» — «Да уж будьте покойны — сведения самые достоверные».

И ваш знакомый идет в гостиницу к жене, и они на последние карбованцы покупают сардин, паштетов, вина и, окруженные родственниками, едят и пьют, и чокаются на Москву, и сердца у всех бьются. И волнующие слухи летят дальше по городу. И уж кто-то, особенно нетерпеливый, бежит в переулок в прачечное заведение и торопит: «Выстирайте мне белье поскорее».

На Дерибасовской гуляют настоящие царские генералы. Какое наслаждение глядеть, как мартовское солнце горит на золотых погонах, как лихие юнкера, подхватив под козырек, столбами врастают в землю. Видя эту сцену, какой-нибудь растерянный отец семейства, у которого от революции переболтались мозги в голове,— снова, хотя бы только на минуту, приобретает уверенность в нерушимости основ иерархии, быта и государства.

Про дам на Дерибасовской и говорить нечего: на все вкусы. Шляпы, меха, манто, караты. Петербурженки — худые, рослые, энглизированные, с них никакими революциями не собьешь высокомерия. Одесситки — русские парижанки, слегка страдающие полнотой, не женщины, а романс. А худенькие, стриженые артистки различных ка-

баре! Любой из них нет и двадцати лет, а уже раз десять эвакуировалась и пешком и на крышах вагонов, и уж горькие морщинки легли в углах губ, и в глазах — пустынька.

Встретите также на Дерибасовской рослых английских моряков с розовыми щеками,— идут, держась за руки, будто в фойе театра, в антракте забавнейшей пьесы. Или с хохотом проталкиваются сквозь толпу французские матросы, в синих фуфайках, в шапочках с помпонами,— ах ты, боже мой, как оглядываются на них дамы с Дерибасовской, а знаменитый писатель остановился даже, окаменел, почернел: вот они — римляне, победители,— хохочут, толкаются, поплевывают... А мы-то, мы?..

Если вас одолело сомнение: да верно ли, не мишура ли вся эта разодетая, шумная Дерибасовская? Действительно ли это Измайловский марш вырывается из раскрытых дверей ресторана? Прочно ли здесь укрепилась белая Россия на последнем клочке берега? Если душа ваша раздвоилась и заскулила, сверните скорей на Екатерининскую, дойдите до набережной, станьте у подножия герцога Ришелье... Какой великолепный и успокаивающий вид! Бронзовый герцог, в римской тоге, приветливым и важным жестом указывает на широкий, покрытый мглою порт. Вдали — подозрительные пески Пересыпи, направо — длинная стрела мола. А за ним на открытом рейде лежат серыми утюгами французские дредноуты. «Милости просим»,— как бы говорит герцог Ришелье, которому в свое время, лет сто двадцать пять тому назад, точно так же пришлось уходить с небольшим чемоданом из Парижа, от призрака гильотины на площади Революции.

Тридцать тысяч зуавов, в красных штанах и фесках, и греков — в защитных юбочках и колпаках с кистями,— выгружено в одесском порту. В ста верстах от города, на фронте, против босых, голодных, вшивых красных частей,— утверждены тяжелые орудия, ползают танки, кружатся аэропланы. Нет, нет, никакие сомнения неуместны, дни безумной Москвы сочтены. Возвращайтесь смело на Дерибасовскую. А если усилится ветер с моря — сверните в кафе Фанкони.

Прогулявшись в свое удовольствие по Дерибасовской улице, Семен Иванович Невзоров уселся за столиком у Фанкони и, не снимая шляпы и пальто, чтобы их впопыхах не сперли, принялся оглядывать посетителей, прислушиваться к разговорам.

В табачном дыму вертелась стеклянная дверь, впуская и выпуская деловых людей, набивавшихся в этот час в кофейню со всего города. На лицах у дельцов было одно и то же выражение — смесь окончательного недоверия ко всякому жизненному явлению,— будь то французский броненосец или накладная на вагон волоцких орехов,— и, вместе, живая готовность купить и быстро продать таковое явление, получив разницу.

Над столиками, среди котелков и котиковых шапок, взлетали руки с растопыренными пальцами, метались потные лица, надрывающие голоса перекрикивали шум:

...«Сто бидонов масла...» — «Не крутите мне голову с аспирином».— «Продам доллары, куплю доллары».— «Послушайте, что вы мне лезете в карман?» — «Интересуетесь персидской мерлушкой или вы не интересуетесь?» — «Продам колокольчики».— «Слушайте, колоссальная новость: большевики взорвали Кремль».

Семен Иванович только усмехнулся презрительно: за несколько дней в Одессе, не нуждаясь в деньгах, он спокойно обследовал торговую и валютную биржу и выяснил, что в городе ничего решительно нет, ни товаров, ни денег, если не считать небольшого количества французской и греческой валюты, которую все время перепродавали одни и те же лица до четырех часов на углу Дерибасовской, а с четырех у Фанкони. В городе и у Фанкони торговали одними только накладными и считали это даже более удобным, чем торговать вещами: и весь магазин в кармане, и торговых расходов — только чашка кофе с пирожным.

По приезде Семен Иванович купил несколько тысяч франков «на всякий пожарный случай». Через несколько дней его начали осаждать предложениями — продать эти франки. Он только подмигивал. Тогда у Фанкони началось смятение, на Невзорова с ужасом оглядывались,— вот человек, который прячет товар и подмигивает. Франк взлетел на сто процентов. Но он и тогда отказался получить разницу и бросить франки снова на рынок, где уже с десяток дельцов пришли в ничтожество за неимением работы.

Одетый прилично, с кошельком, набитым разбойничьим золотом, с честным паспортом на имя греческого подданного, Семилапида Навзараки,— Семен Иванович безусловно верил в свою необыкновенную судьбу. Но теперь он уже не гнался за титулами, не швырял без счета денег на удовольствия.

Россия — место гиблое, так указывал ему здравый смысл. Всю ее разграбят и растащат до нитки, недаром же,

в самом деле, на рейде дымят на весь рейд, жгут уголь союзнические корабли. Нужно торопиться рвануть и свой кусок. Невзоров поджидал случая, чтобы произвести короткую и удачную операцию с каким-нибудь высоковалютным товаром, и тогда, ни на что больше не льстясь, бежать навсегда в Европу. Там с хорошими деньгами,— он это знал по синематографу,— жизнь — сплошное наслаждение.

Таковы были мечты Невзорова, умудренного опытом. Помешивая кофе, он прислушивался к деловым спорам в кафе. Его заинтересовал хриповатый голос, предлагавший кому-то купить персидские мерлушки. Семен Иванович привстал даже, всматриваясь, и вдруг вместо продавца мерлушек увидел, через столик от себя, худощавое лицо в очках,— оно заставило его неприятно съежиться.

Вот уже несколько дней это лицо всюду попадалось ему: то на улице, оглянешься,— оно за спиной; то при выходе из магазина оно с усмешкой сторонилось и пропадало в толпе; то в кофейне поглядывало из-за котелков сквозь клубы табачного дыма.

Несомненно — лицо следило за ним. Он вспомнил: оно появилось именно после покупки французской валюты, когда Невзоров стал сразу знаменит в кафе. Но что этому лицу с острой бородкой, с непонятными глазами, прикрытыми голубыми стеклами, с наголо обритым, шишковатым черепом,— что этому дьяволу было нужно от Семена Ивановича?

Около Невзорова появился продавец мерлушек. Это был беспокойный человек, один из тех, кто через небольшие промежутки времени выскакивает в распахнутом пальто на ветер, добегает до угла, жестикулирует сам с собой и снова бежит в кофейню.

— Мерлушкой интересуетесь?

— Почем? — небрежно спросил Невзоров.

— Сто карбованцев шкурка.

— Товар или только накладная?

— Какая вам разница?

— Тогда идите к черту,— сказал Невзоров, отвернулся и у себя за плечом увидел лицо в очках; усмехаясь тонко, оно придвинулось вплотную к Невзорову: видимо, человек этот подъехал на стуле.

— Скажите,— спросил он необычайно внятно и подчеркивая слова с какой-то сатанинской выразительностью,— скажите, а сапожным кремом вы не интересуетесь?

Семен Иванович взглянул ему в зрачки, они были как точки, вот-вот проскочат сквозь голубые стекла. Семен Ива-

нович проглотил слюну,— почувствовал, что вопрос коварен и страшен, хотя касался всего-навсего сапожного крема.

И он не ответил словами, лишь помотал головой двусмысленно,— можно было понять ответ как угодно. Лицо извинилось и отодвинулось. Продавец мерлушек моргал от нервности, вытаскивая из рваного бумажника телеграфные и железнодорожные бланки. Но Семен Иванович, не слушая его больше, поднял воротник и вышел на улицу.

«Сколько раз, бывало, вот так — привяжется лицо поганое, жуткое, похожее на какую-то давно забытую дрянь, привяжется этакий Ибикус, и — пошло все кувырком». Так думал он, направляясь домой по сумеречным улицам. «Кто бы этот мог быть в очках? Не из шайки ли Ангела? Вернулись тогда на место битвы, пересчитали казну, заметили утечку и в погоню. Да, но при чем же сапожный крем? Странно. Ох, бежать, бежать, Невзоров...»

Семен Иванович подсчитал в уме, что осталось у него от разбойничьего золота: около четырех тысяч рублей. Не густо. Обернуться можно, конечно, за границей на эти деньги. А в голове засели проклятые мерлушки.

Да как же им и не засесть, подумайте только. Шкурка — сто карбованцев, то есть два рубля золотом. А если купить фальшивых карбованцев даже самой чистой работы, то и того дешевле. В Константинополе цена каракуля три английских фунта. Если вывезти, на плохой конец, две тысячи шкурок...

У Невзорова захватило дух. «Но как их вывезти из этого проклятого города? Разумеется, безопаснее всего на миноносце, под видом дипломатической вализы. Но чтобы получить вализу и заграничный паспорт, нужны знакомства. Итак, начнем с добрых знакомств».

Постепенно весь план деловой операции возник в воображении Семена Ивановича. Он не заметил даже, как некто, в надвинутой на лицо шляпе, перегнал его и вошел в тень ворот одноэтажной гостиницы, где квартировал Невзоров.

Звонок трещал где-то в пустоте, но швейцар не торопился отворять. На двери, обшитой снаружи и изнутри толстыми досками для защиты от налетчиков (их в те времена в Одессе работало двадцать тысяч душ, подавшихся на юг из северных городов), висел приказ градоначальника о тараканах. Семен Иванович каждый раз прочитывал его внимательно, даже не представляя себе, какое значение в его жизни должны сыграть эти насекомые.

Приказ был таков.

«Гостиницы, меблированные комнаты. Поступает много жалоб на вас, некоторые завели не только клопов, но и крыс, и даже тараканов... Иные придумали тушить электричество в полночь, зная, что у населения нет осветительных материалов. И все только и знаете, что прибавляете цены на все. Стыдно перед союзниками. Клопов, крыс, прусаков и русских тараканов и тому подобных никому не нужных обитателей уничтожить. Электричество давать всю ночь. Лично буду осматривать. Сами понимаете. Генерал-майор Талдыкин».

«Завтра пойду к Талдыкину, с ним, видимо, сговориться будет нетрудно»,— подумал Семен Иванович, входя в гостиницу. Опухший от сна швейцар, передавая ключ, внимательно вдруг оглянул Невзорова, но ничего не сказал, сопя ушел под лестницу.

Электрического света, несмотря на угрозы Талдыкина, все же не было в комнате. Семен Иванович зажег фитилек, плавающий в бочонке, в масле. По столу побежал таракан. «Ишь ты, рысак»,— подумал Семен Иванович и щелчком сшиб его на пол.

Несомненно, он тут же и навсегда бы забыл таракана и то, как обругал его рысаком. Но необыкновенная судьба, предсказанная ему на Петербургской стороне старой цыганкой, не позволила изгладиться из памяти этому насекомому. С Невзоровым произошло то же, что три века тому назад с великим Бенвенуто Челлини, который, сидя у очага, увидел в огне пляшущую саламандру в виде ящерицы и по детскому легкомыслию не обратил на это внимания, но его отец, старый Челлини, внезапно закатил сыну оглушительную пощечину, чтобы навсегда пригвоздить к его памяти образ духа огня.

Словом, сшибив таракана, Семен Иванович пошел положить шляпу и трость на комод и увидел, что ящики комода выдвинуты, чемодан раскрыт, вещи и белье переворочены.

Он подумал: кража! — и кинулся к потайному месту, где лежал мешочек с золотом. Но мешочек оказался цел. Из вещей ничего не пропало. И самое удивительное было вот что: на полу валялись вчера только купленные две банки с сапожным кремом — желтым и черным, крем из них был вывален на газетный лист.

Семен Иванович бросил газету и крем в умывальное ведро, задвинул все ящики и некоторое время стоял, пощипывая бородку, пожал плечами раз и другой... «Обыск несомненно... Но в чем дело?» Затем он подсел у стола к фитильку и высыпал из мешочка золото. На белую скатерть

падал с улицы водянистый свет фонаря. Пересчитывая золотые, Семен Иванович заметил, что у него из-за спины на скатерть выдвигается тень головы в шляпе. Он быстро обернулся. С улицы в окно глядело лицо в очках. Усмехнулось и бесшумно скрылось.

На следующее утро Невзоров проходил большим двором пассажа, что напротив Фанкони. Он чувствовал себя неуютно после вчерашней ночи. В пассаже шатались зуавы в красных штанах, скаля африканские зубы на одесситок. Престарелые дамы с исплаканными лицами продавали спички. Пробежал в аршин ростом газетчик, обмотанный мамкиными платками: «Генерал д'Ансельм решил исполнить свой долг»,— кричал он отчаянно.— «Кровавый бой на станции Раздельной, колоссальные потери большевиков». У мануфактурного магазина два очевидных налетчика в английских шинелях лениво спорили об ограблении. Кучка спекулянтов волновалась под набухшими почками акации. Дальше — кавалерийский офицер кричал на пучеглазого кавказца, продающего кедровые орешки: «Пшел, здесь не разрешено торговать». Но пучеглазый только ухмылялся. Тогда ловко, как кот, офицер набил ухмыляющуюся морду, и она замоталась, зашмыгала слезами.

В общем, все было, как обычно, на дворе пассажа. В окно литературной кофейни «Восточные сладости» виднелись помятые лица журналистов. Вдруг кто-то шибко застучал в стекло. Семен Иванович обернулся,— ему махали рукой. Он вошел в кофейню и увидел за столом журналистов — Ртищева: красный, расстегнутый и веселый.

— Граф, жив! Иди сюда, арап несчастный, дорогой,— закричал он и прижал губы Невзорова к своему огромному бритому лицу,— садись, знакомься... Это все, брат, журналисты, «Осваг», мозг белой армии... Да как же ты все-таки жив?! А я из Москвы в санитарном поезде, работал за фельдшера. Чудеса! Сдался в плен две недели назад... Решил разбогатеть! Я уже помещение нашел для клуба в мавританском вкусе. Пять генерал-майоров и один полный генерал приглашены почетными старшинами. Одесса дрогнет, французы, греки дрогнут, дредноуты закачаются — какую мы развернем игру. Господа,— он схватил направо и налево от себя журналистов,— да посмотрите вы на графа — конфетка, а не человек. Что пережили вместе — волосы дыбом. Первое знакомство — под октябрьскими пушками,— дом дрожит, а я графа чищу в девятку, выпотрошил, как цыпленка, пятак твою распротак... Значит, делаем дела?

— Нет,— сказал Невзоров суховато,— с клубом я связываться не хочу,— уволь.

— Вот тебе — лук, чеснок. Ты что же — разбогател?

— Может быть. Сейчас я занят одной важной операцией. Кроме того, плохо верю в прочность Одессы.

— Не веришь? Так, так, так,— сказал Ртищев и поглядел на журналистов. Те криво усмехнулись, переглянулись. За столом сидело восемь человек, и девятый, в дальнем конце стола, спал, уткнув лицо в руки и прикрывшись шляпой.

— Так, так, так,— повторил Ртищев,— а четыре дредноута, а тридцать тысяч французов? В это вы тоже не верите, граф?.. Ради кого? — Он размахнул руками, журналисты подались в стороны.— Ради нас, плотвы несчастной, чтобы мы, плотва и шантрапа, спокойно попивали кофеек,— французы, потомки маркизов и философов, благороднейшая нация, сидят в окопах и проливают свою драгоценнейшую кровь... Какое же ты имеешь право, сукин сын,— тут он нагнул побагровевший череп и заскрипел золотыми зубами,— сомневаться, не верить в прочность Одессы. Ты — большевик!..

Журналисты, все восемь человек «Освага», впились глазами в Невзорова. Девятый, спящий, пошевелился под шляпой.

— Ничего я не большевик,— ответил Невзоров,— если уж на то пошло, я — анархист, в смысле идейном... Я — за свободу личности. Если вам нравится сидеть под охраной французов, пить кофе,— пожалуйста. А я уезжаю за границу. К черту, к черту...

Он рассердился, насупился, ломал коробку от папирос. Его удивило особенное молчание, возникшее за столом. Он поднял глаза. Девятый, спавший под шляпой, не спал, сидел, пощипывая бороду. Это было то лицо в голубых очках.

Невзоров ахнул, стал втягивать голову в плечи. Лицо в очках тонко усмехнулось:

— Все это шутки, *граф*. Вы среди шутников. Кто же заподозрит вас в чем-либо *серьезном?*

Через несколько минут, на углу Дерибасовской, вчерашний продавец каракуля подошел к Семену Ивановичу и предложил пойти в порт, посмотреть товар. Поехали на извозчике. У одного из железных пакгаузов разыскали сторожа, дали ему сто карбованцев, и он разрешил осмотреть

пакгауз. Среди огромных кип сукна, холста, кожи, консервов отыскали три, обитые цинком ящика со шкурками.

— Позвольте, кому же все-таки принадлежит товар? — спросил Невзоров.— По всей видимости, этот каракуль — казенный.

У продавца между бородой и усами обозначилось огромное количество врозь торчащих зубов. Оттеснив Невзорова от сторожа, он зашептал:

— Что значит — товар казенный? На нем написано, что он — казенный? Это персидский каракуль, вырезанный из живых овец,— чем же он казенный? Дайте сторожу еще двести карбованцев и дайте чиновнику тысячу карбованцев,— тогда уже сам бог не скажет, что каракуль казенный.

— Сто карбованцев шкурка?

— Ой, что вы говорите! Я сам плачу сто десять карбованцев,— чтобы мне так жить!

Наконец сторговались за полтораста. Невзоров дал задаток, велел товар принести в гостиницу. Теперь нужно было наивозможно скорее получить заграничный паспорт и — бежать.

Весь остаток дня Семен Иванович провел у Фанкони, нащупывая в беседах с особо тертыми личностями ходы к высшим властям. Выяснилось, что, не в пример прошлым временам, действовать нужно смело, честно и отчетливо: идти прямо в канцелярию управляющего краем, обратиться к начальнику канцелярии, генералу фон-дер-Брудеру, просто и молча положить ему на стол, под промокашку, двадцать пять английских фунтов, затем поздороваться за руку и разговаривать. Если по смыслу разговора сумма под промокашкой окажется мала, то фон-дер-Брудер на прощанье руки не подаст, тогда назавтра опять нужно положить двадцать пять фунтов под промокашку.

Возвращаясь домой, Семен Иванович на свободе предался размышлениям о лице в голубых очках и о таинственной связи его с сапожным кремом,— но тут в голове начался такой беспорядок, что он махнул рукой: чушь, мнительность, воображение... Семен Иванович, как это уже давно выяснил себе читатель, был человек мечтательный и легкомысленный и, как все мечтательные и легкомысленные люди, близоруко шел навстречу опасности.

И на этот раз опасность, страшнее предыдущих, смертельная и неожиданная, ждала его у ворот гостиницы.

Тою же ночью на окраине города, по темному и пустынному Куликову полю, шли двое, разговаривали вполголоса:

— Ты что же — прямо сейчас в Испанию?

— Наш центр в Мадриде. Там — проверка мандата.

— Не понимаю тебя, Саша... Все это — ужасно глупо, романтика какая-то.

— Э, просто тебе завидно. Через две недели, подумай: Средиземное море, Архипелаг, роскошные страны, наслаждение.

Разговаривающие остановились спиной к ветру, зажгли спичку. Огонек осветил бритое бабье лицо с трубкой и другое лицо — смуглое, юношеское, улыбающееся. Закурили. Пошли дальше. Человек с трубкой сказал:

— Нет, мне не завидно. Здесь — грязь, голод, кровь. Борьба, страшная работа, может быть, завтра — виселица. А вот — поди же ты — не завидно. Есть вещи и дороже и выше наслаждения.

— Не для наслаждения еду,— сам знаешь...

— Знаю, и все-таки это — голая романтика... Хотя ты и собираешься...

— Тише...

Пересекая им дорогу, в темноте прошел кто-то,— тяжело протопали сапоги. Когда шаги затихли, человек с трубкой сказал:

— Значит, ты совсем покончил с нами? Жалко.

— Я и не начинал с вами. Сочувствовал. Ну, октябрьский переворот — я еще понимаю: драка у Никитских ворот,— тра-та-та. А потом — пайки, коллективы, вши, война. Будни. Не хочу, не принимаю. Не запихнешь меня в коллектив. А у нас — личность, красота борьбы, взрыв.

— Ну да, для хорошего буржуазного пищеварения анархизм — как красный перец во щах. Эх, Саша, Саша!..

— Нас много, брат,— больше, чем думают... Да, кстати... Хотя мы и враги теперь, окажи последнюю услугу: за мной слежка, до моего отъезда я тебе передам четыре жестянки с сапожным кремом...

Тяжелые шаги снова и неожиданно затопали совсем близко. Приближалось несколько человек.

Тот, кого называли Саша, схватил приятеля за локоть. Оба остановились. Из темноты выросли трое рослых в солдатских шинелях. Крикнули грубо:

— Что за люди?

— Покажь документы.

Человек с трубкой шепнул: «Спокойно, это — варта»[1]. Но спутник его отскочил, рванул из кармана револьвер. Рослые бросились к нему, сбили с ног прикладами и, матерно ругаясь, шумно дыша, связали руки, пинками заставили встать и повели.

Во время этой возни человек с трубкой скрылся.

Почти такая же сцена в тот же час произошла в другой части города.

Невзоров, подходя к своей гостинице, внезапно был схвачен двумя выскочившими из-под ворот молодыми людьми в золотых погонах.

Семен Иванович вылупил глаза, разинул рот, но рот ему тут же заткнули тряпкой. Потащили наискосок к извозчику, повалили поперек пролетки. Молодые люди сели, уперлись каблуками в бока Семена Ивановича, и извозчик на резинках погнал по пустынным улицам.

Все это произошло в несколько секунд. Все же Невзоров успел заметить в тени под воротами третьего человека,— он стоял, подняв на высоту плеча револьвер, поблескивая очками.

Семена Ивановича втолкнули в сводчатую комнату, в затхлый махорочный воздух. Дверь захлопнули. Он подошел к клеенчатому дивану и сел. Напротив у стены, у стола, сидел человек в изжеванной шинели. Над ним, под облупленным сводом, горела лампочка в пять свечей. Человек не спеша копал в носу, глядел на палец, затем вытирал его о подмышку. У него было веснушчатое, широкоскулое лицо, с острым носиком торчком, и закрученные усики.

— Скажите, пожалуйста, где я нахожусь? Я ничего не могу понять,— спросил у него Невзоров.

— А вот в зубы дам — поймешь.

— Все-таки я же должен знать, за что меня арестовали.

Человек в изжеванной шинели уперся обеими руками о стол и начал приподниматься.

Невзоров больше не продолжал беседы. От волнения и скверного воздуха он ослаб. Подобрал ноги, прилег и завел глаза. Но сейчас же со стоном открыл их. Человек у стола продолжал закручивать усики.

Вдруг загрохотала дверь. Трое в солдатских шинелях впихнули в комнату ощеренного от злости юношу. Он стоял некоторое время, вытянувшись, в щегольской бархатной куртке. Через смуглую щеку у него шла кровавая царапина. Затем решительно сел на клеенчатый диван.

---

[1] Варта — гетманская милиция.— *Примеч. А. Н. Толстого.*

— Сволочи,— сказал он и поморгал пышными ресницами. Невзоров посматривал искоса,— где-то он видел этого человека, удивительно знакомое лицо... Рот, как у девушки... Не в кафе ли у «Бома», на Тверской? Ну, конечно,— вместе с покойной Аллой Григорьевной и косматым человеком, похожим на бабу...

— Простите, вы не граф Шамборен, художник?

Юноша, точно рысь, повернул голову:

— А! Невзоров!

— Виноват,— поспешно заявил Семен Иванович,— настоящая моя фамилия Семилапид Навзараки. Невзоров — это псевдоним. Представьте: схватили на улице, сижу здесь, ничего не понимаю.

— Поймешь,— сказал человек у стола,— у нас втолкуют.

На этом разговор прервался. Послышался звон шпор. Вошел ротмистр, великолепный блондин в пышных галифе. Трогая мизинцем пробор, он спросил нараспев, как глубоко светский человек:

— Кто здесь — именующий себя Семилапидом Навзараки?

Семен Иванович вскочил, всем своим видом изображая величайшую благонамеренность, и пошел к дверям, где с боков к нему примкнулись часовые.

Матерый полковник,— видимо, из бывших жандармских,— задумчиво курил, свет хрустального абажурчика поблескивал на крепких ногтях его. Невзорова втолкнули в кабинет. Он остановился близ двери, поклонился. Полковник не обратил на него решительно никакого внимания, курил толстую пушку, полузакрыв глаза. Только нежно под столом зазвенела шпора.

Затем негромко, будто обращаясь к невидимому собеседнику, полковник сказал:

— В первый раз едете в Испанию? Никогда не изволили там бывать, граф?

У Семена Ивановича задрожала челюсть, ужас пошел по коже. Он оглянулся,— с кем это разговаривает полковник? Облизнул губы, промолчал. А полковник тем временем повернул львиное лицо, украшенное седеющими подусниками, и, устремив чистый, холодный взгляд поверх головы Семена Ивановича, сказал раздельно:

— Имя, отчество, фамилия?

— Навзараки, Семилапид,— с трудом ответил Невзоров.

— Зачем, ну, зачем, граф, так унижать свое достоинство? Мы же знаем, что вы не Семилапид Навзараки.— И вдруг глаза полковника — яростные, выпрыгивающие — воткнулись в глаза Невзорову, просверлили мозг до затылка... Семен Иванович попятился. Глаза пришили его к стене и перескочили на лист чистой бумаги. Полковник обмакнул перо и записал:

— «Навзараки. Года? 37. Место рождения? Херсон. Занятие? Торговля». Превосходно.

Он осторожно поднес к губам папиросу:

— Какого именно рода товар изволите продавать?

— Каракуль.

— Превосходно. Не желаете ли присесть? Нет, сюда, к столу. Так вы говорите, что торгуете сапожным кремом?

— Какой там сапожный крем! — завизжал Невзоров.— Ничего я не знаю про сапожный крем...

Полковник только поднял брови и продолжал писать красивым, длинным почерком. Семен Иванович, почти бессознательно, пошарил в жилете, достал две бумажки, по пяти английских фунтов каждая, привстал и положил их под угол промокашки. Не оборачиваясь, полковник сказал вежливо:

— Мерси.— Положил перо и закурил новую пушку.— Вас еще не подвергали личному обыску? Эта проклятая революция порядком потрепала наш аппарат. В особо деликатных случаях я доверяю одному себе. Разрешите поинтересоваться содержанием карманов.

Он пересчитал деньги Невзорова, вложил в конверт и запечатал: «Будьте совершенно покойны». Затем осторожно развернул паспорт:

— Гм, прекраснейшая работа,— это фальшивомонетчики с Пересыпи. Дорого заплатили? Ну-с,— это все ваши документы?

— За последнее время неоднократно бывал ограблен, жестоко пострадал, ваше превосходительство.

— Странно. Как же вы, граф, едете без мандата на такую ответственную и ужасную работу?

— О чем вы?.. На какую работу?..

— Я спрашиваю,— тут брови полковника слегка сдвинулись,— где мандат? Сокрытие лишь ухудшит ваше положение.

Тогда Невзоров, прижимая к груди трепетную руку, пролепетал:

— Ваше превосходительство, богом клянусь — вы принимаете меня за кого-то другого.

— Э, не будем играть в прятки. Мы оба светские люди, граф, не правда ли? Давайте — по-английски, по чести, начистоту.

— Я же не граф, я бухгалтер... Ваше превосходительство, я — Невзоров...

И тут Семен Иванович, захлебываясь словами, принялся описывать свои приключения, начиная со встречи с цыганкой на Петербургской стороне. Полковник по мере его рассказа все сильнее хмурился. Полированные ногти его забарабанили гимн. Шея наливалась кровью. Внезапно ужасным голосом он проговорил:

— Где четыре жестянки с сапожным кремом?

Невзоров ударился о спинку кресла и глядел, как кролик, в ледяные глаза. Принялся креститься: «Ей-богу, с ума сойду с этим сапожным кремом, ничего не знаю...»

Держа Невзорова на прицеле глаз, полковник позвонил. Вошел ротмистр, звякнул шпорами. Полковник сказал:

— Штучка оказалась хитрая.

— Прикажете отвести его в операционную, господин полковник?

Изо всего непонятного фраза эта была самая страшная. Невзоров затрепетал в кресле. Его крепко схватили за локти, повели по грязным коричневым коридорам, где дули сквозняки, по лесенкам, под землю и втолкнули в темное помещение. Он сел на земляной пол и таращил глаза в темноту. Здесь приторно пахло тлением и сыростью.

Постепенно с левой стороны появилось какое-то бледное, овальное пятно. Скосившись направо, он различил второе пятно. Так и есть — темные глазницы и черты страшного оскала. «Вот он, проклятый, символ смерти, говорящий череп Ибикус...» Невзоров зажмурился. Из тела выступал ледяной пот. Под сердцем затошнило, и сердце перестало биться.

Он чувствовал, как его осторожно трогали, ощупывали лицо. Когда он снова стал различать звуки,— Ибикусы в стороне глуховатыми голосами разговаривали:

— И сегодня он ничего не добьется.

— Ты терпи, слышишь...

— А если он по делу Шамборена опять станет пытать,— говорить?

Семен Иванович слабо вскрикнул и сел. Голоса замолчали. Теперь он видел скудный свет сквозь подвальное, заложенное кирпичом окошко под потолком и на полу прислонившиеся к стене две смутные фигуры; они повернули к нему измученные лица,— нет, нет: это были люди, не

Ибикусы. Он подполз к ним, всмотрелся, сказал шепотом:

— Меня допрашивали насчет сапожного крема...

— Анархист? — спросил левый из сидевших у стены.

— Боже сохрани. Никакой я не анархист. Я просто — мелкий спекулянт.

— Цыпленок пареный,— сказал правый у стены, с ввалившимися щеками.

— Растолкуйте мне, хоть намек дайте,— что это за крем такой, за что они меня мучат?..

— Пытать будут,— сказал другой, бородатый.

— Ой! Не виноват! Нельзя меня пытать. За что пытать? Я ничего не знаю.

Семен Иванович замотался, забился, заскреб землю. Бородатый, уже мягким голосом, сказал ему:

— Французская контрразведка получила сведения: через Одессу должен проехать в Европу крупный анархист с мандатом на организацию взрыва Версальского совещания, или, черт их знает, что они там вздумали взорвать. Огромные суммы у него, брильянты, спрятаны в жестянках с сапожным кремом. Французская контрразведка потребовала от белой контрразведки арестовать этого артиста. Вот они и сбесились, ищут его по всему городу. Поняли?

— Имя? имя его? как его зовут? — уже не голосом спросил, а зашипел, захрипел Невзоров.

Но оба человека у стены окаменели, замолчали на дальнейшие вопросы. Он отполз от них и прилег на бок. Соображение его бешено работало. Он сопоставлял, вспоминал, он догадывался об имени своего двойника. Ибикус-хранитель и на этот раз, видимо, спасет его.

Мутный свет яснел между кирпичами в окошке. Бородатый и безбородый в тоске уткнулись лицом в колени. На земле наступало утро. И вот за дощатой перегородкой, в том же подвале, послышался скрип двери, голоса, звон шпор. Сквозь длинные щели, слепя глаза, проникли желтые лучи лампы. Боковая, в перегородке, дверка распахнулась, и вошли ротмистр и двое в голубых французских куртках.

С минуту они приглядывались к темноте. Затем все трое подошли к безбородому. Ротмистр ткнул его ножнами шашки. Он не пошевелился. Они молча схватили его и потащили за перегородку. Он растопыривал ноги, упирался. Бородатый крикнул ему:

— Молчи!

Семену Ивановичу достаточно было только повернуть голову, чтобы увидеть, что делается на той половине за перегородкой. И он прижался к щели и увидал.

На кухонном столе сидел полковник, помахивая наганом. Левая рука его, в перчатке, упиралась в тугое бедро. От резкого света лампы-молнии, поставленной на подоконник заложенного кирпичами окна, от теней, бросаемых подусниками,— львиное лицо его казалось растянутым в веселую улыбку.

Безбородого потащили к нему, поставили. Это был костлявый, большой парень в рваном пальто. Полковник что-то тихо сказал ему,— согнутый палец задрожал на бедре. Безбородый переступил босыми ногами. По взъерошенному затылку было видно, что он не отвечает на вопросы.

Тогда рука в перчатке соскользнула с полковничьего бедра, схватила парня спереди за волосы, подтащила голову к столу.

— Скажешь, скажешь,— повторил полковник и рукояткой нагана ударил безбородого в поясницу, твердо, с оттяжкой стал бить его в почки. Парень замычал и осел. Полковник ногой отпихнул его:

— Следующего!

Из-за перегородки вывели бородатого. Он шел, наступая на полы солдатской шинели,— голова закинута, рыжая борода — задрана. Семен Иванович, глядевший в щель, ужаснулся,— что сейчас будет?

— Ну-с, господин коммунист,— полковник поманил его пальцем,— поближе, поближе. Как же мы с вами сегодня будем разговаривать — терапевтически или хирургически?

На эти слова ротмистр гулко хохотнул: «Хо-хо-хо!» Бородатый покосился на то место, где на полу лежал его товарищ,— у того из носа и рта пузырями выходила кровь. Невзоров видел, как у бородатого задрожало лицо. Он торопливо начал говорить...

— Молчать! — закричал полковник, вздернул подусники. Но бородатый только втянул голову и глухо, как из бочки, матерно заругался. К нему сзади подошел ротмистр. Бородатый вдруг замолчал. Ахнул. Упал на бок. Ротмистр, нагнувшись, что-то делал над ним.

— Следующего! — крикнул полковник.

Семен Иванович не помнил, как очутился перед его побелевшими глазами,— взглянул в зрачки.

— Я все вспомнил,— пролепетал он,— не губите невинного... Я могу указать, кого вы ищете... Знаю в лицо: брюнет, смуглый, двадцати пяти — двадцати семи лет... Это

граф Шамборен... Нас арестовали одновременно... Сидели на клеенчатом диване... Я же блондин, ваше превосходительство... У вас должны быть приметы...

Внезапно зрачки у полковника дрогнули, ожили и расплылись во весь глаз... Рука его полезла в карман френча, вытащила вчетверо сложенную бумажку, развернула. Снова зрачки, как точки, вонзились в Семена Ивановича. Полковник грузно соскочил со стола.

— Кто там еще в комендантской? Привести! Что думает контрразведка? Хватает блондинов, когда сказано: брать брюнетов...

Семен Иванович был переведен из операционной наверх, в одиночную камеру, и после всего пережитого забылся каменным сном. Но ненадолго. Из этой каменной темноты измученный дух его был восхищен отвратительными сновидениями... Лезли какие-то рожи, хари, кривлялись, мучили... И он бегал от них на ваточных ногах по дощатым коридорам и бился, царапал ногтями проваливающуюся под ним землю. Пытался кричать, и крик завязал в глотке...

Все же удалось закричать. Он проснулся. Отер холодный пот с лица. Сел на койке. Сквозь пыльное, затянутое паутиной окно и ржавую решетку светил день. Со стен висели клочки обоев. Около койки на табурете сидел господин в голубых очках,— щипал бороду: то самое лицо, преследователь.

— С одной стороны, вы рискуете быть повешенным,— сказал он вежливо,— с другой стороны, вас не только могут выпустить на свободу, но снабдить заграничным паспортом и вализой.

— Согласен,— прошептал Семен Иванович, от слабости снова ложась на койку.— Что я должен сделать для этого?

— Превосходно. Моя фамилия — Ливеровский. В нашей работе бывают ошибки, надеюсь, вы на меня не в претензии. Кстати,— каракуль вам доставили, он у вас в номере. Вот ключ от двери, вот мешочек с золотом. Сегодня ночью нам придется побегать по городу.

— Вы хотите сказать, что Шамборен...

— Вы угадали,— удрал из комендантской. Мы нашли на диване дурака сыщика, полузадушенного, во рту — тряпка. Шамборен скрылся. К счастью, он потерял вот это,— Ливеровский осторожно вынул из кармана бумажник, завернутый в газету,— теперь мы уверены, что это был Шамборен. Вы единственный человек, кто его знает в лицо. Ну, вставайте, едем в Лондонскую гостиницу обедать.

Так судьба снова вознесла Семена Ивановича. Он сделался нужным и опасным лицом при областном правительстве. Пятьсот шкурок каракуля, туго забинтованные в полотно, лежали у него в чемодане. Полковник обещал заграничный паспорт, как приз за поимку Шамборена. Перспективы снова раздвигались. Тревожил его только один разговор с Ливеровским, когда в сумерках они сидели на пустынной стрелке мола, наблюдая за проходившими лодками. Ознакомившись с подробностями прошлой жизни Семена Ивановича, Ливеровский, видимо, преувеличивал его способности. Он говорил:

— Бросьте мещанские предрассудки, идите работать к нам. Бывают времена, когда ценится честный общественный деятель или — артист, художник и прочее. Теперь потребность в талантливом сыщике. Я не говорю о России,— здесь семнадцатый век. Политический розыск, контрразведка — мелочи. Проследить бандита? Ну, вон возьмите, идут двое знаменитостей: Алешка Пан и Федька Арап. Кто третьего дня вычистил квартиру на Пушкинской, барыне проломал голову? — они, Алешка и Федька... (Бандиты, проходя по молу, степенно поклонились Ливеровскому, он приложил палец к шляпе.) Этих выслеживать, ловить — только портить себе чутье. На Пересыпи у них штаб с телефонной связью. На днях меня приглашали туда на именины к атаману. Обывательщина. Иное дело работать в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке. Там борьба высокого интеллекта — высшая школа. Наша организация разработана гениально, мы покрываем невидимой сетью всю Европу. Мы — государство в государстве. У нас свои законы долга и чести. Мы работаем во враждующих странах, но сыщик сыщика не предаст никогда. Мы выше национализма. У нас имеются досье обо всех выдающихся деятелях, финансовых и политических. Пятьдесят процентов из них — дефективные или прямо уголовные типы. Любопытно необыкновенно. Знаменитый парижский сыщик Лару в своей брошюре «О взломе стальных касс» утверждает: «Человек рождается преступником. Понятие о священном праве собственности есть продукт длительного воспитания, которое кастрирует природную склонность к преступлению. Война разрушила моральное воспитание. Массы людей не успевают подвергнуться ему, проходят мимо Школы добродетели. Мы наблюдаем ужасную картину: в центрах Парижа бродят элегантно одетые толпы дикарей преступников. Они сдерживаются мощной рукой полиции. Но с каждым годом толпы увеличиваются. И я предвижу время, когда рука эта станет бес-

сильна, и тогда — штурм на цитадель Права...» Нет, нет, идите к нам, Семен Иванович. Нужно чувствовать эпоху: ударно-современный человек — это сыщик. Вы должны быть посвящены. Я это вам устрою. Мы, так сказать, все кровные братья. А кроме того, предупреждаю: полковник — человек жуткий,— если попытаетесь от нас теперь отвязаться — не поставлю на вас и десяти карбованцев. (Ливеровский вытянул тонкую шею, всматриваясь в голубоватую мглу над тихой, как масло, водой. Между зелеными и красными огоньками поплавков, направляясь с внешнего рейда в гавань, скользила лодка.) Я по образованию филолог, был оставлен при Петербургском университете. Но, подхваченный вихрем... Вы хорошо видите лицо того, кто гребет?..

Семен Иванович различил на корме лодки бритого, в широкополой шляпе, человека с трубкой. Другой, курчавый, сильно греб веслами. Вот повернул голову. «Он!» — вскрикнул Невзоров. Лодка прошла за фонарем поплавка и растаяла во мгле, напитанной желтоватыми огоньками набережной.

Ливеровский и Семен Иванович изо всей силы побежали по молу к берегу. Но поиски и расспросы были напрасны в этот вечер.

«А что ж,— раздумывал Семен Иванович,— может быть, Ливеровский и прав, и я сильно поотстал от Европы. За что ни схватись в этой проклятой России,— в руке кусок гнилья: старый мир — труп и призрак. Действительно, надо идти в ногу с эпохой. Контрразведка, шпионаж — гм! Найти крючок под какого-нибудь такого Авраама Ротшильда — гм! А люди — мошенники, он прав,— бандит на бандите. Надо быть дураком, чтобы стесняться в наше время. Но только про какое *испытание* болтает Ливеровский? А между прочим, плевать,— не удивишь».

Так рассуждал сам с собою Семен Иванович перед бутылкой шампанского в ресторане клуба «Меридионал», поджидая Ливеровского.

Здесь пировал цвет одесского общества. Шумели, чокались, рассказывали кровавые истории о боях и расправах, клялись и спорили, лили вино на смятые скатерти.

В сизых слоях вальсировал с полуобнаженной красавицей французский офицер в черном мундире,— в четком звоне шпор и шелесте шелковой юбки крутились, поворачивались то бледный, полуобморочный профиль красавицы, то брильянтовый пробор и шикарные усики офицера. Кончили,

сели. «Браво, бис!» — закричали ото всех столов. «За Францию!» — и зазвенели разбитые бокалы.

Перед оркестром выскочил жирный грузинский князь с эспаньолкой, выхватил кинжал: «Лезгинку в честь Франции»,— и полетел на цыпочках, раздувая рукава, блестя кинжалом. «Алла верды!» — закричали женские голоса.

Красно-коричневый, в порочных морщинах, румын-дирижер заставил петь «Алла верды» весь ресторан и сам ревел коровьим, осипшим голосом, лоснясь от пота.

Здесь гуляла душа, завивалось горе веревочкой. Даже Семен Иванович ногтем раздвинул бородку надвое: он заметил, как одна шатеночка, растрепанная, очень миленькая, в коричневом платьице, смущенно улыбаясь оттого, что ее плохо держали ноги, присаживалась то к одному, то к другому столу: посмотрит в лицо внимательно и спрашивает: «О чем вы думаете?» И, не получив ответа, слабо махает ручкой.

Так она подошла к Невзорову и детскими, немного косящими глазами долго глядела на Семена Ивановича. Он предложил бокал шампанского и заговорил любезно. Она, будто слыша слова из-под воды, спросила, запинаясь:

— О чем вы думаете, скажите?

Взяла бокал двумя худенькими пальцами, но расплескала, поставила:

— Вы все какие-то странные. Я ничего не понимаю. О чем вы думаете все? Гляжу и не понимаю. А вам разве не страшно? (Она тихонько засмеялась.) Голова кружится... какие бессовестные — напоили. Недобрые, чужие. Вы знаете,— а я здесь одна. Папа пропал без вести, мама осталась в Петербурге, не хотела расставаться с квартирой. А я уехала с нашей студией. (За стол в это время сел Ливеровский. Она, приоткрыв рот, долго глядела ему в голубые стекла очков.) Мы эвакуировались, эвакуировались — так и растеряли друг друга.

— А скажите,— спросил Ливеровский,— вы не знаете, случаем, где сейчас такой актер — Шамборен?

— Он здесь,— лицо молодой женщины стало нежным от улыбки,— но он же не актер,— художник. Ну, он такой чудный.

— Мне поручено во что бы то ни стало разыскать его на юге, передать одно письмо... Так вот как бы...

Улыбка сошла, и две морщинки легли у губ молодой женщины. Снова, приоткрыв рот, она принялась глядеть в лицо то Ливеровскому, то Невзорову, будто спрашивая: «О чем думаете?» Вздохнула, подперла голову худенькой

рукой, осыпанной, как просом, родимыми пятнышками.

— И опять все то же,— сказала она,— вы все убийцы. Скучно с вами.

Ливеровский весело засмеялся:

— Вот тебе на. Кого же мы собираемся убивать? Вот чудачка!

— Нет, я не чудачка, вы не смеете меня оскорблять,— она поднялась,— все только и думают про убийство. У всех глаза, как у мертвых... До чего тяжело, неприятно... так грустно... Прощайте...

И она пошла, пошатываясь, между танцующими — к вешалке. Ливеровский подхватил ее под локоть и опять заговорил о письме, о Шамборене. Но она вырвала у него свою руку и сердито что-то шептала про себя, застегивая дешевенькое пальтецо.

Ее пропустили вперед, подождали, когда она завернет за угол, и пошли вслед. Улица была безлюдна. Сквозь тоскливые облачка лился жиденький лунный свет. Молодая женщина шла по тротуару, помахивая рукой, иногда приостанавливалась: должно быть, сердилась, разговаривала сама с собой. Потом она свернула в переулок. Ливеровский и Невзоров стали за углом, высматривая.

Она вышла на середину переулка, напротив старенького домика, и долго глядела на темные окна второго этажа. Потом вернулась на тротуар и села на тумбу.

Когда Семен Иванович, один, осторожно прошел мимо нее,— она горько плакала. Он пожал плечами, поскреб бородку:

— Позвольте, я провожу вас домой, сударыня.

— Убирайтесь!

Он вернулся за угол к Ливеровскому. Они еще долго слышали, как она плакала в пустынном переулке, сморкалась.

— Она к Шамборену в окошки смотрела, они в связи,— сказал Ливеровский,— я это понял в ресторане. Но — птичка улетела, она адреса его не знает. Идите и проследите ее до дому. А я поставлю моих агентов наблюдать за этим переулком.

Предположения Ливеровского оказались правильными. На следующий день молодая женщина два раза была в переулке и смотрела на окна. Дворник этого дома удостоверил, что дней пять тому назад действительно из верхней квартиры выбыл молодой человек, курчавый, смуглый,— ушел с чемоданом и паспорта, который отдавал прописывать (на имя какого-то Левина), с собой не взял.

За молодой женщиной установили тщательный надзор. (Личность ее была выяснена: артистка кабаре, Надя Медведева, 21 год.) Но она, видимо, так же как и они, искала Шамборена по городу. Несколько раз ее видели вместе с бритым человеком, курившим трубку. Проследили и его: оказался — московский журналист Топорков. Ливеровский предполагал, что Шамборен скрывается где-нибудь в «малинах» — портовых ночных притонах. Установили слежку за лодками и судами. Третью ночь Ливеровский и Невзоров обшаривали сомнительные закоулки порта. Агенты сторожили вокзал и трамвайные пути на Малом и Большом Фонтанах. Была опасность, как бы Шамборен не пошел сухим путем через Румынию. И неожиданно, противно всем законам вероятия, его увидели в 4 часа дня на Дерибасовской.

Он стоял на углу, на ветру, и, нетерпеливо раздув ноздри, слушал, что говорила ему Надя Медведева, державшая в обеих руках его руку. Она умоляла его о чем-то.

Вот он сильно встряхнул ее руки, намереваясь отойти. Она вцепилась ноготками ему в плечи, в бархатную куртку, стремительно поцеловала его в губы. Прохожие засмеялись, оглядываясь. И в это время Шамборен встретился глазами с Невзоровым, увидел голубые очки Ливеровского и, точно его и не было на углу,— исчез. Только кое-где, по направлению к набережной, заволновалась толпа.

Погоня из милицейских сыщиков потоком скатилась по каменной герцогской лестнице в порт и рассыпалась по «малинам». В час ночи была допрошена Надя Медведева, арестованная тогда же на углу Дерибасовской. Она отвечала Ливеровскому дерзко:

— Никто не имеет права, а вы тем более, вмешиваться в мою личную жизнь. Сашу Шамборена я люблю и всем это скажу. Зачем он сюда приехал — не знаю, и опять-таки это не ваше дело. Спросите у его друга-приятеля.

— У кого именно?

— Ах, ну у этого — журналиста.

— Бритый, ходит с трубкой?

— Ну да, терпеть его не могу.

— Не можете ли объяснить,— спросил он еще,— почему Шамборен, с которым вы, как сами утверждаете, были в близких отношениях, скрывался от вас в Одессе?

Тогда она стала смотреть на него так же, как тогда в ресторане. Опустила голову, и слезы закапали ей на колени. Больше от нее ничего не добились.

В ту же ночь Ливеровский с отрядом сыщиков напал за

Куликовым полем на квартиру журналиста Топоркова. Во время этого дела Семен Иванович, вооруженный револьвером, решил все же не показывать чудес храбрости и держался в тылу нападающих.

Когда выломали дверь, Топорков пытался спуститься из кухонного окна по водосточной трубе. Его взяли без выстрела. При нем были найдены ручная граната, револьвер и четыре жестянки с сапожным кремом.

Находка эта показалась столь неожиданной и удивительной, что Ливеровский сделал крупную ошибку: не приняв мер предосторожности, прямо на улице, под фонарем, раскрыл жестянки и обнаружил в них восемнадцать крупных бриллиантов. Подручные ему сыщики до того увлеклись блеском камней, что сгрудились под фонарь. Там же стоял и Топорков.

Семен Иванович, державшийся в выступе стены, по малоопытности не обратил внимания на то, что из соседних ворот, осторожно и бесшумно, появились трое в каскетках. Один из них перебежал улицу. Это был Шамборен. И вдруг они оглушительно начали стрелять из револьверов в кучу сыщиков под фонарем. Семен Иванович, наученный опытом, сейчас же лег. Под фонарем несколько человек упало. Остальные мгновенно исчезли за углом переулка. Туда же побежали и нападающие. За углом стреляла, казалось, целая армия,— так было громко и страшно.

В то же время из-под фонаря поднялся журналист Топорков и побежал по улице в противоположном выстрелам направлении. Семен Иванович приподнялся на локтях. Револьвер показался ему роскошной игрушкой, и он, шепнув что-то матерное, выстрелил в бегущего. Дернуло руку, пахнуло пороховой вонью. Топорков вильнул в сторону, но продолжал бежать, кажется, прихрамывая.

Когда затихла перестрелка, Семен Иванович пошел домой, снял штиблеты и блаженно заснул, успев только подумать: «А хорошо, если бы и Ливеровского тоже ухлопали».

Он подумал об этом и на следующее утро, когда пил кофе. Нет, деятельность сыщика не по его характеру: всегда куда-то бежать, ловить, стрелять. Разве это наслаждение жизнью? Ни покоя, ни благодушия.

Эх, благодушие! Семен Иванович невольно вспомнил невозвратно улетевшее время, когда он в полутемной комнатке, на пятом этаже, на Мещанской улице, сиживал у окна, попивая кофеек, мечтая об аристократическом

адюльтере. Тихая была жизнь,— на соседнем дворе, бывало, заиграет шарманка, опять же о невозвратном: развздыхаешься у окошка. Даже Кнопка, любовница, о которой и память выело, вдруг вспомнилась, поманила мещанской прелестью. Ах, боже мой, погибло тихое счастье, погибла Россия!

Семен Иванович размяк, глаза его увлажнились. «Уеду,— подумал он,— уйду на край света, открою табачную лавочку. Буду покуривать потихоньку, поглядывать, как мимо проходят тихие люди».

— Дома! Ну, так и есть — кофе пьет! — над самым ухом у Семена Ивановича крикнул, точно выстрелил, Ливеровский. Закрыл окно и сел на кровать. Голова забинтована, нос морщится от хорошего настроения.— Четыре сбоку, ваших нет, можете поздравить: полковник сейчас третью кожу дерет с Шамборена.

— Поймали?

— Живучий, как сколопендра. Ранили его, по башке оглушили, едва взяли. Сообщники, к сожалению,— один убит, другой скрылся. А наших, вы знаете, четверо — в ящик, четверо сильно поцарапаны. А дело было — красота. Кстати, читали сегодняшние газеты? Сверхъестественно... (Он развернул лист оберточной бумаги, на котором были напечатаны «Одесские новости».) «Оперативная сводка. Все атаки большевиков на... (цензурный пропуск) отбиты благодаря огню тяжелой батареи добровольческой армии, которая расстреливала большевиков на картечь. Наступающие большевики несут потери». Знаете, как нужно читать этот цензурный пропуск? Сейчас узнаете. «Разъяснение штаба командующего. События на фронте не должны волновать население, так как чем более уплотняется гарнизон Одессы на суживающейся базе, тем активнее, реальнее становится оборона. Судовым орудиям можно весьма и весьма продолжительное время держать противника на почтительном расстоянии от подступов к городу...» Теперь поняли цензурный пропуск? Это — длина боя судовых орудий — восемнадцать верст. Большевики на расстоянии выстрела от города...

У Семена Ивановича отвалилась и вдруг застучала челюсть. Он стал оборачиваться на свой чемодан.

— «Наступают решительные дни борьбы,— продолжал читать Ливеровский.— Французское верховное командование не только во что бы то ни стало решило отстоять Одессу, но и непреклонно довести Россию до созыва Учредительного собрания. Союзная зона сужена. Силы собраны

в мощный кулак: около пятидесяти тысяч французов, русских, греков, румын, поляков и жерла дредноутов, направленные на подступы к городу. Все готово. Остается нанести решительный удар и победеносной лавиной докатиться до Москвы».

— Так! — Ливеровский швырнул газету под диван,— решительный удар будет в морду нам. Сегодня ночью четыре французских полка ушли с позиций. Вся эта история с Шамбореном провокация,— я вас уверяю. Полковник с ума сошел, когда узнал о бриллиантах. Вся разведка была брошена — ловить Шамборена. А большевики в это время работали. И не кто иной, как журналист Топорков. Зуавы потребовали у себя в частях созыва Советов. Греки кричат из окопов: «Рюсский, рюсский — давай мириться». А вы знаете, что делается в рабочих районах? Зубами скрипят. Этот болван полковник расстрелял на кладбище десять местных большевиков. Рабочие, конечно, разыскали трупы, вырыли. Зуавы бегают в слободу смотреть на расстрелянных. А вам известно, что вчера кабинет Клемансо пал...

— А нельзя ли нам заранее на каком-нибудь пароходе устроиться? — спросил Невзоров.

— Успеем. Я вас не брошу, вы мне очень и очень пригодитесь. Кстати, нынче в ночь будет ваше посвящение.

Семен Иванович, понятно, после этого разговора впал в паническое настроение. Но когда вышел на улицу,— там гуляли нарядные дамы как ни в чем не бывало, и если и опасались чего-нибудь, то только веснушек, которые апрельское солнце сеяло на круглые лица одесситок.

Благодушно на внешнем рейде курились трубы дредноутов. Франк стоил всего восемь с половиной карбованцев в кафе у Фанкони, откуда нетрудно было выбежать над мглистым морем. По набережной погромыхивали на рысях поджарые пушки. Внушительно прополз танк. Шел, тяжко навьюченный амуницией, батальон зуавов: ну, разве же эти приемыши Рима не ударят тараном по григорьевским бандам? Усатые, широкогрудые, запыленные, не задумаются умереть во имя свободы, культуры и священных принципов?..

Много ободряющего видел Семен Иванович в этот день, бегая в хлопотах за паспортом и визами. Он видел также, как из подъезда Лондонской гостиницы вышел рослый, в черном мундире, мрачный человек. Невидящие глаза его были устремлены на рейд. Осунувшееся, с жесткой бородкой лицо точно покрыто свинцовой пылью. Это был началь-

ник обороны генерал Шварц. Он упал на сафьяновые подушки автомобиля и приказал сквозь зубы: «Французский штаб». Семену Ивановичу стало жутко, хотя он и не знал в ту минуту, что генерал Шварц ехал к генералу д'Ансельму для последнего отчаянного и безнадежного разговора.

Во второй раз тоскливое беспокойство царапнуло Семена Ивановича, когда вечером он толкнулся в клуб «Меридионал»,— дверь была заперта, около ресторанной стойки, при свете свечи, воткнутой в бутылку, ресторатор и лакеи связывали какие-то узлы.

Затем, звонясь к себе в гостиницу, Семен Иванович хотел было, как всегда, прочесть приказ генерала Талдыкина о тараканах, но с ужасом увидел: поверх приказа наклеен небольшой листочек: «Всем, всем, всем... Последнее убежище спекулянтов и белогвардейцев должно пасть...»

Семен Иванович заперся у себя в комнате, лег и, кажется, даже заснул и внезапно сел на постели. С отчаянно бьющимся сердцем прислушивался... Так и есть: прошли под окнами. Звонок в швейцарской. Никто не отворяет. Тихо. И вдруг резкий стук в дверь, в мозг.

Семен Иванович с воплем стоял уже посреди комнаты:

— Я не пойду!

За дверью насмешливый голос Ливеровского проговорил медленно, каждую букву:

— Отворите же, нас ждут.

Моторная лодка терлась боком о гнилые сваи. Дождливый туман затянул весь порт, остро пахло гнилым деревом и морем. Наверху, в городе, было еще сонно. Вдалеке, в стороне Фонтанов, похлопывали выстрелы. Ленивая волна подняла и опустила лодку, привязанную к ржавому кольцу.

На мокрых скамейках в лодке сидели — Семен Иванович, рядом с ним востроносый, с низким чубом подросток, державший между колен винтовку, и напротив — апоплексического вида огромный француз в темно-синем военном плаще.

Все трое молчали. Француз выставил против дождевой сырости висячие жесткие усы и сердито посапывал. Подросток, барабаня ногтями по винтовочному прикладу, перебегал юркими, как у мыши, глазами по редким предметам, выступающим из тумана. Семен Иванович мелко дрожал в своем пальтишке,— у него внезапно заболел зуб, вонзался раскаленным гвоздиком. Но вылезти из лодки, уйти было

невозможно: пошевелишься, и сейчас же глаза подростка начинают бегать по лицу Семена Ивановича.

Француз уже начал ворчать себе в усы по-французски: «О, грязные русские! Сколько еще ждать в этой гнилой лодке... О, дерьмо и дерьмо!..» Пробежала коричневая портовая собачонка, остановилась и внимательно и долго глядела на людей. Подросток замахнулся на нее: «Я тебя, сволочь!» Собачонка отскочила, ощетинилась, зарычала. Но вот, наконец, послышалось шлепанье ног по лужам. Из тумана появилось пятеро: ротмистр, уже знакомый Невзорову, какой-то штатский в морском картузе (оба они держали наготове револьверы), между ними — Шамборен в разодранной клочьями блузе (правой рукой он придерживал левую), рядом с ним — рябой, рослый матрос в одном тельнике; руки его были закованы в кандалы. Сзади шел Ливеровский. Он протянул апоплексическому французу пакет, который тот вскрыл и, прочтя, спрятал под плащ.

— Эти двое, карашо,— сказал он.

Прибывшие спустились в лодку. Человек в морском картузе сел на руль и включил мотор. Закипела вода. Отделился и стал тонуть в тумане берег с гнилыми сваями.

Ливеровский придвинулся к Семену Ивановичу:

— Этот француз — палач. Союзнички нам не доверили Шамборена, сами хотят ликвидировать. А этот матрос — знаменитый Филька — григорьевец, страшной силы и свирепости. Везем их на внешний рейд, на баржу. Чтобы — шито-крыто.

Невзоров застонал от зубной боли. На лодке молчали. Ливеровский стал предлагать из серебряного портсигара папиросы. Закурили все, кроме Шамборена. Запекшиеся губы его были сжаты, как у мертвого. Судорога-тик время от времени пробегала по его обострившемуся лицу,— видимо, это его мучило. Он внимательно глядел на мотор, который бодро постукивал, точно на веселой морской прогулке.

Внезапно матрос Филька проговорил деликатным голосом:

— Торопится, спешит. Машина, а торопится. А сколько в ней будет сил?

Рулевой сдвинул брови, поседевшие от дождевой пыли:

— Двенадцать.

Филька уставился на мотор, словно сроду его не видал, мельком взглянул на француза.

— А студено,— сказал он,— тельник промочило, не-

долго и застудиться.— Он открыл великолепные, белые зубы, но усмешка так и осталась на губах,— застыла.

В тумане возник предмет. Шамборен вытянулся, вглядываясь. Это был конический буек с разбитым фонарем,— лодка мягко прошла мимо него. Пологая волна, разрезанная килем, с шелковым плеском развернулась на две пелены, обдала брызгами. Отсюда повернули в восточном направлении и пошли по мертвой зыби, которая далеко позади разбивалась мощно и глухо о мол, скрытый за дождевой завесой.

Теперь все глядели туда, куда стремился поблескивающий медью и лакированным деревом нос лодки. Качало сильно. Невзоров вцепился ледяными пальцами в борт. Из тумана выдвинулось очертание мачт — двух крестов. Шамборен сейчас же низко опустил голову. Ротмистр перешел на нос и размотал причальный конец.

Быстрее, чем ждали, лодка подошла к барже. Это было каботажное судно, предназначенное для перевозки хлеба. Оно скрипело и покачивалось на канатах. С просмоленного борта висела лестница. Ротмистр схватился за нее, легко вскарабкался на палубу.

— Будете работать наверху, мосье? — спросил он по-французски.

— Я не обязан лазить по лестницам, которые пляшут; дерьмо и дерьмо,— ответил француз, но все же сбросил намокший плащ, под которым у него оказался короткий карабин, и тяжело полез на баржу. Встал наверху, раздвинул ноги, щелкнул затвором.— Матрос идет первый,— сказал он хрипло, как команду. Только теперь Невзоров увидел его лицо: огромное, багровое, с низким лбом. Он глядел мутно и не мигая из-под косматых бровей. Ротмистр перевел его слова:

— Матрос, наверх!

Филька побелел. Потянул кандальную цепь. Продвинулся к лестнице.

— Часы серебряные отошлите жене,— сказал он Ливеровскому,— не забудьте, пожалуйста.— И он медленно полез на баржу, глядя в глаза французу.

— Живее, сволочь! — крикнул ему ротмистр. Уже наверху Филька вдруг дико закричал:

— Не я, не я, это не я, ошибка! — и начал бороться с палачом. Невзоров зажмурился. Раздался выстрел. Минуту спустя прохрипел голос француза:

— Граф Шамборен!

Шамборен порывисто поднялся и сейчас же снова сел

на скамью. Тогда подросток, весь сотрясаясь, беспорядочно дергая затвор винтовки, захлебываясь матерными словами, принялся толкать Шамборена,— «иди, иди!..» Лодка раскачивалась. Невзорова охватил дикий ужас. Больной, раскаленный зуб вонзился в глубь мозга.

— Стыдно, граф,— баском сверху прикрикнул ротмистр,— давайте кончать.— Тогда Шамборен кинулся к лестнице. Едва его кудрявая голова поднялась над палубой,— француз выстрелил. Шамборен покачнулся на лестнице, сорвался, и тело его упало в море. Студеные брызги хлестнули в лицо Семену Ивановичу.

Тем же утром, бредя по улице, как во сне, на ваточных ногах, Семен Иванович остановился у облезлого забора и долго глядел на большой, недавно наклеенный цветной плакат, где были изображены крепко пожимающие друг другу руки: француз, русский и англичанин. За спиной их Георгий Победоносец поражал красную гидру революции. Кто-то карандашом подрисовал ему длинные, закрученные усы.

Семен Иванович долго стоял перед этой картинкой. Не домой же идти, не спать же ложиться! Он вынул карандаш и подрисовал закрученные усы французу, потом подрисовал такие же усы англичанину.

— Ах, боже мой, боже мой! — громко проговорил он, помусолив карандаш, и тщательно выковырял глаз русскому.

В это время издалека стали набегать мальчишеские, сенсационные голоса газетчиков. Они кричали, видимо, что-то очень страшное. Редкие в этот час прохожие выхватывали у них газеты. На перекрестке собралось десятка два возбужденных читателей.

Семен Иванович лениво взял сунутую ему пробегавшим мальчишкой газету и прочел:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Союзники сообщили, что лишены возможности доставить в ближайшее время продукты в Одессу.

Поэтому, в целях уменьшения числа едоков, решено приступить к разгрузке Одессы.

3 апр. 1919 г.

Ген. Д'Ансельм.

— Эвакуация! Эвакуация!..— донесся до Семена Ивановича дикий ропот голосов с перекрестка.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Выдумали же люди такое отвратительное слово — «эвакуация». Скажи — отъезд, переселение или временная, всеобщая перемена жительства,— никто бы не стал, вылупив луковицами глаза, ухватив узлы и чемоданы, скакать без памяти на подводах и извозчиках в одесский порт, как будто сзади за ним гонятся львы.

«Эвакуация» в переводе на русский язык значит — «спасайся, кто может». Но если вы — я говорю для примера — остановитесь на людном перекрестке и закричите во все горло: спасайся, кто может! — вас же и побьют в худшем случае.

А вот — не шепните даже, прошевелите одними губами магическое, ибикусово слово: «эвакуация»,— ай, ай, ай!.. Почтенный прохожий уже побелел и дико озирается, другой врос столбом, будто нос к носу столкнулся с привидением. Третий ухватил четвертого:

— Что такое? Бежать? Опять?

— Отстаньте. Ничего не знаю.

— Куда же теперь? В море?

И пошло магнитными волнами проклятое слово по городу. Эва-ку-ация — в трех этих слогах больше вложено переживаний, чем в любой из трагедий Шекспира...

...Муж уезжает в одном направлении на пароходе, жена на поезде в другом, а сынишка — вот только что держали его за руку — внезапно потерялся и, наверно, где-нибудь плачет на опустевшем берегу...

...Еще сегодня утром человек был диктатором, приказал повесить на габарите железнодорожного моста — на страх — начальника станции, помощника начальника и третью сомнительную личность с татуированными руками, а вечером тот же человек приткнулся с узелочком у пароходной трубы и рад, что хоть куда-то везут...

...Удачливый делец только что добился поставки на армию, и жена его уже собиралась приобрести у фрейлины, баронессы Обермюллер, котиковое манто с соболями,— ой, все полетело к чертям! — и поставка и манто, чемоданы с роскошным бельем угнал негодяй ломовик, и даже при посадке вчерашний преданный друг, один гвардеец, который так заискивал, целовал ручки,— вдруг хватил дельцову мадам ножнами по шляпе и спихнул ее с вагонной площадки...

Нет, не перечислить всех странностей и бед во времена эвакуаций. Человек вывертывается наизнанку, как карман

в штанах,— едет, скачет, а то и просто бежит пешком с тремястами карбованцев, не годных даже на скручиванье собачьей ножки, в курточке из материи, предназначенной для других целей. В голове дребезжит, будущее совершенно неопределенно. Говорят — русские тяжелы на подъем. Неправда, старо. Иной, из средних интеллигентов, самой судьбой определен жить и умереть в захолустье, а глядишь — сидит на крыше вагона, на носу — треснувшее пенсне, за сутулыми плечами — мешок, едет заведомо в Северную Африку, и — ничего себе, только борода развевается по ветру.

Семен Иванович Невзоров бывал в переделках и похуже той, что случилась в Одессе пятого и шестого апреля. Ничего необыкновенного там не случилось. Население из центра города колесом скатилось в порт, а в центре появилось население из окраин, нимало не огорченное тем, что иностранные войска садятся на транспорты, а у русских войска сухим рейсом уходят в Румынию. Торговцы деньгами и накладными по врожденной привычке собрались было на углу Дерибасовской, но под давлением легкого ружейного огня впали в нервное состояние и рассеялись. Кафе Фанкони закрылось. В городской думе уже сидел совдеп, а по набережной, мимо герцога Ришелье, все еще двигались уходившие повозки, кухни, пушки, равнодушные зуавы. Здесь, на бульваре, бродили те, кто не мог уехать, и остекленевшими глазами глядели на пароходы, на черные дымы из труб.

Ах, эти дымы, заржавленные пароходы! В порту, плечо к плечу, стояли тысячи уезжавших,— узенькие мостки-сходни отделяли постылую Россию от райских стран, где нет ни революций, ни эвакуаций, где пятиэтажные магазины, полные роскошной и дешевой одежды, где спят в кроватях (а не на столах и не в ваннах), где по своей надобности человек, не стоя ни в какой очереди, идет в чистое, снабженное обильной водой, освещенное электричеством место и сидит там, покуда не надоест... Где на каждом перекрестке возвышается строгий и справедливый полисмен и день и ночь охраняет покой горожан и священную собственность. Где автомобили не реквизированы и улицы блестят, как паркет. Где не стреляют из пулеметов и не ходят с проклятыми флагами, где при виде обыкновенного рабочего не нужно косоротиться в сочувственную или предупредительную улыбку, а идти себе мимо пролетария с сознанием собственного достоинства...

От всего этого отделяло только несколько шагов по сходням. Об этой лучезарной жизни кричали пароходы на внешнем рейде,— увоооозим за границииииицу! А со стороны вокзала, Фонтанов и Пересыпи уже постреливали красные. Множество катеров, лодок, паромов,— груженные людьми и чемоданами,— уходило к внешнему рейду. На берегу визжали лошади, трещали телеги, валились чемоданы, работали, на прощанье, жулики по карманам.

— Граждане,— кричал веселый чернобородый матрос, въехавший с возом с адмиральским имуществом в гущу народа,— дорогие мои, зачем бегите?.. Тпру, балуй,— хлестнул он по мерину, начавшему сигать в оглоблях,— оставайтесь, дорогие, всем хорошо будет... Эх, горе, чужая сторона! — И он так и залился смехом.

— Господин офицер,— шумели у сходней,— да пропустите же меня, у меня ноги больные... Двое суток ждем, это издевательство какое-то над личностью... У меня ребенок помирает, а вы спекулянтов, корзины по двадцати пудов грузите...

— Осади, не ваша очередь!.. Куда ты штык прешь, назад!.. Паспорта, паспорта предъявляйте...

Семена Ивановича вся эта суматоха мало занимала. Он стоял на борту парохода «Кавказ». В мыслях был счастливый переполох. Наконец-то оторвались его подошвы от российской земли. Даже слюна у него набегала непрерывно, и он сплевывал за борт в воду, где плавала багажная корзина, сорвавшаяся с трапа.

Со вчерашнего дня Семен Иванович разговаривал с сильным иностранным акцентом. По паспорту он именовался бывшим русским подданным, Симоном Навзараки. Пять тысяч франков и чемодан с драгоценным каракулем создавали ему душевное равновесие. От прежнего Невзорова, суетливо гонявшегося за блестками счастья, от мечтателя, кутилы и фантазера не осталось и следа. Чувствительную душу его выела русская революция. Теперь это был расчетливый и осторожный спекулянт.

Он бежал за границу с твердым намерением найти там покойное и солидное место под солнцем. Выбор нового отечества не интересовал его: плевать, деньги сами укажут, где нужно сесть. А развлекаться что с туркиней, что с задунайской какой-либо девкой или с немкой, француженкой — совершенно одно и то же. Главное, вот во что он верил,— в стране должен быть беспощадный порядок.

В желании утвердить себя как благонамеренную во всех отношениях личность Семен Иванович дошел даже до того,

что еще здесь, в одесском порту, за сотни миль от ближайшей заграницы, принял строгое скопческое выражение лица и руки держал преимущественно по швам, говорил негромко, но чрезвычайно явственно и хотя, в силу необходимости, по-русски, но так, что выходило и не по-русски. Вот только плевал он за борт, но в этом выражалось его нетерпение поскорее уплыть, а за всем тем, в чью же воду он плевал?

Одна только искра жгла его душу, лишала покоя: это — ненависть к революционерам. Ливеровский, стоявший рядом с Невзоровым у борта, предложил совместно организовать в пути разведку по выяснению политической карты среди пароходного населения,— таковые данные весьма пригодились бы впоследствии. Семен Иванович охотно согласился. Свои личные планы и дела он решил отложить до Константинополя. Погрузка кончилась. Офицеры-грузчики, изнемогая, перетащили с парома последние сундуки и кофр-форы. На капитанском мостике появился идол — чернобородый, огромный мужчина в синей куртке с галунами, француз-капитан. «Кавказ» хрипло загудел, завыл из глубины ржавого своего нутра и с тремя тысячами людей и горами багажа медленно вышел на внешний рейд.

Простояв томительные сутки на внешнем рейде, «Кавказ» отошел восьмого апреля под вечер в юго-западном направлении. Утонули в мглистых сумерках невысокие берега Новороссии. Несколько человек вздохнули, стоя у борта. Прощай, Россия!

Пробили склянки. И скоро открытая палуба парохода покрылась спящими телами беженцев. Заснули в каютах, в коридорах, в трюмах под успокоительный шум машины. Две крестообразные мачты медленно поплыли между созвездиями.

При свете палубного фонаря, на корме, Ливеровский показал Семену Ивановичу план парохода.

— Вы возьмете на себя носовую часть,— говорил он, посмеиваясь,— я — кормовую. На пароходе четыре трюма и две палубы. В двух средних трюмах помещаются штабы. В двух крайних — всякая штатская сволочь из общественных организаций. На верхней палубе, в коридорах и в кают-компании — дельцы, финансисты, представители крупной буржуазии. В отдельной носовой каюте сидит Хаврин (одесский губернатор), с ним двенадцать чемоданов денег и железный сундук с валютой. Кроме того, есть еще и третья, самая верхняя палуба, там всего два помещения —

курительная комната и салон. Эта палуба особенно интересна,— вы сами увидите почему. Затем, кроме нас с вами, на пароходе начала работать монархическая контрразведка. Держите ухо востро. Все собранные вами данные записывайте в особенную ведомость. По прибытии в Константинополь мы покажем ее во французском штабе. Можете быть уверены, союзники умеют ценить подобного рода сведения.

Ливеровский спрятал план, подмигнул Невзорову и провалился в кормовой трюм. А Семен Иванович, перешагивая через спящих, пошел на нос, где подувал ночной апрельский ветерок. Семен Иванович лег около своего чемодана, укрылся и вместо сна раздумался в этот час тишины.

Неуютно представилось ему жить на свете, довольно-таки погано. Люди, люди! Если бы вместо людей были какие-нибудь бабочки или приятные какие-нибудь козявки, мушки... Заехать бы в такую безобидную землю. Сидишь за самоварчиком, и ни одна рожа не лезет к тебе смущать покой. Эх, люди, люди!

Оглянул Семен Иванович истекшие года, и закрутились, полезли на него рожи, одна отвратительнее другой. Он даже застонал, когда припомнились две мачты в тумане, смоляной борт каботажной баржи и надутое лицо палача.

«Нет, не иначе — это он, Ибикус проклятый, носится за мной, не отстает, прикидывается разными мордами,— думал Невзоров, и хребет у него холодел от суеверного ужаса,— доконает он меня когда-нибудь. Ведь что ни дальше — то гаже: вот я уже и при казни свидетельствую, я — сыщик, а еще немного — и самому придется полоснуть кого-нибудь ножиком...»

Семен Иванович подобрал ноги и прислонился к чемодану. Рядом, точно так же, сидел сутульный человек в форменном картузе — военный доктор.

— Не спится? — повернул он к Невзорову рябоватое, с клочком бородки, испитое лицо.— Спички у вас есть? Благодарствуйте. Я тоже не сплю. Едем? А? Какая глупость.

Семену Ивановичу было противно разговаривать. Он обхватил коленки и положил на них подбородок. Доктор придвинулся, пожевал папироску.

— Сижу и с удовольствием вспоминаю отечественную историю. Петра Третьего убили бутылкой, заметьте. Екатерину Великую, говорят, копьем ткнули снизу из нужника, убили. Павлу табакеркой проломили голову. Николай счел нужным отравиться. Александра Освободителя разнесли в клочки. Полковника и обоих наследников расстреляли.

Очень хорошо. Ай да славяне! Бога бойтесь — царя чтите. С другой стороны, наша интеллигенция, светоч, совесть, мозг, жертва,— свыше полусотни лет занимается подрыванием основ государства, канонизирует цареубийц... Сазоновы, Каляевы,— доктор хрустнул зубами,— Маруси Спиридоновы и прочие богородицы, бабушки и дедушки. А Лев Толстой? Благостный старик! Граф за сохой! А усадьбы святой мужичоночек по бревнышку разносит, племенному скоту жилки подрезывает. А Учредительное собрание и Виктор Чернов — президент! Так ведь это же восторг неизъяснимый! Вот она — свободушка подвалила. Так я вам вот что скажу: везу с собой один документ. Приеду в Париж — где пуп земли, ясно? — и на главном бульваре поставлю витрину, на ней так и будет написано: «Русская витрина». Портреты Михайловских, Чернышевских, красные флаги, разбитые цепи, гении свободы и прочее тому подобное. А в центре гвоздей приколочу вот эту штуку...

Доктор вытащил из бумажника тоненькую клеенчатую записную книжку и раскрыл ее любовно:

— Эта книжка принадлежала весьма небезызвестному либералу, герою, члену Государственной думы и Учредительного собрания. Так-то-с. Чем же она наполнена? Благороднейшими мыслями? Бессмертными лозунгами? Конспектами знаменитых речей? Нет, к сожалению,— нет. Реестрики — сколько у кого взято взаймы. Так! Адреса врачей и рецепты средств на предмет лечения триппера. Все-с. Это у либерала и борца с самодержавием. Это мы пригвоздим. Мы доморощенных наших освободителей-либералов гвоздем приколотим на большой проезжей дороге.

Доктор вдруг закатился мелким смешком:

— Вчера я весь день веселился. Наверху, на третьей палубе, прогуливался один мужчина: шляпа с широкими полями, лицо мрачное, сам — приземистый, похож несколько на Вия. А снизу смотрят на него Прилуков, Бабич и Щеглов, три члена Высшего монархического совета. Улыбаются недобро — вот что я вам скажу — недобро. А человек этот, знаете, кто? Ну, самый что ни на есть кровавый и страшенный революционер. Совсем как в Ноевом ковчеге спасаются от мирового потопа и лев и лань. Я и смеюсь,— спать не могу,— ох, не стряслось бы какой беды на нашем корабле. В том-то и беда, что мы уже не в России, где эти штуки сходят.

— Какие штуки сходят? — осторожно спросил Семен Иванович. Доктор молча и странно посмотрел на него. Опять взял спичек, закурил трубочку махорки.

— От кого я в восторге, так это от большевиков,— сказал он и сплюнул,— решительные мальчуганы. Чистят направо и налево: и господ интеллигентов под корешок, и святого мужичка в корень. Вот только насчет рабочих они какую-то кислоту разводят. За всем тем — глядишь — через полгодика и расчистят нам дорожку,— пожалуйте.

— А кому это — вам? — спросил Семен Иванович.

— Нам, Четвертому Интернационалу. Да, да, у большевичков есть чему поучиться.

— Ну однако — вы слишком смело.

— Говорю — у них школу проходим, дядя.— И доктор, суя мизинец в сопящую трубочку, залился таким смешком, что Невзоров только дико взглянул на него. Пробили склянки. На верхней палубе в это время стоял мрачный революционер в широкополой шляпе и с горечью думал о том, что русский народ в сущности не любит свободу.

С восходом солнца пароход начал просыпаться. Первыми заворочались палубные обитатели: потягивались, почесывались, спросонок пялились на молочно-голубую пустыню моря. Вышел негр-повар в грязном колпаке, выплеснул за борт ведро с помоями и сел около бочки чистить картошку. Двое поварят разжигали печи во временных дощатых кухнях на палубе. Около кранов уже стояло несколько военных, босиком, в широченных галифе, в рваных подтяжках, и, фыркая, мыли шеи соленой водой. Из трюмов стали вылезать взъерошенные, непроспавшиеся штатские. И скоро перед нужником, висевшим над пароходным бортом, стала длинная очередь: дамы, зябко кутающиеся в мех, общественные деятели без воротничков, сердитые генералы, поджарые кавалерийские офицеры.

— Двадцать минут уж сидит,— говорилось в этой очереди.

— Больной какой-нибудь.

— Ничего не больной, рядом с ним спали на нарах, просто глубоко неразвитый человек, грубиян.

— Действительно, безобразие. Да постучите вы ему.

— Господин штабс-капитан,— постучали в дверку,— надо о других подумать, вы не у себя дома...

Понемногу на палубе все больше становилось народу. Из-за брезента, покрывавшего гору чемоданов, вылез багровый, тучный, недовольный член Высшего монархического совета Щеглов, саратовский помещик. Он за руку вытащил оттуда же свою жену, знаменитую опереточную актрису,

вытащил корзинку с провизией и плетеную бутыль с красным вином. Они сели около кухни и принялись завтракать.

В кухонных котлах в это время варились бобы с салом. Негритята раскупоривали полупудовые жестянки с австралийской солониной. Около кухни говорилось по этому поводу:

— Опять бобы. Это же возмутительно.

— Я просто отказываюсь их переваривать. Издевательство какое-то.

— А вам известно, ваше превосходительство, что это за солонина? Это мясо австралийской человекоподобной обезьяны. Я сам естественник, я знаю.

— Меня рвало вчера. Вот вам, господа, отношение союзников.

— А в первом классе, извольте видеть, отличный обед в четыре блюда.

— Для спекулянтов. Одни жиды в первом классе. Устроили революцию, а мы жри обезьян.

Семен Иванович толкался около кухни, потягивая носом запах бобов. Вдруг перед ним решительно остановилась пожилая дама, теребя на груди среди множества измятых кружев цепочку от часов.

— Нужно верить — все совершается к благу. Наше трехмерное сознание видит несовершенство и раздробленность бытия. Да, это так, и это не так,— быстро и проникновенно заговорила она. Передние зубы ее слегка выскакивали и били дробь. От нее пахло приторными духами и потом. Это была известная Дэво, теософка.— Наш физический мир — лишь материальное отражение великой, страшной борьбы, происходящей сию минуту там, в мире надфизическом. Но борьба там предрешена: это победа блага, добра, вечное превращение хаоса в космос. Вот почему пусть солонина будет мясом человекоподобной обезьяны, пусть: Мудрая Рука приведет новых адептов к Истинной Пище. Индусы называют Пищей только плоды и овощи, все остальное трупоедство.

Невзоров попытался было уклониться от беседы, но Дэво прижала его к борту, фарфоровые зубы ее отбивали дробь у самого носа Семена Ивановича.

— Гигантскими шагами,— за час — столетие,— мы приближаемся к просветлению. Я это вижу по глазам братьев по изгнанию. Революция — акт массового посвящения, да. Что такое большевики? Сонмы демонов получили возможность проникнуть в физический мир и материализовались эманациями человеческого зла. Точно так же великим свя-

тым в египетских пустынях являлись ангелы, которые суть эманации их добра. Когда в России поймут это, люди станут просветляться, и большевики-демоны — исчезнут. Я сама была свидетельницей такой дематериализации. Меня допрашивал комиссар — наедине. Он держал в руках два револьвера. Я отвечала на его глупые вопросы и в то же время, сосредоточившись, начала медитацию. Из меня вышли голубые флюиды. И этот комиссар стал то так облокачиваться, то так облокачиваться, зевал, и наконец через него стали просвечивать предметы. Я помолилась за него Ангелу Земли, и комиссар с тихим воем исчез. Пароход за пароходом увозят нас в лучезарные области, где мы будем пребывать уже просветленные и очищенные. Не ешьте только мяса, друг мой, не курите и каждое утро промывайте нос ключевой водой. Мы вступаем в царство Духа.

В это время от котлов повалил такой густой запах, что Дэво обернулась к поварам. Они черпали огромными уполовниками бобовую похлебку и разливали ее по жестянкам из-под консервов, по чашкам, черепкам,— во все, что подставляли проголодавшиеся эмигранты.

На эту давку сверху, со средней палубы, глядели уже откушавшие в столовой первого класса финансисты, сахарные, чайные и угольные короли, оказавшиеся на пароходе в гораздо большем количестве, чем это казалось при посадке. Они держали себя с достоинством и скромно.

Еще выше, с третьей палубы, глядел вниз одинокий террорист в широкополой шляпе. Он жевал корочку.

После завтрака Семен Иванович предпринял более систематическое обследование вверенной ему носовой части парохода. Он спустился в средний трюм (под предлогом поисков своего багажа) и был оглушен треском пишущих машинок.

Здесь, в разных углах, на нарах и ящиках сидели сердитые генералы, окруженные каждый своим штабом, и диктовали приказы по армии, обязательные постановления, жалобы и каверзы. Изящные адъютанты легко взбегали по лесенке на палубу, где и приколачивали исходящие бумаги на видных местах.

Войск, в обычном смысле слова, у генералов не было, но войсковые штаты и суммы имелись, и поэтому генералы действовали так, как будто войска у них были, что указывало на их железную волю, чисто боевую нечувствительность к досадным ударам судьбы и сознание долга.

В этом трюме все обстояло благополучно. Невзоров полез в носовой трюм, темный и сырой, со множеством крыс.

Здесь в три яруса были нагорожены нары, и на них отдыхали после завтрака и разговаривали общественные деятели, беглые помещики, журналисты, служащие разных организаций и члены радикальных партий — почти все с женами и детьми.

— Я совершенно покоен, не понимаю вашего пессимизма,— говорил один, свесив с нар длинное бородатое лицо в двойном пенсне,— страна, лишенная мозга, обречена агонии. Пока еще мы держались на юге,— мы тем самым гальванизировали красное движение. Теперь мозг изъят, тело лишено духа, не пройдет и полугода, как большевики захлебнутся в собственных нечистотах.

— Полгода, благодарю вас,— проговорили из темноты, из-под нар,— вы, почтеннейший, довольно щедро распоряжаетесь российской историей. Им, негодяям, и полмесяца нельзя дать поцарствовать.

— Как же это вы им не дадите, хотел бы я знать!

— А я хотел бы знать, как вы запоете, когда к вам заберутся бандиты,— так же, что ли, станете благодушествовать? Это, батенька, все скрытый большевизм. В морду, чтобы из морды — бифштекс,— вот какой с ними разговор. Завопить на весь мир: спасайте, грабят и режут!.. Хотите компенсации? — пожалуйста... Японцам — Сахалин за помощь, англичанам — Кавказ, полякам — Смоленск, французам — Крым. Проживем и без этих окраин да еще сильнее станем.

— Ну, уж извините — вы несете вздор. Во имя высшей культуры, во имя человечности, во имя великого русского искусства должны мы просить помощи, и Антанта даст эту помощь. На Западе — не торгаши, не циники, не подлецы.

— Эге!

— Ничего не — эге! А двухтысячелетняя христианская цивилизация, это тоже — эге? А французская революция — это эге? А Паскаль, Ренан — эге? Да что мне с вами говорить. Не в Азию едем к Чингисхану, а в очаги высшей культуры.

— Значит, одесская эвакуация тоже не «эге», по-вашему?

— Одесса — трагическая ошибка союзников. Наш долг рассказать им всю правду. Европе станет стыдно...

— Батюшки!

Помолчав, господин в двойном пенсне плюнул, борода его уползла за нары. В другом месте, в темноте, говорили:

— Сесть в чистом ресторане, с хорошей услугой, спросить кружку холодного пива — во сне даже вижу.

— А помните Яр, московский? Эх, ничего не умели ценить, батенька! Храм! Шесть холуев несут осетра на серебряном блюде. Водочка в графинчике, и сам графинчик инеем зарос, подлец. Расстегай с вязигой, с севрюжкой при свежей икорке...

— Ах, боже мой, боже мой!..

— Помню, открывался новый «Яр». Получаю приглашение на бристольском картоне с золотым обрезом. Напялил фрак, гоню на лихаче вместе с Сергеем Балавинским,— помните его по Москве? Приезжаем — что такое? В большом зале молебен служит сам митрополит. В первом ряду — командующий войсками Плеве при всех орденах, военные, цвет адвокатуры, лев Плевако, именитое купечество,— все во фраках... Куда мы попали?.. На открытой сцене занавес опущен, бордюр из цветов, образа и свечи... Восемь дьяконов ревут, как на Страшном суде! Молебен кончен, выходит хозяин, Судаков, помните его — мужичонка подслеповатый, и — речешку: «Милости просим, дорогие гости, кушайте, веселитесь, будьте, говорит, как дома. Все, говорит, это,— и развел руками под куполом,— не мое, все это ваше, на ваши денежки построено...» И закатил обед с шампанским, да какой! — на четыреста персон.

— Неужели бесплатно?

— А как же иначе?

— Слушайте, да ведь это ж красота, боже мой, боже мой!.. Не ценили, проглядели жизнь, проворонили какую страну...

— Вот то-то и оно-то, и едем в трюме на бобах.

— Не верю! Россия не может пропасть, слишком много здоровых сил в народе. Большевики — это скверный эпизод, недолгий кошмар.

Еще где-то между нар шуршали женские голоса:

— До того воняет здесь, я просто не понимаю — чем.

— А, говорят, в Константинополе нас и спускать не будут с парохода-то.

— Что же — дальше повезут?

— Ничего неизвестно. Говорят, на остров на какой-то нас выкинут, где одни собаки.

— Собаки-то при чем же?

— Так говорят, хорошо не знаю. Мученье!

— А мы с мужем рассчитываем в Париж пробраться. Надоело в грязи жить.

— А что теперь в Париже носят?

— Короткое и открытое.

Семен Иванович вылез из трюма и записал все эти раз-

говоры. Пароход плыл, как по зеркалу, чуть затуманенному весенними испарениями. Большинство пассажиров дремали на палубе, лениво торчали у бортов. Негр-повар опять чистил у бочки картошку. Около него сидела Дэво, теософка, и, теребя кружева, рассказывала о пришествии святого духа из Азии через Россию. Повар весело скалился. Бегали в грязных платьицах чахлые дети по палубе, играли в эвакуацию. Откуда-то со стороны надпалубных кают доносились стоны: это, не к месту и времени, рожала жена армейского штабс-капитана. Около кухни член Высшего монархического совета Щеглов, отдуваясь, осовело слушал, что рассказывал ему приятель, белобрысый, маленький человек с лихо заломленной фуражкой астраханского драгуна на жиденьких волосах:

— Прости, а ты тоже задница, а еще помещик. Я мужиков знаю: лупи по морде нагайкой, будут уважать.

— Это тебя-то? — спросил Щеглов.

— И меня будут уважать. Помещики сами виноваты. Например — в праздник барин идет на деревню, гуляет с парнями, с девками, на балалайке играет. Этого нельзя: хам, мужепес, у тебя папироску прикуривает. Встретят на деревне попа, и помещик сам же смеется с парнями, а этого нельзя,— нужно снимать шляпу, первому показывать пример уважения перед религией.

— Жалко, тебя раньше не слушали.

— Вернусь — теперь послушают.

— Сегодня что-то ты расхрабрился.

— Я всю ночь думал, представь себе,— сказал драгун, поправляя фуражку,— так, знаешь, расстроился... Я сегодня на заседании говорить буду... Высший монархический совет заражен либеральными идеями, так и выпалю. Лупить шомполами надо повально целые губернии — вот программа. А войдем в Москву — в первую голову — повесить разных там... Шаляпина, Андрея Белого, Александра Блока, Станиславского... Эта сволочь хуже большевиков, от них самая зараза...

Щеглов, слегка раскрыв рот от жары и переполнения желудка, глядел, как астраханский драгун ударяет себя стеком по голенищу. Затем он спросил все так же сонно, но особенным голосом:

— Ну, а с Прилуковым ты говорил?

Драгун сейчас же дернул головой, глаза его забегали, краска отлила от лица, он опустил голову.

Семен Иванович, разумеется, подслушивал этот разговор. Вопрос Щеглова показался ему несколько подчеркну-

тым, особенным. «Так, так,— подумал он,— про этого Прилукова мне уже поминали». Он вынул тетрадь и тщательно вписал весь разговор. «Так, так»,— повторил он, щурясь и посасывая кончик карандаша. Чутьем скептика и мизантропа Семен Иванович почувствовал в этом разговоре чертовщинку тревожного свойства.

Семен Иванович поднялся на среднюю палубу. Рубка, коридоры и проходы были завалены багажными корзинами. На них томились дельцы и тузы, мало привычные к подобного рода передвижениям. Здесь искренне, без психологических вывертов ругательски ругали большевиков. Рыхлые дамы, толстые старухи, перезрелые красавицы в пыльных шляпах покорно и брезгливо сидели на сквозняках. Иные угасающими голосами звали детей, того и гляди рискующих выпасть за борт или попасть под рычаги пароходной машины.

Здесь больше не верили в справедливость. Низенький, тучный господин в обсыпанной сигарным пеплом, еще недавно щегольской визитке с безнадежной иронией покачивал седеющей головой.

— Почему они не говорили прямо: мы хотим устроить грабеж? С тысяча девятьсот пятого года я давал на революцию. А? Вы видели такого дурака? Приходили эсеры — и я давал, приходили эсдеки — и я давал. Приходили кадеты и забирали у меня на издание газеты. Какие турусы на колесах писали в этих газетах,— у меня крутилась голова. А когда они устроили революцию, они стали кричать, что я эксплуататор. Хорошенькое дело! А когда они в октябре стали ссориться, я уже вышел — контрреволюционер.

— Кто мог думать, кто мог думать,— горестно проговорил его собеседник, тоже низенький и тоже в визитке,— мы верили в революцию, мы были идеалистами, мы верили в культуру. Триста тысяч взяли у меня в сейфе,— прямо походя. Нет, Россия — это скотный двор.

— Хуже. Бешеные скоты.

— Разбойники с большой дороги.

— Хуже.

Семен Иванович ныркой походкой обошел здесь все закоулки, выяснил благонадежность второй палубы и поднялся выше, надеясь хотя бы мельком взглянуть на страшного террориста в широкополой шляпе.

Опускался вечер над Черным морем. Пароход плыл по

расправленному золоту, навстречу безоблачному закату, в золотую пыль.

Семен Иванович стоял у перил. Под ним длинная палуба шевелилась коротенькими — в ракурсе — телами эмигрантов. Никто по ним не скучал, никто их не звал никуда,— едут жить из милости.

Семен Иванович, как уже было сказано, наполовину более не считал себя русским, презрительная усмешка кривила его сухонький рот: палуба, уставленная — скажем — вместо этих людей мелким рогатым скотом, внушала бы несравненно больше уважения. «Эх, люди, люди,— дешевка! А ведь суетятся, топорщатся... Кому вы нужны с вашими карбованцами? Ободранные, небритые, ноги немытые. Так вот сейчас за такое сокровище европейцы и кинутся в драку». Семен Иванович перекинулся мыслью на себя,— даже пальцы в сапогах поджал, но вспомнился чемодан с мерлушками, и горячо стало на сердце...

«Извиняюсь, уважаемые иностранцы,— мысленно говорил он, опуская руки вдоль брюк,— войск я у вас не прошу для защиты пропащей страны, где имел несчастие произродиться; денег, гостеприимства, равным образом, не прошу; еду, как торговый человек, для обоюдной выгоды...»

Он смотрел некоторое время в сторону заката, в золотой, багровеющий край, куда влекла его необыкновенная судьба, и померещились соблазнительные перспективы. «А ведь облизнется какая-нибудь бабенка при виде Семена Невзорова,— будет время. Перебежит когда-нибудь улицу такой-этакой, богато одетый, значительный господин, чтобы только пожать ему руку...»

Семен Иванович опять перевесился через перила. Это была секунда ясновидения. Он всматривался в фигуры эмигранток, стоящие в хвостах, бродящие среди корзин и протянутых ног.

Вон сидит великолепная женщина,— сняла шляпу и проводит устало пальцами по растрепанным вискам,— платьишко на ней совсем гнилое, башмаки такие страшные, будто их жевала корова...

А вон высокая девушка в клетчатой юбке, облокотилась о перила, печально смотрит на закат. Красотка,— с ума сойти, если сбросит она с себя эту юбчонку, эту кофточку с продранными локтями... «Котик, чудная мордашка, напрасно глядишь на закат: золотой свет не золото, пустышка, попробуй, схвати рукой,— разожмешь одни чумазые пустые пальчики...»

А вон брюнеточка-живчик... Или эта хохотушка, офицер-

ская жена, вздернутый носик, ресницы, как у куклы... Или та — гордячка с плоскими ступнями, сонными веками... Или та, фарфоровая аристократка, смотрит,— даже осунулась вся,— как негритенок мешает бобы с обезьяньим салом... Вот оно — богатство, золотые россыпи!..

Семен Иванович выпрямился,— хрустнули кости в пояснице: «В дождливые сумерки, у окошка, на Мещанской улице,— помню, помню,— мечтал, даже потные ледяные руки носовым платком вытирал,— вот до чего мечтал о великосветских балах, аристократических файфоклоках... Припадал мысленно к скамеечкам, на которых княгини, графини ножками перебирали... Вообразить не смел,— однако — встретились... Но припадать уж не могу,— далеко вниз бегать... И скамеечек тех нет более. Но подождите, подождите, дамочки,— Семен Иванович задохнулся волнением,— подождите, недолго — все будет: и скамеечки, и глубокие декольте, и цветочный одеколон...»

Ночная прохлада едва охладила воспаленную голову Семена Ивановича. План необычайного предприятия был еще далеко впереди, а покуда нужно было продолжать наблюдение.

На палубу в это время поднялись двое — Щеглов и астраханский драгун — и вошли в курительный салон. Сейчас же появились еще трое пожилых, затем, легко отстукивая ступени тяжелыми башмаками, взбежал шестой, стройный, в пиджаке и в мягкой шляпе, сдвинутой на ухо. Они также вошли в салон, и дверь захлопнулась.

Семен Иванович осторожно приблизился к дверной щели. В курительном салоне, за круглым столом, засыпанном окурками, сидело шесть членов Высшего монархического совета. Лампочка без абажура освещала жирное лицо Щеглова. Губы его шевелились, но слов не было слышно,— на заседании говорили шепотом, нагибаясь над столом, чтобы лучше слышать.

Направо от Щеглова сидел молодой человек, в шляпе, сдвинутой на ухо. Нежное продолговатое лицо его было красиво и дивно от особенной синевы глаз. Он, не мигая, смотрел на свет.

«Это и есть Прилуков,— почему-то подумал Семен Иванович,— но до чего же он страшный».

Щеглов кончил. Собеседники уставили лбы в стол. Молодой человек с синими глазами сказал отчетливо:

— Что же долго думать,— позвать этого дурака Невзорова, он как раз сейчас торчит у двери.

Семен Иванович, неслышно поднимая коленки, кинулся к лестнице. Мимолетом все же взглянул: спиной к палубным перилам, вцепившись в перила, стоял мрачный революционер в шляпе,— зеленовато, по-волчьи, блеснули его глаза...

Семен Иванович пролетел по всем лестницам до нижней палубы и скрылся за чемоданами. «Все им известно, ах, елки-палки, ну и влопался, видимо, в историю»,— думал он, отдышавшись, и силился понять, откуда может грозить опасность и почему так ему страшно.

Суета затихала на пароходе. Трюмы закрывались брезентами. Бродили унылые фигуры, присматривая местечко для сна. Одинокий дьякон, сидя под мачтой, с душу раздирающей безнадежностью напевал вполголоса покаянный тропарь.

Семен Иванович, осмелев, вылез из-за чемоданов. Любопытство его привлекли голоса в носовой каюте, где помещался одесский губернатор Хаврин. Там сипло кричали:

— Убирайтесь к черту, я вам говорю. Нет у меня никаких денег.

После некоторого молчания другой, тихий голос говорил:

— Ваше превосходительство, в перспективе — голодная смерть: жена и двое детей, а час тому назад еще третий родился.

— Уберетесь вы, я спрашиваю?

— Хотя бы ничтожнейшую сумму... В некоторое оправдание, ваше превосходительство,— кровь проливал в многочисленных сражениях за родину.

— Это ваше частное дело... Я гражданская власть. Тут у каждого какие-то жены оказываются и прочее... Обращайтесь к казначею вашей части... Вы мне надоели... К чертям!

После некоторого молчания дверь каюты медленно отворилась, и вышел низенький человек, похожий на плюшевого медведя. Споткнулся и стал, бессмысленно глядя перед собой. Казалось при свете звезд, что седые вихры его торчат дыбом. Куртка со штабс-капитанскими погонами, видимо сшитая из байкового одеяла, была покрыта тигровыми полосами. Несмотря на такую воинственную наружность, он беспомощно развел коротенькие руки.

— Вот, убирайся к черту, а куда? — обратился он к Семену Ивановичу.— За борт? Так ведь не один, четверо висят на шее. Ох! — простонал он из глубины медвежьего нутра и побрел к трапу.

Дверь в каюту осталась полуотворенной. Семен Иванович завел туда нос и увидел около стола, где горела свечка, стоявшего губернатора — огромного мужчину в черном и длинном сюртуке. Ладонями он тер себе изо всей силы багровое лицо.

— Пяти минут не дадут заснуть,— проговорил он сипло в сторону кого-то, кто, невидимый Невзоровым, сидел у стены за свечкой,— разнюхали, мерзавцы, нищая сволочь, про казенные деньги!.. Коротко и ясно: во вверенных мне суммах отдам отчет одному законному царю.

— И Высшему монархическому совету,— проговорил спокойный голос за свечкой. (Губернатор сразу бросил тереть щеки.) — Никакого возражения у вас быть не может, надеюсь? (Губернатор отмахнул полы сюртука и сунул руки в карманы, забренчав ключами.) Нас нисколько не интересуют расходы, произведенные вами до эвакуации. (Губернатор стал раскачиваться на каблуках.) Питая к вам искреннее расположение, ваше превосходительство, хочу поставить вас в известность, что Высший монархический совет на последних заседаниях решил расширить методы борьбы и действовать тем же оружием, что и наши противники...

— Террором? — прохрипел губернатор, и щеки у него стали цвета бургундского вина.

— Да,— коротко, как удар по стеклу, ответили за свечкой.

Разговор этот до того заинтересовал Семена Ивановича, что он неосторожно просунул нос дальше, чем следовало, в дверную щель. Сейчас же губернатор обернулся и с проклятием схватил его за воротник. Невзоров пискнул. Собеседник губернатора быстро поднялся, свет от свечки упал ему на лицо,— это был тот самый красивый молодой человек с синими глазами, нагнавший на Невзорова страху.

— Очень хорошо,— сказал он,— мы должны с вами поговорить.

И он под руку повел Семена Ивановича на нос парохода, туда, где лежали якорные цепи, мокрые от росы, и черное бревно бушприта неизменно стремилось на запад.

— Моя фамилия Прилуков,— сказал молодой человек,— если не ошибаюсь, имею удовольствие говорить с Семеном Ивановичем Невзоровым, по паспорту Симоном Навзараки. (Невзоров, не возражая, проглотил слюну.) Вы оказали добровольческой контрразведке важные услуги. Кроме того, вы подписали протокол казни графа Шамборена.

На вас обратили внимание как на человека способного и надежного.

— Виноват, господин Прилуков, я, собственно, больше по коммерческой части...

— Придет время, почтеннейший Семен Иванович, когда вы получите возможность заняться личными делами. Сейчас ваша жизнь принадлежит богу, царю и отечеству. Э, батенька, не спорьте, бесполезно... Одним словом — обеспечена ваша готовность подчиниться моим директивам и ваше гробовое молчание... Вы поняли: мол-чание.— Прилуков приблизил к Семену Ивановичу ледяные, ужасные глаза.— Вы, дорогой мой, служили до тысяча девятьсот семнадцатого года в транспортной конторе. Вы убили и ограбили антиквара, английского подданного... Молчать, я вам говорю!.. Много раз вы меняли фамилию... Вы служили казначеем в бандитской шайке атамана Ангела... Всего этого достаточно, чтобы повесить вас в первом же порту, где есть английский комендант... Кроме того, вы состоите в списках контрразведки и непосредственно мне подчинены... С вас этого всего достаточно?..

— Достаточно,— проговорил несчастный Семен Иванович. Он видел только в вершке от своего носа беспощадные глаза. «Неужели — Ибикус?» — подумалось ему, и ослабли ноги, безвольно задребезжало в голове. Он слушал медленный, отчетливый голос:

— Вы видели пассажира верхней палубы? Вы его хорошо рассмотрели? Это Бурштейн, опасный революционер. Вы слезете на берег вместе с ним. Вы будете следить за ним. Когда у него ослабнет инстинкт осторожности, вы ликвидируете его. Оружие вы получите на берегу. Даю вам сроку две недели. Если вы влопаетесь на этом деле, мы сделаем все возможное, чтобы вас спасти. Если вздумаете болтать лишнее, вас безусловно повесят. Все ясно? Никаких более вопросов...

Прилуков внезапно обернулся и, нагнувшись, скользнул без шума за якорную лебедку. К Семену Ивановичу подходила Дэво, теософка, кутаясь в одеяло.

— Еще один брат по духу не спит,— заговорила она сонным голосом,— я вас почувствовала издали... Нельзя без волнения созерцать звездное небо. Ведь это наши будущие родины. Миллион веков мы кочуем со звезды на звезду. Брат, я чувствую к вам доверие. Я хочу приподнять край завесы над тайной. Смотрите сюда, на Северный Венец...

Теософка выпрямилась, одеяло соскользнуло с нее, она подняла руку. Семен Иванович, из-за ужасной растерян-

ности и робости, стал глядеть на звезды и долго слушал таинственный рассказ Дэво о метапсихозе и о том, как первоначально люди,— то есть и она в том числе и Семен Иванович,— жили на солнце в виде растений — головой вниз, ногами кверху. У Невзорова действительно начало мутиться в голове от количества впечатлений этой ночи.

На верхней палубе, неподвижно и угрюмо, стояла сутулая фигура революционера со светящимися глазами. Черт его знает, что он наблюдал сверху: звезды ли, слабое ли свечение морских струй, расходящихся от пароходного носа, или ночные разговоры на палубе.

Рано поутру из трюмов вылезли все обитатели. Машины не работали. Пароход стоял на якоре. Брезенты, палуба, чемоданы, перила — все было мокро от тумана. Мачты до половины тонули в нем.

Но вот направо, далеко и, казалось, высоко, стали проступать оранжевые плоскости, прямоугольники, будто большие экраны. В них загорались пучки стеклянного света. Плоскости громоздились одни над другими. Это были многоэтажные дома Пера.

Вставало теплое солнце. Туманная завеса редела. Налево проступили такие же, как туман, голубоватые, легкие очертания Стамбула — минареты, висящий в воздухе купол Айи Софии, парная ей мечеть Сулеймана, пирамидальные тополя, квадратные башни древней Византии. У мокрых перил разговаривали:

— Ах, какая красота, Ваня, да посмотри же.

— Совсем как на папиросной коробке, даже узнать можно.

— Вот тебе и Царьград. Здравствуйте. Прибыли.

— А хорошо полумесяц-то этот сшибить, да — крест... Эх, проворонили...

— Ничего. Подождем. От нас не уйдет.

— А говорят — турки все-таки страшная сволочь.

— Совершенно наоборот — благороднейшая нация.

— И напьемся же мы, господа, сегодня...

Так, в ожидании высадки, эмигранты простояли у бортов до завтрака. И опять — негритята мешали бобы, повар чистил картошку. Настроение стало портиться. В виду Константинополя принудительно есть свиное месиво, торчать на вонючей палубе, что это — издевательство?

Начался ропот. Послали делегацию к капитану. Тот ответил туманно. Никто ничего не понимал. Возмущались ужасно. «Как они смеют полдня держать нас на борту? —

довольно нас мучили на проклятом пароходе. Кто мы, собственно говоря, пленные? или дикари какие-нибудь?»

К «Кавказу» несколько раз подходил военный катер. Элегантный офицер, в фуражке с золотыми дубовыми листьями, кричал что-то в рупор капитану, и катер опять уходил, стуча и поблескивая медью.

Подъезжали лакированные лодочки, внутри устланные коврами. Какие-то европейские изящные люди, в чистых воротничках, в шелковых носках, в блестящих туфлях, покачиваясь на быстром течении, глядели, покуривая папироски, о чем-то весело, независимо перекликались, указывали тростями на голодные, грязные, взхломаченные лица русских эмигрантов, наглядевшись — уплывали.

Город был залит теперь апрельским солнцем. Через длинный мост Золотого Рога двигались потоки экипажей и пешеходов, сверкающие стеклами трамваи. Люди ехали и шли, куда хотели, ни у кого ни о чем не спрашивая разрешения. И никому, видимо, в этом городе не было дела до трех тысяч русских, спасшихся от революции.

А раньше — придет пароход Добровольного флота,— облепят проклятые турки: «Рус, рус, купи феску, купи туфли!..» И туфли-то дрянь, фески гнилые. А идешь до Пера — хватают за полы, тащат сапоги чистить, из шашлычных высовываются: «Сюда, рус, рус, шашлык хорош!..» А теперь носы воротите... Подождите, свергнем большевиков, пропишем вам «рус» туфлей по носу...

В третьем часу дня произошла короткая паника. Команда военных моряков с винтовками, угрожающе щелкая затворами, вскочила на возвышение на корме. Взяли наизготовку. Другая команда заняла носовую часть.

В трюмах послышались повышенные голоса. Бледные, растерянные офицеры, щурясь от солнца, вылезали из трюмов. Их выгоняли оттуда прикладами. К пароходу подходила шаланда. Тогда все объяснилось: добровольческие части перегружались на транспорт и возвращались обратно в Новороссийск, в действующую армию Деникина.

Часть военных перегрузили. На палубе успокоились, и снова эмигранты повисли у бортов. Многомиллионный город шумел — рукой подать... Дымили трубы, проходили паруса у древних стен и выходящих из воды квадратных башен. День был теплый, лучезарный.

С пяти часов негр опять начал чистить картошку, негритята — откупоривать жестянки с мясом человекоподобной обезьяны. Тогда население парохода стало сбиваться в кучки, поднялся ропот, нашлись демагоги, и было решено кол-

лективно отказаться от принятия пищи. Капитан ответил делегатам, что на сегодня бобы уже сварены, а завтра он прикажет выдать рис, если же подобное брожение умов повторится, то прикажет отвести пароход на шесть миль назад к Черному морю.

В сумерки пошел слух, что в кормовом трюме начался сыпняк и что союзники, боясь заразы, решили угнать пароход прямо в Африку, в горючие пески. Напряжение всех последних дней сменилось острым отчаянием. Почти никто не спал в эту ночь.

Город всю ночь переливался брильянтовыми огнями. Доносились слабые звонки трамваев и даже как будто звуки музыки из ресторанов. Не то играли танго, не то старинные вальсы...

Наутро с грохотом подняли якорные цепи. Пароход заревел и медленно двинулся вдоль панорамы Константинополя, к Мраморному морю.

Близ выхода в море опять стали на якорь. Приунывшие пассажиры глядели на пустынный берег, на глинистые овраги, на какие-то подозрительные облупленные постройки на косогоре за колючей решеткой. Никто теперь ни на что хорошее не надеялся.

Семен Иванович, как и все, растерялся и упал духом за эти сутки. Бессмысленно толкался, толкался до изнеможения по палубе. Жевал бобы. Курил, курил. Спохватываясь, лез наверх и проходил мимо опасного революционера. Он даже заглянул ему в тяжелые глаза, но не ощутил ни волнения, ни страха при этом.

Сейчас он обалдело глядел на унылую равнину, где близ построек лениво полоскался на мачте карантинный флаг, желтый, как зараза. Сюда сгоняли всех чумных, холерных, прокаженных, сыпно-тифозных. Сейчас, видимо, загонят за эту проволоку и русских,— сиди, проветривайся. Вот тебе и Европа!

Скверно было на душе у Семена Ивановича: так на этот раз зажали его плотно, что не вывернешься. Удрать, а куда? Ну, удерешь с парохода, не ступишь и шагу — схватят, приведут к английскому коменданту и сейчас же повесят по доносу проклятого Прилукова. Без языка, без знания местности, все равно что темною ночью.

Припомнил Семен Иванович все, что слыхивал про турок гололобых, как ходят они, с усами, в фесках, в канаусовых шароварах, режут армян кривыми саблями, православных на кол сажают; нет, от своих отбиваться нельзя, к пароходу надо жаться — надежнее...

...«Ну, как я этого черта убивать стану,— думал Семен Иванович, оглядываясь с тоскливым вздохом на революционера в шляпе,— стоит, расставил ноги, дьявол чугунный. Разве его убьешь? Сам всякого угробит в два счета. А кроме того, кому это нужно? Так уж — от самодурства, от злости, от бобов с салом — распучило животы монархистам, вот и придумали, на ком сорвать досаду...»

Пока Невзоров предавался невеселым размышлениям, к пароходу подошла шаланда. Было приказано высаживаться всем с мелким ручным багажом. Тогда неожиданно среди пассажиров, в особенности в крайних — носовом и кормовом — трюмах, произошел сложный излом психологии: высаживаться на берег решительно отказались.

Начались переговоры с капитаном, водовороты на палубе. Выскочили демагоги и закричали о единодушии, требовали объявить голодовку, грозились первого, кто спустится в шаланду, вышвырнуть за борт.

Все несчастья эвакуации, спанье в трюмах, бобы и обезьянье мясо, распученные животы, очереди у отхожих мест, грязь и последнее унижение вчерашнего дня, когда все только облизнулись в виду Константинополя; еще глубже — вся бездольная, кочевая жизнь за два года революции, разбитые вокзалы, вшивые гостиницы, налеты, перевороты, разбойники, бегство на крышах вагонов в мороз, в дождь, вымирающие в тифу города, бегство все дальше на юг — все это взорвалось наконец чудовищной истерикой в истерзанных душах. Начался такой крик, что капитан счел за лучшее уйти с мостика в каюту.

А затем, незаметно и совсем просто, матросы перекинули трап с «Кавказа» на шаланду. Несколько человек, в том числе Щеглов с женой и драгуном, спокойно перешли туда и закурили папироски. К трапу кинулась толпа. Началась давка. Через голову в шаланду полетели узлы и чемоданы. Капитан опять появился на мостике и крикнул по-французски, что прикажет стрелять, если сейчас же не установится порядок. Его никто не понял, но порядок установился. Шаланда три раза ходила от парохода к берегу, и к середине дня все пассажиры были выгружены. «Кавказ» загрохотал цепями и отошел с большим багажом в неизвестном направлении.

Семен Иванович стоял обеими ногами на берегу, на нерусской земле, но это его не радовало. Он чувствовал, что готовится какая-то новая каверза со стороны союзников.

Действительно, среди эмигрантов, толпившихся близ воды, появились турецкие чиновники в фесках и длинных,

пыльного цвета сюртуках с зелеными — жгутом — погонами. Кривых сабель при них не было. Они что-то лопотали, указывая на унылые постройки за колючей проволокой. По кучкам эмигрантов пошел ветерок возмущения, но душевные силы были уже истощены. Многие только шептали: «Ведь это же издевательство... Так не обращаются даже с папуасами. Боже, какое унижение!..» Иные женщины садились на весеннюю травку и плакали.

Оказалось, что турецкие чиновники велят всем эмигрантам идти в баню и насильственно мыться. А одежду они, турки, будут парить в особых печах — вошебойнях, или антисепторах.

Семен Иванович стал в очередь и, шаг за шагом, как бывало в России у продовольственной лавки, поплелся к облупленному зданию. Очередь тянулась через ворота, через дворик, в большую залу с асфальтовым полом, исхоженным миллионами отверженных. Здесь очередь заворачивала направо, в банные двери. Близ них из окошечек высовывались руки и выкидывали связанную бечевками эмигрантскую одежду. Чиновники сваливали ее в сетчатые мешки и тащили к другой стене, к большому окошку. Сквозь него были видны жерла печей, куда бородатые турки толкали кочергами эти мешки с одеждой.

Семен Иванович вошел в предбанник и стал раздеваться, как и все, догола. «Вот она, Европа,— думал он, несколько стыдясь своих ног,— ну, не знали... Ай, ай, ай!..» Около него пожилой господин, голый и поэтому неопределенного звания, говорил дрожащим голосом:

— Крест хотя бы они разрешат оставить на шее?

— Эх, батенька, уж коли начали над нами надругиваться,— систематически доведут до конца... Это вам — Европа...

— Я решительно протестую... Не желаю идти в баню!.. Я и без того чистый...

— Фу ты, какой здесь сквозняк эти турки напустили!

— Господа, всех без исключения, оказывается, крутым кипятком ошпаривают...

— Этого еще не хватало!..

Семен Иванович только вздохнул болезненно и стал в очередь к банному отделению. Перед ним двигался коротконогий, приземистый человек с широкой спиной, покрытой волосами. От него изрядно попахивало. «Этого вымыть — много надо мыла»,— подумал Семен Иванович. Дверь распахнулась. Обдало теплой сыростью. Шумела вода. Воло-

сатый приземистый и Невзоров вошли по мокрому асфальту в длинное помещение, где под сотней душей прыгали, отфыркивались, отряхивались голые эмигранты.

— Вот свободный душ, вы первый или я? — спросил волосатый, оборачиваясь к Семену Ивановичу. Это был опасный революционер. Семен Иванович даже поскользнулся на пятках. Революционер стал под душ и начал скрести живот. Он фыркал, как буйвол, видимо, очень довольный, и косолапо поворачивался. Сквозь его повисшие волосы был виден разинутый рот, отплевывающий воду. «Великолепно,— проговорил он насколько мог весело,— давно я не мылся, великолепная баня».

Семен Иванович глядел на него. «Видишь ты — моется, здоровенный какой, плотный, выпить, чай, не дурак... Ну, как его убивать? — даже как-то неудобно».

В это время мимо прошел белый, как девушка, Прилуков и с усмешкой твердо посмотрел Невзорову в глаза.

Турки приготовили еще одну неприятность. Прогнав эмигрантов через душ, они выдавали каждому его одежду, горячую, прямо из печи. Голые люди начинали одеваться, но не могли влезть ни в штаны, ни в рукава,— одежда сселась, сморщилась, башмаки испеклись,— хоть плачь. Так, ковыляя, вымытые, с выбитыми микробами, эмигранты потянулись к сходням, где их погрузили в мелкие суда и повезли по вечереющему, как оранжевое зеркало, Мраморному морю на последний этап — остров Халки.

Семен Иванович оказался на одном катере с Ливеровским. Тот все шутил, называл Невзорова Оглы Невзарак, обещался подарить ему феску. А Семен Иванович вздыхал и помаргивал. Приближался уединенный островок Халки, весь уже погруженный в тень. За его скалистым очертанием разливался закат. А у самой воды на островке уже горели огоньки поселка. Теперь можно было различить сильно накренившиеся мачты и трубу «Кавказа», разгружавшегося у пристани.

«Неужели на этом острове найду себе могилу?» — подумал Невзоров, который, как русский человек, размяк душевно после бани. Воздух был легкий. Уютно отражались огоньки в воде. И у Семена Ивановича под жалостью к самому себе начала дрожать лукавая жилка: вывернешься, братец, раскроешь еще крылья, главное — тихонько, тихо, не противореча, никого не тревожа — бочком пробирайся к счастью.

Катер подошел к длинным морсткам. На них лежали горы багажа, суетились люди в фесках, оживленно разговарива-

ли повеселевшие эмигранты. Приехали! Неподалеку на берегу ярко светились окна шашлычной.

— Господа! — взволнованно крикнул какой-то длинный человек, шагая через чемоданы,— а какая у них здесь водка, какие шашлыки! Багаж завтра разберем — айда закусывать!

Семен Иванович сошел на берег, потянул носом и вдруг вытянулся на жилистых ножках. Неожиданно, совсем бы и не к месту, охватила его сумасшедшая радость,— и он крепко сжал кулачки, как прежде бывало.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Шумно и беспокойно стало в Мраморном море, на скалистом островке Халки.

Вслед за «Кавказом» выгрузился второй пароход с эмигрантами из Ялты. Пять тысяч русских, привыкших к необъятным пространствам и к разнообразным впечатлениям гражданской войны, очутились на небольшом клочке земли среди сияющего безбурного моря, в греческом поселке, мирно дремавшем третью тысячу лет у самой воды.

Русские воинские части разместились наверху, в древнем монастыре. Прибили в длиннейших коридорах к дверям записки: «Штаб армии», «Отдел снабжения», «Служба связи», «Конная дивизия» и прочее. За каждой такой дверью в пустых и пыльных комнатах валялось на каменном полу по десятку простреленных со всех сторон, прожженных девяностошестиградусным спиртом белых офицеров.

Хаврин со своей канцелярией и двенадцатью чемоданами денег, суровые генералы, адмиралы обоих флотов, бесхозные губернаторы, дюжины две промышленных королей заняли дачи на полугоре.

Рядовой эмигрант разместился внизу у моря, в деревянных домишках и гостиницах, над шашлычными заведениями, среди неизъяснимого количества клопов.

Клопы здесь были не то что какие-нибудь русские — вялые и сонные. Клоп на острове Халки был анатолийский, крупное, бодрое животное. Он не смотрел — ночь ли, день, была бы подходящая пища. Едва только эмигрант ложился на постель,— клоп дождем кидался на него с потолка, лез из щелей, изо всех стен. Эмигрант стискивал зубы, терпел. Нет. По ночам можно было видеть, как на улицу или на лужок выскакивает встрепанный человек в нижнем белье и чешется под огромными звездами, видавшими в этих местах и аргонавтов и Одиссея.

А наутро — за что ни схватись: вытащит эмигрант платок, чтобы вытереть пот с лица,— в платке клопы, гладкие, веселые. Или в кабаке положит руки на стол,— из рукавов лезут клопы.

На узенькой, жаркой улице,— единственном месте встреч и гулянья,— с утра толкались русские. Делать было решительно нечего. В открытых лавках шипели шашлыки, в больших плоских кастрюлях дымились напоказ залитые салом пловы. За окнами дощатых кофеен любознательные эмигранты учились поджимать под себя ноги по-турецки

и курить кальян, от которого мутилось в голове хуже, чем от белены. На перекрестках, перед горячими медными ящиками, чистильщики сапог вращали вылупленными глазами в кровяных жилах. Известковая пыль клубилась под ногами у гуляющих. Вот встретились, раскланиваются:

— Графиня, как спали?

— Ужасно, Семен Иванович, съели заживо.

— Виноват, у вас на ухе клопчик, графиня.

И Семен Иванович Невзоров деликатно снимал насекомое, бросал его на дорогу. Графиня, в изжеванном платье и в наскоро купленных турецких туфлях, грустно благодарила за эту мелкую услугу, спрашивала,— нет ли новостей?

— Окромя пьяного скандала нынче ночью, ничего нового, графиня.

— А когда в Константинополь?

— Говорят, что дня через три начнут выдавать пропуска, но с трудом. Желаете, может быть, чашку турецкого кофе или простокваши,— зайдемте в кофейню.

— Благодарю вас, в другой раз.

Семен Иванович бойко откланивался и протискивался сквозь толпу до небольшой площадки. Здесь, на куче щебня, поросшего пыльной травкой,— остатка от греческого погрома четырнадцатого года,— играла шарманка.

Пестрая, в зеркалах, с колокольчиками и лентами, шарманка эта дудела, и свистела, и позванивала над суетливым поселком, над тихим морем, всегда одно и то же: «Вите, вите, Венизелос»,— утверждая, назло всему Исламу, греческое влияние на Мраморном море и в обоих проливах.

Семен Иванович с удовольствием послушал шарманочное хвастовство про великого Венизелоса, снова нырял в толпу и раскланивался с хорошенькой хохотушкой, офицерской вдовой.

— Лидия Ивановна, как спали?

— Ну, оставьте, пожалуйста, мы еще не ложились.

— Все кутите?

— Да еще как. В четыре часа утра установили связь с моряками. Они покрыли нас таким коньяком, что у нас выбыло пятьдесят процентов состава. Сейчас едем на ослах на гору — смотреть вид. Потом — купаться. Нет, право, здесь чудно.

— Виноват, Лидия Ивановна, у вас на груди — клопчик.

— Спасибо.

Семен Иванович шнырял в бестолковой толпе гуляющих и пьяных, болтая с самым непринужденным видом, оказывал дамам мелкие услуги и делал все это неспроста.

Он до тошноты в желудке страшился уединенных мест, где к нему непременно должен подойти Прилуков и сказать: «Вы что же дурака валяете? Сегодня Бурштейн должен быть ликвидирован, иначе...»

Скрываясь от ледяных глаз Прилукова, Семен Иванович преследовал, между прочим, и другие цели: заветный план, открывшийся ему в час заката на пароходе в Черном море.

План был хорош со всех сторон, откуда ни посмотри — золотое дело. Надо отдать справедливость Семену Ивановичу: в борьбе с судьбой, глянувшей некогда ему в лицо глазами старой цыганки на Петербургской стороне, трепавшей его, как щенка, возносившей высоко, чтобы снова втоптать в грязь, в борьбе с судьбой, которая лезла к нему отовсюду разными гнусными рожами — ибикусами,— он не упал духом, нет. Ум его развился, приобрел легкость, осторожность в разведке, хватку в решении. Верткий телом, готовый ко всякой случайности, ничему более не удивляющийся, жадный и легко отпадчивый, Семен Иванович считал себя новым человеком в этой жизни, полной унылых дураков с невентилированными мозгами, набитыми трухой предрассудков о дозволенном и недозволенном.

— Дозволено все, господа, откройте форточки,— говаривал он в кофейной за стаканом греческого вина, которым угощал нищее офицерское сословие. Здесь, на острове, Невзоров в первый раз за свою жизнь заговорил,— и не глупо. Взялись острые мысли, едкие слова. Его слушали, и он получил вкус к разговорам.

— Хотя бы о политике, не будем вола вертеть, господа,— толковал он тому же офицерству.— Революция, пролетариат, власть Советов — одна пошлость. Я при своем таланте могу нажить капитал, а он, комиссар, в Москве сидит, не может, живости нет, или с детства над книгами задохся. Вот они и клеют афиши на заборах, стараются переманить народ, чтобы их было больше,— на меня одного кинуться вдесятером. И мне приставляют ко лбу наган, выдергивают из кармана валюту, кольцо — с мизинца. И я же оказываюсь эксплуататор, индивидуалист-одиночка. Блевать хочется, так это скучно.

— Верно, правильно, браво, главное — умно,— шумело офицерство, дымя папиросами.

— Пошлость эта завелась в России от зловредного старика, Льва Толстого, это мне один доктор рассказывал: граф, помещик, трюфели ест, фазанов, мадеру лопает, неврастеник, конечно, ну и потянуло на капусту. Объявил себя

другом физического труда, врагом капитала: «Я, говорит, не могу молчать». Нет, елки-палки. Напишу я брошюру против большевиков. Пусть в Европе прочтут горькую правду... Покуда они там охают-ахают, большевики всю Российскую империю разворуют, потом ищи с них — дудки! Драгоценности, обстановки, тысячные шубы растащили, порвали, пожгли. Я сам — у себя в именье — из огня выскочил в одних подштанниках. Музеи не пощадили, Рубенса, Рембрандта беспощадно выдирают — Красной Армии на подвертки. Брильянты ведрами увозят в Архангельск на китобойное судно «Интернационал»,— оно у них второй год под парами стоит на случай бегства. А народу, господа, осталась одна четверть в России, да и те в леса разбежались... Поезда, вместо паровозов, на конной тяге передвигаются. К Новому году, поверьте мне, вместо нашей родины останется пустое пространство земли.

У офицеров белели лица, безумели глаза. Жутко бывало в кабачке в эти минуты. Семен Иванович становился популярным на острове. Член конституционной партии, Масленников, даже предложил издать его брошюру за счет партии. Но Семен Иванович туманно уклонился, хотя общественное внимание крайне льстило ему.

Прилукова он видел ежедневно издали и сейчас же нырял в толпу. Все же он понимал: рано или поздно придется встретиться лоб в лоб. Убить Бурштейна было бы делом плевым, конечно, но страшили последствия. Не убить — опять страшили последствия.

Страшный революционер поселился в единственной на острове гостинице и от трех до пяти гулял по шоссе. Он, по слухам, крайне обиженный тем, что его в России отвергли, подготовлял массовое переселение в Аргентину и уже вел осторожную агитацию среди военных.

Так прошла неделя со времени высадки. На острове не затихла толчея. Развернулись общественные комитеты Земского и Городского союзов,— они выдавали битых кроликов, рис и туфли, а также вели идейную борьбу с пьянством. Политические партии (кроме монархистов) на бурном заседании блока, после взаимных упреков и оскорблений, выпустили воззвание, оно начиналось решительными словами: «Проклятие вам, большевики...» Население острова приглашалось к единодушной борьбе за единую, неделимую Россию. Население приняло это к сведению и продолжало развлекаться, как могло: купались, нюхали кокаин, ели

шашлыки, пили «дузик», шумные компании верхом на осликах скакали по лесистым горам, завивали горе веревочкой.

А по весеннему зеркальному морю мимо острова проплывали плоскодонные пароходики — шеркеты, битком набитые веселыми европейцами и константинопольскими дельцами. Эти вольные люди не ели кроликов, похожих на ободранных кошек, не ходили регистрироваться к французскому коменданту, не толкались в известковой пыли между парикмахерской «Идеал» и шашлычным заведением Каракаргопуло, не били керосином клопов. Там, куда в голубые, как мираж, очертания мирового города уплывали шеркеты, безболезненно перепархивали между пальцами турецкие и английские фунты, там у каждого был свой дом в своем собственном отечестве. Там мужчины прохаживались с гордо поднятой головой, а женщины, в мехах и брильянтах, выходили из автомобилей у зеркальных витрин, полных роскоши. Ах, черт! ах, скрип зубовный! проклятие вам, большевики!

Хуже всего приходилось женщинам на этом нищем островке, в прошлом — развалины жизни, дни, которых не хочется вспоминать, сегодня — стирка в рукомойной чашке истлевшего бельеца, на ужин — остатки кроликовой кошки, в минуту тишины — взгляд в зеркало на преждевременные, совсем не нужные морщинки, да оскорбительное знакомство с провонявшим потом полковником Сеноваловым, багровым и громогласным чудилой. А будущее — как страшный сон, когда видишь себя в какой-то пепельной мгле идущего на цыпочках, раскинув руки, по узенькому карнизу незнакомого дома на высоте многих этажей. В будущее лучше было не заглядывать.

Среди этих-то женщин Семен Иванович главным образом и вертелся, угощая их кофейком и простоквашей, острил, говорил о жизни, встряхивал волосами.

— Верх цивилизации — роскошная спальня красивой женщины, храм наслаждения. Все остальное — предрассудки, срок жизни очень мал, а прогресс не знает морали. Так-то, мадам.

Радостный слух облетел остров: завтра начнут выдавать пропуска в Константинополь.

Семен Иванович узнал об этом, лежа в постели. Он квартировал у трактирщика Каракаргопуло, во втором этаже, в комнатешке, предназначенной для кутежей местных греческих сладострастников: красная ситцевая занавеска

на окошке, красный пыльный полог над перинами, набитыми клопами, вместо стула — прочное биде с расписной крышкой, ход через трактир. Помещение это Семен Иванович облюбовал, опасаясь неожиданного посещения Прилукова,— здесь он был в безопасности.

Семен Иванович выскользнул из-под перины, живо почесал рыжеволосые жилистые ноги, и в голове молнией пронеслись противоречия. Завтра, разумеется, он постарается улизнуть с острова, но Прилуков это лучше его знает и сегодня же будет говорить с ним лоб в лоб. Как поступить, на что решиться? Запрятаться ли на берегу, между камнями, на целые сутки? Или как-нибудь перехитрить Прилукова?..

Семен Иванович задумчиво оделся, долго расчесывал бородку и волосы, посматривая на себя в стенное зеркало,— из мутновато-ртутной глубины его глядело на Невзорова лицо... Странное глядело лицо... Перекошенное, с мертвенным глазом... Что за дрянь зеркало повесил на стенку глупый грек Каракаргопуло. Никакого же сходства между Семеном Ивановичем по эту сторону и Семеном Ивановичем по ту... Вдруг холодок пошел по спине Невзорова, он отступил вбок от зеркала, будто оттуда глядело что-то ужасно знакомое, надел картузик, еще раз покосился и вышел. Решение было принято.

— Аллах верды, бахчи, бачка,— сказал он толстому, мягкому, женоглазому Каракаргопуло, думая, что говорит по-турецки, и на особенно увертливых ногах зашагал к парикмахеру.

Народу на уличке было мало в этот час,— эмигранты стояли в очередях у французской комендатуры за пропусками. По пути Семен Иванович купил феску без кисточки и спрятал ее в карман. Парикмахеру он объяснил знаками, что хочет снять свою растительность. «Идеал» щелкнул языком, как скворец, и машинкой окатал Семену Ивановичу и голову и бороду с усами, затем чисто выбрил его.

Невзоров любопытно поглядывал на свой маленький и острый череп, на заголенный рот, кривенько усмехающийся от сраму, на лисий подбородок. «Лисица»,— подумал он с едкой к себе симпатией.

Он надел феску,— сам черт не узнал бы теперь Семена Ивановича,— и вышмыгнул из парикмахерской, не заметив, что из другого отделения, где делали маникюр, внимательно следили за его превращением синие глаза.

Двое знакомых прошли мимо Невзорова, не признав его. Он вернулся домой, и Каракаргопуло, также не узнав его,

долго колыхался и цыкал языком. Семен Иванович предложил ему купить мерлушки. Каракаргопуло разволновался, ушел и вернулся с двумя дошлыми греками. Они так плотно обступили Невзорова, так кричали и торговались, что он уступил мерлушки за 750 турецких фунтов. Все же это было богатство.

Во французской комендатуре он протолкался к чиновнику, решительно сунул под пресс-папье сто франков и сейчас же получил пропуск в Константинополь. Шеркет уходил завтра в девять. Это время до утра решало судьбу Семена Ивановича. Он юркнул в темную кофейню, спросил чашечку кофею, поджал ноги под себя и закрыл глаза, точь-в-точь как задремавший турок.

Но воображение его не дремало. Он представлял себе шумные улицы Константинополя, полные дураков. Он со своей находчивостью и умом объегоривал и ощипывал слишком волнующихся при денежных сделках левантинцев, слишком доверчивых европейцев. Он продавал пароходы Добровольного флота, нефтяные участки, русских красавиц в гаремы. Он оборачивал капитал до пяти раз в сутки. Он гонял по городу в закрытом автомобиле, держа под груди двух красавиц брюнеток, кокоточек.

Мечтательность,— остаток варварства,— опасное качество для делового человека. Она убивает осторожность, искривляет перспективу, придает ложную форму вещам, отбивает чутье. Семену Ивановичу надо было чутко и недремно сидеть в темном углу, наблюдая за посетителями. Он уже распустил крылья и нарвался. Сухой палец надавил ему на плечо, и ледяной голос проговорил:

— Ну, а теперь пожалуйте со мной, поговорим.

Перед ним стоял красавец Прилуков. Семен Иванович слабо застонал, вытащил из-под себя затекшие ноги. Прилуков сказал:

— На полдороге к монастырю свернете по шоссе, голубая дача — вторая направо, там ждите.

На голубой даче, в опрятном зальце, куда вошел Невзоров, на стене висел портрет Николая Второго, убранный крепом. Семену Ивановичу стало робко. Он почтительно присел на один из венских стульев, отражавшихся в навощенном паркете. Ни одной соринки на полу, ни одной мухи на стене. Успокоительно попахивало сдобными хлебцами. «Сразу видно — аристократы живут,— подумал Семен Иванович,— быть все-таки не может, чтобы они меня на мокрое дело послали».

В это время из боковой двери вошел астраханский дра-

гун, уже знакомый Невзорову по пароходу. Надутое лицо его было воспаленное, вздернутый нос посапывал, глаза без ресниц были мутные. Видимо, у него вдребезги болела голова с похмелья.

— Здравия желаю,— достойно и не без поспешности сказал Семен Иванович, поднявшись со стула. Драгун ответил хриповатым шепотом:

— Здравствуй, сволочь.

И уставился тухлыми глазами на Невзорова.

Семен Иванович, конечно, пренебрег таким обращением и доложил, что пришел по приказанию Прилукова. Драгун опять сказал:

— Морду разобью.

— За что-с?

— Разобью морду — тогда узнаешь за что.

— Я всегда готов всемерно пострадать на пользу отечества, но не заслужил, извиняюсь, вашего крайнего обращения.

— У, сукин сын, дерьмо,— говорил драгун, обходя кругом Невзорова и глядя ему то на ноги, то на голову.

Положение Семена Ивановича становилось настолько щекотливым, что он подался к выходной двери, но драгун сейчас же запер ее и готовился, видимо, въехать в ухо.

— Обрился, мерзавец, скрываешься, феску надел...

— В первый раз вижу такое обращение,— Семен Иванович прищурился для выразительности и загородился стулом. Драгун молча развернулся, но Семен Иванович успел присесть. Вошел Прилуков и раздельно, как на морозе, проговорил:

— Теплов, потрудись без рукоприкладства. (Драгун неохотно отвернулся от Невзорова и потащил из заднего кармана галифе серебряный портсигар с кистью.) Ну-с, господин Невзоров, у нас остается один сегодняшний день. Завтра известное вам лицо переезжает на жительство в Константинополь, так как, не в пример прочим, через своих сионских мудрецов получило разрешение и даже визы.

— Господин Прилуков, да как же, да где же? Ведь известное нам лицо сидит цельный день в номере, на прогулку выходит — где людно. Я бы с радостью с этим покончил...

— Одним словом, Невзоров, вы помните наш разговор? Даю честное слово, завтра пойду к французскому коменданту и выдам вас на предмет повешенья...

— Ну, для чего же, господин Прилуков...

— Потрудитесь молчать. Вот револьвер.— Прилуков вы-

нул из кармана маленький браунинг и положил его перед Семеном Ивановичем на стол.— Он принадлежит известному вам лицу, украден у него сегодня ночью. Меня совершенно не касается — где и как вы ликвидируете это лицо. Предоставляю это вашей находчивости. Постарайтесь, чтобы выстрел был в голову, по возможности не в затылок. Вы разожмете ему правую руку и вложите револьвер. Это будет самоубийство.

Семен Иванович, как загипнотизированный петух, глядел на револьвер. Драгун проговорил плачущим голосом:

— Миша, позволь — ему в морду въеду, смотри, он раздумывает.

Тогда Семен Иванович сунул револьвер в карман пиджака, пошел к двери и спросил, не оборачиваясь:

— После этого буду свободен?

— После этого можете убираться ко всем чертям.

Семен Иванович сел на лавочку против гостиницы и ждал, когда Бурштейн выйдет гулять. Это были сквернейшие часы в его жизни,— а вдруг проклятый жидюга так нажрется за обедом, что без прогулки завалится спать?.. Что делать тогда,— в окошко лезть к нему ночью? Семен Иванович вспомнил, как мылся с ним в бане на карантине. «Надо было тогда его из шайки кипятком окатить крутым,— непременно бы умер, а вот теперь из-за него карьера вся ребром поставлена...»

Невзоров нетерпеливо вертелся на скамейке перед гостиницей. Дул восточный ветер. Жгло солнце. Проносились облака известковой горячей пыли. На зубах скрипело, лицо было воспалено после бритья, по всему телу чесалось. Было уже без четверти четыре. Обед в гостинице окончился. Несколько человек вышли за решетку в садик, где ветер трепал сухие листья пальм,— сели в полотняные шезлонги и, ковыряя в зубах, глядели на измятое потемневшее море.

Вдруг Семену Ивановичу представилось, что это — день его гибели... Именно такой, пыльный, окаянный, известковый, когда все зудит и чешется в смертной тоске... Он заметался на скамейке, не уберегся, и облако известковой пыли кинулось ему в глаза, запорошило, ослепило. Семен Иванович тихо завыл и принялся тереть глаза.

Когда он смог их открыть,— низконогая, коренастая спина Бурштейна не спеша удалялась по шоссе к лесу, тоскливо шумевшему на горке.

Невзоров сорвался со скамейки вдогонку, но скоро овла-

дел собой и свернул наверх, в сторону корявых сосенок, чтобы выйти на шоссе впереди Бурштейна. Лес, обычно полный гуляющими, сегодня был пустынен. Карабкаясь по хвойному склону, по осыпающимся бурым камням, задыхаясь от нетерпения, весь в поту, с пересохшей глоткой, Семен Иванович добрался до места, где в глубокой выемке снова появилось шоссе. Здесь он, вместе с камнями и пылью, съехал на заду и пошел по белой дороге в обратном направлении. Револьвер он переложил в правый карман брюк.

Через несколько минут он увидел Бурштейна. Он весь сотрясся от волнения,— корни обритых волос стали торчком. Бурштейн, расставив ноги, что-то писал в книжечке, затем глубокомысленно почесал в ноздре карандашом, не поднимая головы, повернулся, как буйвол, и побрел назад к дому.

Тут уже Семена Ивановича подхватило ветром, так он вдруг стал легок: на цыпочках, неслышно (суровый шум леса заглушал шаги) он догнал Бурштейна и уже судорожно сжал в кармане револьвер...

Бурштейн, присев слегка, живо, дико обернулся и уставился в глаза Семену Ивановичу. Прошла значительная пауза...

— Вы что это — обрились? — мрачно сказал Бурштейн.— Я сразу и не узнал, странно, странно...

— Пыль, знаете, жара, взял, знаете, и побрился,— пробормотал Семен Иванович и в ту же секунду пропал, погиб,— со слезным грохотом рухнули все его ослепительные перспективы... Съежилась душа, стала просто душонкой, обмякли жилистые мускулы, кулак с револьвером завяз в кармане... Ах, не надо было глядеть в эту секунду в человеческие глаза, которые должны умереть, не надо было бормотать про парикмахера!!!

Бурштейн спросил:

— Гуляете?

— Знаете, погулять вышел.

— Странно, странно. Я вас только что видел,— вы против гостиницы сидели, терли глаза.

— Не может быть... Никогда глаза не тру, вы обмишурились...

Тогда резко, повелительно Бурштейн крикнул:

— Выньте руку из кармана! — И, когда Невзоров потащил руку, он схватил его за вялую кисть, нагнулся низко.— Так и есть, это мой браунинг.

— Господин Бурштейн, я сам бывший революционер... Товарищ, подождите обвинять... Я сам, быть может, у вас

защиты хочу просить... Я в коробку попал, господин министр! Войдите в мое положение...

И Невзоров, хватая ледяными пальчиками воздух у самых пуговиц бурштейновского пиджака, торопясь до пены на губах, рассказал все плачевные обстоятельства, которые на пароходе «Кавказ» привели его к необходимости покуситься на убийство, «совершенно мне не нужное, даже невыгодное, при моем уважении к вам, господин социалист».

По мере рассказа Бурштейн хмурился, поднимал плечи, врастал в землю. Каждый раз при имени Прилукова он принимался свирепо сопеть. Он выспросил подробности и записал их в книжку. Затем, не обращая более внимания на Невзорова, пошел домой.

Семен Иванович, в полном расстройстве чувств, проводил глазами его приземистую спину. Затем свернул в лес и лег носом вниз на колючую, горячую хвою.

Не имеет смысла описывать душевное состояние Невзорова,— оно было скверное. Не шевелясь, он пролежал в лесу до темноты.

Закатилось солнце в Мраморное море, быстро настала эгейская ночь. От горячей земли пошел сухой запах. Зажглись особенной величины и ясности звезды. На горизонте разлилось зарево огней Константинополя. Внятен стал мирный шум волн внизу.

Семен Иванович сел тогда, обхватив колени, и среди горьких размышлений почувствовал себя покинутым малюткой, заброшенным злой революцией на пустынный остров среди чужих морей. Третья ошибка за сегодняшний день,— третий случай слабости. Нет,— в герои для повести Семен Иванович никуда не годился.

Покуда он сидел жалким комочком на сухой земле, которая еще хранила следы аттического бродяги Одиссея, тоже не раз попадавшего в дрянное положение, в это время в лесу появились три мужские фигуры. Темноту прорезал луч электрического фонарика, и голос астраханского драгуна прохрипел в десяти шагах:

— Вот он!

Семен Иванович пискнул, как заяц, и пустился наутек. Напрасно. Драгун, налетев, въехал ему в ухо,— Семен Иванович покатился в какие-то колючки. Трое военных навалились на него и кулаками и топтунками били его по чему ни попало. Мало того. Драгун сказал: «Все равно жаловаться не будет, снимай ему штаны». Он сел Семену Ивановичу

на голову, другой — на ноги, третий заголил штаны и ремнем стал полосовать ягодицы Невзорова, вопиющие к чужим равнодушным звездам.

От боли, от страха Семен Иванович впал в обморочное состояние. Последнее, что он чувствовал,— это проворную руку, из-под низу рванувшую у него, из кармана пиджака, бумажник с пятью тысячами франков и семьюстами пятьюдесятью турецкими фунтами.

Очнулся Семен Иванович,— все еще была ночь. Пошевелился, застонал. Оставалось одно для такого слабого создания — залиться горючими слезами. И он неумело заплакал.

На Пéру блестят сотни витрин, развеваются над посольствами иноземные флаги, двенадцатиязычная толпа шумит, суетится, шатается из лавок в лавки, едят сладости, бросают апельсинные корки, чистят себе башмаки, забираясь на перекрестках на высокие кресла под балдахин.

На Перу, толкая локтями людишек в фесках, презрительно шагает посреди замусоренного тротуара английский офицер. Гуляет в малиновой с золотом кепи усатый француз, похлопывая стеком себя по коричневым крагам и с готовностью поворачивая великолепный профиль к мелькнувшему личику за полупрозрачной чадрой, к напудренному носику под соломенной шляпкой, к сизоволосой головке бледной гречанки.

На Перу кучками бродят русские офицеры с черепом и костями на погонах, в измятых лихо картузиках, с облезлыми маузерами, торчащими из кармана. Странно и нище одетые русские женщины с тоской отворачиваются от витрин.

Русские интеллигенты, в пыльниках, испачканных дегтем и вагонным салом, поправляют разбитое пенсне перед вертящимся торчком на угольях многопудовым вертелом, с которого лоснящийся, щетинистый восточный человек срезает длинным ножом лакомые кусочки. В мистической тоске бродит меж запахами жареного и сладкого прокуренный журналист, мечтая о разрешении на русскую антибольшевистскую газету в Константинополе.

На Перу, на лотках и тележках у торговцев остатками немецкого товара и местной дряни, трещат, сводят прохожих с ума звонки, будильники, звоночки и колокольчики. Не переставая звонят трамваи, хрипят, взывают автомобили, щелкают бичи парных извозчиков, из ресторанных дверей вырываются, вслед за пьяными, растленные звуки

оркестриков. Вся эта суета — высоко над морем, на Перу.

У подножия Перу — этой международной части города между мостом через Золотой Рог и пароходными пристанями — начинается Галата — узкие, грязные портовые кварталы. Это — подол Перу, куда стекает вся грязь его, куда стремительно сбегает всякий, кому там, наверху, не повезло.

Здесь, близ моста у меняльных лавок, прислонившись плечом к фонарному столбу, стоял Семен Иванович в феске. На осунувшемся, плохо бритом лице его были видны лилово-оранжевые остатки побоев.

Прошло две недели после несчастного приключения в лесу. Русские на острове Халки не только получили разрешение бывать в Константинополе, но если кто пожелает отказаться от пайка, то и переехать туда на жительство. Семен Иванович вторую неделю жил в центре Галаты. Бумажник с деньгами у него был похищен, но истязатели тогда, в лесу, не догадались залезть ему в брюки, где в мешочке хранился остаток разбойничьего золота — пятнадцать золотых десятирублевиков.

На эти-то жалкие остатки Семен Иванович и жил теперь в гостинице «Сладость Востока», в гнилом трехэтажном здании, полном проституток, воров, сутенеров, пьяных матросов и совершенно неопределенных черномазых личностей.

Из пятнадцати золотых — двенадцать Семен Иванович привязал себе на шею в мешочке, хранил их жадно: они были последней ставкой на жизнь. Питался он чем попадется и весь день толкался у меняльных лавок, у палаток и лотков, где трещали звонки, прислушивался, присматривался, заучивал левантинский жаргон, учился щелкать языком, вскидывать глаза.

Наверх, в Перу, он не поднимался из боязни нежелательных встреч. К тому же — зачем было растравлять себя видом роскоши и сытого счастья? Душа Семена Ивановича после приключений в лесу оробела, и весь он сделался осторожный и внимательный, как собака, побывавшая под колесами.

Присматриваясь к лотковой торговле, к менялам и биржевым жучкам, он отстранил от себя эту деятельность, как мало надежную. Служба в ресторане, поденная работа в порту, чистка сапог казались ему скучными, утомительными, малодоходными. Оставалась деятельность комиссионная, наиболее подходившая сейчас к его вкусам и возможностям.

Семен Иванович начал с малого: он предложил привести кавалера своей соседке по «Сладости Востока», сбившейся с пути девке, Ишак Мамэ, которую накануне в пьяном виде раздели в порту до белья. Выйти на улицу ей было не в чем. Невзоров побежал к пристани и, ломая язык, обратился по-левантински к безусому русскому с юнкерскими нашивками, только что спустившемуся с шеркета в портовую суету:

— Русский, хочешь девочку из султанского гарема? — вай! (Щелканье языком, и глаза летят кверху.) Симпатичный, ароматичный, совсем рахат-лукум, пышный, белый, сладкий,— ай, ай... Иди за мной.

Юноша залился краской, потом усмехнулся, пробормотал: «Что ты мне врешь, турецкая морда?» — и пошел за Семеном Ивановичем в «Сладость Востока». За эту первую комиссию Невзоров получил с юнкера лиру, а благодарная девка взяла его с собой на ночь в постель.

Пытая комиссионную деятельность в других направлениях, Семен Иванович натолкнулся на сильную конкуренцию,— один скутариец пригрозил ему даже выпустить кишки. Приходилось ограничиться мелким сводничеством.

Кроме Ишак Мамэ, он познакомился с двумя сестрами-мулатками, Хаэ и Замба, необыкновенно ленивыми и неумеренными в страстях молодыми девушками. Они дня по три валялись не евши в номере на истертых диванах. Семен Иванович и этих клиенток принял близко к сердцу и водил к ним изголодавшихся по женщинам русских. Его доход иногда доходил до пяти лир в день.

Другой на его месте почувствовал бы себя в раю, приоделся бы, отъелся, завел бы лаковые башмаки. Но Семен Иванович, как уже известно, был натура беспокойная и мечтательная. Он не мог забыть предсказания цыганки и прикапливал в мешочек на груди скудные доходы, веря, что судьба хоть раз еще вознесет его. Не с этими же последними лахудрами, Ишак Мамэ, Хаэ и Замбой, завоевывать ему Константинополь. Эх, будь деньги, он бы знал, каких женщин пустить в оборот. «Сераль принцесс масковит, или салон аристократки»,— вот был смелый план, открывшийся ему в час золотого заката на пароходе.

Но судьба пока была безжалостна. Семен Иванович минутами чувствовал утомление. Так и сейчас,— стоя у фонарного столба, он с отвращением поглядывал из-за полуопущенных век на человеческий сброд, идущий из Перу в Стамбул через мост и из Стамбула в Перу, толпящийся у меняльных лавок и лотков, у остановок трамвая. Солнце

жгло, ветер нес мусор по корявой мостовой, скрипели пристани, барки и лодки на набережной. Постыло.

«Паразиты,— думал Семен Иванович,— жулье, ни одной порядочной личности... Керосином облить, сжечь вас всех вместе с городом, а еще — цивилизация...»

Сегодня клевало плохо. Вот прошли двое англичан-моряков. Семен Иванович выразительно сказал им по-европейски:

— Хау ду юду, кароший ханум, ичк чик,— вуле ву?

Моряки даже не обернулись. Остановился прикурить около фонарного столба приземистый русский, строгий, с проседью, со щекой, исковерканной белым шрамом. Семен Иванович сказал ему:

— Айда, русский, одалиска есть, симпатичный, ароматичный...

Строгий русский ругнулся неожиданно матерно, прошел. Сорвался также француз-капрал, заговоривший с Невзоровым по-своему, даже потрепал его по плечу, трещал, выкатывал налитые красным винищем глаза, но Семен Иванович растерялся, и клиент был упущен. Греки, армяне, итальянцы, левантинцы шныряли мимо, жмурясь и отплевываясь от пыли. Турки не попадались потому, что турок вообще было мало в те времена в Константинополе.

Семен Иванович собрался уже переменить место,— в это время на него налетел огромный бритый человек в грязном парусиновом пальто,— возбужденный и потный. Остановился, всмотрелся, раскрыл рот, полный золотых зубов, и раскатился лошадиным смехом. Это был Ртищев...

— Граф! — крикнул он,— это ты! — обрился, ну и сукин же сын, пятак твою распротак! Что ты тут делаешь?

— Торгую женщинами,— солидно ответил Семен Иванович.

— Брось, прогоришь. У меня есть великолепный план. Идем, я расскажу.

Улица, куда вошли Ртищев и Семен Иванович, находилась в центре Галаты и была узка, без тротуаров, мощенная древними плитами. Место насиженное.

Не было моряка в пяти частях света, который бы в свое время под руку с товарищем, горланя и спотыкаясь, не шатался здесь мимо соблазнительных окон и заманчивых дверей. Круглые сутки валил шумный и беспечный народ по этой улице, топотали копытами ослики, кричали продавцы сладостей, женские руки стучали изнутри в стекла, хлопали вытряхиваемые ковры, сбегался народ на скандалы, визжа-

ли проститутки, чад стоял от шашлыков, табака и сладостей.

Семен Иванович был здесь своим человеком. Он указывал Ртищеву на достопримечательности. Вот — слепые окошечки с выставленными кальянами,— здесь вчера американские матросы убили сутенера чилийским приемом, то есть один из них, негр, заложил себе в волосы бритву и с разбегу ударил головой. Вот размалеванная розами дверь,— здесь пляшут танец живота. Вот картежный притон, недавно закрытый оккупационными властями.

Далее Семен Иванович указал на расположенные низко над тротуаром, по обе стороны улицы, большие окна с переплетами,— это были знаменитые на весь свет веселые дома. За этими витринами лежали на коврах и на кретоновых кушеточках жирные девки в зеленых, алых, канареечных шароварах, с голыми животами, с мелко заплетенными крашенными косами, в тюрбанах, в шапочках с монетами,— накрашенные и напудренные. Они лежали напоказ, как ветчина, лениво и сонно. Восточные люди, пробегая мимо, только цыкали, закатывали глаза, с ума сходили от этих сладостей.

Здесь же происходили главные бои между моряками разных флотов. В довоенное время обычно верх брали русские матросы,— они ходили стенкой, дружно, крушили чугунными кулаками турецкие, французские, итальянские скулы, и даже англичане, хорошие драться в одиночку, рыча и выплевывая зубы, очищали веселые дома, уступали русским красоток за окнами.

Сейчас же за веселыми домами помещалась гостиница «Сладость Востока». Семен Иванович завел Ртищева к себе, и здесь произошел разговор:

— Невзоров, пятак твою распротак, деньги есть?

— Нет.

— Меня на Принкипо (остров рядом с Халки) обчистили русские. Маленький притончик организовал, совсем невинный, без девочек; знаешь, думаю, аристократов полон остров, надо — благородно. Никогда со мной такой глупости не случалось. Дело пошло. У стола в «железку» — цвет Петербурга. Меха, брильянты. Как они эти штуки через большевиков провезли — до сих пор не понимаю. Говорят, некоторые в задницу себе заколачивали каратов по сто. Подаю беленькое винцо, крюшончик. Мило, тонно. Представь — двадцать пять процентов шулеров оказалось. Я весь идеализм потерял. Почему же у тебя нет денег, скотина?

— Обокраден, избит, видишь — синяки.

— Жаль,— сказал Ртищев раздумчиво,— у меня план — снять лавчонку на этой улице, открыть «железку».

— Запрещено, я уже думал.

— Что ты говоришь? Ну а в «тридцать — сорок»?

— Запрещено.

— Рулетка?.. Я, брат, с таким крупье познакомился — по желанию, когда угодно, повернет, и — «зеро». Он говорит, рулетка — золотое дно.

— Запрещена.

Тут Ртищев страшно ударил по столу и стал изрыгать проклятия оккупационным властям, Антанте, Европе, человечеству. Он подошел к гнилому рукомойнику и облил голый череп из графина.

— Ну, хорошо,— все еще кричал он,— хорошо, мне запрещают жить, запрещают дышать. Хорошо! Я открываю тайный притон. Для воров. Для пьяных матросов. Для самой распропоследней сволочи. Идем искать помещение.

Ураганная деятельность Ртищева преодолела все препятствия. Напротив гостиницы «Сладость Востока» была арендована у больного грека Синопли запущенная кофейня, где мухи давно засидели окна, пыль покрыла медную посуду и самого грека, целые дни дремавшего за прилавком.

Ртищев, вместе с Семеном Ивановичем, выколотил просиженные до дыр ковры на жестких диванах, вычистил кирпичом кофейники и медные части очага, вымел из углов густую паутину, гвоздями сколотил расшатанные столы,— больной грек Синопли только слабо икал и ахал, удивляясь.

Затем маляр, дошлый мальчишка-итальянец, выкрасил входную дверь в ярко-зеленый цвет и на одной половинке изобразил Семена Ивановича в феске, с трубкой, на другой — Ртищева в виде персидского шаха с табакерки, в чалме с султаном, в руках — колода карт. Ртищев был в восторге:

— Знаменитые художники меня писали, Репин, Серов и Кустодиев, большие деньги брали, мазилы несчастные,— самой сущности, пятак их распротак, не могли понять. А вот — это портрет!

Вывеска старого грека оставалась, но в окне был приклеен рукописный плакат:

ЗАЙДИ И ПРИЯТНО УДИВИШЬСЯ

Ишак Мамэ и сестры-мулатки, Хаэ и Замба, были приглашены сидеть в кофейне. Получили они за это по стакану «дузику» и халвы, рахат-лукума, шербету, засахаренных орехов сколько влезет: Ртищев был широкий человек. «Я не эксплуататор,— кричал он Невзорову,— девка должна быть сытая, счастливая; лизни ее в щеку — сахаром должна отдавать...»

Карточный стол поместили в глубине кофейной, за ковровой занавеской.

— Здесь — святая святых,— сказал Ртищев, — после двух часов ночи, когда останется солидная публика, я появлюсь из-за занавески и щелкну колодой.

Кроме того, были наняты два музыканта, инвалиды-турки с вытекшими на войне глазами.

— Если бы деньги, если бы деньги,— повторял Ртищев,— весь бы Константинополь кверху ногами перевернул. Граф, для открытия нужна программа. Девки умеют юбками вертеть, этого мало. Ты должен выступить в куплетах.

— Не могу, сроду не пел, стану я срамиться!

— В таком случае я приказываю. Я тебя из дела вышвырну. Я сам припомню,— спою какую-нибудь шансонетку на французском языке. Ты, невежа, можешь петь по-русски.

Семен Иванович пожал плечами: «Ладно, буду петь». Он работал и суетился, но в глубине оробевшей души не верил в успех. Чувствовал — не хватает какого-то гвоздя в их предприятии, но чего именно не хватало — не мог понять.

Настал вечер открытия. Ртищев был в визитке и в белой чалме со стеклянным пером. Он поминутно выбегал за дверь на улицу и становился рядом со своим портретом, пронзительно поглядывая на прохожих и подмигивая. Честолюбия этот человек был непомерного.

Семен Иванович почистился и побрился, повязал на гуттаперчевый воротник пестрый галстук. Хаэ и Замба густо напудрились, надели множество амулетов и страусовых, бывших под дождем перьев. Ишак Мамэ явилась пьяная, в разодранном платьишке, но завитая и нарумяненная, как кукла. Все было в порядке. В кофейной зажгли керосиновую лампу. Инвалиды, подкрепившись кофеем, заиграли: один на струнах, другой на рожке — что-то жалобное и тягучее, как тоска по вытекшим глазам.

Наконец появились и посетители. Бочком проскользнули в дверь двое черномазых, с птичьим лицами, с наморщенными лобиками,— сутенеры. Они спросили по рюмке «дузику» и, бегая глазами, перешептывались. Вошел высокий,

страшно бледный человек в матросских штанах, в одном тельнике. Голова выбрита, кроме спутанного чуба на макушке, ухо разбито в кровь. Он положил кулаки на стол и шептал что-то в ярости про себя, скрипя зубами. Вошел шикарный молодой человек, ростом и годами не старше пятнадцати лет,— счастливый биржевой игрок, будущий финансовый гений: носик пипочкой, одутловатый рот, котелок, брильянтовая булавка, тросточка, как у Чарли Чаплина. Мальчишка развлекался в грязных притонах на Галате. Ишак Мамэ и мулатки сейчас же сели к нему за столик. Вошел горячечно пьяный, но твердо державшийся деникинский офицер, спросил кофе с лимоном и бенедиктину и, глядя безумными глазами перед собой, бормотал со странной улыбкой:

— Магометане, янычары, клопоеды, всех вырежем.

Понемногу кофейня наполнялась. Напитки спрашивали скуповато, гости, видимо, ожидали,— чем будут здесь удивлять. Слепые турки все тянули, тянули тоскливую волынку. Настроение падало. Тогда Ртищев, заманчиво сверкнув золотыми зубами, объявил по-французски:

— Шансон националь а ля рюс, национальная русская песня, исполнит любимец Петрограда Семен Невзоров...

У Семена Ивановича сразу одеревенели руки и ноги, голос ушел в живот, в глазах поплыли лица посетителей. Но девушки начали хлопать в ладоши и визжать. Он вышел на середину, поклонился, феска съехала на лоб, так и осталась. Он отвел руку с окоченевшими пальцами и, как из бочки, проговорил:

— Национальная русская песня.

Откашлялся. Слова, которым его с утра учил Ртищев, заметались в мозгу. Диким голосом он запел:

Я пошла к дантисту
И к специалисту,
Чтобы он мне вставил зуб.
Трам па, трам па, трам па...
Дантист был очень смелай,
Он вставил зуб мне целай,
И взял за это руп...
Трам па, трам па...

Семен Иванович мельком увидел, как Ртищев поднял руку к тюрбану, словно хватаясь за голову. Все же он докончил куплет. Сел. Пьяный офицер проговорил спокойно:

— Расстрелять.

Семен Иванович и сам понимал, что провалился с куп-

летами. Надо было спасать положение. Ртищев, выглянув на улицу, сообщил с тревогой, что на той стороне, против кафе, «стоит фараон». Как стал проклятый турецкий городовой, так хоть бы пошевелился. Приходилось рисковать.

Неожиданно Ртищев отогнул занавеску, скрывавшую карточный стол, и появился перед почтеннейшей публикой с колодой карт в поднятой руке,— точь-в-точь как портрет на двери.

— Фет во же, месьедам. Начинаем! Заметано!

Поднялись сутенеры, пьяный офицер, финансовый гений вместе с девчонками. Человек десять сели за стол. Занавеску опустили. Слепые турки продолжали надрывать душу. Семен Иванович, не предчувствуя добра, прибирал грязные рюмки. Слышались короткие восклицания игроков, щелканье карт и кабалистические приговаривания Ртищева:

— Делайте вашу игру. Заметано, ребятишки! Четыре сбоку — ваших нет! Есть такое дело!

В это время в кофейню спокойно вошел турецкий полицейский, отогнул занавеску и сказал сразу отпрянувшим от стола игрокам что-то гортанное. Первым мимо него ужом проскочил на улицу финансовый гений. В минуту кофейня опустела. Ртищев был накрыт с поличным.

Переговоры с полицейским оказались коротки и несложны. Он свирепо выкатил глаза, пальцем чиркнул себя по шее и высунул язык,— Ртищев и Семен Иванович оробели. Тогда полицейский ухмыльнулся, показав желтые зубы, прищурил глаз и тем же пальцем показал себе на ладонь. Семену Ивановичу пришлось снять с груди заветный мешочек и отдать проклятому турку все сбережения.

Затем Семен Иванович и Ртищев сели к столу под лампой, подперлись и мрачно замолчали. Большой грек Синопли слабо икал за прилавком. Дело сорвано было в самом зародыше.

Ртищев предложил пойти утопиться в заливе Золотой Рог. Семен Иванович, глядя ему на стеклянное перо тюрбана, промолчал: отчего бы действительно и не утопиться. Мыслей в голове у Невзорова не было никаких. Не осталось даже робкой надежды, питавшей его все эти дни.

И вот, в эту минуту,— уничтоженный, брошенный судьбою на дно,— он ощутил странное состояние: показалось, что все это он уже видел однажды,— и стол, и смятую скатерть, и тень от своей головы на ней. Это безусловно было. Но где, когда?

В эту самую минуту через стол бежал таракан. Словно свет брызнул в памяти Семена Ивановича. Вспомнил! Это было в Одессе. По столу так же точно бежал таракан, и он еще подумал тогда: «Ишь ты, рысак»,— и сшиб его щелчком.

Но почему, почему в эту минуту вспомнилась такая пошлая мелочь, как пробежавший в Одессе таракан? Семен Иванович изо всей силы наморщился, пытаясь проникнуть в сущность появления тараканов в его жизни. (В тяжелые минуты он всегда прибегал к мистике.) Тогда второй таракан вылез из-под блюдечка и пустился вдогонку за первым. Ртищев проговорил мрачно:

— Второй перегонит, ставлю десять пиастров в ординаре.

Мгновенно и ослепительно открылась перед Семеном Ивановичем перспектива. Тяжело дыша, он встал, вонзил ногти Ртищеву в плечи:

— Нашел. Это будет — гвоздь. Завтра к нам повалит вся Галата.

— Ты с ума сошел?

— Тараканьи бега.— Семен Иванович схватил стакан и накрыл им обоих тараканов.— Этого оккупационные власти не предвидели. Это законно. Это ново. Это азартно.

Ртищев смотрел на него ошеломленный. Затем засопел, припал к Семену Ивановичу и стал целовать его в пылающий череп.

— Граф, ты гений. Граф, мы спасены. Сто тысяч турецких фунтов предложи отступного,— плюну в лицо! Ведь это же миллионное предприятие!..

Три дня и три ночи Семен Иванович и Ртищев в гостинице «Сладость Востока» ловили тараканов, осматривали, испытывали, сортировали.

Отборные, жирные, голенастые, с большими усами — были помечены белой краской, номерами на спинках. Их тренировали, то есть, проморив таракана голодом, брали деревянными щипчиками, ставили на стол. На другом конце стола рассыпались крошки сладкой булки. Голодный таракан бежал. Если он бежал не по прямой — его опять ставили на прежнее место. Затем натренированных тараканов пускали по десяти штук сразу от меловой черты.

Эти состязания оказались настолько азартными, что на третью ночь Ртищев проиграл Невзорову на таракане номер третий, названном Абдулка, новую визитку и котелок.

Визитку, впрочем, пришлось сейчас же продать для приобретения беговой дорожки, то есть особой доски, вроде

настольного бильярда с бортами, номерами, с колокольчиками и ямками для крошек.

И вот в кофейной грека Синопли появилась над дверью, над портретами Невзорова и Ртищева, вывеска поперек тротуара:

БЕГА ДРЕССИРОВАННЫХ ТАРАКАНОВ

Народное русское развлечение

Весть об этом к вечеру облетела всю Галату. К дверям Синопли нельзя было протолкаться. Вход в кофейную стоил десять пиастров. Посмотреть на тараканьи бега явились даже ленивые красотки из окошек. Компания английских моряков занимала место у беговой дорожки. Ртищев, держа щипцы в одной руке и банку с тараканами в другой, прочел вступительное краткое слово о необычайном уме этих полезных насекомых и о том, как на масленице ни одна русская изба не обходится без древнего русского развлечения — тараканьих бегов.

Все кафе аплодировало его речи. Ртищев шикарно взмахнул щипцами и выпустил первый заезд. Моряки покрыли его десятью фунтами. Ртищев не ошибся: тощий таракан, на которого вследствие его заморенного вида никто не ставил, пришел первым к старту — трехцветному русскому флагу. Невзоров, державший тотализатор, выдал пустяки. Англичане разгорячились и второй заезд покрыли двадцатью фунтами, кроме того, фунтов пять покрыли сутенеры и хозяева публичных домов. Грек Синопли перестал икать.

В разгаре игры появился знакомый уже полицейский, но, увидев тараканов, растерялся. Ртищев коротким жестом предложил ему место у стола и стакан водки.

— Еще один заезд,— восклицал Ртищев,— самцы,— двухлетки, не кормлены с прошлой недели, злы, как черти. Фаворит — номер третий, Абдулка.

С этого вечера кривая счастья Семена Ивановича круто повернула кверху.

Слух о тараканьих бегах поднялся из трущоб Галаты и облетел блестящую Перу, и сонный Стамбул, и азиатские переулки Скутари. Работать приходилось почти круглые сутки. В гостинице «Сладость Востока» были выловлены все тараканы. Появились подражатели. Ртищев вывесил на дверях предупреждение, что «только здесь единственные, патентованные бега с уравнительным весом насекомых, или гандикап».

Семен Иванович относил ежедневно изрядные суммы в банк. И вот настал день, когда растревоженное воображение его устремилось к шумным холмам Перу. Им снова овладела мечта об аристократическом салоне, о графинях и княгинях, сладострастно перебирающих ножками на скамеечках, о самом себе — малокровно-бледном, томном, играющем золотой цепочкой от часов на шелковом жилете фрака. Это видение будило его по ночам, сушило глаза, рвало сердце.

Он давно уже забросил феску и теперь приходил в кофейню в смокинге, галстучке-фокстрот, лимонных перчатках и фетровой шляпе с машинкой внутри, придерживающей складку. Напудренный и молчаливый, он стоял, облокотясь о прилавок, и пустыми глазами смотрел на гостей, шумно и хамски теснившихся у тараканьей площадки. Однажды, перед отходом ко сну, рассматривая свои ноги в трикотажных шелковых кальсонах апельсинового цвета, он сказал Ртищеву:

— Дело в том, что моя мать была в незаконной связи с графом Гендриковым, аккурат за год до моего рождения. Отец меня всегда ненавидел — не знаю почему. Игра судьбы.

Он вздохнул, лег в не соответствующую его вкусам постель и больше не прибавил ни слова. Наутро, в смокинге, с тросточкой, он пошел в Перу, прогулялся мимо шикарных магазинов, купил две гаванских сигары, посидел под балдахином в большом кресле у чистильщика сапог, который только обмахнул его лакированные туфли, кое-кому поклонился, приложив палец к шапочке, и зашел позавтракать в самый шикарный ресторан, к Токатлиану.

— Салат, устрицы, бутылку шабли и сыр,— сквозь зубы сказал он метрдотелю.

Он вынул патентованный предмет — одновременно мундштук, зажигалка, зубочистка, карандашик, пилочка и прочее — и стал чистить ногти. Он улыбался своим мыслям. Давно ли это было: в Москве, в кафе у Бома, он показывал девочкам визитную карточку с графской короной? Или харьковские и киевские похождения под видом конта де Незор? Сколько глупостей наделано, сколько зря растрачено денег. Через эти ошибки и падения, мечту и бред — странная судьба, предсказанная цыганкой, вела его к действительной, единственной, подлинной жизни. Десять кож он переменил, объездился, обтерпелся, насобачился. И теперь, продолжая чистить ногти, хотя перед ним уже поставили и устрицы и вино, он чувствовал себя уверенно, как при-

рожденный европеец, представитель старой, прочной культуры.

«Предположим, я вышел из Мещанской улицы. Предположим, отец мой даже и не Гендриков, а просто Невзоров, державший некогда на Мещанской же улице мелочную лавку. Предположим, что в лесу со мной неприлично обошлись господа офицеры. А кто одет по последней моде? Кто проглотил сейчас эту вот устрицу? Кто вскарабкался наверх по горе трупов? Кто бесполезное и пошлое насекомое, таракана, превратил в валюту? Я, один я. Позвольте представиться: Семен Невзоров, яркая личность, король жизни».

Семен Иванович проглотил, наконец, с легкой спазмой устрицу. В этот час у Токатлиана он испытывал прилив сатанинского тщеславия. Он был вознагражден за все труды и унижения. Жилистыми шагами он устремлялся вдоль чудесной перспективы, вперед к славе.

Он ясно видел последовательные этапы этого пути. Первое: он открывает в Перу шикарный интимный ресторан с тараканьими бегами и отдельными кабинетами. Для особо избранных будет аристократический салон,— вход только во фраках. В салоне — изысканное кабаре из нестерпимо пикантных номеров. Второе: женитьба на миллионерше, скорее всего — вдове. Вилла на берегу моря, автомобиль, яхта. Третье: он везде и всюду. Он законодатель мод, он рычаг политики. Он председатель банковского объединения, он — злой гений биржи... Четвертое: он встает во главе священного движения. Первым делом он выгоняет из Европы всех русских, без разбору,— вон, крапивное семя! Искореняет революционеров безо всякого стеснения. Напускает террор на низшие классы. Вводит обязательное постановление: нравственные принципы жизни,— немного, правил десять. Но — сурово. Кто скажет слово «революция» — на телеграфный столб. Наконец Семен Иванович объявляет себя *императором.*

— Фу ты, черт! — даже пот выступил у Семена Ивановича на черепе.— Неужели и это возможно?.. А почему мне и не сделаться императором в конце концов?.. Наполеон тоже, говорят, был из мещан.— В голове у него звенело, в глазах прыгали золотые иглы. И будто внутри него проговорил оглушительный голос: *император Ибикус Первый!*

С гаванской сигарой в углу рта Семен Иванович вышел на Перу, все еще самодовольно усмехаясь своим мыслям.

В конце улицы он свернул на двор бывшего русского посольства, где теперь помещался какой-то не вручивший грамот присяжный поверенный.

На дворе перед посольством, вот уже третий месяц, сидели на ступеньках, лежали в пыльной траве, на высохших клумбах русские, в большинстве — женщины, те, кто уже проел последнее колечко, последнюю юбчонку. Здесь они дожидались субсидий или виз. Но субсидии не выдавались, по поводу виз шла сложная переписка. У невручившего грамот не было сумм, чтобы кормить всю эту ораву — душ двести пятьдесят, и души на дворе посольства худели, обнашивались, таяли, иные так и оставались ночевать на сухих клумбах у мраморного подъезда.

Семен Иванович прошелся по двору, чуть-чуть даже прихрамывая и опираясь на тросточку. Нужно было, конечно, много вкуса и воображения, чтобы среди этих унылых женских фигур найти жемчужины его будущего «аристократического салона». Он с трудом узнал несколько знакомых по пароходу,— так эти женщины изменились. Вот девушка, та, которую он тогда прозвал: «котик, чудная мордашка», сидит, опершись локтями о худые колени, личико — детское, очаровательное, но даже какие-то пыльные тени на лице. А ножка,— если ее вымыть да обуть как следует,— бижутери...

Семен Иванович трепетнул ноздрями. «Эта будет первая, назовем ее княжна Тараканова». Он присел рядом с девушкой на ступеньку и разговор начал издалека, отечески добродушно. . . . .

. . . .

Много ли улетело времени с тех пор, когда Семен Иванович Невзоров сидел за кофейником у окна своей комнаты на Мещанской улице? Дзынь — пулька пробила стекло, и засвистал непогодливый ветер: «Надую, надую тебе пустоту, выдую тебя из жилища». Семен Иванович, гонимый тем ветром, закрутился, как сухой лист. И вот он уже перелетел за море, он — в Европе. Богат и знаменит. Перед ним развертывается роскошная перспектива. Предсказания старой цыганки с Петербургской стороны сбылись. Повесть как будто окончена...

Разумеется, было бы лучше для повести уморить Семена Ивановича, например, гнилой устрицей или толкнуть его под автомобиль. Но ведь Семен Иванович — бессмертный. Автор и так и этак старался,— нет, Семена Ивановича не так-то просто стереть с листов повести. Он сам — Ибикус. Жилистый, двужильный, с мертвой косточкой, он непре-

менно выцарапается из беды, и — садись, пиши его новые похождения.

В ресторане у Токатлиана Семен Иванович сам, на этот раз без помощи цыганки, рассказал свою дальнейшую судьбу. Заявил, что он — король жизни. Так-то оно так, но посмотрим. Я нисколько не сомневаюсь в словах Семена Ивановича. Я даже знаю, что аристократический салон — со скамеечками и ножками, с ужасно пикантными номерами — он открыл. На вывеске в темные ночи горела поперек тротуара заманчивая надпись: «Салон-ресторан с аттракционами — *Ибикус*». Семен Иванович нажил большие деньги и женился...

Честность, стоящая за моим писательским креслом, останавливает разбежавшуюся руку: «Товарищ, здесь ты начинаешь врать, остановись,— поживем, увидим. Поставь точку...»

26 ноября 1924 г.



ДИКТАТОР ПЕТР



I

Опять проворонили! — кричал он на семью, созвав всех специально для этого в столовую.— Опять недоглядели! Почему дали заплесневеть этому кусочку хлеба! Почему своевременно не положили его в духовку, чтобы засушить на сухари! Может, в трудную минуту он кому-нибудь из нас жизнь бы спас! Зачем же тогда печку топить, дрова переводить, если у вас пустая духовка стоит! И почему я всегда найду, что в духовку поставить, чтобы жар даром не пропадал, а вы никогда даже не подумаете об этом! О чем вы думаете? В-вороны!!!

Мать Петра, старушка Марфа Игнатьевна, его сестра, вдова, Ольга и ее дети, Вася, десяти лет, и Нюня, восьми, думая, что выговор уже кончен, косились потупленными глазами в сторону двери.

— Стойте, стойте, не расходитесь! — останавливал их Петр, подняв руку, как оратор на митинге.— Забудьте на минуту про все ваши дела и выслушайте внимательно, что я сейчас вам скажу, а то потом, боюсь, забуду! Да слушайте хорошенько, потому что это очень важно вам знать! Когда покупаете что-нибудь на базаре, не зевайте по сторонам, а смотрите на гири, которые торговцы кладут вам на весы, чтобы вместо трех фунтов не положили два, вместо двух один! Поняли? Таких, как вы, там обвешивают! Таких, как вы, там ждут! Таким там рады! Р-разини!!!

Все члены семьи поднимали на Петра измученные, просящие пощады лица.

— Да! — всплескивал он руками и загораживал им дорогу.— Еще! Кстати! Вспомнил! Сегодня я купил на обед фунт хорошего мяса, и чтобы оно не пропало даром, я должен вас научить, что и как из него делать! Знайте же раз навсегда, если вам перепадает когда фунт мяса, то вы должны растянуть его по крайней мере на два дня! Один день есть только бульон с чем-нибудь дешевым, например, с перловой крупой, а на другой день подавать самое мясо, тоже с чем-нибудь таким, что окажется в доме, например, с картофелем! Поняли?

— Поняли, поняли,— усталыми голосами отвечали домашние, и качаясь, как от угара, поспешно уходили из столовой.

А он кричал им вслед, уже с открытой злобой, точно сожалея, что так скоро их отпустил:

— И спички, спички, спички, смотрите, не жгите зря! Спички дорожают! Спичек, говорят, скоро и совсем не будет! Спички надо беречь! За каждой спичкой с этого дня обращайтесь только ко мне! Поняли?

— Петя,— тотчас же возвращалась в столовую сестра.— Петя,— говорила она умоляющим голосом, и ее желтое опухшее лицо принимало мученическое выражение: — Там в кастрюле осталось от обеда немного овощного соуса. Можно его для мамы на вечер спрятать? А то мама за обедом опять ничего не могла есть, ее опять мутило от такой пищи...

— Конечно, конечно, можно,— собирал Петр лицо в гримасу беспредельного сострадания к матери и глубокого стыда за себя.— И я не понимаю, Оля, зачем ты меня об этом еще спрашиваешь! Кажется, знаешь, что для мамы-то мы ничего не жалеем!

— Как зачем? А если ты потом поднимешь крик на весь дом: «Куда девался соус, который оставался от обеда!»

— Я кричу, когда остатки выбрасывают в помойку, а не когда их съедают.

— Мы, кажется, ничего никогда не выбрасываем.

— Как же. Рассказывай.

— И вообще, Петя, я давно собиралась тебе сказать, что мы должны обратить самое серьезное внимание на питание матери. Я никогда не прощу себе, что мы допустили голодную смерть нашего отца. Это наша вина, это наш грех! И теперь наш долг спасти хотя мать.

— К чему ты все это говоришь мне, Оля? — нетерпеливо спрашивал Петр.— Разве я что-нибудь возражаю против этого?

— Петя,— умоляюще произносила сестра,— будем ежедневно покупать для мамы по стакану молока!

— Но только для нее одной! — резко предупреждал брат, нахмурясь.— Слышишь? Только для нее! Если увижу, что она раздает молоко, хотя по капельке, детям или гостям, подниму страшный скандал и покупку молока отменю! Поняла?

— Мама,— радостно объявляла в тот же день дочь матери.— Петя велел, начиная с завтрашнего дня, покупать для тебя по стакану молока, для твоей поправки. Но только для тебя одной! Смотри, никому не давай, ни детям, ни гостям, а то Петя узнает, и произойдет скандал!

— Почему же это мне одной? — спрашивала старушка, и ее маленькое старушечье лицо с крючковатым, загнутым вперед подбородком принимало оборонительное выражение.— Одна я ни за что не буду пить молоко! Надо или всем давать, или никому!

— Мама, ты же знаешь, что для всех у нас денег не хватит!

— Тогда с какой стати именно мне? Пусть лучше детям: они растут!

— Дети могут есть какую попало пищу, а тебя от плохой пищи мутит!

Дочь убеждала. Мать не уступала.

В спор ввязывался Петр.

— Мама! — кричал он и, как всегда, криком и возмущенными жестами маскировал свою безграничную любовь к матери: — Мама! Ты все еще продолжаешь мыслить по-старому: все для других да для других! Надо же тебе когда-нибудь и о себе позаботиться! Пойми же, наконец, что это старый режим!

— Ничего,— упрямо твердила старушка.— Пусть буду старорежимная. Лишь бы не подлая.

На другой день покупали для старушки стакан молока.

— Этот стакан молока для мамы! — грозным тоном домашнего диктатора предупреждал всех Петр, в особенности Васю и Нюню, заметив, какими волчьими глазами они смотрели на молоко.— Пусть мама из упрямства даже не пьет его, пусть оно стоит день, два, пусть прокиснет, но вы-то все-таки не прикасайтесь к нему! Поняли?

Все слушались Петра, не трогали молока, но и старушка тоже не пила его, убегая от него, расстроенная и испуганная, как от отравы. И молоко, простояв два дня, прокисало.

— Мама! — кричал тогда Петр, почти плача от отчаянья.— Ты же умрешь!

— Вот и хорошо, что умру,— хваталась за эту мысль старушка.— Я уже старая, теряю память, вот вчера в духовке вашу кашу сожгла, забыв про нее. Для меня для самой лучше умереть, чем видеть такую жизнь. А вам без меня все-таки будет легче: и хлеба и сахара вам будет больше оставаться...

— Мама! — восклицала жалобно Ольга,— что ты говоришь! Мама! — начинала она плакать.— Тогда пусть лучше я умру...— всхлипывала она в платок.— Все равно я постоянно болею и на меня много всего выходит. Вон доктор прописал мне мышьяк и железо...

Ее плач расстраивал остальных, и на глазах у всех показывались слезы. Петр, чтобы замаскировать собственные слезы, поднимал на домашних крик, обличал их в слезливости, слабости, женскости. И в охватившей всех тоске, точно в предчувствии близкой смерти, семья собиралась в тесную группу, все жались друг к другу, дрожали, как в лихорадке, не могли ничего говорить, плакали...

— Но вы-то, вы-то по крайней мере признаете, что хотя я и поступаю иногда с вами грубо, резко, жестоко, как диктатор, но что я это делаю исключительно ради вашего же спасения? — обыкновенно каялся перед своими в такие минуты Петр.

— Конечно, конечно,— отвечала семья.

И в доме на некоторое время водворялось глубокое и грустное спокойствие.

— Опять подали голодающим! — однако вскоре проносился по дому возмущенный вопль Петра, когда, украдкой от него, кому-нибудь из домашних удавалось подать корочку хлеба какой-нибудь несчастной изможденной женщине, еле передвигающей ноги от слабости, с таким же, как и она, высохшим, черным, точно обугленным, ребенком на груди.— Мы сами голодающие! — вопил тогда Петр, размахивая руками.— Нам самим должны подавать! Разве они поймут, разве они поверят, что вы отрываете от себя, что вы отдаете последнее? Да никогда! Эти люди рассуждают иначе! Раз дают, значит, лишнее есть, а раз есть лишнее, значит, надо завтра еще прийти и других подослать, может, даже войти с ними в известную предпринимательскую компанию! И нам теперь от них отбою не будет! Вот что вы наделали! Поняли? В последний и уже окончательный раз предупреждаю: если еще раз увижу, что вы подаете голодающим, то в тот же день брошу к черту ваш дом,

пропадайте без меня голодом, а работать зря, работать неизвестно для кого, работать на ветер я больше не желаю!

— Мама,— обращаясь к матери, говорила потом совершенно подавленная Ольга.— Правда, что Петя хочет бросить наш дом? Что же мы без него будем делать? Без него мы погибнем! Мама, знай: если он бросит нас или, не дай бог, заразится сыпняком и умрет, я тогда лучше сразу отравлю своих детей и сама отравлюсь. А бороться каждый день, каждый час, бороться так, как борется за наш дом Петр, я, заранее объявляю, ни за что не смогу.

— Тогда мы с тобой вместе отравимся,— решительно заявляла старушка.— Детей куда-нибудь отдадим, а сами отравимся.

— Чтобы я кому-нибудь доверила своих детей? — приходила в ужас Ольга.— Да ни за что на свете! Я даже не хочу, чтобы они видели такую жизнь! Что из них может выйти при такой жизни? Воры? Грабители? Нет, пусть лучше их вовсе не будет на свете!

И Ольга всегда держала при себе приготовленный яд.

Иногда Марфа Игнатьевна, пойманная сыном в самый момент оказания помощи голодающим, вступала с ним в спор.

— Петя, ведь жаль смотреть на них! — говорила она.— Я прожила на свете шестьдесят пять лет и никогда не подозревала, что у голодающих такой вид: соединение в одном лице жизни и смерти.

— Жаль?! — гремел Петр со страшным выражением лица.— А вы думаете, мне их не жаль? Вид?! А вы думаете, я мало видел, какой у них вид? Но у меня-то мужской ум, и я прекрасно понимаю, что помочь им мы не в состоянии, потому что мы сами, вот уже два года, как висим на волоске! Где уж тут другим помогать, лишь бы самим-то спастись! А у тебя, мама, как и у Оли, женский ум, и вы не можете понять, что всех голодающих мы все равно не накормим, а себя между тем подорвем и, может, свалим, но спрашивается: зачем? во имя чего? Чтобы ценой собственной жизни спасти жизнь одному неизвестному прохожему? Но неизвестному и в хорошее время не следует помогать: почем я знаю, кто он, а может, он выродок, чудовище, душитель свободы, кретин? Кажется, уже имеем на этот счет хороший урок! В особенности не надо помогать детям, потому что еще неизвестно, что из них получится! Но что долго распространяться об этом, когда тут все ясно, как день! Тут, мама, одно из двух: или нам умирать, то-

гда помогайте оставаться в живых неизвестным, быть может, кретинам; или нам жить, тогда не замечайте других, умирающих от голода! Третьего выхода у нас нет! Поняла?

— Понять-то я поняла,— упорно защищалась старушка с глазами, красными от волнения.— Но и ты, Петя, тоже пойми меня, что я свою порцию хлеба отдала, свою, свою, не вашу! И что я буду сегодня весь день без хлеба сидеть, я, я, а не вы! Вы же от этого ничем не пострадаете, ничем!

— О! — восклицал Петр с досадой, что его опять и опять не понимают.— Как это мы ничем не пострадаем? А лечить тебя, когда ты свалишься от истощения, разве это нам не страдание?

— А вы не лечите.

— А видеть, как ты, наша мать, таешь на наших глазах, разве это нам, детям твоим, не страдание? Ведь мы семья, и когда ты подаешь свою порцию хлеба, ты подрываешь устойчивость всей нашей семьи! Поняла?

— У, какой ты, Петя, стал скупой! — простодушно вставляла свое слово Ольга.— Из-за кусочка хлеба, поданного женщине, умирающей от голода, ты поднимаешь целую бурю! И что это с тобой сделалось? Раньше ты не был таким скупым!

— Скупой?! — приходил в окончательное исступление Петр, начинал метаться по комнате, и лицо его искажалось при этом так, что на него неприятно было смотреть.— Это я-то скупой, я! — возглашал он с трагическим смехом безумца: — Ха-ха-ха! Я! Я, который когда-то, по молодости и глупости, ради счастья других, неизвестных, кретинов, пожертвовал собственным счастьем, сидел в тюрьмах, таскался по ссылкам, заграницам! И теперь, в зрелые годы, бросил свое призвание, свою карьеру, свою личную жизнь, и все только для того, чтобы выручить вас, потому что, к моему великому изумлению, чувство кровного родства ко всем вам и любовь к матери в конечном счете оказались во мне сильнее всех других чувств! Вернее, никаких других чувств, кроме этих, родственных, во мне, как и во всех людях нашего времени, совершенно не оказалось! Я «скупой», а вы «щедрые»: вы тайно от меня подкармливаете собак и кошек со всего двора, а как день-два приходится чай без сахару пить, так опускаете носы и начинаете скулить: как зиму будем жить, если власть не переменится. Как будущий год будем жить? Как через сто лет будем жить? Для вас же хлопочу! Из-за вас же убиваюсь! Об

вас забочусь, как бы подольше вам продержаться! А вы: «скупой», «скупой»...

Петр вскрикивал, хватался за сердце, падал в постель, принимал валерьяновые капли, клал на сердце холодный компресс, просил закрыть в комнате ставни, лежал, стонал... И домашние мучились не меньше, чем он, они каялись, что довели его до сердечного припадка, давали себе слово впредь этого не повторять, говорили шепотом, ходили на цыпочках, гостей еще от калитки отправляли обратно, ничего не могли делать, с раскрытыми от страха ртами то и дело заглядывали в дверную щелочку, не умирает ли по их вине Петр.

II

— Мама! — раздался однажды по-детски умиленный крик Ольги из первой комнаты, в то время, когда ее дети и мать сидели в столовой за ужином, а Петр, больной сыпным тифом, лежал там же в постели.— Мама! К нам тетя Надя из Москвы приехала!

И Ольга, обезумевшая от радости и неожиданности, с высоко поднятыми бровями, с откачнувшейся назад, как от ветра, высокой прической, пронеслась мимо всех через столовую в садик, чтобы отпереть приезжей калитку.

— Подошла к самому окну, не узнала меня и спрашивает: «Петриченковы здесь живут?» — провизжала она на бегу восхищенно.

В столовой поднялась суета.

— Дети! — захлопотала Марфа Игнатьевна.— Вытирайте скорее глаза, щеки, а то тетя Надя увидит, какие вы плаксы!

— Бабуля, а Васька слюнями моет лицо! — пожаловалась щекастая, остриженная под мужичка Нюня.— Надо водой, под умывальником, как я!

— Лишь бы было чисто,— огрызнулся длинноногий остроголовый Вася, старательно вытирая рукавом блузы щеку.— И это не твое дело, ябеда! Ты лучше за собой смотри!

— Тихо! — присев от злости, зашипела на них мать, неизвестно зачем вдруг ворвавшаяся в столовую и тотчас же выбежавшая оттуда.— И это вы при гостях! При гостях! И еще при каких гостях!

Было слышно, как надрывался на улице Пупс, очевидно принимая важную гостью за обыкновенную голодающую.

— От нее прятать со стола ничего не нужно? — суровым голосом спросил у бабушки Вася и такими глазами посмотрел на хлебницу, на сахарницу, словно тоже, как Пупс, готовился их защищать до последней капли крови.

— О! — воскликнула бабушка с упоением.— Она сама нам даст, а не то что у нас возьмет! Она-то не нуждается, она-то нет, она богатая!

Лай Пупса между тем приближался. Вот он с улицы перебросился в садик.

— Жан, сюда, сюда! Вноси чемоданы сюда! — послышался затем в стеклянной галерее новый приятный женский голос.

Давно не слыхала семья Петриченковых такого голоса, такого выговора! Не здешний, не южный, не крымский, а северный, великорусский, чисто московский был характер речи у тетки. И другим миром сразу повеяло от него, другой жизнью. Пожить бы вот той жизнью! Повеяло шумом, столицей, культурой, хорошим обществом, достатком, воспитанностью, изяществом...

И бабушку охватила дрожь.

— Вася! — зашептала она, побледнев и прислушиваясь к шагам приезжей.— Вася! Поправь сейчас пояс, у тебя пояс криво! А эта дырка откуда? Опять на штанах дырка! У меня уже не хватает ниток ежедневно чинить твои штаны!

— Бабушка, это ничего,— мягко проговорил Вася, поглядывая на двери.— Я этим боком не буду поворачиваться к ней, и она ничего не заметит.

— Бабуля! — в то же время кротко молила Нюня.— А у меня голова не кудлатая?

И она доверчиво подставляла под взгляд бабушки, как подставляют под водопроводный кран, свою бесхитростную квадратную голову.

Но было уже поздно. Бабушка на мгновение совершенно исчезла из ее глаз, словно растаяла в воздухе, как дым, а в следующий момент уже стояла в противоположном конце комнаты, в объятиях приезжей.

— Над-дя!..— сквозь душившие ее слезы повторяла она.— Над-дя!.. Сколько лет!.. Сколько лет не видались!..

— Мар-фа!..— отвечала ей теми же изнемогающими причитаниями гостья.— Мар-финь-ка!.. Двадцать лет!.. Двадцать лет не видались!..

Потом приезжая также горячо здоровалась с остальными.

Целовалась она по-московски, трикратно, два раза крест-накрест, третий раз прямо. И во время ее поцелуев каждый из семьи Петриченковых почему-то всем своим существом чувствовал, что их страданиям пришел конец, что теперь-то они спасены и что тетку послал к ним сам бог. Как, однако, вовремя она приехала!

— А это... неужели это ваш Петр? — остановилась гостья перед постелью больного.— Что с ним? Он болен?

— Да,— мучительно произнесла Ольга, с состраданием вглядываясь в исхудавшее, темное, обросшее лицо брата.— У него сыпной тиф.

— У дяди Пети сыпняк! — звонкими голосами прокричали дети, сперва мальчик, потом девочка.

— Как же это он так заразился? — задала москвичка тот, не имеющий смысла вопрос, который обязательно задают люди, когда внезапно узнают о тяжкой болезни или смерти близко известного им человека.

— Очень просто,— вздохнула Ольга.

— Вошь укусила! — бодро объяснили дети, опять один за другим.— Вошь укусила, вот и готово!

И хозяева и гостья, сделав скорбные лица, встали стеной перед постелью больного. Петр смотрел на них с полным равнодушием, как будто не произошло ничего особенного.

— Он тебя не узнает, Надя,— тихонько сказала бабушка гостье.— Знаешь, он у нас целую неделю без памяти был, даже своих не узнавал! — похвасталась она.

— Да, да, «не узнает»,— вдруг грубо передразнил мать Петр, разобравший ее слова не столько по звуку голоса, сколько по движению губ.

И он насмешливо фыркнул носом в подушку.

— О! Узнает! — искренно обрадовалась приезжая и ниже наклонилась к больному: — Здравствуй, Петя!

— Здравствуй,— безразлично ответил Петр тетке и отвел от нее глаза.

— Видишь,— старалась доказать свое бабушка.— Я говорила, не узнает!

Но больной снова, и на этот раз дольше, остановил взгляд на приезжей.

— Что? — воспользовалась случаем москвичка,— что смотришь? Узнаешь? Если узнаешь, тогда скажи, кто я? — спросила она у него тем тоном, каким спрашивают у гадалки.

Петр некоторое время молчал, ничем не изменяя своего апатичного выражения.

— Королева английская,— последовал затем его спокойный ответ.

Дети шумно обрадовались словам дяди Петра, рассмеялись и с жадностью стали ожидать от него еще чего-нибудь в этом же роде.

— Видишь,— сказала бабушка гостье почти с удовольствием,—принимает тебя за королеву английскую.

— Да он нарочно! — разочаровала всех Ольга.— Он просто злится! Он злится, что его принимают чуть не за сумасшедшего и задают ему подобные вопросы! Разве вы не знаете нашего Петю? Сейчас он дурачит нас, городит вздор, а если мы будем продолжать надоедать ему, он станет отвечать дерзостями! Ну, чего мы обступили его?

— Да, да,— заволновалась москвичка.— На самом деле. Ему нужен покой, уйдем разговаривать в другую комнату.

— Нет!..— повелительно и страдальчески проскрипел голос больного с постели.— В другую комнату вы не пойдете!.. Вы будете разговаривать здесь!.. Мне тоже интересно послушать, что тетя Надя будет рассказывать про Москву!.. По-ня-ли?

— Вот вам и «не узнает»! — заторжествовала Ольга и иронически сделала всем как бы приглашающий жест.

— Поняли? — раздраженно пропищал с постели Петр, не получив в тот раз ответа.

— Поняли, поняли,— замахали на него руками и мать и сестра.— Все поняли, только не кричи.

— Тетей Надей меня назвал! — удовлетворенно просияла москвичка и уже более весело и безбоязненно рассматривала больного.— Петя! Ведь я знала тебя еще гимназистом! А сейчас? Ты восходящая звезда, светило, молодая русская литературная знаменитость, известный писатель, автор замечательных рассказов!

— Тет-тя Надя! — заныл Петр и поморщился, как от боли.— Тет-тя Надя! Ты опоздала!.. Я уже не писатель!.. Теперешней России писатели не нужны!.. Тет-тя Надя!..

— Надя! — поспешно зашептала москвичке на ухо мать больного.— Ради создателя, не поднимай ты этого вопроса перед ним, пока он болен! Это самый страшный вопрос для него, и ты видишь, как он заметался в постели!

Петр ворочался с боку на бок, охал, вздыхал, не находил себе места... Вот он лег на живот, сполз на край кровати, свесил голову вниз, тяжелыми глазами впился в пол...

— Что это?! — вдруг вскричал он с негодованием и еще пристальнее вперил взгляд в пол.— Кто это рассыпал по полу и не подобрал хороший горох?! Уже разбрасываем по полу хороший горох?! Уже разбогатели?!

И он заплакал:

— Ааа...

— Это из-за трех-то горошинок? — пренебрежительно спросила мать, поглядев туда, куда указывал Петр.

— Да, из-за трех! — плакался Петр капризно.— Сегодня три да завтра три, а вы знаете, почем теперь на базаре горох?..

— Что сделали из человека четыре года! — кивнула на брата Ольга приезжей.— Он у нас и когда здоров, весь в этой ерунде!

— Мама,— появился в дверях столовой сын москвички, мужчина лет тридцати двух, держа перед собой загрязненные руки, только что потрудившиеся над укладкой на галерее багажа.— Мама, ты не знаешь, где бы тут у них умыться с дороги.

— Ах! — вспомнила москвичка.— Мне ведь тоже надо умыться. Пройдем в кухню. Полотенце взял? Мыло взял? Зубной порошок взял?

III

В столовой остались одни свои.

— Оля,— распорядилась бабушка.— Поди в садик и разогрей там самовар. Да поскорее!

— Стой!..— резко закричал Ольге Петр.— Погоди!..

И он от слабости закрыл глаза.

— Один говорит «скорее», другой «погоди», и не знаешь, кого слушать! — остановилась, как бы на распутье, Ольга.

Петр продолжал, раскрыв помутнелые глаза и тыча в Ольгу этими глазами.

— Когда вытрясешь на дворе самовар, то сейчас же собери старые угольки!.. А то потом их растопчут ногами!.. И кипяченую воду, если осталась в самоваре, не выплескивай на землю, а слей в кастрюлю: пригодится!.. Поняла?

— Ну, поняла,— нетерпеливо дернулась сестра и вышла.— Совсем сделался ненормальный,— сказала она уже за дверью.

— Все им надо указывать, все им надо разжевывать

и в рот класть,— ворчал в то же время Петр, один, с закрытыми глазами.— Сами ничего не могут, ничего!.. Какие-то деревянные!.. Нет, нет, женщина не человек!.. женщине еще далеко до полного, до готового человека, очень далеко!..

— Мама, а мама,— когда мать вернулась из садика, заговорил Вася, беспокойно вертясь возле матери и мешая ей работать.— А она нам кем приходится? Теткой? Как же мы с Нюнькой должны ее называть? Тетей Надей?

— Нет, нет,— отвечала рассеянно мать, не глядя на детей и до боли в мозгу сосредоточенно думая о своем: с чего бы еще смахнуть пыль.— Какая там тетя. Она мне тетя. А вам бабушка. Бабушка Надя. А ну-ка, дети, давайте повернем шкап этим боком к гостям, этот бок как будто виднее.

— Ух, ты! — удивился Вася.— Такая молодая, и бабушка!

— И кр-ра-си-вая! — сочно протянула Нюня и по-женски заблистала напряженными глазами.— А н-на-ряд-ная! Мамочка, а мы ее тоже должны слушаться?

— Ну, конечно, должны.

— Дура,— пояснил Вася сестре.— Ведь она нам родная и старшая.

— Мамочка, а того, другого, высокого, страхолюдного, как мы должны называть, который с ней приехал и с линейки на галерею вещи таскал?

— То ее сын и ваш дядя. Дядя Жан. И он вовсе не страхолюдный. Откуда вы слов таких понабрались!

— Значит, и его тоже надо слушаться,— утвердительно, для памяти, произнесла вслух Нюня задумчиво, с рассудительными ужимками...

— Нюнь, а Нюнь,— таинственно нагорбясь и вытаращив глаза, обратился Вася к сестре, как только она упомянула о вещах, которые дядя Жан перетаскивал с линейки на галерею.— Пока они умываются, пойдем-ка на галерею их-ние вещи смотреть!

— Идем! — весело подхватила Нюня, и глаза ее залучились.

— Только руками ничего не трогать! — предупредила их мать.

— Нет! — бросили дети.

Согнувшись в поясе, с расставленными для равновесия руками, на цыпочках, дети осторожно ступали по галерее, точно боялись провалиться. Они озирались при этом, прислушивались, вздрагивали, строили гримасы.

— А бо-га-тые! — проговорил Вася, остановившись среди гор чемоданов, корзин, коробок и кое-каких вытянутых и неспрятанных вещей.

— А бо-га-тые! — другим голосом повторяла за ним Нюня и испуганно улыбалась.

— Вдруг поймают! Подумают, что хотели украсть.

— Чертяки,— сказал Вася любя, оглядывая скользящим взором богатства приезжих.

— Чертяки,— повторила, как эхо, Нюня с тем же чувством.

И с вытянутыми лицами грабителей, забравшихся в чужую квартиру, бедно одетые, босые, нечесаные, с голодным сверканием детских глазенок, они принялись за более подробное ознакомление с вещами гостей.

— Макинтош резиновый,— отмечал, словно кому-то докладывал, Вася и, повертев в руках вещь, клал ее на прежнее место.

— Плед клетчатый,— в свою очередь докладывала Нюня, с благоговейным чувством прикасаясь пальчиками к каждой вещи.

— Чемодан из чистой кожи,— оповещал Вася.

— Дорожное зеркальце с ручкой,— диктовала Нюня...

— Нюнька! — счастливо заулыбался на вещи Вася.— А сколько все это может стоить, а?

— Понятно,— сказала Нюня, и ее щеки загорелись.— Если бы нам половину всего этого, и то бы!

— А все деньги, наверное, вон в том узеньком красненьком чемоданчике сложены,— догадался Вася.

— Понятно,—опять проговорила Нюня, и ей отчего-то, быть может от такого количества денег, вдруг сделалось страшно.— Вась,— сказала она дрожа, — довольно.

— Чего довольно? — рассердился Вася.— Почему довольно? Только еще начали.

И, в поисках съедобного, он жадно внюхивался в углы дорожных корзин, задирая вверх край крышки и в образовавшуюся щель запускал свой острый нос. Нюня, склонив в раздумье голову набок, стройненько стояла перед ним, выпятив вперед круглый животик.

— Тут что-то съедобное, должно быть, какие-нибудь миндальные сухарики,— раззадоривал всячески брат сестру, сидя с расставленными ногами на полу и натаскивая на свой нос угол корзины.— Вот хорошо пахнет! А-а...— тянул он из корзины носом, как спринцовкой.

— А ну и я! — заблистала расширенными глазами Нюня и, упав на колени, стала жадно тыкать носом в щель

корзины.— Все наврал. Никаких пряников миндальных нет. Пахнет чистым бельем.

— Нюнька,— вламывался уже в другую корзину Вася.— Нюхни-ка вот в эту дырку! Скажешь, не шоколадом пахнет?

— А ты крепче держи крышку, не защеми мне нос, а то я закричу.

— Я тебе закричу. Я тебе так закричу, что ты живая отсюда не уйдешь,— вдруг захотелось брату помучить сестру при виде ее беззащитности.

— Так и есть: шоколадом! — вскричала шепотом Нюня.— И еще каким!

— Это она нам его на подарки из Москвы привезла,— сказал Вася, стоя на коленях перед корзиной.

— Да, как раз, «на подарки»,— не поверила Нюня.

— Почему «как раз»? Подарки нам должны быть! Она же знала, куда ехала! Она знала, что в доме есть дети! Бежим, идут!!!

Одним прыжком выбрались они из галереи в столовую, сели на стулья и придали себе невинный вид.

— Вовсе никого нет,— после долгого ожидания проговорила Нюня.

— Значит, так что-нибудь стукнуло,— произнес Вася.

Они сидели и скучающе следили за лихорадочной работой старших, бабушки и матери.

Обе женщины усердно терли мокрыми тряпками клеенку на обеденном столе.

— Мама,— спросил Вася,— а они нам заплатят за это?

— За что? — усталым вздохом отозвалась мать, работая.

— А за то, что остановились у нас. За квартиру, за самовар...

— Не говори глупостей!

— Ну, а если они сами предложат тебе на расходы?

— Да не предложат они ничего! Какое вам может быть до всего этого дело!

— Ну, а если они все-таки спросят тебя, сколько тебе дать, ты тогда, смотри, не стесняйся, больше проси. Им ничего не стоит дать, а нам пригодится, мы сможем улучшить себе питание.

— Понятно,— поддержала брата Нюня.— Сто миллионов в сутки проси.

— Ты бы только посмотрела, какие у них чемоданы! — сказал матери Вася.

Мать рассмеялась:

— Ага, значит, вы уже успели все рассмотреть!

Она не кончила фразы, как в столовую вошли приезжие, умытые, посвежевшие, довольные, с полотенцами в руках.

IV

Несколько мгновений они стояли рядом, неторопливо вытирая полотенцами руки и как бы новыми глазами осматриваясь вокруг.

Она была так моложава, а он, напротив, так старообразен, что никто не сказал бы, что это мать и сын.

Петр бросил меткое слово, когда, полчаса тому назад, в шутку назвал свою тетку королевой английской. С правильными, чересчур крупными чертами лица, с ярким румянцем на щеках, она на самом деле носила на себе какую-то печать знатной породистости. В то же время Жан, в противоположность матери, представлял собой типичнейшего плебея: долговязого, сутулого, с длинными руками и удручающе-громадными ступнями. На нем, точно на военном, все было защитно-зеленого цвета: и френч, и галифе, и длинные чулки, и фуражка.

— Ну-с,— сказала Ольга,— усаживайтесь к столу, сейчас будем чай пить.

— Бабушка Надя, садитесь! — наперебой кричали дети, нервно размахивая руками, очевидно все еще находясь под впечатлением чемоданов.— Бабушка Надя, вот здесь садитесь! Бабушка Надя, вот для вас хорошее местечко, вот, вот! Бабушка Надя, в кресло, в кресло, в мягкое кресло! В кресле вам будет покойнее!

А у самих от голодного нетерпения сводило под столом ноги, а в душе закипал бунт. Когда же, наконец, достанут что-нибудь съестное из той дорожной корзины!

— Ого, какие у вас внимательные дети! — поразилась москвичка, важно опускаясь в мягкое кресло, как английская королева.

— Все дело в воспитании,— сказала Ольга и вспыхнула от материнской гордости.— Кто как воспитывает.

— Спасибо вам, детки, спасибо, что порадовали,— ласково благодарила москвичка детей и растроганными глазами смотрела на них, на одного, на другого.— Какие же вы, однако, хорошие, какие вы заботливые! Значит, в провинции еще сохранилась нравственность, несмотря на ре-

волюцию. И вы всегда такие? — спросила она у детей.

— Всегда! — выстрелили дети дуплетом.

— Ну, хорошо,— сказала москвичка.— Потом я вам дам, там у меня есть в вещах, по плитке шоколада.

— Спасибо, бабушка Надя! — звонко, как соловей, неестественно высоким голосом запел Вася, так что в горле у него потом запершило, а из глаз покатились слезы.— За шоколад спасибо!

— Спасибо, бабушка Надя! — едва поспевала за ним Нюня, еще более возбужденная, чем он, с пунцовыми щеками.— За шоколад спасибо!

— Ну, когда получите, тогда и поблагодарите,— благодушно засмеялась в кресле москвичка.— А то они уже и благодарят. Да,— вздохнула она и покачала головой,— воспитание великое дело! С него и надо было начать, а не с революции! Вот мой Жан тоже, когда был маленький... Жан! — закричала она сыну рассерженно по-французски: — Не нюхай руки! Это же дурно!

А Жан, едва усевшись на стул, некрасиво нагорбился, провалил грудь, выпятил живот, вытянул далеко вперед свои длинные, тягостно огромные ноги и принялся старательно приглаживать обеими руками пробор на голове, потом с таким же усердием стал нюхать ладони, сложив их лодочкой и прижав к носу.

— Жан! — прикрикнула на него мать во второй раз.— Перестань наконец нюхать! Все обращают внимание!

Жан опять, как школьник, быстро отдернул от носа руки, однако через минуту снова принялся за прежнее, и было это у него вроде болезни.

Не посидев вместе со всеми и пяти минут, все время проявлявший странное беспокойство, точно его где-то ожидали или он кого-то ожидал, он вдруг встал, взял с подоконника фуражку с каким-то нелепым техническим значком и направился к выходу.

— Тебе, конечно, уже не сидится? — спросила мать.

— Я сейчас,— отвечал сын, кособоко остановившись среди комнаты и подергивая кожею щек, то одной, то другой.

— Куда же ты идешь?

— Так. Бриться.

— Да у тебя и брить-то нечего. Вчера брился. Он каждый день бреется!

— Ничего. И куплю папирос. Тетя Марфа, какие папиросы считаются в вашем городе самыми лучшими, самыми дорогими?

При словах «самыми дорогими» Вася и Нюня враз повернулись друг к другу лицами и обменялись многозначительными взглядами.

— Нюнька, понимай! — говорил взгляд Васи.

— Васька, понимай! — говорил взгляд Нюни.

— Жан,— вполголоса заговорила между тем москвичка с сыном по-французски.— Вот тебе деньги, и купи чего-нибудь к ужину, получше да побольше, чтобы и самим можно было хорошо поесть и хозяев угостить. Я только сейчас заметила, какие они все голодные. И вина хорошего возьми, надо их отогреть.

И она подала сыну пачку денег.

При виде денег дети опять, как механические куклы под нажатием кнопки, вздрогнули и впились друг в друга глазами.

— Видала?

— Видал?

Как это всегда бывает в подобных случаях, и гости и хозяева были так взбудоражены неожиданной встречей, что долго не могли ввести разговор в плавную колею.

— Ну, как вы там в Москве? — несколько раз спрашивала бабушка у москвички, нервно дрожа.

— Да мы там ничего,— несколько раз отвечала москвичка и в свою очередь несколько раз спрашивала: — Ну, а вы как тут, в Крыму?

И тоже нервно покачивала головой, точно заранее поддакивала.

— Прямо из Москвы? — многократно спрашивала Ольга.

— Прямо из Москвы,— многократно отвечала тетка.

— Это хорошо, что наконец-то вы решили пожить у нас в Крыму,— сказала бабушка.— Покупаетесь в море, поедите фруктов...

— О! — воскликнула гостья.— Какой там пожить!

И она рассказала, что пять дней тому назад ею была получена в Москве телеграмма из одного крымского городка, соседнего с этим. В телеграмме сообщалось, что в том городке умирает от сыпного тифа ее дочь Катя, два года тому назад переехавшая туда с мужем и детьми на постоянное жительство.

— Катя! — вскричала Ольга.— Катя два года живет в Крыму, а мы-то ничего не знаем об этом!

— Вот какая теперь жизнь,— пожаловалась бабушка низким ворчливым голосом.— Живем два года рядом, почти

что в одном городе, и даже не подозреваем об этом. Устроили!

— Получив такую телеграмму,— продолжала гостья,— мы с Жаном моментально отправились в путь. А так бы я ввек не собралась в ваши края. Скажите, могу я тут достать лошадей, чтобы сегодня же ехать дальше?

— Ну, нет,— сказала Ольга и посмотрела на окна.— Уже темнеет, а у нас на шоссейных дорогах и днем грабежи. Не забывай, что тут горы, ущелья, обрывы, море...

— У нас переночуете, а ранним утром поедете дальше,— сказала бабушка.

— Но ведь тут недалеко, всего несколько часов езды, и мы торопимся, чтобы застать Катю в живых.

— Все равно,— решительно заявила Ольга.— Как вы там ни торопитесь, ни один извозчик ночью вас не повезет.

— Они ночуют у нас,— тоном окончательного решения сказала бабушка и сделала соответствующий жест рукой.

— У нас, у нас! — радостно заулыбалась Ольга.

— У нас, у нас! — закричали и запрыгали на стульях дети, сверкая острыми глазенками.

Тетя Надя еще немного подумала и махнула рукой.

— Ну, хорошо...— произнесла она растроганно.— Уговорили... Ну, спасибо вам... Всем спасибо... Да-а... Вот этого в Москве уже нет, такого гостеприимства... Там это уже вывелось... А жаль...

— Только не в комнатах! — неожиданно испортил красивую картину радушного гостеприимства Петр своим злым, раздражительным стоном.— Пусть ночуют в кухне!.. Только не на кроватях! Пусть спят на полу!.. Вы думаете, мало на них после дороги сыпнотифозных вшей!.. У нас денег нет лечиться!.. Пон-няли?

Тетка переконфузилась, покраснела, внимательно посмотрела на свою грудь, бока, руки...

— На нас-то насекомых нет,— произнесла она трудно, пробуя улыбнуться.

— Знаем мы!..— отозвался Петр злобно.— На мне тоже не было, а вот лежу!..

— Что ж,— сказала тетка растерянно и с попыткой все обратить в шутку.— Мы можем и в кухне, и на полу. Мы люди дорожные.

— Чтобы я, да положила тетю Надю в кухне и на полу! — разъяренно вступилась за тетку Ольга.— Да ни за

что! Да никогда! Тетя Надя такая хорошая, мы тетю Надю так любим, мы тете Наде так рады, мы тетю Надю насилу дождались, и вдруг положить ее в кухне, на полу! Ни за что! У тети Нади ничего не может быть, я тетю Надю не боюсь, я тетю Надю положу на свою постель, и если я заражусь, то это будет мое дело!..

— Го-го-го!..— бессильно закрутил головой Петр на подушке и истерически провизжал через силу.— Опять!.. Опять понесла!.. Опять женский, слишком женский ум!.. Пойми же, наконец, что тут не ты одна!.. Тут семья!.. По-ня-ла?

— Поняли, поняли, все поняли,— отвечала за Ольгу мать Петра, стараясь как-нибудь замять некрасивую историю.— И ты, пожалуйста, не кричи: здесь глухих нет! — прибавила она строго, на правах матери.

— Я не то что кричать!..— пискливо угрожал Петр, как сильно пьяный, быстро ослабевая.— Я уже сам не знаю, что скоро буду делать с вами, раз сами вы ничего не понимаете!.. Как маленькие, как маленькие!..

Бабушка, наблюдая за больным, сделала всем знак молчать и сама замолчала.

И через минуту уже послышалось сонное сипение больного.

В конце концов потихоньку от Петра порешили, что тетя Надя ляжет в первой комнате, на кровати Ольги, а Жан устроится на галерее, на сдвинутых вместе сундуках.

— Тетя Надя хорошая, у тети Нади ничего не может быть,— еще много раз повторяла вполголоса Ольга, сильно взволнованная...

V

Сидя в кресле и беседуя с Марфой Игнатьевной об общих московских друзьях и знакомых, тетя Надя вдруг испуганно содрогнулась.

— Я замечаю,— заговорила она с чувством глубокой обиды,— я уже давно замечаю, что ты, Марфинька, совсем не слушаешь меня, а вместо этого как-то странно приглядываешься ко мне, к моей шее, вот к этому месту, пониже уха. Скажи, разве там что-нибудь ползет?

И она повернулась тем местом шеи к своей собеседнице.

— Нет, нет... Так... Ничего особенного там нет...— смутилась бабушка, а сама опять уставилась в подозрительное пятнышко.— Ты не должна на нас обижаться, Наденька,

но мы тут в Крыму так напуганы сыпным тифом, что мне всякий раз, как я взгляну на тебя, кажется, что по твоей шее пониже уха ползет крупная вошь, а на самом деле там у тебя такая родинка.

Дети обрадовались, засмеялись, вскочили и бросились смотреть на родинку.

— Родинка, как вошь,— с удовольствием отмечали они.

Москвичка тоже облегченно засмеялась и сделала попытку продолжать прерванную беседу. Но разговор уже не ладился, так как с этой минуты все занялись исключительно тем, что начали более откровенно приглядываться к телу и платью друг друга.

— Стойте, стойте, сидите так, не шевелитесь!.. Ан нет, ошибся, ничего нет, значит, это мне показалось, думал: она!

— А ну-ка, станьте к свету, что это у вас там черненькое такое?

— Черненькое не страшно, желтенькое страшно.

Вася был уверен, что он раньше Нюни что-нибудь на ком-нибудь поймает; Нюня была убеждена в обратном, то есть что она раньше. А дело от этого только выигрывало: оба они старались друг перед другом изо всех сил, присматривались к пятнышкам на теле, у себя и у других, прощупывали оборки и швы платьев, своих и чужих, и весело покрикивали при этом:

— Ну, эй, вы, кто там есть, выходите!

— Дети! — с перекосившим его лицо ужасом возгласил вдруг Петр, приподнявшись на локте с постели: — Дети!.. Объявляю!.. Кто поймает на московских гостях вошь, тот получит пол-ложки сахару к чаю!.. По-ня-ли?

— Дядя Петя, за каждую по пол-ложки?

— За каждую!..

— За живую?

— За живую!..

— Кто будет платить?

— Я!..

— А когда?

— Когда поймаете!..

Петр задыхался от волнения и дальше не мог говорить, а через минуту впал в обморочное состояние.

Обещание премии удесятерило старание детей. Однако зрение их скоро притупилось и стало галлюцинировать.

— Есть! — радостно и испуганно вскричала Нюня, замерев на месте, за спиной москвички.— Есть! Нашла! Ви-

жу! Живая! Самая сыпнячая! Ишь, проклятая, сидит, глядит! Взять? Снять? Дать? Или сами возьмете?

Все вскочили с мест и осторожно подошли к креслу приезжей. А приезжая сидела в том же положении, в каком ее застало оповещение Нюни: окаменевшая, с остановившимися глазами, скованная по рукам и ногам чувством ужаса.

— Возьмите! — деревянным голосом произнесла гостья, боясь пошевельнуться.— Снимите!

— Где? Где? — щурили глаза и бабушка, и Ольга, и Вася, на всякий случай держась поодаль и вытягивая вперед одни головы.

— Вон она, вон! — указывала Нюня счастливым лицом.— Ползет!!! — вдруг вскричала она диким голосом и затопала ногами на месте, как бы бессильная остановить уползающее насекомое.

Все шарахнулись в стороны и тотчас же снова стали приближаться к креслу с дорогой гостьей.

— Да ты сними ее,— мужественным голосом посоветовал Вася сестренке и побледнел от страха.

— Да! — окрысилась Нюна злобно.— Как же! Сними-ка сам!

— И сниму! — сказал Вася и почувствовал, как у него задрожали коленки и как все перед ним заволоклось туманом.— Мне это ничего не стоит.

И одним махом, как проглатывают касторку, он двумя пальцами захватил с заледеневшего плеча москвички микроскопически малый предмет.

— Руками! Он руками! — понеслись со всех сторон крики, как на пожаре, когда какой-нибудь смельчак бросается в самый огонь спасать ребенка.— Он с ума сошел! Она ведь заразная! Он хотя бы бумажкой!

— Ниточка,— с улыбкой доктора, не боящегося смерти, произнес Вася, разглядывая на своей ладони, как на оперативном столике, страшную находку.— Такая ниточка, как вошь.

И он с каждой минутой принимал все более неустрашимый вид. Плечи его и голова так и ломились назад от сознания собственной великой силы. А голос приобрел какой-то сладкий покровительственный тон.

Старшие, разобрав, в чем дело, облегченно вздохнули, расправили спины, заняли свои места.

— Тетя Надя хорошая, у тети Нади ничего не может быть,— опять затвердила Ольга.

— Как вы меня напугали!..— замогильным голосом за-

говорила тетя Надя, все еще не двигая ни одним членом, как загипсованная.— Как вы меня напугали!.. Кажется, никогда в жизни я так ни от чего не пугалась, как сейчас!.. Как это вредно может отразиться на моем сердце!.. И сама я никогда не придала бы этому такого большого значения, если бы даже и нашла на себе насекомое, а это вы навели на меня такой страх, вы, вы!.. И чего я так испугалась?.. Уфф...

— Это все противная Нюнька,— сказала Ольга и поискала глазами девочку.— Глупая ты!.. Зачем ты сочинила, что она ползет? Разве ниточка, ворсинка от материи, может ползти?

— Я не сочинила,— протянула плаксиво в нос Нюня и опустила лицо, как наказанная.— Мне так показалось.

— Это ей со страху,— снисходительно улыбнулся в ее сторону одним уголком рта Вася.

— А Вася-то ваш какой молодец! — вспоминала москвичка.— Вася-то!

Вася герой! Пусть теперь московская богачка попробует оставить его без подарка! Тогда она увидит, что он ей сделает!

— Я ничего не боюсь,— возбужденно, как в чаду, не отдавая себе отчета в том, что говорит, рекомендовался Вася москвичке.— Я все могу! Я и тарантулов в руки беру, и гадюк! Ночью один пойду на кладбище, опущусь в любой склеп и просплю до утра на гробу со свежим покойником!

— Довольно хвастать! — прикрикнула на него мать и отстранила его рукой, как вещь, на задний план.— Расхвастался!

— Я правду говорю! — оправдывался мальчик с горящими ушами.— Я могу это доказать!

— Поймали? — очнувшись, застонал из своего угла расслабленным голосом Петр.— Убили?.. А руки потом хорошо вымыли?.. С мылом?.. А потом посмотрели, нет ли там еще?.. Может, там, у тетки на плече, их целое гнездо!.. Поняли?

Английское королевское лицо тетки густо вспыхнуло.

— Что он говорит! — не сразу нашлась она, что отвечать, и едва не заплакала.— Что он говорит, этот невозможный человек! — поднимала она и поднимала голос и сосредоточенно слушала себя.— У меня на плече целое гнездо насекомых! Вот что значит больной человек, вот что значит не сознает, что говорит! Да-а, теперь-то я вижу, как вам с ним должно быть тяжело, да-а...

— Поймали, поймали, успокойся, не кричи,— говорили Петру мать и сестра.— Но только то была не вошь, а ниточка, Нюнька ошиблась.

— Такая ниточка, как вошь,— прибавила Нюня, смакуя слово вошь.

— Дети!..— в первый раз строго обратилась к детям москвичка.— Не повторяйте вы так часто это слово: вошь. Это нехорошее слово, некрасивое, неприличное, грязное! Когда мы росли, у нас в доме никогда не произносилось это слово. А у вас только и слышишь: вошь да вошь.

— Как же ее тогда называть? — спросил Вася.— Ведь называть ее как-нибудь надо, раз она водится!

— Называйте: насекомое.

— Насекомая вошь,— тихонько заучивала Нюня, с прежним приятным чувством напирая на слово вошь.

— Тет-тя Над-дя!..— беспокойно заметался в постели Петр, точно ему вдруг сделалось нехорошо.— Тет-тя Над-дя!..

— Что тебе? Что, голубчик? — со всей любовью устремила к нему участливый взор москвичка.— Что, милый?

— Не сиди в мягком кресле,— заныл Петр,— а то ты нам напустишь туда вшей!.. Пересядь сейчас на простой стул, пока я не забыл!.. Поняла?

— Насекомых вшей,— поправила его Нюня, упиваясь непонятной сладостью грязного слова.

Тетка так и запрокинула за спинку кресла голову, чтобы не задохнуться от обиды. Глаза ее, обращенные в потолок, вопили от незаслуженного оскорбления.

— Поняла?..— истерически переспросил Петр.

Ольга подошла к тетке, поцеловала ее в лоб и со слезами мольбы на глазах прошептала ей что-то на ухо.

— Хорошо, хорошо, Петя,— превозмогая себя, сказала громко тетка, поднимаясь, как парализованная.— Вот, видишь, я пересаживаюсь на стул.

— Вас-ся! — нараспев выдыхал из себя слова Петр.— Вынеси это кресло в садик!.. Пусть оно там после тетки проветривается!.. Понял?

Вася вскочил, сделал ногами сложное антраша, дал щелчок Нюньке, запел бесконечно довольный, что ему нашлось дело, и поволок кресло в сад. Он разговаривал с креслом клоунским языком и зачем-то, должно быть для прибавления себе работы, переворачивал его ножками, то вверх, то вниз, словно катая по полу шар.

— Тет-тя Над-дя!..— уже не оставлял в покое москвичку

Петр.— Смотри, не вешай своих платьев на наши вешалки!.. Тет-тя Над-дя!.. Не клади своих шляп рядом с нашими шляпами!.. Тет-тя Над-дя!.. Ты особенно много не ходи по квартире, а старайся придерживаться какого-нибудь одного места, чтобы нам потом после тебя легче было протирать керосином!.. Тет-тя Над-дя!!!

VI

Возвратился Жан, выбритый, припудренный, с напомаженным, лоснящимся боковым пробором на голове. Он весь нагружен был кульками с закусками, сладостями, вином...

— Пьем в честь неожиданной встречи и радостного свидания родственников! — через минуту прокричал он первый тост.

— Ну, дай бог, дай бог,— среди звона посуды раздавались негромкие расчувствованные голоса женщин.

Все, не исключая детей, выпили первую рюмку залпом. Потом с особенным аппетитом, как некую редкую драгоценность, слили в рот еще одну темно-красную капельку, набежавшую со стенок рюмки на дно.

Уже первая рюмка вина произвела на всех самое оживляющее действие. Она сразу смыла с души какую-то застарелую копоть. И всем стало ясно, что вино-то и было им нужнее всего. Нечаянно сделали важное открытие, что при такой жизни, чтобы не погибнуть, надо больше пить вина.

— Ради одного этого вина стоит переехать в Крым на постоянное жительство,— сказал Жан, по-мудрецки покачивая головой, когда, после выпитой рюмки портвейна, все стали высказываться по поводу замечательных качеств бывшего удельного вина.

Потом пили одни старшие.

— За скорейшее выздоровление дорогих сыпнотифозных больных: Петра и Кати!

— За здоровье дорогих хозяев дома!..

— За благополучное окончание путешествия дорогих московских гостей!..

— За то, чтобы жизнь в России наконец наладилась, все равно как; чтобы гражданская распря чем-нибудь закончилась, все равно чем; чтобы снова можно было почувствовать себя хотя немножечко человеком!..

И после каждого нового выпитого стакана казалось, что эта возможность хорошей мирной жизни становится все

ближе. И чтобы это приближение шло еще быстрее, старались пить как можно больше и тем как бы пробивать себе путь к желанному царству прекрасного.

— Жан,— сказала Марфа Игнатьевна, захмелевшая после двух рюмок портвейна, сладкого, как варенье, и прилипающего к пальцам, как смола.— Жан, ты вот живешь в Москве, везде там бываешь и, наверное, занимаешься политикой в этих дурацких, как их там, профсоюзах или собесах, что ли. Скажи, неужели мы так и не дождемся никакой перемены?

— Тетенька Марфинька, сестричка Оленька! — не слушая их, так же горячо обращался к ним Жан, пьяненько навалясь грудью на стол и щуря глаза.— Вы вот тут долго живете и всех знаете, познакомьте меня со здешними барышнями!

— Ха-ха-ха! — раскатилась смехом москвичка с блистающими от выпитого вина глазами, болтавшая в это время о каких-то пустяках с детьми.— Ха-ха-ха! Ему завтра утром ехать, а он знакомиться с барышнями вздумал! Что же ты успеешь?

— Все успею,— пролепетал Жан, непослушными глазами ища возле себя мать.— И что из того, что мне завтра утром ехать? Я могу и остаться, если понравится какая!

— Ты-то можешь! — опять расхохоталась мать.

— Разве Жан еще не женат? — строго спросила бабушка.

— Какой там не женат! — махнула рукой москвичка и, отхлебнув от стакана вина, весело продолжала: — Не послушался меня, женился, и вышло, как я предсказывала: два раза был женат, и оба раза жены уходили от него!

И она с любовью и гордостью матери посмотрела внимательным взглядом на всю его громадную, нескладную фигуру, скрюченно навалившуюся на стол.

— Жан, сиди прямо.

Жан выпрямился.

— Жан, убери руки со стола.

Жан опустил под стол руки.

— Жан, не нюхай.

Жан оторвал от носа ладони.

— Отчего же все-таки они ушли от него? — допытывалась бабушка, разглядывая Жана злыми глазами, как закоренелого преступника.

— Оттого что глупые,— ухмыльнулся Жан в стол.— Но ничего. Вернутся.

— Обе? — сострила мать и посмотрела, смеются ли.

— А дети-то у него были? — сурово продолжала бабушка.

— Были. По ребенку от каждой.

И три женщины заговорили о несчастной судьбе детей разведенных супругов.

Жан, как всегда, не мог усидеть на месте, вздрагивал, озирался, менял на стуле позы, поправлял на голове пробор, нюхал руки, потом порывисто встал, взял фуражку и, сильно опьяневший, раскорячась, как на качающемся корабле, поплыл к выходу.

— Так поздно? — спросила мать.— А розы зачем? — вскричала она, заметив, как он украдкой достал из-под своей фуражки букет великолепных свежих роз и захватил их с собой.

— Так,— намекающе подмигнул он одним глазом сразу всей столовой и вышел.

— О-о! — хвастливо запела мать.— Уже-е! Уже познакомился! Уже купил розы! Уже назначил свидание! Не успели приехать! Каков? И он у меня везде так! И он у меня всегда такой! Ему и жениться не надо! Я ему и говорю: «Жан, зачем тебе жениться?» Я ему и говорю...

Она внезапно запнулась, смолкла, взгрустнула, как это часто бывает с людьми сильно опьяневшими, и медленно, в глубоком раздумье, потянула из стакана.

— Разболталась я...— с укором себе, низким-низким контральто произнесла она.— И слишком много хохочу я сегодня... И говорю глупости... Как-то там Катя сейчас?.. Жива ли...

Наступила пауза. Было слышно, как дышал в углу комнаты спящий Петр.

— Оля,— распорядилась бабушка.— Принеси сюда большую лампу, а то что мы сидим при коптилке? Сегодня праздник: тетя Надя приехала.

Зажгли большую лампу, которую не зажигали больше года. Закрыли ставни. И сделалось еще уютнее, еще милее.

— Я согласна сегодня всю ночь не спать,— сказала Ольга,— лишь бы с тетей Надей разговаривать!

Тетя Надя молча потянулась к ней, и обе женщины крепко обнялись и поцеловались. Когда они разнялись, на глазах у них блестели слезы.

— Молока в чай гостям не наливать!!.— проснулся и издали уставился пылающими глазами на тетку Петр.— Молоко берется только для больных!.. Так что стесняться

тут нечего!.. Если вам стыдно об этом им сказать, то вот я им это говорю, мне не стыдно!.. Поняли?

— Понять-то мы, Петя, поняли,— отвечала бабушка, перемигиваясь с москвичкой.— Только у нас тут нет никаких гостей, а все свои: наша семья да тетя Надя с Жаном из Москвы.

— А Раиса Ильинишна?..— пропыхтел больной трудно.

— Тут никакой Раисы Ильинишны нет,— продолжала перемигиваться с приезжей бабушка.— Разве ты не видишь? Это не Раиса Ильинишна, это наша тетя Надя, московская.

— Ага...— протянул Петр, успокаиваясь, и, с видом хорошо выполненного дела, повернулся на другой бок.— А то я вижу, как будто Раиса Ильинишна... И молошник наш возле нее стоит...

— Вот видишь,— тихонько обратилась к тетке Ольга.— Он проспал несколько минут и уже забыл, что ты у нас, принял тебя за чужую.

— А кто такая Раиса Ильинишна? — поинтересовалась москвичка.

— А это тут есть одна убогая женщина, старушка-горбунья,— рассказала Ольга.— Ей восемьдесят лет, а она все еще продолжает давать уроки музыки, конечно, за гроши и, конечно, голодает отчаянно. Петя не любит ее за неискренность, за то, что она всегда приходит к нам с предлогами. Говорила бы прямо, что пришла выпить чаю. А она, еще не переступив порога дома, еще в дверях, еще в шляпке и даже ни с кем не поздоровавшись, уже кричит предлог, с которым пришла. То выдумывает, что ей надо навести у нас какую-нибудь справку, как будто у нас справочная контора. То якобы сообщить, что где сегодня дешево продается из продовольствия. То еще что-нибудь.

— А мне таких людей жаль,— сказала бабушка.— У нас хотя кипятку каждый день вволю, а у них и угля на самовар нет!

— Мама, мне тоже жаль! — вскричала Ольга с сочувствием.— Но зачем она врет!

— Молошник...— пробормотал уже во сне Петр твердо.— Наш молошник...

VII

Когда гору закусок, принесенных Жаном, общими силами переносили с подоконника на стол и перекладывали из бумажек на тарелки, у Петриченковых, взрослых и детей, ныли все внутренности от желания есть!

И уже тогда в их мозгу беспокойно копошилась одна большая, важная, практическая мысль. Как поступят московские гости с остатками закусок, если за сегодняшний вечер не удастся съесть всего: возьмут ли остатки с собой или оставят им? Вопрос имел громадное значение! Если москвичи мечтают забрать остатки продуктов с собой, тогда необходимо напрячь все силы, чтобы в этот же вечер покончить со всем, что есть на столе. Если же гости окажутся порядочными людьми и не погонятся, как нищие, за остатками, тогда сегодня надо стараться истреблять провизии как можно меньше, чтобы потом самим, без гостей, все это съесть спокойно, со вкусом, без той чисто желудочной гонки, которая, без сомнения, сейчас между ними начнется. В тех же хозяйственных целях было бы полезно незаметно отсунуть что-нибудь из закусок в сторону и припрятать...

Детей, кроме того, не переставал мучить страх перед возможностью вмешательства в этот семейный пир Петра. Что стоит этому человеку взять и скомандовать с постели: «Эй, вы, женские умы! Вам говорю! Вас учу! Сейчас же все продукты, купленные Жаном, в том числе и пирожные, убрать со стола и спрятать на запас в кладовую! А на сегодняшний вечер выдам всем, и москвичам, строго порционно: по восьмой фунта хлеба, по пол-ложки сахару и по одной, с мизинец величиной, копченой рыбке — барабульке!..»

— Помните!..— словно даже во сне учуяв детские мысли, детские страхи, вдруг страшно заволновался в бреду Петр.— Всегда помните!.. Каждую минуту помните!.. Теперь так трудно все достается!.. Теперь так случайно все достается, и деньги и продукты!.. Так что на каждую получку денег и на каждое попавшее в дом продовольствие надо смотреть как уже на последнее!.. Слышите: на пос-лед-нее!.. Поэтому, боже вас сохрани, съесть когда-нибудь что-нибудь беспорционно или сверхпорционно: этим вы укоротите жизнь всей нашей семье!.. Поняли?

Дети переглянулись.

— Это он во сне,— успокоительно произнес Вася, видя испуганное лицо сестры.

Еще более равнодушно прослушали это бредовое предупреждение Петра Ольга и Марфа Игнатьевна. Теперь-то это к ним не относится. Теперь-то они не погибнут, не вымрут. Теперь-то они спасены. Доказательства этому вот, налицо: тетка, стол; стол, тетка...

От вина, от стола, от москвички хозяева так обалдели,

что не знали, на что больше смотреть: на добрую ли тетку, на ореховую ли халву...

Даже бабушка, Марфа Игнатьевна, самая терпеливая в доме и не жадная, и та на этот раз изменила себе. Точно для совершения убийства, крепко захватив нож в одну руку, вилку в другую, только для себя, не заботясь сверх обыкновения о других, она некрасиво вылезла локтями на стол и, придвигая к себе овальное блюдо со свежим сочащимся окороком, весело и бойко, как когда была молодая, тараторила:

— Люблю ветчину. Жаль только, нет горчицы. Но и без горчицы будет хорошо.

— Пей, Марфинька, пей, чего же ты так мало пьешь,— наливала ей рюмку за рюмкой добрая гостья.— Бог знает, когда мы с тобой еще встретимся. Да и встретимся ли когда?

Дети вели себя за столом идеально. И вместо былой разделявшей их вражды теперь между ними был крепкий союз. «Вась, если мне будет чего-нибудь не достать рукой, тогда ты мне подашь. А если что-нибудь из вкусных вещей будет стоять далеко от тебя, тогда я к тебя пододвину».— «Ладно. Только ты, Нюнь, смотри, про ту банку с вареньем молчок. И завтра молчок, всегда молчок, всю жизнь молчок! Иначе ни тебе не жить, ни мне!» — «Хорошо. Если правильно поделишь. Но в той банке не варенье, а вовсе компот».— «Черт с ним, пусть будет компот».

Дети первыми примостились к столу так прочно, словно готовились тут зимовать!

Дети выбрали себе самые выгодные, самые выигрышные места, откуда и обозревать стол было лучше и достать рукой легче!

Дети присоединились к столу пустыми животами, как порожними насосами, и только ожидали разрешения, когда можно начать качать!

— Смотрите мне, не срамите меня, первыми есть не начинайте, ждите, пока бабушка Надя что-нибудь в рот возьмет! — звучал в их ушах закон, предупреждение матери.

И они ждали, терпели, молчали, несмотря на то что это стоило им и сил и здоровья. Но зато что с ними было потом, когда бабушка Надя наконец взяла в выхоленную руку первый кусок и не торопясь положила его в деликатный рот!

— Нюнь,— тихонько шипел под стол Вася.— Не зевай. Ты еще этого не пробовала.

— Как? — удивилась Нюня.— Разве я этого не пробовала?

— Конечно, не пробовала. Я все вижу, что ты ешь.

— Вась! А отчего ты это кушанье пропустил?

— А разве я его пропустил?

— Конечно, пропустил. Я все вижу, что ты ешь.

И дети, и взрослые ели нездорово, тревожно, спеша, часто даже не ощущая вкуса того, что ели, лишь бы съесть, словно дело происходило в станционном буфете после второго звонка и в ожидании третьего, когда и бежать в вагон к вещам было надо и денег, заплаченных в буфете, было жаль.

— Не в то горло попало,— вдруг во всеуслышанье доложила Нюня, с грохотом попятилась от стола вместе со стулом далеко назад и, согнувшись над полом под прямым углом, побежала с переполненным ртом в кухню, к помойной лоханке.

— В другой раз не будешь так торопиться,— бросил ей вслед Вася, довольно улыбаясь и поспешно жуя.

— Ты больше меня съел! — каким-то чудом пробормотала Нюня с набитым ртом, полуобернув назад озлобленное лицо и не разгибая спины.

Взрослые не отставали от детей. И насколько толсто намазывала себе хлеб сливочным маслом Марфа Игнатьевна, вообще любительница этого продукта, настолько же, никак не тоньше, тотчас же старалась намазать себе и Ольга, у которой желудок вовсе не переваривал жиров.

— Масло хорошее Жану попалось,— проговорила она при этом для вида, чтобы подумали, что она не ест, а только пробует, как специалистка-хозяйка.

— Да,— промычала ей бабушка, жуя.— Масло действительно...

— Масло хорошо есть с редиской! — услыхав про масло, жадно кинулась к масленке и Нюня, чтобы те всего не съели.

— Редиска? — передернулся, как ужаленный, Вася.— Нюнь, подтолкни-ка ко мне миску с редиской. А то другие уже ели, а я даже не пробовал.

— Но у тебя во рту уже пирожное!

— Какая разница? Давай редиску!

И, что было удивительнее всего, гостья тоже ела хорошо, не хуже хозяев!

— Не замечаете ли вы,— как бы в объяснение этого обстоятельства, говорила она, ловко сдирая вилкой шку-

рочку с маринованной скумбрии.— Не замечаете ли вы, что сейчас, по случаю голода, в России едят так много, как никогда? Каждый рассуждает, вероятно, так: «Бог его знает, что будет дальше, надо на всякий случай съесть, хотя и не хочется». И едят, что попало, где попало, когда попало. По крайней мере у нас так. А у вас как?

— У нас? — переспросила Ольга и дала пройти по пищеводу недожеванному куску.— У нас, конечно, кто может, тот тоже ест теперь больше, чем всегда. Но мы едим не больше, а много меньше, чем ели прежде. А думаем-то об еде, конечно, больше, чем думали прежде. Прежде ели и почти не замечали этого; так сказать, делали это между прочим. А теперь, вот уже скоро два года, мы ни о чем другом не думаем, кроме как об еде. За два года ни одной минуты, свободной от этой мысли! За два года ни одной другой мысли!

— Да...— помотала головой бабушка над тарелкой и вздохнула: — Наделали!

Ели и тоном далеких поэтических припоминаний говорили, что почем стоило раньше и что почем стоит теперь.

— Раньше возьмешь на рынок рубль и принесешь домой полную корзину.

И следовало соблазнительное перечисление всего, что было за рубль в корзине.

— Раньше оставишь в ресторане два рубля, а чего только не наешь и не напьешь там за эти два рубля!

И следовало аппетитное описание всего, что елось и пилось в ресторане.

— Раньше...

— Раньше...

VIII

— Спокойной ночи, тетя Надя! — подошел и поцеловался с москвичкой Вася, плохо видя от желания спать.

— Спокойной ночи, тетя Надя! — встала и проделала то же самое Нюня, сонливо пошатываясь.

— Да не тетя Надя, а бабушка Надя! — уже в который раз поправила детей Ольга.— Бабушка Надя!

— Да...— едва дети ушли, меланхолично вздохнула москвичка и подперла руками красивую голову, склоненную над столом перед стаканом белого вина.— Вот уже и в бабушки попала!.. Боже мой, боже мой, как летит время!..

Неужели я такая старая?.. Даже страшно... А ведь я все еще чего-то жду... Оленька, Марфинька, дорогие мои, давайте выпьемте, чтобы нам не было так страшно...

Она расчувственно чокнулась с хозяйками, выпила, нахмурилась, трагически застонала, как будто приготавливаясь к трудной интимной исповеди, и, тоном глубокого удивления перед собственной жизнью, начала вспоминать вслух, давно ли было в ее жизни то, давно ли было это...

Вино, ночь и воспоминания прошлого настраивали всех на чуточку грустный, задушевно-искренний тон. То и дело раздавались вздохи сочувствия к людям, о которых вспоминали...

И сыпались, сыпались вопросы хозяев, и давались, давались ответы гостей... И так волнующе-хорошо было в моменты общего молчания вдруг, неизвестно почему, всем своим существом почувствовать глухую-глухую провинцию, глубокую-глубокую ночь.

— Ну, а вообще-то как идет жизнь в Москве, хорошо или плохо? — после одной из таких пронизывающих пауз задала вопрос Ольга.— Может быть, от тебя, тетя Надя, мы услышим наконец об этом правду. А то один говорит, что в Москве замечательно хорошо, а другой, что очень плохо. И не поймешь, кто прав.

— Правы и те и другие,— сказала тетя Надя.— Потому что сейчас такой век, когда каждый судит о Москве по себе: если мне удалось в Москве устроиться материально хорошо, значит, и Москва хороша; а если ему в Москве не повезло, значит, Москва никуда не годится.

— Тет-тя Над-дя! — завозился и заохал в постели Петр, как бы спросонья: — Громче про Москву!.. Громче!.. Поняла?

Ольга подмигнула москвичке, чтобы та не особенно обращала внимание на слова Петра.

— Он все равно через минуту снова уснет,— шепнула она.

— Ну, а тебе-то, Надя, как в Москве? Хорошо? — продолжала спрашивать бабушка пытливо.

— Оч-чень! — воскликнула москвичка с придыханием и, заулыбавшись, на несколько мгновений зажмурила глаза.— Очень хорошо! — сладко содрогнулась она с закрытыми глазами.

У хозяек, было видно, даже хмель прошел от такого ответа гостьи. Обе они пристально и изучающе уставились на нее. Тетка хвалит теперешнюю Москву! Что это? Не комму-

нистка ли она? И не наболтали ли они при ней чего-нибудь лишнего?

— В Москве жизнь нисколько не похожа на вашу жизнь,— продолжала москвичка, раскрыв глаза.— Там отлично! Москва сыта, обута, одета. Москва работает, служит, спекулирует, учится! Москва приспособилась! Москва живет вовсю!

Дверь в столовую распахнулась, и на пороге комнаты появилась сильно согнутая наперед фигура Жана, с налитыми от натуги глазами и с большим простым мешком на спине, набитым какими-то твердыми, угловатыми, тяжелыми вещами.

— Вот он, представитель Москвы! — торжественно указала на сына захмелевшей рукой гостья и рассмеялась.

Жан с грохотом свалил мешок в углу и вытирал со лба пот.

— А ну-ка, покажи, что ты там такое принес? — спросила у него мать.— Хотя нет, не надо, это еще успеется, это скучная проза,— лениво потянулась она.— Ты лучше сперва нам расскажи, куда ты ходил с розами?

— Так. Там. К одной,— пренебрежительно бросал короткие слова Жан с улыбкой мужчины, якобы старающегося скрыть от других, какой он сейчас имел великолепный успех в одном амурном дельце.

— Кто же она такая? — впилась в него оживившимися глазами мать.— Интересная?

— О-о!

— Ну и что же?

— Ну и пристала: «люблю» и «люблю». Насилу отвязался.

— Это от голода,— сказала Ольга, несколько испортив впечатление.

— Нет! — почти яростно вступилась мать за сына, и в глазах ее мелькнул злой огонек.— Нет! В него все влюбляются, каждая, всегда! Жан! — обратилась она к сыну так же разгоряченно по-французски.— Только не нюхай пальцы! Пальцы сейчас убери от носа! Это так портит тебя, так портит!

Жан спрятал руки под стол.

— А может быть, она какая-нибудь такая? — спросила бабушка брезгливо и сплюнула в сторону.

— Нет,— спокойно сказал Жан, навалившись грудью на стол и жмурясь, как кот.— Она очень порядочная. С золотым медальоном на шее.

— Но ты наш адрес все-таки таким не давай,— предупредила бабушка.— Ну их совсем. С медальонами их.

И, обратясь к матери Жана, она спросила недовольно:

— Жан где-нибудь служит?

— Да,— засмеялась мать и с удовольствием поглядела на сына.— Служит.

— Где?

— Где-то там, я даже не знаю где. Знаю только, что он там у них каким-то главным. Все остальные его подчиненные. Но он больше всего мне помогает, в моей работе.

— А-а-а,— приятно поразилась Ольга и новыми глазами посмотрела на Жана.— Вот это хорошо! На сцене тебе помогает? В музыке? Он играет? Поет?

— Да,— засмеялся Жан, уставив на Ольгу широко раскрытый рот и расправляя двумя ладонями пробор на голове.— В музыке помогаю,— прибавил он, встал, пошел в угол и приволок оттуда тяжелый мешок.

— А ну-ка, посмотрим, что ты принес,— с интересом смотрела на мешок москвичка.

С довольным лицом рыболова, вытряхивающего из невода одну рыбину крупнее другой, Жан извлекал из мешка и раскладывал по подоконникам, по стульям, по краям стола, по полу желтые медные примусы и серые оцинкованные машинки для котлет. Половина мешка была того, половина другого.

— Вот какой музыкой мы занимаемся! — сказал Жан и, подбоченясь, с удовлетворительным видом стоял среди разложенных товаров, как царь среди своего царства.

— А хорошие? — новым, деловым голосом спросила москвичка, окидывая вещи цепким взглядом.

— Хорошие, старорежимные,— сказал сын, не отрывая лица от товара.

— Сколько штук примусов? — встала и пошла переходить от вещи к вещи москвичка с наклоненным лицом.— Сколько штук мясорубок? Сколько исправных? — вертела она каждый винтик.— Сколько требующих небольшого ремонта?.. В одном месте выгодно одно купить, в другом другое,— говорила она между делом, ревностно пробуя каждую машинку и откладывая испробованные в сторону.— Подъезжая к вашему Крыму, мы из разговоров с пассажирами узнали, что у вас эти вещицы по три миллиона штука, а у нас по двадцать. Вот мы и решили захватить их для обратного пути, сколько наберем. Некоторые пассажиры

еще в вагоне дали нам адрес одной лавчонки, куда они сегодня же явились с этими вещицами, и Жан купил их у них.

— Ловко! — искренно вырвалось у Ольги.— Вот это работа!

— Но мы, конечно, не только эту дребедень покупаем,— сказала тетка.— Это так, между делом. Только чтобы оправдать дорогу к Кате. Жаль, мы сюда приехали с пустыми руками: а у вас тут хорошо пошли бы фитили для ламп и охотничьи собаки.

— Тетя, значит, вы по семнадцать миллионов на каждой машинке заработаете?

— Пусть на разные накладные расходы ляжет по два миллиона на штуку,— высчитал Жан,— и тогда нам очистится пятнадцать миллионов от каждой. Сто штук свезем, полтора миллиарда заработаем.

— Миллиарда!!! — схватились обе хозяйки за головы.

— Значит... вы... вы... миллиардеры? — испуганно запинаясь, произнесла Ольга.

— Раз полтора миллиарда, значит, миллиардеры,— безнадежно покачала ей головой Марфа Игнатьевна.

— Тетя Надя,— просто, как ребенок, спросила Ольга.— Куда же вы столько денег деваете? Неужели все тратите?

— Часть трачу, проживаю,— вольготно отвечала богачка.— Часть вкладываю в дело. Часть, в золотых монетах, прячу для будущего.

— А Жан? — перевела Ольга наивно-удивленные глаза на Жана, который в это время сидел, без конца ел, без конца пил, молчал, беспокойно менял на столе позы...

— Жан тоже часть своих барышей транжирит, часть дает на дело. Но больше, конечно, транжирит.

«Лучше бы нам половину давал!» — явственно, как в книге, зажглись слова в пришибленных глазах обеих хозяек; зажглись и погасли.

Примусы были подержанные, в копоти, и у тети Нади на носу появилось черное пятно сажи. Обе хозяйки это видели, но им было стыдно сказать гостье об этом. И что бы потом ни надела тетя Надя, что бы ни говорила, обе хозяйки смотрели только на черное пятно на ее носу и думали только о нем. Вот тетя Надя уже размазала это пятно, сделала его больше и, наверно, еще размажет... И хозяйкам сделалось обидно за тетю Надю, за то, что у нее, такой элегантной, красивой, умной, талантливой, нос был

испачкан сажей, и глубоко противной показалась им жизнь, средства для которой приходилось добывать такими способами.

— Оля, что ты так смотришь на меня? — вздрогнула тетя Надя, почувствовав на своем профиле вдумчивый взгляд племянницы.

— Так,— ответила племянница, глядя на пятно сажи на носу тетки.— Думаю.

— И, конечно, обо мне? Правда?

— Откровенно говоря, да.

— Это интересно. Что же ты обо мне думаешь?

— И думаю я вот что: как это могло случиться и как это понять, что наша тетя Надя, такая замечательная и такая известная оперная артистка, о которой когда-то даже было в газетах, вдруг теперь скупает у нас в провинции подержанные, испачканные говяжьей кровью мясорубки и старые, запаянные, в копоти, примусы.

Москвичка рассмеялась, отвертывая передними зубами какой-то винтик на машинке.

— А ваш Петр что делает? — спросила она и опять сунула в рот винтик.

— Петя? — повела бровями Ольга.— Петя другое дело.

— Нет, ты отвечай на мой вопрос: что делает ваш Петя, тоже талант, и не такой, как я, а настоящий, большой, признанный!

— Ну, он, конечно, торгует, на толчке старьем.

— Он «конечно»? Ну, и я «конечно»! — победно рассмеялась москвичка.

— Теперь трудное время,— примирительно вступила в разговор Марфа Игнатьевна, чтобы не дать разгореться спору.— Теперь не приходится много философствовать. Теперь лишь бы чем-нибудь заработать. А так-то оно конечно. Что там говорить.

— Вот это верно! — воскликнула гостья бодро.— А вы тут сидите в Крыму и спите! Вот, чем философствовать, как говорит Марфинька, и спать, вступайте-ка лучше в нашу компанию по скупке у жителей Крыма мясорубок и примусов! Вы будете скупать на местах, а мы будем сбывать в Москве! Хотите?

— Отчего же,— нерешительно, с ноющей болью в груди улыбнулась неожиданному предложению Ольга.— Можно. Если сумеем.

— А чего тут уметь? Жан, слышишь, какое предложение я делаю нашим?

— Слышу, слышу,— отвечал над тарелкой Жан.— Ко-

нечно, пусть соглашаются. У них тут в Крыму работать можно. У крымских жителей еще вещички есть.

— Значит, согласны? — перестала работать москвичка и села прямо напротив обеих хозяек, глядя на них в упор, как дух-искуситель.

— А что ж,— принужденно улыбнулась Ольга.— Согласны.

И вдруг она почувствовала такую щемящую тоску на сердце, точно прощалась с чем-то дорогим навсегда!

— Я думаю,— вводя их в курс дела, между прочим сказала москвичка,— я думаю, что тут вам удастся много закупить этих машинок.

— Тут-то много,— ответила вяло Ольга, как в тяжелом дурмане, и вздохнула.— Тут каждый свою продаст. Тут такой голод.

— Вот и хорошо,— сказала тетя Надя.— И вы заработаете, и мы заработаем. Мы вам оборотные средства оставим.

— Только с этим надо спешить, пока у крымских жителей дела не поправились,— не поворачивая к ним головы, произнес Жан, наливая в стакан портвейн.— А то тогда они вам ничего не продадут. Вон уже ходят слухи, будто американцы в Крым кукурузу везут...

IX

И потом, в другой комнате, лежа в постелях, раздетые, под одеялами, при потушенной лампе, долго еще продолжали три женщины переговариваться между собой из трех разных углов. Их самих не было видно, и узнавали они друг друга только по голосам.

— Ай-яй-яй! — вдруг спохватилась в постели москвичка.— Я сегодня проговорила весь вечер, а вы только молчали и слушали! Я заболталась, а вы никто не остановили меня, и вышло, что я только о себе да о себе! Даже неловко! Извольте теперь вы рассказывать, как вы тут живете, а я буду слушать!

— Мы-то расскажем,— протянула со вздохом в полной тьме из своего угла Ольга.— Только жизнь наша неинтересная. Я даже не знаю, о чем, собственно, тебе рассказывать.

— Обо всем,— зазвучал в темноте в другом углу голос приезжей.— Я не понимаю, например, вот чего: если ты, Оля, служишь машинисткой в коммунхозе, где жалованья не платят, а Петя берет на комиссию для продажи на толч-

ке чужие вещи и тоже почти ничего не зарабатывает, то чем же вы живете?

— Случаем,— отвечал голос Ольги.— Мы живем, тетя Надя, только случаем. Нас всегда случай спасал. Сколько раз, бывало, казалось, что ниточка, на которой мы висим, вот-вот оборвется и мы полетим в пропасть, погибнем. А потом смотришь, какой-нибудь непредвиденный случай вывезет нас, и мы опять держимся до следующего кризиса. И твой приезд, тетя Надя, для нас такой же непредвиденный случай и, вероятно, самый счастливый из всех, благодаря тому делу с примусами и мясорубками, которые ты устроила для нас.

— Дело с примусами и мясорубками — верное дело,— прозвучал убежденный голос москвички.

— Мы, Наденька, не живем,— вставила свое замечание Марфа Игнатьевна.— Мы вымираем. На почве плохого питания мы все чем-нибудь неизлечимо больны. У Васи размягчение позвоночника, у Нюни какая-то атрофия в желудке, у Оли белокровие и все зубы вынимаются, а обо мне и говорить нечего: когда хожу, держусь за мебель, а из дома не выхожу, чтобы не умереть на улице. Доктор говорит, у нас у всех такое ничтожное содержание гемоглобина какого-то, или кровяных шариков, что ли, при котором прежде падали и умирали. Тот же доктор прописывает нам мышьяк и железо, но сам же говорит, что это ничего не поможет...

— Какие ужасы распространяет наш доктор! — задрожала москвичка.— Доктор не прав, и вы скоро поправитесь! Если на примусы и мясорубки цены московские и ваши скоро сравняются, тогда вы будете поставлять нам другие товары. Сейчас, например, нам есть расчет еще брать у вас: пилы чернильные карандаши, горький перец...

— Вот из-за такой жизни нам, Наденька, и важно толком от тебя узнать, можно ли в ближайшее время надеяться на какую-нибудь перемену? — неизменно сворачивала бабушка разговор в сторону политики.— Что у вас в Москве говорят об этом?

— Я уже вам сказала,— отвечала москвичка,— что в Москве о политике не говорят. Москва живет деловой жизнью.

— Очень жаль,— сказала бабушка.— А у нас, на юге, наоборот, политика стоит на первом плане. Ночью ляжешь, не спишь, слышишь: булькает в животе, и думаешь, что это где-то вдали начинается канонада: французы и англи-

чане к нам пробиваются. А потом видишь, что это в животе, и так сделается обидно, что все нас бросили!

Москвичка рассмеялась.

— У нас в Москве от этого излечились давно и уже никого не ждут,— сказала она.

— Неужели не ждут? — упавшим голосом спросила бабушка.— Это будет ужасно, если никто не придет.

— А кто же может прийти?

— Все равно кто. Лишь бы пришли. И мы тут не теряем надежду, что вот-вот кто-нибудь придет.

— Напрасно,— опять засмеялась москвичка.— В Москве когда-то тоже верили в это «вот-вот», назначали сроки, ждали, томились, мучались. А с тех пор, как окончательно уверились, что никто не придет, и зажили обыкновенной жизнью, всем сразу стало хорошо. Конечно, так будет и у вас. Бросьте эти ожидания, займитесь делом, и вы увидите, как вам будет хорошо.

Обе хозяйки, было слышно, что-то промычали в темноте ей в ответ...

Детям тоже долго не спалось.

— Я-то твой шоколад не украду,— говорила в темноте со своей постели Нюня.— Лишь бы ты мой не украл!

— Я тоже твой не украду,— обещал Вася.

Минуты две длилась пауза.

— Вася, ты спишь?

И, не получив ответа, Нюня, босая, осторожно крадется в темноте к своему шоколаду и перепрятывает его на другое место.

— Нюня, ты спишь? Отчего же ты вдруг перестала дышать? Ой, притворяешься...

И Вася ощупью отправляется в такую же экскурсию. Вася хитрее Нюни, и, переложив свой шоколад на новое место, он долго еще путает следы, нарочно возясь и шурша в потемках в разных местах комнаты.

Петр бредил:

— Слышу, по запаху слышу, у вас в кухне опять молоко убежало!.. Самые сливки ушли!..

X

Расставание с теткой было такое же трогательное, как и встреча. Уехала она ранним утром, в волнении едва выпив на скорую руку один стакан чаю.

Жан, бегая за лошадьми, принес в распоряжение семьи

еще целый каравай белого хлеба и еще фунт сливочного масла, хотя от вчерашнего дня оставалось и то и другое.

Жан положил прекрасное начало дня, он как бы задал этому дню с утра правильный тон, и весь этот день обещал быть для семьи Петриченковых столь же хорошим, как и вчерашний. А завтрашний день, без сомнения, будет для них еще более лучшим чем сегодняшний. Они будут удалять и удаляться от прежних трудных дней...

И, может быть, первый раз в жизни таким близким, родным и, главное, таким значительным показалось им утреннее чириканье слетевшихся в садик воробьев. Так, так, чирикайте, чирикайте! Хвалите, хвалите жизнь! Приветствуйте, приветствуйте первые лучи восходящего солнца. И нежное благоухание роз, и холодноватый запах росы, неразрывно смешанный с травянистым запахом молодой зелени, все принималось сердцем глубоко и по-новому. И все представлялось новым, весь мир, вся жизнь на земле, как бы впервые начинающаяся этим прекрасным июньским бледно-розовым утром.

Хозяева, всей семьей, только что проводили за калитку московских гостей и теперь возвращались обратно в дом. Они проходили садиком, под сплошным шатром темно-зеленых листьев винограда, трепещущие верхушки которого уже были охвачены сверкающим золотом солнца.

Бабушка остановилась среди садика и, настороженно подняв указательный палец, прислушивалась.

— Что-то больно рано летает сегодня аэроплан,— сказала она.— Еще никогда так рано не летали. Должно быть, кого-нибудь высматривают, боятся. Может быть, французы и англичане где-нибудь показались. Вот побегут!

— Это, мама, не аэроплан,— заметила Ольга, тоже проходившая садиком.— Это автомобиль на нашей улице стоит и гудит.

— А я думала, аэроплан. Жаль.

И бабушка с видом неудачи тряхнула головой.

Тут же вертелись, попадая всем под ноги, дети, они были вялые, заспанные, неумытые, казалось, туго соображающие с утра.

— Мама,— спросил Вася, протирая кулаками глаза и с интересом раздавливая на земле большим пальцем босой ноги какую-то цветную букашку.— Мама, а сколько они нам денег оставили на примусы и мясорубки?

— О! — неприятно удивилась мать.— А вы уже пронюхали! Это не ваше дело! Да и вы все равно не знаете цену деньгам!

— Ну, а все-таки? Порядочно оставили? Приблизительно сколько?

— Я же говорю, Вася, что это не твое дело!

— Уу! Значит, нельзя спросить?!

— Нельзя!

— Ага! — хвалилась Нюня, поддразнивая брата.— А я видела, сколько они оставили бабушке денег!

— Сколько? — спросил Вася.— Много?

И он пристал уже к ней, шагая туда же, куда и она.

— Вот такую пачку,— показала руками Нюня.— Там их неделю считать надо.

— Ого! Порядочно. А как же ты увидала?

— Слышу, то громко говорят, а то вдруг тихонько заговорили: «А дети спят? а дети не увидят?» Ну, думаю, значит, что-то интересное будет. Вскочила, подкралась к дверям, не дышу, смотрю — и вижу: тетя Надя раскрыла тот узенький красный чемоданчик и давай отсчитывать бабушке деньги и давай отсчитывать!

— Говоришь, большую пачку оставила она бабушке? — заулыбался Вася.

— Здоровую! — ударила ладонь о ладонь Нюня.— Маленькую бы так не прятали!

— А прятали?

— Ого! Еще как! Бабушка носилась-носилась с деньгами по квартире, пока наконец куда-то не засунула их.

— Долго, говоришь, носилась? — заспанно засмеялся Вася.— А где спрятала, значит, неизвестно? Ну все равно потом узнаем.

Тотчас же после отъезда богатой тетки, войдя из садика в дом, все медленно пошли по квартире, из комнаты в комнату, с такими лицами, как будто не были здесь долгие годы. Остановились среди комнат, стояли, смотрели вокруг, испытывали странное тонкое волнение и находили во всем какую-то глубокую перемену. Или чего-то недоставало, или что-то появилось лишнее... И все казалось маленьким, провинциальным, патриархальным, давно отжившим свой век. Мебель — жалкая, потолки низкие... Точно это был уже не тот реальный дом, в котором они жили сейчас, а лишь одно воспоминание о доме, в котором они когда-то родились и провели далекое-далекое детство. И жизнь с тех пор ушла вперед, а домик в три оконца на улицу остался прежним.

За одни сутки семья Петриченковых почувствовала себя как бы выросшей из этого игрушечного домика!

— Ну-с,— сказала бабушка, обращаясь к домашним

таким тоном, как будто праздники прошли и начались будни.— Теперь глядите в оба! Теперь не зевайте! Теперь не ленитесь! Теперь давайте все будем искать, не оставили ли они нам после себя вшей! Люди с дороги!

— А потом закусим,— солидным голосом прибавил Вася, глядя на неубранный после вчерашнего пиршества стол.

И вся семья с мокрыми, накеросиненными тряпками в руках дружно взялась за работу. Распоряжалась бабушка, она двигалась впереди отряда; остальные за ней, как санитары за доктором.

Вскоре в доме поплыл и через раскрытые окна выплывал на улицу едкий запах керосина.

Люди, проходившие мимо, потягивали носами, морщились и потом у себя дома в качестве городской новости говорили:

— У Петриченковых сегодня керосином клопов вымаривают.

— Они на этом стуле сидели? — спрашивала бабушка, останавливаясь с отрядом перед стулом, как перед прокаженным.

— Сидели! — старательно выкрикивали Вася и Нюня.

— Вытирайте,— кивала бабушка головой на стул и уступала отряду дорогу.

Шесть рук схватывали стул, шесть рук впивались в него со всех сторон, точно он мог уйти; держали его на весу, терли тряпками, переворачивали в воздухе.

— Готово! Теперь, если какая и была, то ее уже нет!

— А у этого подоконника они стояли?

— Стояли! И у того стояли!

— Давайте.

И санитарный отряд зверски набрасывался на подоконники, точно брал их штурмом.

— Этим коридором они, конечно, проходили?

— Проходили! И туда проходили и обратно проходили! Сто раз проходили! Д-давай!

За работой дети шутили, старшие весело разговаривали.

— Про деньги, смотрите, ни слова никому!..— грубо заворчал на своем ложе Петр, наблюдая за работой.— Поняли?.. Никаким Раисам Ильинишнам!.. Поняли?

— Да, поняли, поняли, Петя,— раздражалась мать.— Сказал раз, и довольно. А то как пойдет сто раз повторять!

— Вам надо сто миллионов раз повторять! И все-таки

вы проболтаетесь, кому-нибудь похвалитесь, что у нас два миллиарда, и нас обворуют, если не убьют!..

— Авось не убьют,— сказала Ольга.

— А ты больше болтай при детях,— сказала бабушка сыну.

— Мы никому не скажем,— пообещал Вася и, наклоняясь, прошептал Нюне: — Слыхала: два миллиарда!!!

Петр напомнил о деньгах, данных теткой на дело, и мать заговорила с дочерью о деле.

— Если взялись скупить мясорубки и примусы,— сказала она,— то надо делать это скорее, пока другие не додумались и не перехватили. Ведь теперь знаете как: чем сегодня придумал заниматься один, тем завтра занимаются все. Я начну мороженым заниматься, и все начнут вертеть мороженое. Я выйду на улицу с горячим кофеем, и все выйдут с горячим кофеем. Как обезьяны!

— Вот я и говорю,— заметила Ольга.— Что было бы хорошо уже на обратном пути в Москву сдать тете Наде сотню машинок. И сотни две миллиончиков, по условию, положить себе в карман! — прибавила она бодро.

— Только без меня ничего не начинать! — оживился в постели Петр.— А то вас легко надуть!.. И если нам повезет, то из первой же сотни барыша я выдам всем, и детям, миллиона по три карманных денег!.. Это за все наши прошлые страдания!.. Тогда покупай себе кто что хочет!.. Кто что хочет — хе-хе!.. Поняли?

И старшие и дети, убавив темп работы, стали гадать и высказывать, кто что себе купит на те три миллиона...

— Я себе рогалик сдобный к чаю куплю,— сказала после всех бабушка с отмякшим и улыбающимся лицом.

— Это ты только так говоришь, мама,— не поверила ей Ольга.— А сама все на детей истратишь.

— Нет, нет, теперь-то я куплю себе сдобный рогалик. Я об нем два года думаю.

— Васька, Нюнька! — закричала на детей мать.— Не сметь от бабушки ничего принимать, когда мы получим по три миллиона! Слышите?

Потом, еще не разбогатев, а только поверив, что разбогатеют, обе хозяйки стали мечтать вслух, кому и чем они помогут. Тому купят мешок картофеля, тому подводу дров, тому ботинки, Раисе Ильинишне фунт чаю и пять фунтов сахару... То-то люди будут рады!

И Ольге уже хотелось поскорее окончить работу и побежать по квартирам наиболее несчастных и по секрету

объявить им, чтобы они не падали духом, крепились, так как совсем на днях им предвидится облегчение, такие-то и такие-то продовольственные подарки.

— Вот!..— плачуще застонал Петр, привстав на постели на локоть и устремив мученические глаза на стол.— Вот!.. Как ели вчера, так и оставили всю еду на столе!.. А вдруг — гости!..

— С утра гости? — удивилась Ольга.

— Да!.. Могут прийти и с утра!.. А ваша Раиса Ильинишна может явиться и ночью!..

— Петя, погоди,— остановила его сестра.— Не раздражайся только. Выслушай сперва. Мы с мамой решили, по случаю генеральной уборки, сделать сегодня ранний обед, не настоящий обед, не кривись и не махай руками, а вроде обеда, словом, вместо обеда мы будем сегодня доедать вчерашние остатки. И чтобы на какие-нибудь два часа не убирать со стола, мы лучше вынесем весь стол, как он есть, со всей едой, в первую комнату. Там после окончания уборки мы и пообедаем. Туда-то гости никак не попадут, и угощать никого не придется, все достанется нам.

— И когда унесем стол, нам удобнее будет тут керосином полы протереть,— прибавила бабушка.

Петр махнул им рукой, чтобы делали, как говорили.

— Нет, почему я должен обо всем думать!.. Почему непременно я должен был вам об этом сказать! В последний и уже окончательный раз говорю: если еще раз застану что-нибудь из съестного на столе на виду, то, ни слова не говоря, вместе со скатертью сдерну все на пол!.. Или возьму у печки полено и пущу отсюда поленом по всему, что будет на столе, и по посуде!.. Нет больше сил напоминать!..

— Только попробуй поленом! — пригрозила сыну старушка.— Я тогда в ту же минуту из дома уйду!

— Мама,— заплакала Ольга.— Петя уж угрожает нам поленом... Наш Петя, кажется, уже сходит с ума...

Петр сразу сбавил тон:

— А зачем же вы меня так раздражаете... Я больной человек, и вы не должны меня так раздражать...

И, лежа с закрытыми глазами, он протяжно заныл, точно заплакал.

XI

Обеда в этот день не готовили, ничего из провизии не покупали, и получалась большая экономия. Это всех радовало, и об этом в доме много говорили.

— Дела наши поправляются,— несколько раз слышали в течение дня бодрые слова из уст то одного, то другого.

Покупали только молоко для больного Петра.

— Стойте, стойте, остановитесь!..— когда выносили деньги молочнице за молоко, истерически закричал Петр, так что все домашние испугались и задрожали.— Дайте, я сперва сосчитаю, сколько вы ей даете!.. А то вы не умеете считать и можете передать лишнее!..

— Оо-хх!..— страдальчески закатила глаза Ольга, поворачиваясь обратно.— З-замучил!..

И она подала ему деньги.

После трудной работы приведения всего дома в порядок было чрезвычайно приятно вымыть с мылом руки и наконец усесться за утренний чай.

Все сидели в первой комнате. На столе шумел самовар. В доме пахло, как всегда после генеральной уборки, идеальной чистотой.

— Сегодня у нас и утренний чай и обед совпали вместе, и получается большая экономия,— сказала Нюня, вкусно отхватывая острыми зубками край ломтя белого хлеба, намазанного сливочным маслом.

— Довольно про экономию! — закричала на девочку мать и отхлебнула из чашечки чай.— Уже надоело! Целое утро только и слышишь, как все говорят про экономию! Как попугаи: «экономия» да «экономия»! А какая тут экономия, когда мы сейчас закусок на гораздо большую сумму съедим, чем если бы сварили обыкновенный обед! Вот если бы эти закуски спрятать да потом получить их порционно, как предлагал дядя Петя!

— Нет, нет, не надо порционно! — запротестовал Вася и заторопился поскорее накладывать себе на тарелку.— Это давайте есть беспорционно, потому что оно нам даром досталось!

— Хотя разочек в жизни поедим как следует!..— горячо поддержала брата Нюня, с ужасом глядя, сколько он себе накладывает.

— А ветчина осталась? — рыскала бабушка по тарелкам и замасленным бумажкам.— Ни кусочка, ни кусочка!

Сидели, ели и хвалили хороший характер тетки.

— Другая бы с собой взяла, а она нам оставила,— говорила Ольга, выбирая на столе глазами.— И вот теперь, благодаря ей, мы сидим и едим. А наш сумасшедший Петька чуть на улицу ее не выгнал: туда не сядь, там не стой, здесь не ходи... Стал прямо ненормальный!

— И другая бы обиделась, а она нет,— сказала ба-

бушка, ковыряя вилкой в жестянке из-под консервов.

— А когда они будут ехать обратно,— рассуждал Вася,— тогда опять всего накупят и нам опять на другой день много всего останется.

— А когда бабушка Надя будет обратно? — спросила Нюня.

— Хоть бы скорей! — сказал Вася.

— Если ее дочь Катя жива и поправляется, тогда не скоро: погостит там у нее,— объяснила Ольга.— А если Катя, не дай бог, умерла, тогда-то скоро: дня через четыре будет обратно.

— Наверное, уже умерла,— уверенно заметил Вася.

— Тогда, значит, на той неделе надо тетю Надю ожидать здесь,— высчитала Нюня.

— Вася,— сказала бабушка со стороны.— Ты жуй хорошенько, иначе не пойдет в пользу: как зайдет, так и выйдет цельным куском.

— Он спешит,— проговорила Нюня, все время отставая от брата.

— Ты сама спешишь! — огрызнулся Вася и весело прибавил: — Вот если бы дядя Петя увидел сейчас, как мы тут отхватываем!

— Ты потише,— испуганно предупредила его Нюня.

Она покосилась на дверь в столовую и окаменела, с длинной рыбиной, захваченной за середину ртом, точно кошка с хорошей добычей.

— О-ди-ча-лые!!! — проскрипел в этот момент в дверях желчный стонущий вопль.— Жж-ре-те???

Толкая впереди себя стул и навалясь обеими руками на его спинку, к ним в комнату неравномерными скачками паралитика въезжал Петр, худой, черный, в одном белье, босой, с безумно вытаращенными глазами. Подъехав к свободному месту у стола, он сперва нацелился, потом с грохотом повалился на стул и костлявой рукой загреб к себе прибор, тем самым как бы присоединяясь к общей семейной трапезе. Затем, прежде чем окружающие успели прийти в себя, он так же сгреб к себе большой кусок свежего хлеба, вывалял его в сливочном масле и с хищным выражением лица стал есть. Очевидно, тотчас же почувствовав утомление, он положил голову одной щекой на стол, как на подушку, и продолжал жевать, издавая горлом однотонный певучий звук.

За столом в это время стоял переполох. На него, со страшной быстротой поедающего хлеб с маслом, все кричали и махали руками, как кричат и машут на коршуна,

поднимающего со двора на воздух хорошего цыпленка: люди кричат, а коршун с цыпленком все выше...

— Как он сумел встать! Как он дошел сюда! Вот сумасшедший! Конечно, он сумасшедший! Смотрите, смотрите на него! Он берет второй кусок хлеба, свежего хлеба! Доктор сказал, что хлеб для него, в особенности свежий, первая отрава!

— Он все масло взял! — кричал Вася, когда Петр сгреб к себе всю тарелку с маслом и огородил ее, как забором, рукой.— Все масло! Ему же вредно!

— Мама! — прорезал воздух истерический вопль Ольги.— Мама! Он губит себя! Он умрет! Наш Петя умрет!

Она схватилась руками за лицо и заплакала.

— Петя, Петичка,— встала и подошла к больному мать, ласково трогая его рукой за плечо: — Что ты делаешь? Опомнись! Ты же больной!

— Больной?..— захрипел Петр, лежа одной щекой на столе и тяжело дыша.— А вы и рады, что я больной!.. Вы так вот уже сколько моих порций съели, пока я больной!.. Вы и это все хотели без меня съесть!.. И если бы вы хотя доедали остатки, а то вы, я слышу, уже и новые коробки консервов взламываете!.. Вы роскошествуете, а мне, думаете, приятно второй месяц голодному лежать!.. Довольно голодать!.. Все равно я уже почти что здоровый, кризис прошел...

— Что ты, что ты, Петя, где ты там здоровый, тебе наедаться хлебом никак нельзя! — уговаривала его мать, подсев к нему.— Лучше мы твою порцию отложим, а ты съешь, когда выздоровеешь.

— Да!.. «Отложим», «отложим»!.. Когда больше половины уже съели!..

— Бабушка, он разобьет тарелку с маслом, он больной человек, возьмите у него масло, оно для него первый яд!

— Оля,— обратилась к дочери бабушка, изнеможенная, еле стоящая на ногах.— Отложи сейчас Пете половину всего, что есть на столе. Ну, а ты, Петя, сейчас пойдешь с нами обратно в постель.

— Клади больше!..— оскалился на сестру Петр, потом обессиленно закрыл глаза.

— И так много кладу,— говорила Ольга, кладя.— Не будь таким жадным, Петя. И, пожалуйста, не думай, что мы в общем больше тебя едим. Наоборот. Ты, как больной, получаешь такие вещи, каких мы даже и в глаза не видим.

— Ты по кварте молока каждый день получаешь,—

ввязался в разговор Вася.— А мы даже и по капле его не имеем.

— Свинья ты, свинья!..— плюнул в него Петр.— Погоди, вот хватит тебя сыпняк, тогда и ты будешь получать молоко...

— Петя, не говори так! Петя! — строго прикрикнула на него мать.

— Хочешь, свинья,— продолжал Петр, обращаясь к Васе,— хочешь, свинья, будем меняться: ты мне отдашь свое здоровье, а я тебе отдам мое молоко, но с сыпняком!..

— Хочу! Давай! Давай сейчас!

— Дурак ты, дурак... И больше ничего...

— Оля,— говорила бабушка.— Поддерживай Петю с той стороны.

Больного подняли со стула, повели в столовую, уложили в постель...

В комнаты давно скребся из садика Пупс, должно быть учуявший, что сегодня в доме едят беспорционно. И теперь, когда суета улеглась, его впустили.

Он вошел в комнату и от благодарности и застенчивости сейчас же стал извиваться всем своим небольшим лисьим телом и помахивать во все стороны хвостом и крутить головой.

— На, Пупсик, ешь,— бросила ему бабушка под стол кусок.— Ты тоже, бедняга, голодаешь, еще больше, чем мы. У нас хотя каждый день чай бывает.

И она бросила ему еще.

— Много ему не давайте! — закричал Вася, жуя.— Околеет!

— Ррр...— зарычал на него из-под стола Пупс, чтобы он замолчал.— Ррр...

XII

— Компресс!..— усталым вздохом произнес Петр, лежа на спине и неподвижными глазами глядя в одну точку.— Компресс... холодный... на голову...

— Ооо!..— вытянулись лица у матери больного и у сестры.

Все понимали, что это значит, если Петр просит на голову холодный компресс, и в доме сразу стало напряженно и тревожно, как в первые дни его болезни.

— Что,— как ребенку, говорила больному мать, прижимая к его лбу смоченное водой, сложенное вчетверо поло-

тенце.— Что, наелся тогда хлеба с маслом, не послушался! Говорили, не надо! Нет, как же: «мужской ум»! Не мог еще несколько дней подождать!

Больной жалобно и покорно простонал в ответ, полусомкнув веки.

— Вот! — с отчаяньем негромко проговорила Ольга, с жалостью глядя на брата.— Дождались! Не могли досмотреть! Только что начал поправляться!

— А разве за ним усмотришь? — сказала бабушка.— Разве он нас послушается? Как мы можем справиться с ним, когда он сделался таким раздражительным, грубым, злым! С ним и со здоровым в последнее время было трудно!

— Мама, а вдруг это у него какое-нибудь серьезное осложнение? Хорошо бы, на всякий случай, за доктором послать.

— А где взять денег на доктора?

— А из тех.

— Опять из тех? И на молоко из тех, и на доктора из тех. Это, Оля, нехорошо. Те деньги не наши, чужие. Еще дело с примусами и мясорубками не начали, а деньги оттуда уже тратим.

— Ничего, мама, ничего. Там много. Вернем. Отработаем. Два-три примуса пропустим через свои руки, вот доктор и оплачен. И потом, мама, человеческая жизнь дороже всяких денег. Тетя Надя нас за них не убьет, она поймет, она хорошая.

— Ну, что ж. Пошли Васю.

Пока Вася, напевая, присвистывая и отплясывая, бегал за доктором, с большими предосторожностями доставали из каких-то недр дома и опять запрятывали туда же деньги, отсчитав от них нужную на доктора сумму. Долго спорили, кто будет давать доктору деньги: мать или дочь.

— Как-то стыдно совать ему в руку, как нищему,— говорила Ольга.

— А ты думаешь, мне не стыдно? Мне тоже стыдно.

Часа через три пришел доктор, седенький старичок, с круглой бородой, в синих очках, делающих его похожим на слепца.

— А дети где-нибудь учатся? — спросил доктор, взглянув синими очками на стоявших у косяков двери, наподобие стражи, Васю и Нюню.

Дети расхохотались над его очками и над его старостью и убежали.

— Поставьте ему клизму,— сказал доктор, выслушав Петра.

— Доктор,— мертвенным голосом с мертвенным лицом спросила шепотом Ольга.— Значит, ничего опасного нет?

— Как знать,— беря с подоконника шляпу, отвечал доктор.— К больным сыпным тифом часто опасность приходит тогда, когда они меньше всего ее ожидают. Поэтому необходимо соблюдать во всем строжайшую осторожность. У него неважное сердце, а где тонко, там и рвется. Что он, болел ревматизмом, что ли?

— Нет, доктор, он никогда не болел ревматизмом.

— А дети где-нибудь учатся?

И дети снова прыснули и снова разбежались.

— Петриченкову Петру опять хуже,— говорили на улице люди.— К нему сегодня доктор приезжал.— И где они на докторов деньги берут?

— Опять клизма?! — плаксиво ныл Петр, с гримасой отвращения глядя, как вся семья возилась возле него над приготовлением клизмы.

— А кто виноват? — нравоучительно говорила мать.— Кто виноват? Сам виноват! Надо было беречься. Оля, закрой там внизу краник, я наливаю.

— Странно, что наш Петр никак не научился сам себе ставить клизму,— говорила Ольга, попадая наконечником.— Вечно у него половина воды вытечет мимо.

— Потому что при прежней власти я прожил почти что сорок лет и даже не знал, что такое клизма,— слабым, как бы волочащимся по земле голосом жаловался Петр, лежа в постели, как пловец на воде, спиной вверх, с задранной головой.— А теперь то тому клизма, то другому клизма... Неужели эта власть никогда не переменится, так и останется?..

— Ага! — злорадно подхватила сестра.— То-то! Уже и ты не веришь в близкую перемену! А нас с мамой всегда успокаиваешь: «Потерпите еще немного, вот-вот что-нибудь будет!» Вот так бы «вот-вот»! Мама, теперь понимаешь, это он нас всегда обманывал, говорил для успокоения только! Мама, подними выше кружку, а то вода совсем слабо идет. Выше, выше, еще! Нюня, не зевай по сторонам, хорошенько придерживай трубку, смотри, как она у тебя отвисает дугой! Вася, ты тоже не стой даром, встань на стул, помогай бабушке за водой в кружке смотреть, не ленись!

— Ол-ля!..— трудно позвал больной.

— Что, Петя? — наклонилась к нему сестра.— Разве очень горячая вода?

— Не-ет... Не это... Помнишь, те лишние деньги, которые тогда по ошибке передал тебе в пекарне турок, когда

сдачу давал?.. Так ты их ему не возвращай!.. Тут ничего нечестного нет!.. Поняла?

— Когда вспомнил! И держит же он в голове разную ерунду!

— Я спрашиваю: поняла???

— Поняла, поняла, только не кричи, помолчи.

— Ну, то-то!.. Смотрите же, не возвращайте ему денег, не раздражайте, не бесите меня!.. Для турка те деньги ничто, а для нас они очень много: дня на три оттяжка голодной смерти!.. Поняла?

— Да, да, да! Поняла! Уфф...

— А то вы как пойдете своим женским умом разбираться в этом, так, пожалуй, еще решите, что надо ему возвратить!.. Я ведь вас знаю, хорошо знаю!.. Вы такие щ-щедрые, вы такие б-богатые...

Ночью Петру сделалось хуже. Он не спал, метался в жару, говорил бессвязности. И возле него дежурила по утрам то мать, то сестра, то обе вместе, когда одной было страшно.

— Мама!..— среди ночи позвал больной.

— Тут не мама,— подчеркнуто-внятно сказала Ольга.— Тут я, твоя сестра, Оля.

— Ну, все равно: Оля, мама... Я вот что: смотрите, не потеряйте то письмо!.. Потому что прежде чем писать им ответ, я должен хорошенько понять, что они мне предлагают... Нет ли тут какой-нибудь удочки...

— Петя,— испуганно, точно ей было нечем дышать, спросила сестра.— Какое письмо?

— Что-о?.. Вы уже забыли, какое письмо?.. Значит, вы не рады, что моим страданиям, может, скоро будет конец?.. Конечно, конечно, вам все равно!..

— Петя, ты не волнуйся, не кричи, ты раньше объясни: какое письмо?

— Какой ужас, какой ужас!.. Забыть про такое письмо!.. Да вы же сами вчера читали мне его вслух!.. Еще там извещали меня, что времена изменились к лучшему и что я могу ехать в Москву и снова заниматься литературой. Я говорил, что придет время, когда вспомнят!.. Я говорил, что сами позовут, что самим надоест из года в год одним животом жить!.. Я говорил!.. И — вот!.. А ну-ка прочти его еще раз...

Сестра сидела в кресле и с беспомощным видом пожимала плечами.

— Петя, это тебе просто приснилось. Никакого письма ниоткуда тебе не было.

— Значит, потеряли??? Потеряли такое письмо!!! Ну, хорошо... Тогда вот что: я сейчас сам встану и перерою весь дом!.. И я его найду, я его найду!..

Сестра, бледная, шатающаяся, встала с кресла.

— Петя, теперь и я вспомнила, где оно,— сказала она, приостановившись среди столовой и больно прикусив зубами указательный палец.— Если только это — то самое письмо.

— То самое, то самое,— оживился Петр,— другого не было.

— Я сейчас принесу,— пошла сестра в комнату матери.— Мама,— заговорила она там, измученная бессонной ночью.— Петя собирается встать и перерыть весь дом. Он ищет какое-то несуществующее письмо. Дай мне конверт, я сделаю подобие того письма, и он, может быть, успокоится.

— Вот видишь!..— обрадовался Петр, принимая от сестры письмо.— А ты говорила, что нет письма!.. Не сумасшедший же я и, кажется, еще сознаю, что говорю!..

И, укараулив момент, когда сестра не смотрела на него, он мгновенно сунул письмо к себе под подушку, лег на нее и закрыл глаза, с блаженной улыбкой на всем лице.

Сестра тоже несколько успокоилась и задремала вскоре.

Она даже не слыхала, как, встав со своей постели, держась за мебель от слабости, к ним в комнату нагорбленно входила мать и долго смотрела на Петра: как бы не прозевала чего Ольга!

— А где он?..— с удивлением всматривался в пустое пространство Петр.— Уже ушел?.. Он не сказал, когда зайдет завтра, в котором часу?..

— Петя, кто — он?

— Да этот, как его, представитель, представитель...

— Какой еще представитель! Опять выдумываешь...

— Да этот, пожилой, в рыжих вихрах и золотых очках, с блестящими глазами, который только что на этом стуле сидел и два часа со мной беседовал, даже у меня голова разболелась...

— Опять!.. — вырвалось отчаянье из груди сестры.— Петя, ты болен, это тебе все кажется, и ты, конечно, рассердишься, если я тебе скажу, что на самом деле здесь никого, кроме меня и мамы, не было...

— Помнишь?..— радостно подмигнул глазами больной.— Помнишь, какой мы тут с ним разговорец вели?.. Два часа спорил!.. Он свое, а я свое... В конце он спрашивает: «Что же вы в таком случае имеете в виду делать, ко-

гда выздоровеете?» Я отвечаю: «В ассенизаторский обоз поступить, на ассенизаторской бочке ездить». Он растерялся, не знал, как это понять, и посмотрел на тебя. А ты сказала: «Брат это может сделать, у него это не пустые слова, как бывает у других, он упрямый!» Тут я опять ввернул свое слово: «Моя мечта, говорю, умереть на той бочке!» Он улыбнулся прежней смущенной улыбкой и сказал, блестя нестерпимо на меня глазами: «Но вы же писатель, талантливый писатель...» — «Был писателем,— поправил я его.— Был писателем».—«Ну, да,— сказал он,— вот я и приехал сделать вам некоторые предложения, правда, в известных пределах и с известными, так сказать»... Я тогда повторил: «Моя мечта, говорю, умереть на той бочке, но могу, говорю, и писателем, если будет очень нужно!» Он засмеялся. А ты сказала: «Вы не смейтесь, брат у меня такой». Ловко поговорили! В котором часу он обещал еще прийти? А?

— Петя,— задрожала, как в лихорадке, сестра, и голос у нее тоже задрожал.— Петя, ты не сердись на меня, но ей-богу же, верь мне, что к тебе никто не приходил!

— Оля!..— застонал больной и сделал тщетную попытку приподняться.— Оля!.. Это же наконец глупо: все от меня скрывать!.. Я знаю, вы слушаете доктора и оберегаете мой покой, но так вы еще больше раздражаете меня, когда начинаете скрывать от меня самое главное!.. Человек вот на этом стуле почти что два часа сидел, обо всем со мной говорил, сперва как с больным, а потом видит, что я совсем здоровый, как со здоровым... «Вы, говорит, думаете, мы сами не сознаем? Мы, говорит, сами все сознаем». Так в котором часу он обещал еще прийти?.. Я спрашиваю тебя: в котором часу?.. Ты слышишь?.. Ол-ля!..

Ольга набрала полную грудь воздуху, высоко подняла плечи, отвернула в сторону от брата лицо и, дрожа от готовых прорваться рыданий, с трудом процедила, по одному слову, стуча зубами:

— Сказал... что после обеда зайдет.. часа в четыре.

XIII

Только что отпили утренний чай.

Бабушка стряпала обед, и было слышно, как гремела она в кухне посудой, как плескала выливаемой прямо во двор грязной водой... Ольга убирала комнаты, искала, нет ли в постелях насекомых, поглядывала за больным... Петр мучился, спал и не спал, и из его угла время от времени

неслись громкие вздохи, стоны, жалобы... Вася и Нюня, по обыкновению, по каким-то своим делам, вихрем проносились по дому, по садику, по улице, и их звонкие голоса, похожие на скользящий в небе свист стрижей, то и дело пронизывали неподвижный утренний воздух...

— Бабуля,— вдруг прибежала с улицы Нюня, запыхавшаяся, с раскрасневшимися щеками.— Там какая-то барышня дядю Жана спрашивает.

— Дядю Жана? — нахмурилась бабушка и пошла из кухни через садик к калитке.— Чего же ты не сказала ей, что его у нас нет?

— Я сказала! — бойко щебетала Нюня.— А она говорит: «Врешь, паршивка!» И хотела ворваться во двор. Хорошо, что я успела захлопнуть калитку. А намазанная! А кривляка!

— А одета она как? Ничего?

— Одета-то ничего. С золотым медальоном на голой груди.

— С золотым медальоном? — вспомнила бабушка.— Вам чего? — громко спросила она на улицу, стоя у запертой калитки.

— Откройте-ка,— послышался оттуда женский голос.

— А вам зачем? Вам сказали, что того мужчины у нас уже нет, он уехал.

— Тогда пустите посмотреть. Может, он прячется.

— Мы никого не прячем, и я не могу вам открыть.

— А-а! — бешено заколотилась в калитку женщина руками, ногами, задом.— Значит, вы его прячете! Скрываете! Ну, хорошо! Прячьте, прячьте, только от меня он нигде не спрячется! Скажите ему, что я его везде найду! Я не девочка, которой можно наобещать, а потом убежать!

Пупс с отчаянным лаем бросался на калитку: разбежится и бросится, разбежится и бросится...

Бабушка с удрученным лицом, возвратившись из садика в дом, прошла прежде всего в столовую, постояла там, внимательно посмотрела на больного Петра, потом направилась в другую комнату, чтобы под свежим впечатлением сейчас же рассказать дочери о возмутительной проделке Жана. Но не успела она переступить порога той комнаты, как оттуда навстречу ей раздался страшный, пронзивший всю квартиру панический визг, словно человек, запустив руку к себе в карман за носовым платком, неожиданно нащупал там живую змею.

— Мама,— жалобно говорила Ольга, входя в столовую и неся в обеих руках, как несут ордена за гробом покой-

ника, громадную белую подушку.— Я тоже заболею сыпным тифом, я сейчас на своей подушке, на которой тогда спала тетя Надя, большую вошь нашла. На середине подушки, на самой середине! Вот,— указывала она на подушку подбородком.— Я смотрю, а она сидит!

— Ты смотришь, а она сидит? — задыхающимся голосом растерянно переспросила мать, и кожа на ее лице задергалась.

— Я говорил!..— обличительно и с отчаяньем застонал Петр.— Я говорил!..

— Как же ты ее нашла? — задала Ольге бабушка обязательный в таких случаях бессмысленный вопрос.

— Я смотрю, а она сидит,— бессмысленно, как глупенькая, повторяла Ольга, сев на стул и осторожно положив себе на колени громадную подушку с маленьким насекомым.— И если бы хотя ползла, а то сидит! — произнесла она с тоской.— Это тоже первое доказательство, что она зараженная! Значит, я уже умру...

И она заплакала.

— Вошь, вошь, вошь не упустите!!! — странно заметался в постели Петр.— Слушайте!..— из последних сил произнес он, корчась и как бы выдыхая из себя каждое слово.— Мама, Оля!.. Это еще ничего, что вошь!.. А может, она здоровая!.. Сейчас же запишите, какое сегодня число, и будем ждать двухнедельного срока!.. Если через две недели Оля не заболеет, значит, эта вошь здоровая!.. Поняли?

Потом стали решать, как поступить со страшной находкой, делали разные предложения.

— Сжечь! Сжечь на огне! — раздались в конце совещания твердые голоса.— Где спички? Давайте спички!

— Я ее сама, я сама! — вырывала у матери спички Ольга, со мстительно-искаженным лицом, и перестала плакать.

Она чиркнула по коробке спичкой, поднесла спичку к подушке и стала припекать огнем спинку насекомого. Под огнем послышался тоненький треск, и возле запахло паленым. Насекомое, точно пузырек с жидкостью, сперва закипело внутри, высоко поднявшись на ножках и побелев, потом лопнуло, повернулось набок и обратилось в пепел. А Ольга жгла и жгла над ним спички.

— Довольно,— сказала мать тоном окончания операции.— А то ты наволочку сожжешь. У нас и так наволок хороших почти не осталось.

— Что мне теперь наволока? — ответила с тоской Оль-

га, бросая на пол последнюю спичку.— Мне теперь ничего не жаль!

Прах сожженного насекомого стряхнули с подушки на пол и с брезгливо-напряженными лицами яростно топтали его ногами то мать, то дочь, то обе вместе.

— Хорошенько ее!..— поощрял их с постели Петр с мучительно-блестящими глазами.— Хорошенько!..

— Теперь больше не будешь губить людей! — злобно улыбаясь и дико глядя на пол, говорила Ольга.— Теперь больше никого не заразишь!

И в течение этого дня бесконечное число раз вспоминали про найденное насекомое. Даже ухудшение в болезни Петра как-то само собой отодвинулось на второй план. Все в доме было полно страхом за Ольгу.

— Вась-каaa!..— кричала на всю улицу и сигнализировала рукой вдаль Нюня.— Бе-жи ско-рей до-моой!.. Маму вошь у-ку-си-лаа!..

XIV

— Ждать две недели до заболевания,— дежуря в кресле возле Петра, потерянно причитала Ольга.— Потом две-три недели болеть до кризиса, потом месяц после кризиса, разве я это вынесу?.. Нет, я знаю, я чувствую, что я уже умру... Деточки вы мои дорогие!..— вспомнив о детях, заплакала она.— И останетесь вы без меня, без матери, маленькими сиротками!.. И будете вы стучаться в чужие двери, в чужие окна и просить: «Мама, дай! Папа, дай!..» И будут люди выпускать на вас Пупсов, чтобы вы не мешали им чай пить...

Петр приподнял с подушки лицо, прислушался к ее голосу, искоса уставился на ее вздрагивающую в кресле голову, потом отвернулся к стене и, подавляя в себе слезы, уткнулся в подушку лицом. Руки его конвульсивно прижимались к груди, ноги переплетались одна за другую, и изпод них с грохотом выскользнула на пол бутылка с горячей водой.

Нервы у всех в доме были напряжены до крайности, и на грохот упавшей бутылки к Петру мгновенно подбежали с двух сторон и мать и сестра. И у обеих на бледных вытянутых лицах была ясно написана одна и та же, полная ужаса, мысль: не грохнулся ли это на пол замертво Петя, их Петя, единственное и последнее, чем они еще живут и ради чего еще живут. Ведь несчастия падают на их головы

одно за другим и, вероятно, будут продолжать падать без конца. Они обреченные!

— Что такое!.. Что с вами!..— раздражительным окриком-стоном встретил Петр их беззаветно-преданные лица.— Что за паника такая!.. Какого черта!.. Упала на пол из-под одеяла бутылка, а у вас от страха глаза вылезли на лоб!.. Что за истерика такая женская!.. Сколько раз вас просил не волновать меня зря!.. За что вы мучите меня!.. За что вы убиваете меня!..— ругательски кричал он на мать и сестру, на своих кровных, единственных, которыми он жил и ради которых так мученически жил, а сам в то же время незаметно вытирал рукой то с одной своей щеки, то с другой слезы.— Слезы твои, Оля, женские, зачем?.. Вой твой женский, зачем?.. Причитания женские, зачем?.. Ты уже хоронишь себя!.. А может, та вошь была не сыпнотифозная!.. И вот я должен объяснить вам про вшей... объяснить, объявить...— спутался он, выбившись из сил и то закрывая, то открывая глаза.— Дом в опасности!.. Война семьи со смертью продолжается!.. И каждый из нас должен знать в этой войне свое место!.. И всех, всех зовите сюда, всю нашу семью!..

Блуждающими глазами он обвел мать, сестру, искал детей.

— Надо позвать Васю и Нюню,— сказала бабушка,— а то будет кричать, почему не позвали, и докричится до сердечного припадка.

— Петичка, и детей тоже? — в смертельной тоске, не своим голосом, вкрадчиво спросила сестра, сжимая рукой горло, чтобы не разрыдаться.— Мама, мамочка! — холодея от ужаса, вскричала она.— Смотри: с ним что-то делается!

— Иди за детьми! — твердо сказала ей мать, стояла, как вкопанная, и по-иному, чем всегда, смотрела на Петра.

Казалось, в мире не существовало той силы, которая могла бы сейчас оторвать ее от него!

Через минуту в столовую вбежали Вася и Нюня. Они стояли рядом, как школьники, вызванные учителем, и так энергично дышали после уличной беготни, что плечи их все время то поднимались, то опускались.

— Ну, Петя, мы все собрались,— осторожно проговорила бабушка, видя нетерпеливые движения Петра.— И дети тоже.

— А-а-а...— пробормотал он, как немой, и шумно и глубоко вздохнул, широко раскрыв рот и призакрыв глаза.

И наступила пауза.

— Петя,— дрожащим вздохом позвала его мать, точно

прислушиваясь к собственному голосу, в котором уже не хватало какой-то струны.

Петр молчал.

— Петя, мы ждем,— сказала, вернее, не сказала, а только подумала сказать мать, не дыша.

Петр не отозвался, неподвижно лежал на боку, как был, с закоченело-раскрытым ртом.

— Спит? — не веря своему вопросу, произнесла мать и перевела расширенные глаза на дочь.

И в глазах дочери она прочла разрастающийся ужас!

Одним прыжком, звериным прыжком матери, спасающей своих детенышей, старушка очутилась у изголовья Петра и судорожно-цепко держала оба его плеча в своих руках.

— Петя! — напрасно будила она его, напрасно тормошила за оба плеча и заглядывала в полураскрытые, уже безучастные ко всем и всему глаза.— Наш Петичка! — вдруг взвился и сорвался на полуслове ее горестный вопль.

Она упала своим лицом на леденеющее лицо сына, точно он и она были одно; точно если он уходил без нее, то не весь уходил; и если она оставалась жить без него, то не вся оставалась...

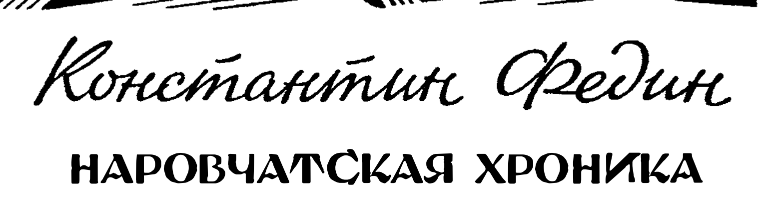
Ольга, не сделав ни одного движения, не издав ни одного звука, мягко грохнулась на то самое место, где стояла. Так рушится карточный домик-башня, если из самого ее фундамента вынуть одну карту.

Дети, худые, смуглые, на тоненьких ножках, точно на обглоданных косточках, в слишком коротеньких платьицах, с маленькими голодными искорками на месте глаз, как-то небывало легко и невесомо, точно отбившиеся от стаи две пугливые рыбки, оба разом метнулись вперед и, сомкнувшись головами, наклонились к самому лицу дяди Пети, чтобы узнать, в чем дело...

За окном ярко сияло солнце; в садике неистово заливался Пупс; и из-за калитки чужой голос громко спрашивал:

— Примусы и машинки для котлет здесь берут?

1923



Константин Федин

НАРОВЧАТСКАЯ ХРОНИКА



Во имя отца и сына и святого духа.

Я мог бы начать без обычного для духовных лиц вступления, потому что владею светской речью, даже обладаю некоторым даром слова, отмеченным много раз моим драгоценным учителем и настоятелем нашего во имя св. апостола Симона Канонита монастыря — отцом Рафаилом. Но именно из уважения к нему я и почел недостойным скрывать свое послушническое звание. Образованностью духовной, как равно и знакомством со светскими сочинениями, я обязан исключительно заботливой приязни ко мне отца Рафаила, и да будет совесть моя чиста упоминанием его благочестивого имени в начале этой хроники — малоискусной, но правдивой в меру моего добросердечного намерения. Аминь.

Во мне, несомненно, заложен некий дар слога. Например, я почувствовал, что последняя фраза вступления получилась витиеватой, не говоря уже о ее длине. Это я объясню тем, что начал с божественных слов, которые и обозначили собою дальнейшие обороты. В самом деле, если со вниманием присмотреться к духовной речи, то она всегда сложна в своих фигурах. Я же — повторяю — имею склонность к светскому стилю и в писаниях это постоянно с охотой обнаруживаю. Отец Рафаил, прочитав однажды письмо,

составленное мною по его поручению, сказал мне букально:

— Игнатий, письмо хорошо, но послать его невозможно: таких взволнованных речей иеромонах подписать не должен. Тебе, видно, очень понравился Федор Михайлович Достоевский?

Я тогда только потупился и ничего не ответил. Действительно, Федор Михайлович Достоевский мне очень нравится.

К слову, запишу сейчас один случай, который может дать представление о нашем городе и о культурной степени наиболее образованных его жителей. Этим случаем я воспользуюсь также, чтобы сказать о причинах, толкнувших меня писать настоящую хронику.

Не так давно поутру ко мне прибежал поэт Антип Грустный, очень растрепанный и осиянный. Не в силах от бега выговорить ни слова, лишь заикаясь, он развернул дрожащими руками пакетик и бросил на подоконник, где я чай пил, книжку.

— Вот,— превозмог он наконец волнение,— вот какие теперь на Руси книги печатают! Всю ночь читал напролет, не попив чаю, бросился к тебе. Смотри, Игнатий, велика талантами сила народная, верю, верю, распустится теперь Россия, как шиповная роза, говорил тебе! Читай скорей эту книгу, здесь все, как про нас, написано: истинная правда, униженные мы и оскорбленные! Я даже критическую статейку черкнул, обязательно нужно отметить. Послушай-ка...

— Обожди,— говорю я,— ведь это — старая книга...

— С ума ты спятил! — восклицает Антип Грустный.— Гляди: Народный комиссариат по просвещению, тысяча десятьсот девятнадцатый год.

— Что же из того, книга все-таки известная...

— Это,— кричит,— сочинитель, автор известен, что ты меня учишь, я знаю, а «Униженные и оскорбленные» — его новое произведение, я и статейку черкнул для газеты. Народный комиссариат по просвещению не станет...

Я дал Антипу Грустному успокоиться, потом обещал отыскать в книгохранилище описание смерти и отпевания покойного замечательного писателя. Антип Грустный ушел рассерженный, даже не прикоснувшись к чаю, который я налил для него в кружку. Думаю, что он в тот день так ничего и не поел.

Все-таки, несмотря на описанный случай, Антип Грустный — один из просвещенных людей нашего города. Но о нем, может быть, придется сказать впоследствии.

Размышляя о причинах, побудивших меня вести хронику, я прежде всего вижу, сколь худосочна образованность наша, чтобы уразуметь значение ежечасно свершающихся событий. Кто в нашем городе достоин был бы звания летописца? Разве один только человек мог бы передать поколению свидетельство дней наших грозных, подобных Страшному суду господню,— фельетонный писатель Симфориан Бесполезный. Но этот человек обуян жестокой страстью к вину и не может явить прилежания, необходимого летописцу. Все же, что он печатает в газете, подвержено тлению, ввиду негодного качества печатной бумаги. Вообще, когда я задумываюсь о судьбе отечественного нашего печатания, мне вчуже становится ужасно за нее, и вновь я укрепляюсь во мнении, что временно история будет запечатлеваться рукописно. Здесь уместно сказать о недавнем происшествии в нашем монастырском книгохранилище, которое со смертью отца Антония передано временно моему наблюдению.

В новом нашем корпусе светские власти разместили детскую больницу, приют, называемый интернатом, и другие культурные заведения. Ввиду большой нужды в помещениях монастырю было приказано очистить книгохранилище. Будучи очень стесненной, братия перенесла книги на чердак старого корпуса. Там они лежат до сего дня в беспорядочном виде, так что проникнуть на чердак затруднительно. Не могу умолчать о замечательном составе нашего книгохранилища как в отношении подбора сочинений духовных, по истории церквей и расколов, так и некоторых светских, национально-русских писателей, и особенно рукописных древних книг — приходо-расходных нашего монастыря от начала семнадцатого века, челобитных рукописей, грамот, указов и крепостей. Эти исторические драгоценности, по совету отца Рафаила, я укрыл книгами менее редкими, поверх которых наложил «Епархиальные ведомости» и прочие газеты. Ныне монастырь выписывает «Наровчатскую правду» для осведомленности в делах духовных, столь усложненных в наше время. Газету я клал на «Епархиальные ведомости», у самого входа на чердак, чтобы постоянно иметь под рукой. И вот недели полторы назад разразился над Наровчатом ливень такой силы, что вышла из берегов речка Гордата и поник на полях хлеб. Когда на другой день я зашел на чердак, чтобы присоединить к газетам новый выпуск, я обнаружил, что через незаметное для глаза отверстие в крыше, как раз над пачкою «Наровчатской правды», налилась изрядная лужа дождевой воды. Я тут же извлек

с чердака промокшие газеты и — так как стояла тихая солнечная погода — разложил их со тщанием на крыше, устлав ее всю, от куполка придела во имя св. первоапостольных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы до малой звонницы.

В этот день понадобилось отцу Рафаилу послать меня по важному делу в город. Монастырь наш расположен в трех верстах от городской заставы, так что — за мирскими хлопотами — обернулся я только часа через два. Возвращаясь, на полпути приметил я позади себя тучку, и сейчас же потянуло из города ветерком. Тут меня пронизала мысль о разложенных на крыше газетах. Стал я торопиться; прибавлю шагу, а ветер мне в спину все сильней и сильней. Совсем на виду у монастырских ворот сорвало с меня скуфейку, покатилась она по дороге, догнал я ее, остановился передохнуть, взглянул на монастырь, а над его куполами крутятся, подобно белым голубям, газетные листы. Кинулся я со всех ног. Вбежал во двор — двор пустой; бросился в корпус — там точно все вымерло. Тогда, припомнив направление ветра, помчался я к задней дворовой калитке, ведущей из монастыря на луговину перед речкой. Но едва я добежал до стены, как остановился в недоумении и страхе: у калитки стоял отец Рафаил, приоткрыв ее немного и глядя в щель. Вероятно, настоятель расслышал шум, поднятый моим бегом, потому что оторвался от щели и, осмотрев меня, поманил пальцем. Я подошел к благословению ни жив ни мертв. Он стукнул меня чувствительно костяшками пальцев по лбу и сказал:

— Смотри, Игнатий, в какое недостойное положение поверг ты братию своим недомыслием.

Я в трепете наклонился и припал к щели пониже бороды отца Рафаила. На луговине, еще не скошенной, по колена в запутанных дождем травах, кидалась их стороны в сторону почти вся наша братия, стараясь изловить носимые ветром газеты. Многие были в подрясниках, подоткнутых за пояса, другие не успели одеться и сигали по лугу в штанах и с непокрытыми головами. Газеты сдувало к речке, догонять их по траве было делом нелегким, братия же наша к быстроте движений не привыкла и обнаруживала ловкость куда как невеликую.

Смотреть на картину эту становилось воистину соблазном, и едва я различил над головою учащенное сопение отца Рафаила, как покатился в бессовестном смехе, присев на корточки. Отец настоятель вторил мне баском, что еще больше разжигало мою веселость; когда же я, от рези в жи-

воте, начал стихать, он опять стукнул меня по лбу и проговорил:

— Дурак ты, Игнатий, прости господи!

И благословил меня.

К сожалению, смех мой сменился скорбью тотчас, как братия принесла изловленные на лугу газеты: все листки оказались совершенно белыми, как будто на бумаге ничего и никогда не было напечатано. Однако слово можно было кое-как разобрать — слово «правда», крупными буквами, а от текста оставалась лишь смутная сероватость: пока газеты сушились на крыше — солнце выжгло на них все без остатка. Симфориан Бесполезный объяснил такое явление плохим составом употребляемых для печатания красок, в монастыре уже усматривали в событии некое знамение, и мне приказано хранить «Наровчатскую правду» отдельно от духовных книг. Действительно, статьи в газете богохульны...

Известная склонность моя к миру и умение обращаться среди разных лиц побуждают отца Рафаила прибегать постоянно к моему посредству в сношении с городскими властями и сведущими людьми. Вследствие этого мне доводится многое наблюдать из нравов нашего города и нередко приносить полезное монастырю. Так, узнав недавно от земельного комиссара Роктова о намерении изъять из нашего хозяйства племенного быка для национализации, я успел уведомить об этом отца эконома. На городском пожарном дворе опростали нашему бычку подходящий хлевок, но к тому времени, с благословенья отца Рафаила, мясо бычка мы частью продали, а частью обратили в солонину. Новое разорение пострадавшего монастыря нашего было предотвращено, после чего у братии за мною укрепилось звание «предотвратителя», в котором я продолжаю состоять доныне.

Думаю, что вступительное к хронике объяснение вполне достаточно. Если рукописи моей суждено попасть в руки историка, ему ничего не нужно будет от меня, кроме фактов. К фактам я и перехожу, сделав еще одно краткое напутствие: имена города и реки, на которой лежит монастырь, а равно — некоторых должностных лиц мною измышлены. Город я назвал Наровчатом в память родины моей покойной матушки. Остальное переменил из желания беспристрастности, требуемой от летописца, также ради верности писательскому обычаю.

Сегодня явился в детский интернат бывший кладбищенский дьякон Истукарий, состоящий на службе в отделе записей актов гражданского состояния. Страшен вид этого человека! Остригся, в курточке, портсигар из карельской березы. Зашел к отцу Рафаилу.

— Худо,— говорит,— вам, отец, без специальности. У белого духовенства в наше время есть выход: рождения и браки совершаются помимо революции, смертей даже прибавилось. Закроют монастырь — куда денетесь? Клобук-то небось давит?

— Ничего,— смиренно возразил отец Рафаил,— привычка.

— Не одобряю. Косность,— сказал Истукарий.

Из губернии прибыли новый председатель и секретарь Наровчатского Совета. Видел их переходящими улицу около Народного сада (бывший увеселительный сад «Эльдорадо»). Председатель необычайной худобы и как бы прозрачен. Покашливает, щурит глаза, вероятно по близорукости, а очень может быть — притворяется. Но в матросской форме и шагает с бойкостью. Рядом с ним — секретарь, невелик, довольно упитан, с лица бел, приятен и весьма юн. Картуз студенческий, полинялый. Походка не строгая.

Я размышлял над словом отца игумена — привычка. Короткое, но роковое слово! До чего сильна над человеком власть привычки! И тут я невольно подумал о нашем Пушкине. Пережив все потрясения эпохи, он по-прежнему свершает предначертания своей таинственной судьбы. Может ли он отказаться от иллюзии, руководящей его жизнью? Но, впрочем, опишу эту примечательную жизнь подробнее.

Вот уже много лет в нашем городе проживает некий Афанасий Сергеевич Пушкин, родом из крестьян, окончивший городское четырехклассное училище. Более обстоятельно о его биографии ничего не известно. Прибыл он в Наровчат бог знает откуда, уже со свидетельством об окончании училища и не в очень молодых годах, после чего получил место в конторе товарной станции, где писал накладные на железнодорожные грузы. Всю жизнь Афанасий Сергеевич отличался аккуратностью по службе, занимаясь в маленьком чуланчике с окошечком, рядом со станционным весовщиком. В служебное время, с утра до вечера, Афанасий Сергеевич оставался в своем чуланчике для постороннего глаза невидим, разве только просунет кто-нибудь

в окошечко руку, чтобы показать, что вот, мол, на дубликате накладной не разберешь: четыре копейки городского сбора или семь? Между тем поглядеть на Афанасия Сергеевича прямо поучительно, и это вполне всем доступно, но только в другой час дня.

Если бывают на свете так называемые шутки природы, то надо подивиться жестокости, с какой иной раз такие шутки природы совершаются. Для чего понадобилось натуре воспроизвести в лице описанного крестьянина с городским четырехклассным образованием с полной близостью покойного поэта Александра Сергеевича Пушкина? Какому неразумному случаю обязан этот человек тем, что, помимо точного сходства с знаменитым писателем, он по законной выписи из метрической книги оказался обладателем и самого прославленного имени? Но натура вступила в заговор со слепым случаем, и шутка совершена: в городе Наровчате, почти век спустя после смерти А. С. Пушкина, живет новый А. С. Пушкин.

Похож он на настоящего Пушкина воистину разительно. Невысокого росту, плотного сложения, курчав и темно-рус, почти черен, носит бакенбарды, рябоват, особенно на носу в крупных оспинах, но не безобразных, нос немного приплюснут, и губы оттопырены. Кто хоть плохо вспоминает портрет поэта Пушкина, тот не может не содрогнуться при взгляде на его наровчатское повторение.

Однако вся особенность такого случая прошла бы, вероятно, мало замеченной, когда сам Афанасий Сергеевич не обнаруживал бы ее со рвением и неослабным постоянством.

Живет он в доме Вакурова в полном уединении. Вакуров — помещик нашего уезда,— будучи воодушевлен идеей о том, что Наровчату предначертано стать своего рода российским Чикаго, вознамерился положить начало новому градостроительству. Для этой цели он соорудил на полдороге от города к товарной станции великую громаду в четыре этажа — высота, невиданная в наших местах. Планы писали к этому дому отечественные строители, почему лестницы были приложены по завершении постройки со стороны заднего фасада, снаружи. В длину всего дома тянутся широкие чугунные площадки, на которые выходит множество дверей. Окон с этой стороны строения вовсе нет, отчего оно напоминает хлебный амбар. Любопытно наблюдать, как по чугунным лестницам и площадкам взбираются и ползают жители редкостного здания. Избрав для строения пустырь между городом и товарной станцией, помещик Ва-

куров доказывал неизбежность распространения Наровчата к железной дороге, где и должен был возникнуть российский Чикаго. Но за десять лет никаких построек здесь не появилось, а пустырь был отдан в аренду под бахчу. Помещик Вакуров объявил себя несостоятельным должником, после чего скончался, а сооружение его возвышается по сей день в величественном одиночестве, вызывая изумление приезжих людей.

Именно в доме Вакурова, на верхнем этаже, с краю, и здравствует Афанасий Сергеевич. Пребывая, кроме служебных часов, почти в затворе, этот человек еженедельно по воскресным дням, в сумерки, когда главная улица Наровчата кишит гуляющими молодыми людьми из реального училища, из почтовой конторы, из женской гимназии и различных магазинов, появляется в центре города. Он проносится стремительно из одного конца улицы в другой, идя по мостовой вблизи тротуара, наклонясь верхней частью корпуса значительно вперед и заложив руки за спину. Надо видеть в такие минуты Афанасия Сергеевича! Взгляд его черных глаз горит, черты благородного лица исполнены твердости, поступь как бы надземна, вся фигура его замечательна. Одет он в этот час совершенно так же, как одевался поэт Александр Сергеевич — в шинели николаевской моды, с крылатою накидкой до пояса, в твердой высокой шляпе. Проходит он всего один раз мимо гуляющей публики в трепещущей от быстроты движений черной крылатке, развеваемой иногда ветром, и всем своим образом напоминает прославленного поэта, если позволительно так выразиться — прямо мистично. И тогда навстречу ему и следом за ним из сотен, а может быть, и тысяч уст несется слово:

— Пушкин, Пушкин, Пушкин!

Одни произносят это имя насмешливо, другие с озорством, третьи даже восторженно, что легко объяснить тем, что город наш невелик и достопримечательностей в нем мало, почему многие, выросшие здесь, очень гордятся Афанасием Сергеевичем. Нередко позади него, едва успевая за скоростью его шагов, бегут мальчишки, оглашая улицу все теми же криками:

— Пушкин, Пушкин!

Афанасий Сергеевич мчится своей дорогой, не обращая ни на что внимания. Случалось, что какой-нибудь сослуживец Афанасия Сергеевича по конторе товарной станции, из желания поиздеваться над своим товарищем, закричит ему вдогонку: «Афоня, пойдем раздавим пару пива!» — или

что-нибудь подобное. Но Афанасий Сергеевич уже исчез в конце главной улицы и пробирается к дому Вакурова окольными, нимало не освещенными путями.

От своего правила показываться в таком виде в городе каждое воскресенье в один и тот же час Афанасий Сергеевич не отступал и после революции. Гуляний на главной улице за последние два года совсем не стало, вид ее уныл и пустынен, юношество рассеяно по республике войною и прочими бедствиями, появление в городе молодых девушек уже не доставляет никому развлечения, и они прекратили это занятие. Вообще мирская жизнь приблизилась по внешности к монашеской, хотя монастыри не пользуются у мирян прежним благоволением. Но, несмотря на упадок городской жизни, как бы не замечая его, Афанасий Сергеевич Пушкин, все так же чудесно похожий на славного своего двойника, продолжает совершать по воскресным дням мечтательные прогулки по главной улице.

Вчера вечером, пробираясь к земельному комиссару Роктову, чтобы осведомиться о городских новостях, я повстречался с Антипом Грустным. Безлюдие в городе было полное, и я узнал нашего поэта издалека. Очертание его было более примечательно, чем обыкновенно, словно бы он падал ничком и торопился подставить под наклоненное вперед туловище короткие ножки, которые за ним не поспевали.

— Здравствуй, Игнатий,— сказал он, тряся мне руку,— что поделываешь?

— По-старому,— ответил я.

— А я погружен в творчество! — воскликнул Антип Грустный, не выпуская моей руки.— Написал нынче ночью торжественный гимн, очень удалось. Под утро я чуть не разрыдался. Вот послушай, как кончается:

А мы идем,
Мы все идем,
Идем, идем,
Идем, идем!

Напоминает колокольный призыв, набат такой, понял? Бегу сейчас в редакцию, хочу поместить воззвание ко всем композиторам республики, чтобы, знаешь ли, изобразили мой гимн в музыке.

Антип Грустный передохнул, вытер губы и воскликнул с новой силой:

— Ах, Игнатий! Творчество! Что за упоительная и бескрайняя...

Но тут произошло обстоятельство, которое прервало течение нашего разговора. Антип Грустный вдруг содрогнулся и вперил свои глаза куда-то через мое плечо, привстав на цыпочки. Я обернулся и увидел стремительно шагавшего Афанасия Сергеевича. Он мчался прямо на нас, не в пример своему обычаю — по пустынному тротуару, а не по мостовой. Вид его был вполне обыкновенен для воскресного дня. Но этот вид подействовал на Антипа Грустного, как красный плащ на разъяренного быка. Всегда довольно медлительный, Антип Грустный рванулся в сторону и преградил Афанасию Сергеевичу дорогу.

— Стой, стой,— крикнул он, хватая его за крылатку,— стой!

Волнение Антипа Грустного, его жестокий окрик и вся неожиданность сцены, вероятно, испугали Афанасия Сергеевича, и я видел, как его лицо покрылось смертной бледностью. Он стоял неподвижно. Боже, до чего велико было в эту минуту роковое сходство нашего Пушкина с его усопшим однофамильцем! Я не мог оторваться от его лица. Между тем Антип Грустный вцепился крепко в крылатку Афанасия Сергеевича и, не в силах выговорить ни слова от необъяснимого гнева, рычал, подобно дикому зверю.

— Наконец-то ты мне попался, презренный авантюрист! — расслышал я чуть внятные сквозь рычание слова Антипа Грустного.

Он приблизил свое искаженное лицо к лицу Афанасию Сергеевича и вытаращил глаза.

— Молчи! — крикнул он на всю улицу, хотя жертва его непонятного исступления не думала что-либо произнести.

— Да знаешь ли ты, кто с тобой говорит, несчастный?— дрожа и потопывая ножками, вопросил Антип.— С тобой говорит народный поэт Антип Грустный, который написал много разных стихов и большой неувядаемый гимн! Меня на музыку будут перекладывать! Моими словами великий народ выскажет свои думы и заветные мечты! А ты что? Ты за всю жизнь ни одного стишка не написал, ничтожность! Как же ты вправе трепать по улицам облик знаменитости Пушкина? Как ты смеешь напоминать своей мерзкой рожей всеми уважаемое лицо стихотворца? Стыд и позор тебе!

Антип Грустный, опять зарычав малопонятное, начал трясти Афанасия Сергеевича так сильно, что у того запрыгала шляпа. Я же всматривался с болью в страдальческое выражение незабываемых черт Афанасия Сергеевича, не находя в себе сил побороть растерянность. И вдруг я за-

метил на глазах несчастного две крупных, готовых упасть слезы. Он как бы отсутствовал из действительности, созерцая нечто несказанно печальное и только телом своим отзываясь на тряску, которой подвергал его исступленный Антип. Сердце мое сжалось. Я поднял руку, чтобы вмешаться в бессмысленное дело, но Афанасий Сергеевич нежданно вырвался из рук мучителя, повернулся и побежал туда, откуда шел.

Вскоре сумерки скрыли развевавшуюся от быстрого бега черную крылатку. Я подумал, что, может быть, впервые за всю жизнь Афанасий Сергеевич Пушкин изменил свой маршрут и не дошел до конца главной улицы.

Не взглянув на Антипа Грустного, дышавшего тяжело, и не сказав ему ничего, я пошел за угол своей дорогой.

Я застал земельного комиссара Роктова на грядках около дома, в котором он проживает с давних лет. В вечерней темноте он собирал на ощупь огурцы. Я разглядел его, когда мы вошли в горницу и он зажег лампу. Комиссар был в ситцевой рубахе, заправленной в штаны. Живот его стал ещё больше, глаза... но что я могу сказать о глазах земельного комиссара Роктова? В прежние времена по престольным праздникам у нас в монастыре случалось великое скопление уродов, и я повидал множество человеко-противных глаз. Однако столь омерзительного взгляда, как у Роктова, не запомню. Глаза у него не больше, думаю, чем у вороны, и такого же непроницаемого цвета, обведенные на самую малость кружочками белка. И это в то время, как другие части лица его более нежели крупны, а нос — так тот даже огромен. С тех пор как я имел с коммиссаром свидание по поводу монастырского бычка, он потучнел весьма значительно.

— Ну что, блаженный? — спросил он, между тем как глаза его смотрели как будто на меня, а как будто и не на меня: совершенно как у птицы.

— Скоро бросишь обитель? Брось. Все одно — рясник, да не монах, терять тебе нечего. А монастырь разгонят. Полегоньку, помаленьку.

— Слухи разве какие есть? — спросил я.

— Слухов нет. Известно, что вас скоро уплотнят. Лазарет у вас будет.

— Как так — лазарет?

— Не каркай,— ответствовал комиссар,— ты где живешь, в чьем государстве? Разве тебе неизвестно, что вокруг деется? Почему ты до сего часу не в Красной Армии, лодырь?

— По причине плоской ступни,— возразил я,— освобожден за негодностью. Однако верно ли вы говорите насчет лазарета?

— А тебе какое дело? На-ка, выпей,— сказал комиссар, наливая темной жидкости из четверти в стакан.— Не хочешь? Зря дорожишься, все одно к этому придешь.

Он перелил в рот, точно в воронку, содержимое стакана так, что я не заметил, чтобы он хоть раз глотнул, затем покачался немного, закусил огурцом и осипшим голосом продолжал:

— Не могу взять в толк, что за напиток? Прислали из губернии для борьбы с вредителем. Крепкий. Хотя по ночам сильно блюешь, но голову держит в тумане. Ты вот что, приходи завтра к Симфориану, поговорим. Я тебе и про лазарет скажу и про председателя — лютый! А теперь — пошел! Мне надо ложиться, сейчас рвать начнет. Ступай, ступай!

Он вытолкал меня, и я очутился на огороде.

Ввиду наступившего ночного часа я пошел не прямым путем, а по главной улице. Проходя мимо флигеля, в котором жительствует новый председатель Совета, я остановился у окна. Оно было завешено белой материей, сквозь занавесь светилась лампа, и я различил неподвижную человеческую тень в комнате. Наровчат наполовину уже опочил. Только в тоске подвывали собаки, и хотя я по природе не боязлив, мне стало не по себе перед лицом тени неизвестного человека на занавеси окна. Тут чей-то голос придушенно раздался за моей спиной:

— То-ва-рищ Игна-тий!

Я оглянулся. Никого подле меня или где-либо поодаль не было. Я почувствовал трясение в коленях и побежал, творя молитву.

Сообщив отцу Рафаилу о намерении властей разместить в монастыре военный лазарет, я поверг его в тягчайшую заботу. Он опустился пред аналоем и прочитал благоговейно псалом Давидов: «Господи! Долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов — одинокую мою...»

Я положил три земных поклона и ждал, что скажет настоятель.

— И один волос не упадет с головы без его воли,— произнес он, вздохнув.— А ты, Игнатий, свершай назначенное тебе: ступай и не возвращайся, доколе не узнаешь с точностью, какая беда ожидает нашу обитель.

После того я собрал в узелок пищу и отправился в город.

Там повстречал я мать казначею наровчатского женского монастыря. И тут я с ясностью уразумел всю необходимость постоянного прикосновения к мирским событиям текущего смутного времени. Оказывается, вот уже третий день благочестивые миряне Наровчата и причты городских церквей взволнованы несправедливостью, содеянной над нашими христолюбивыми сестрами. По рассказу матери казначеи, обстоятельства происшествия рисуются следующим образом.

В городском сосновом парке, что возле спиртового склада, военные власти соорудили летний открытый театр для воинов Красной Армии и простого народа. Парк очень велик пространством, и в театральные перемены зрители расходятся по отдаленным дорожкам и даже по глухим местам, преимущественно парно, то есть мужчины с женщинами, что — по словам матери казначеи — особенно усугубляет трудность собрать народ к продолжению театра. Приходилось посылать людей во все концы парка с колокольцами, трещетками или просто крикунов, чтобы они созывали отвлекающуюся от представления публику. Из такого положения проистекало много неудобств для хода зрелища, и актеры придумали водрузить на особом столбе перед театром громкозвучный колокол.

Начальник наровчатского красного войска, в просторечии — военком, к которому актеры обратились за таким колоколом, не думая долго, приказал национализировать один колокол с колокольни женского монастыря. Так как в монастыре квартирует гарнизонная полурота, то дело за исполнением приказа начальника не стало. Четвертого дня, явившись в монастырь как бы по служебному делу, воины Красной Армии сняли со звонницы альтовый колокол весом в два с половиною пуда и отвезли на двуколке в парк.

Этим неслыханным деянием не только причинено разорение монастырской казне, но нанесен вред самой нетленной красоте, гармонии колокольной гаммы, нарушенной изъятием неизъемлемого тона.

В день национализации колокола мать казначея поспешила к новому секретарю Совета с прошением о возврате монастырю его собственности. Тогда разразилась великая пря между начальствующими Наровчата, нисколько не утихшая по сей день.

Секретарь Совета отправил военкому бумагу с требованием возвратить монастырю колокол, ибо по смыслу декрета

об отделении церкви от государства первая в своих обрядах не утесняется. На эту бумагу военком ответил, что секретарь, обеспокоенный неутеснением церкви, запамятовал-де трудящихся города Наровчата, интересы которых он призван соблюдать и коим надобен громкозвучный колокол для сигнализации в театре. Секретарь возразил на это, что военком обязан был для достижения совершенства в театральной сигнализации согласовать свои действия с отделом юстиции — и тогда не получилось бы беззакония, волнующего граждан. Тогда военком ответил, что он и подчиненные ему воины Красной Армии не волнуются, что волнуется секретарь, как видно, потому, что ему — секретарю Совета — близки идеалы попов и буржуев. После этого секретарь доложил переписку самому председателю, который приказал позвать к себе военкома для личного объяснения.

Чем дело кончится, сказать невозможно, но в городе только и разговору, что о колоколе и даже о том, что скоро все колокола снимут и препроводят в Москву, где будто бы так много театров и увеселений, что своих колоколов не хватило и туда везут со всей России. И еще говорят, что военком в полной силе и никогда не пойдет к председателю, хотя все еще малая надежда есть, потому что председатель — матрос.

Выслушав рассказ матери казначеи, я значительно оробел. Страшно было подумать, от каких случайностей зависит религиозная жизнь православных христиан и, может быть, сама история нашей церкви! От робости я не нашел ничего сказать в утешение матери казначеи.

— Вот вам, матушка, довелось по колокольному случаю бывать в присутствиях Совета. Не слыхали ли вы там об уплотнении нашего монастыря военным лазаретом? — спросил я.

— Не слыхала.

— Не можете ли вы тогда сказать, каков по обращению секретарь, с которым вы говорили, и доступен ли он жалости?

— По обращению,— ответила мать казначея,— он вполне деликатный, но жалости вряд ли доступен. Все, говорит, будет введено в рамки. В какие такие рамки, я — прости господи! — не посмела спросить, но слезы у меня словно рукой сняло.

Я поклонился матери казначее в пояс, и мы расстались.

Как ни старался я разузнать что-нибудь о занимавшем меня деле, никто в городе ничего не мог мне сказать. Так что я уже начал подумывать, не подшутил ли надо мной земельный комиссар Роктов. Но к вечеру я добрался до Симфориана Бесполезного, и у него пришлось удостовериться в печальной истине и, сверх того, пережить чувства, многопамятные на всю мою жизнь.

Едва я приблизился к собственному дому Симфориана, что в Затоне, как до меня донесся шум голосов. Я замедлил шаги, но продолжал подвигаться вперед, уже различая, что шум исходит из сеней Симфорианова дома. Вскоре дверь распахнулась, и я признал в кричавших самого хозяина и бывшего диакона Истукария.

— Я эти твои увертки знаю! — кричал Истукарий.— Ты к чему назвался Бесполезным? Кого ты этим уязвить хотел? На что намекаешь, когда каждому сознательному гражданину известно, что Симфориан — имя означает как раз наоборот — полезный?

— А тебе досадно, досадно,— старался перекричать Симфориан,— досадно, что имя Истукарий вовсе ничего не означает, дегенерат ты этакий!

— От деренегада слышу!

Именно такое искаженное слово прокричал Истукарий, когда Симфориан вытолкал его на волю, взяв за плечи. Я собирался укрыться, чувствуя, что пришел не ко времени, но хозяин заметил меня и втащил в дом, хлопнув сенной дверью перед самым носом бранившегося Истукария.

Еще будучи в сенях, я почуял благовоние, подобное мироуханию плащаницы. Но как только я переступил порог горницы, благовоние это затуманило мою голову едва не до беспамятства. Причина такого явления была неясна, однако в горнице благовоние напоминало мне скорее душистое мыло для туалета, чем мироуханные масти. На столе я увидел стаканы с молоком и очищенный вареный картофель в тарелке. В комнате, кроме хозяина, находился земельный комиссар Роктов. Он сидел, выпятив поверх брюк свое чрево, прикрытое ситцем, и зажмурив глаза. В соседней комнате, проходя, я различил в уголке супругу Симфориана — бывшую матушку Авдотью Ивановну. Больше в доме никого не было.

— Выгнал? — вопросил Роктов, отчего живот его дрогнул.

— Прогнал,— сказал Симфориан, пододвигая мне стул и садясь сам. Лицо его блестело от поту, взор был мутен и блуждал мрачно. Он обратился ко мне: — Истукарий при-

шел меня нравственной чистоте обучать, видишь ли. Зачем, говорит, я в «Эльдорадо» девочек гулять вожу, это, говорит, оскорбляет раскрепощенное сознание моей жены. А та, дура, конечно, в рев — обидно! Мне, говорит Истукарий, следует с женой развестись, а не угнетать ее своим распутством. У него по столу разводов безработица, боится начальства, каналья! Потянут за бездеятельность! А может, и впрямь развестись, а? Дуня,— закричал Симфориан,— Дуняша, хочешь завтра развод? Не реви, распустила нюни!

— Я пришел за справочкой,— начал я, опасаясь возможных неприятностей.

— Насчет лазарета,— сказал Роктов,— и пускай уходит: я хочу одиночества.

Мне показалось, что земельный комиссар говорил во сне, потому что глаз его вовсе не стало видно и голова валилась на плечо. Я встал, но Симфориан усадил меня снова.

— Ну, пускай остается,— сквозь сон пробормотал Роктов,— я общество люблю.

Вдруг он дернулся, открыл глаза и стукнул обеими руками по столу, так что картошка посыпалась с тарелки в разные стороны.

— Давай! — прохрипел он, наваливаясь на стол.

— Давай! — отозвался Симфориан.

Тут я сделался свидетелем человеческого умопомрачения. Симфориан и Роктов поднялись и взяли стаканы с молоком. Потом они крепко зажали пальцами носы, зажмурились и мигом опрокинули содержимое стаканов в широко раскрытые рты. После того поспешно выдыхнули из себя воздух, набрали заново, опять выдыхнули, и так раз до пяти. Видно, напиток был очень крепок, потому что Симфориан корчился, точно проглотив пригоршню живых червей и ощущая во внутренностях шевеленье, а у Роктова запало чрево, как от удара. Наконец оба они отошли и принялись за картошку.

Симфориан вспомнил Истукария:

— Поди когда надо было поступать на службу, в ноги кланялся, чтобы я его преданность удостоверил. Как прикажете быть, если в человеке нет благодарности?

— Никакой,— согласился Роктов и продолжал: — Обидно проявлять активность. В прежнее время, когда я в управе городским садоводом состоял, вот были люди! Как сейчас помню, врастил я в полбутылочку огурец. Получилось, будто положен в полбутылочку огурец, а как положен — неизвестно, вынуть его ни-ни! Чудо! Преподнес его офицерскому собранию. Мне за это благодарность приказом объ-

явили. А нынче что? Ну, обсадил я резедою могилу нашей жертвы на бульваре, вензелями пустил, с серпом с молотом, с лозунгами. И хоть бы кто икнул! Ни мур-мур! Руки опускаются!

— Ты насчет лазарета? — спросил меня Симфориан.— Лазарет у вас будет, верно.

— Неужели не окажут снисхождения? — воскликнул я.— И к какому начальству следует обратиться, присоветуйте, ради господа!

Симфориан взглянул на меня столь мрачно, что я прикусил язык.

— Обращайся куда знаешь. Я для вашего брата пальцем о палец не ударю. Нету мне на земле спокойной жизни, покуда не перевелись святые! Не люблю святых!

Он вдруг рванул себя за ворот и прокричал страшно:

— Ой, тоска, тоска! Целый город людей, и ни единой живой души! Куда ни глянь — все рыла! Может, один человек, один-единственный на весь Наровчат, да и тому нет места, затравили!

— О ком говоришь? — спросил Роктов.

— Не о тебе, ты тоже — рыло!

— Согласен,— сказал Роктов.

— Единственный человек в Наровчате — Пушкин,— прочувственно объявил Симфориан.

— Этот — просто дурак,— отвечал Роктов.

— Дурак? — Симфориан вскочил от негодования.— Дурак? Эх, что с тобой говорить! Игнатий, разве Пушкин — дурак?

— Я не считаю Афанасия Сергеевича глупым человеком,— сказал я,— мне кажется, в нем сильная игра воображения.

— Вот — слово: воображение! Единственный в Наровчате человек с воображением, человек, а не рыло!

— Что же Афанасию Сергеевичу угрожает, что вы говорите, будто бы ему нет места? — спросил я.

— А вот что,— сказал Симфориан и достал из кармана записную книжечку.— Я, братец, газетчик, у меня здесь все есть,— показал он на книжечку.— Я в человеческом общежитии, как губка в воде. Вчера я копию с одной бумаги записал, слушай:

«Гражданину Афанасию Сергеевичу Пушкину,
в дом бывший Вакурова.

Предписываю вам с получением сего немедленно оставить появление в городе в несвойственном виде, т. е. в одеж-

де писателя Пушкина, и тем вводить в злостное заблуждение честных граждан и вообще прекратить обман пролетариата. В случае неподчинения приму зависящие меры.

Начальник Наровчатской гормилиции

Макарушкин».

Прочитав, Симфориан с рычанием забегал по комнате, грозя кулаками. Потом хлопнул по спине Роктова, успевшего задремать, и кинулся к комоду. Оттуда он вынул флакон и показал его Роктову со словами:

— Ну, тройного, что ли?

— Давай,— всколыхнулся Роктов и опять ударил обеими руками по столу.

И тут открылся для меня секрет непонятного напитка. Флакон, который был вынут из комода, оказался наполненным цветочным одеколоном. Симфориан налил стакан наполовину, добавил воды. Жидкость сделалась молочно-белой.

Я не мог смотреть на то, как пили приятели, зажав носы. Я только слышал страшное кряхтенье и, закрывая лицо руками, ждал, когда все кончится. Как только стихло, я осмелился взглянуть на Симфориана и опять закрылся от страха. На лбу его взбухли синие жилы, рот исказился, глаза налились кровью. Вдруг раздался шум и стук: Симфориан в гневе отметнул от себя стул.

— Что ты корчишься? — закричал он на меня.— Точно от дьяволова наваждения! Небось не сгину! У-ух, не люблю святых, жизни мне нет, покуда они не вывелись! Сам был святым, сам попа ломал, не люблю! Роктыч, Роктыч,— завопил он,— давай выводить святых, давай стрелять!

Я вскочил и, осенив себя крестом, отбежал к печке.

Симфориан подошел к кровати, достал из-под матраса револьвер, поднял стул, сел посреди комнаты. Я взглянул с последней надеждой на Роктова; он спал сидя. Я заткнул уши и ожидал. Тогда только я уразумел, на какое дело поднималась рука ослепленного безумца. В переднем углу висела икона десяти мучеников критских — известный образ греческого письма. В святые лики мучеников и целил Симфориан. Боже мой, господи, за какое злодейство наказал ты меня, окаянного раба твоего, ниспослав такое испытание недостойному моему духу? Я хотел крикнуть, но голос отняло у меня; я попытался двинуться, чтобы отвести руку святотатца, но ноги мои не повиновались мне.

Между тем Симфориан, ухватив левой рукою запястье правой и держа в последней оружие, прищурился и воз-

гласил по-церковному, что у него, как бывшего иерея, получилось внушительно:

— Иже во святых отец наших мученика Агафопуса...

Весь дом вздрогнул. Я видел, как от сотрясения воздуха погасла и опять зажглась лампа, потом дерзнул поднять глаза на поруганную святыню. Один из десяти мученических ликов пробит пулею, и вокруг того места лак на иконе обсыпался.

Тогда я, как бы вырванный невидимой силой из неподвижности, бросился к выходу. Но в дверях стояла бывшая матушка Авдотья Ивановна. Бледная, как плат, она протягивала дрожащие руки к мужу, безмолвно взывая к его благоразумию. Взглянув на меня, она умоляюще прошептала:

— Машеньку испугает он до смерти, Машенька — дочка — спит на печи.

Я обернулся к Симфориану, но свирепость его отшатнула меня.

— Уйди! — крикнул он и, поднимая оружие, возгласил: — Иже во святых отец...

Авдотья Ивановна всплеснула руками и закачалась. У меня перевернулось сердце от жалости. Я взял Авдотью Ивановну под руку и отвел к кровати, на кухню. Там она, плача, опустилась на постель. Я в растерянности смотрел на нее, не зная, чем помочь. Она же убивалась горько, ломая руки. Волосы ее развязались и скатывались по спине, шаль упала до пояса, и я увидел, что Авдотья Ивановна была вполне готова ко сну, но от горя совершенно забыла о виде своей одежды. Тут смешались мои чувства, потому что сострадание толкало меня утешить несчастную, но в подобном положении и столь близко видел я женщину в первый раз от своего младенчества. Не только белые плечи ее, накрытые волосом, но и самые груди находились перед моими глазами.

Не помню, какую молитву совершил я про себя. Только почудилось мне, что господь пощадит непорочную мою юность, и в тот же краткий миг обрел я в себе новую силу для христианского участья в Авдотье Ивановне. Я положил руки на ее плечи и приготовился сказать утешение, когда из горницы послышался голос Симфориана:

— ...отец наших мученика Помпия...

Выстрел был оглушителен. От страшного испуга у меня подогнулись ноги и лицо мое само собой очутилось на груди Авдотьи Ивановны, а руки, положенные ранее на ее плечи, крепко держались за них, противу моей воли. Господи,

смилуйся надо мной, многогрешным! Не помня себя, я лобызал грудь Авдотьи Ивановны, но и в памяти моей ничего, кроме великого жара, не сохранилось.

Как я выбежал из Симфорианова дома — неизвестно. В голове моей стоял звон, от оглушения ли стрельбой или от чего другого — перед истинным богом,— не знаю.

Предшествующее описание я закончил рано поутру, когда рассвело. Дыхание мое теснила непонятная тяжесть. Я раскрыл окно. День зачинался обычной своей торжественной утреней. Пели птицы, ветерок раскачивал деревья, за стеною от речки Гордоты подымался туман. Я готов был разрыдаться — как тяжко было мне видеть спокойствие природы, когда душа моя мучилась греховным волненьем. Вдруг до слуха моего донесся сострадающий голос:

— Мятешься, Игнатий?

Я выглянул в окно. Отец Рафаил, совершая утреннюю прогулку, остановился у моей кельи. Я опустил голову и проговорил с трудом:

— Мятусь, отец Рафаил.

Он ничего не сказал, глубоко вздохнул и удалился. А я упал на свою койку и плакал.

Нынче в городе большое смятение, как бы случилось что-нибудь государственной важности. Действительно, убедившись в слухах, я понял, что произошло событие, а именно исчез неизвестно куда Афанасий Сергеевич Пушкин. Исчезновение обнаружено было жителями вакуровского дома и подтвердилось на товарной станции служебным начальством конторы. Шел третий день с тех пор, как последний раз видели Афанасия Сергеевича. Я поспешил к дому Вакурова. Народ стекался туда в большом числе, несмотря на будний день, так что образовалась толпа. Скоро прибыли чины городской милиции во главе с начальником Макарушкиным. Должны были произвести вскрытие жилища Афанасия Сергеевича. И вот город затаил дыхание, глядя, как начальство, в сопровождении понятых, взбиралось по навесным лесенкам и площадкам громадного строения. Наконец Макарушкин достиг последней двери верхнего этажа, и другие чины обступили своего начальника. Через минуту раздался стук падения сорванного замка на чугунную площадку. Дверь открылась и поглотила людей. Все, стоявшие вокруг меня, ожидали самого ужасного, и минуты тянулись

для нас бесконечно долго. Но вот начальство опять появилось на площадке, и погодя мы узнали, что в жилище Афанасия Сергеевича ничего не обнаружено. Макарушкин дал распоряжение опечатать дверь, но печати и сургуча не оказалось, и все начальство отбыло в город, препоручив наблюдение за имуществом Афанасия Сергеевича понятым. Последние по мягкосердечию и бессознательности, а вероятно и просто со скуки, начали допускать любопытных в охраняемое помещение, и таким путем я имел случай осмотреть жилище Афанасия Сергеевича.

Чувство, какое я испытывал при этом осмотре, не могу назвать иначе как умилением, хотя многие из бывших со мною горожан смеялись. Жилище Афанасия Сергеевича состоит всего из одной комнаты, заполненной вещественными напоминаниями о жизни и творениях Александра Сергеевича Пушкина. Стены увешаны снимками с известных изображений прославленного поэта, картинами к его сочинениям, полкою со всевозможными о нем книгами.

Не говоря о нашем монастырском книгохранилище, даже в светской библиотеке Наровчата не найдется такого тщательного подбора произведений о Пушкине. На всякой мелочи в этой комнате лежит отпечаток любовной руки почитателя поэта. Из других предметов скромного обиталища внимание мое остановило большое, в пышной раме зеркало, в котором Афанасий Сергеевич мог видеть себя во весь рост.

Я покинул опустевшее жилище с такой грустью, как если бы бросил на произвол сироту. Моя личная печаль уступила место тревоге за судьбу Афанасия Сергеевича, и я молил господа оградить его от греха.

Пока я находился с толпою около дома Вакурова, меня разыскивали в монастыре. В самом деле, уйти, не сказавшись, в такое время, когда с минуты на минуту могло разразиться над монастырем несчастье, было легкомыслием немалым! Войдя в келию отца Рафаила, я застал его готовым к походу.

— Пойдем,— строго сказал он и вышел, не удостоив меня благословения.

Лошадей у нас давно отобрали, и это был первый после революции поход отца Рафаила в город. Он шествовал молча, опираясь на посох и по уставу не подымая глаз от земли. Я следовал за ним в трех шагах, и чем более вглядывался в его величественную и одновременно смиренную

поступь, тем явственнее чувствовал, что этим человеком руководит некая бескорыстная решимость. И тогда внезапно меня обуял стыд за свою суетность и за все свое ничтожное существо. Но непонятность намерений отца Рафаила и его безмолвие беспокоили меня выше меры, так что боль стыда скоро во мне утихла, и я осмелился спросить:

— Куда направляете, отец Рафаил, ваши стопы?

Но настоятель продолжал молчать.

И так дошли мы до главной улицы и до бывшей управы, где ныне помещался Совет. Тут отец Рафаил остановился, осенил себя крестом, как перед входом во храм, и знаком руки велел мне открыть дверь.

Я повиновался с замиранием сердца, не предвидя ничего доброго в последующем. Между тем отец Рафаил с прежней покойной решимостью проследовал по лестнице и коридору и, встретив служителя, спросил, где можно говорить с товарищем секретарем Совета. Тот отвечал, что надлежит подождать, пока секретарь придет, и отвел нас в его приемную. Там никого не было. Отец Рафаил опустился посреди комнаты на колени, лицом ко входу, и велел сделать мне то же, указав место рядом с собою. Я исполнил приказание. Тогда отец Рафаил сказал:

— Ложись,— и сам пал ниц.

Я лег, и так мы лежали короткое время в тишине, головами к открытой двери, как бы в покаянии. Потом раздались поспешные и громкие шаги, кто-то вошел в приемную и сразу остановился.

— Что это? — расслышали мы недоуменный возглас.— Что это такое?

Затем наступила пауза, после которой тот же голос, но заметно повысившись, опять вопросил:

— Кто это? Зачем вы здесь?! Что за...

Тогда отец Рафаил, не шевельнувшись, с мольбою произнес:

— Не подымемся, доколе не внемлешь.

На что опять тот же голос, подкрепленный ударом ноги об пол, отвечал грозно:

— Встать, встать, немедленно встать!

— Не подымемся, доколе...

— Встать, говорю, встать!

И так пошло: отец Рафаил, не двигаясь, настаивал, чтоб его выслушали, а неизвестный, топавший у наших голов башмаками, не унимался и кричал, чтобы мы встали. Потом он заявил решительно:

— Я не скажу с вами ни слова, пока вы валяетесь на

полу,— и выбежал, крича на весь дом: — Кто их пустил сюда, черт подери! (Да простится мне это черное слово, записанное лишь ради одной истины.)

Отец Рафаил и я продолжали неподвижно лежать, когда кто-то подошел к нам и толкнул по очереди сапогом довольно чувствительно:

— Ладно прикидываться, подымайтесь, не то подымем силком!

Делать было нечего, и отец Рафаил, поднявшись, велел мне встать. Тогда в приемную возвратился секретарь Совета, я и по голосу узнал, что это он на нас кричал и топал ногами. Однако в лице его я не только не приметил свирепости или гнева, но даже показалось мне, что он легонько улыбается, хотя чему приписать улыбку в таком серьезном положении, я не мог понять и подумал, что это у него от природы.

Отец Рафаил рассказал секретарю, что, по частным сведениям, власти предполагают поместить в монастыре лазарет и что такое действие равнозначит полному закрытию обители, так как монастырь и без того стеснен до предела детской больницей с приютом, называемым интернатом. Секретарь выслушал доводы отца настоятеля со вниманием и отвечал кратко:

— Отправляйтесь к себе, я у вас буду и сам осмотрю помещения.

Мы поклонились в пояс и покинули Совет обнадеженные, так что отец Рафаил сказал мне:

— Сразу видно человека по обращению: кричал он на нас из совестливости и хорошего воспитания. Бог не без милости...

Напрасны были наши надежды. День, начавшийся с беспокойства, готовил новые испытания. Для меня они были горьки и непосильны, ибо теперь, когда я веду свою запись, неведомые доселе чувства раздирают меня и малодушие мое так велико, что я не в силах даже помолиться. Я призываю все свое мужество, чтобы правдиво описать срам, испытанный мною.

Дело в том, что не успел я с отцом Рафаилом войти в монастырский двор, как нас догнала коляска, из которой выскочил секретарь Совета. Полная неожиданность приезда ошеломила даже отца настоятеля, и он, как бы приняв секретаря за наваждение, осенил его крестом. На лице того я опять заметил улыбку, и он сказал:

— Ну, покажите мне ваши помещения.

Но у нас ничего не было приготовлено к встрече такого

посетителя, а следовало бы предотвратить возможные нечаянности, хотя бы простым упреждением братии. Поэтому отец Рафаил, показав рукою на новый корпус, предложил:

— А вот, пожалуй, начнемте с тех строений, которые у нас уже отобраны властями под детский приют, называемый интернатом, и под больницу.

Говоря это, отец настоятель взглядом дал мне понять, чтобы я уведомил братию о прибывшем. Но секретарь вдруг заявил:

— Нет, чего же смотреть на то, что отобрано, давайте посмотрим, что еще не отобрано...

И здесь началось! Только-только мы поднялись на крыльцо, как из корпуса вывалился брат Порфирий с лукошком, полным жареных пирожков, от которых шел пар.

— Это вы что же, на базар? — спросил секретарь.

— Так точно, гражданин, в толкучку,— словно обрадовавшись, рявкнул брат Порфирий,— не желаете ли свеженьких — с яйцами, с пшеном, с ливерочком?..

Отец настоятель отстранил Порфирия с дороги и дал секретарю посильное объяснение.

— Доходов в монастыре почти не стало, братии же нужно поддерживать существование, хотя бы самое нищенское. Отсюда — необычные для монашествующих занятия.

Я поглядел на секретаря, и недоброе предчувствие вселилось в мою душу: быть беде,— подумал я,— у секретаря улыбочка-то не от природы, а от других качеств.

Отец Рафаил повел его по коридору, открывая по очереди двери и объясняя:

— Вот тут у нас кладовая для хозяйственных предметов, тут келарня, тут орудия для полевых работ — у нас ведь трудовое общество, коммуна, как говорится. А вот тут начинаются келии для братии нашего монастыря...

Он отворил дверь. Келия была пуста, койки не прибраны. Отец Рафаил открыл другую дверь. Здесь тоже было пусто и непорядку — пуще, чем в первой.

— А братия торговать ушла? — спросил секретарь.

— В трудах братия, на разной работе,— отвечал отец Рафаил, подводя секретаря к следующей келии.

Три человека вскочили из-за стола, едва мы показались в дверях. Только одного из них я знал, других видел впервые. Все они были без подрясников и почему-то прятали руки за спины и в карманы. В келии стоял табачный чад. На столе я различил картуз табаку Бостонжогло. Секретарь быстро подошел к одному из этих людей.

— Вы чем занимаетесь? — спросил он.

— Безработный,— ответил тот.

— Что вы тут делаете? — вмещался отец настоятель.

— Истинный бог, мы не на деньги, отец Рафаил!

— Нет, нет, вы меня верно поняли. Раньше чем занимались? — допытывался секретарь.

— Бакалеей.

— То есть торговали?

— Лавочку держал не бог весть какую. После разорения не имею средств, стеснен...

Я не мог более глядеть ни на отца Рафаила, поверженного в уныние, ни на картежников и убежал в свою келию.

Боже мой, господи! Что стало из нашей обители? Пристанищем какому люду сделались ее святые стены? И неужели я ослеплен настолько, что не вижу, как на благолепии и святости произросли тлен и нечестие бесовское? Горе мне, горе!

По скором отъезде секретаря Совета отец Рафаил замкнулся и прислал ко мне келаря сказать, чтобы я отправился в женский монастырь и узнал, как обернулось дело с колоколом. Я понял, что наши монастырские обстоятельства после нечаянного визита очень ухудшились, и, как ни подавлен был случившимся, однако превозмог себя и пошел в город.

У матери казначеи меня ожидали утешительные вести. Пря между начальствующими закончилась на вящее посрамление военкома: колокол возвратили монастырю и подвесили на прежнее место силами воинов Красной Армии.

Преисполненные благодарности к секретарю Совета, христолюбивые сестры пожелали ознаменовать одержание победы над беззаконием каким-либо вещественным актом. Посему мать казначея обратилась к секретарю с просьбой принять от монастыря для Совета красное знамя, расшитое золотом и позументами, работы благодарных монахинь, послушниц и учениц. На такую просьбу секретарь отвечал, что никаких подношений Совет от монахинь не примет, так как это противно духу новейших законов, но что если в монастырских мастерских на красное знамя может быть принят заказ, то Совет заплатит, сколько будет стоить работа. Заказ был, разумеется, принят тотчас же, и мать казначея водила меня в мастерскую, где трудятся над знаменем рукодельницы. Я осмотрел полотнище, растянутое на пяльцах, и пришел в восхищение от искусности вышивки и подбора позументных украшений. Посреди знамени парчовым галуном из золота, каким делают оторочку на дорогом церковном облачении, расшиты слова, полученные на особой

бумажечке от секретаря при заказе: «Мы свой, мы новый мир построим!» Кругом этих слов воздушными фигурами идет золототканый газ, по краям же знамени спускается бахрома и на углах — кисти. Вообще весь вид богатой гражданской хоругвии порадовал меня отменно, и я ушел от богоспасаемых сестер растроганный.

Идя по улице и размышляя о том, что сестры избрали благой путь для установления хороших обычаев в общении с мирской властью, я придумывал, что предпринять нашему монастырю, чтобы достичь столь же благоприятных результатов. Следовало бы, думал я, проявить какую-либо услужливость, принести помощь в некотором трудном предприятии власти и вообще показать, что замкнутость наша отнюдь не злонамеренна, а лишь по уставу. Занятый подобными мыслями, я был кем-то окликнут по имени. Я поднял глаза, и они тотчас опустились опять сами собою: впереди меня стояла бывшая матушка Авдотья Ивановна.

— Что не зайдешь? — спросила она, подвигаясь ко мне совсем близко.

— Много хлопот,— ответил я, сгорая от боязни, что Авдотья Ивановна попрекнет меня за недостойное мое поведение в памятный вечер.

— Мой пьет,— продолжала она, и голос ее упал,— а я все одна...

Авдотья Ивановна взяла меня за руку, и лица моего коснулось ее дыхание.

— Зашел бы,— сказала он,— посидеть...

Я решился взглянуть на нее. Стан ее был округл и крепок, тонкое платье на груди колебалось, во взгляде ее мне почудилась насмешка и как бы ласковость.

— Благодарствуйте на приглашенье,— проговорил я, раскашлявшись, так как в горле моем образовалась сухость.— Мне пора...

Авдотья Ивановна необыкновенно сжала мне руку и крикнула вслед, когда я уже отошел на много шагов:

— Так ты приходи!..

Достигнув монастыря почти бегом, я стал искать себе успокоения, чтобы хоть кратко доложить отцу Рафаилу о деле с колоколом и о том, что из него проистекло. Я прохаживался и сидел на берегу Гордаты в надежде на целебное свойство природы, беседовал с приютскими детьми, чтобы развлечься, тщетно начинал молиться. Спокойствие не возвращалось мне. К великому моему счастью, отец Рафаил не пожелал меня видеть, и я остался наедине с собой в тихой своей келии.

Мысли мои мешались, и я знал, чего хочу. Происшествия дня заново предстали пред моими глазами: таинственное и бесследное исчезновение Афанасия Сергеевича Пушкина; решимость отца Рафаила, поведшая его на унижение игумнова сана; прибытие в монастырь светской власти, могущее иметь необозримые последствия; наконец, беседа с бывшей матушкой Авдотьей Ивановной, которая нисколько на меня не разгневалась, чего я пуще всего боялся. Так, терзая себя этими мыслями, я втайне чувствовал, что одна из них превосходней и неотступнее других. Авдотья Ивановна стояла живой подле меня в тишине келии, и я, облитый потом, смотрел на ее платье и видел ее, какою запечатлелась она в моей памяти с незабвенного вечера у Симфориана.

Сейчас, пиша эти строки, я преобореваю свое томленье. Тогда же я бросил с ожесточением тетрадь с хроникой и оплакивал себя, несчастного, и смеялся неведомо чему. Потом схватил лист бумаги и неожиданно, без всякой мысли и без единой помарки, написал впервые в жизни стих. Прочитав его, плакал еще больше и решил непременно показать его Симфориану.

С этой целью, после бессонной ночи, я пошел в редакцию «Наровчатской правды». Там я застал Антипа Грустного, сидевшего на краешке скамьи. Я открыл было рот, чтобы поздороваться, но он погрозил мне пальцем. Я подсел к нему, и он шепнул мне в ухо, показывая на закрытую дверь.

— Тише: там читают мое новое сочинение.

— Кто? — спросил я шепотом.

— Симфориан! Тш-ш-ш!

Мы просидели в неподвижности несколько минут. Потом дверь шумно раскрылась, и к нам вышел Симфориан. Он протянул Антипу рукопись и сказал кратко:

— Хлам.

Антип бережно сложил потрепанные листки бумаги, спрятал их за пазуху и робко проговорил:

— У меня есть еще одно произведение...

Но Симфориан не дал ему договорить:

— Не надо мне твоих произведений, сделай милость!

После этих слов Антип беззвучно удалился, а Симфориан спросил меня:

— Ну, а ты что? Тоже навараксал какое-нибудь произведение?

Услышав это, я тотчас решил ни за что не показывать

своего стиха; к тому же страшная мысль пришла мне на ум: Симфориан непременно должен догадаться, что это его супруга, Авдотья Ивановна, вдохновила меня на сочинение.

— Стихи, что ли, написал? — спросил Симфориан.

— Да, действительно, но только мне стыдно показать, потому что это со мной первый раз...

— Брось ты это дело,— присоветовал Симфориан, кладя на мое плечо руку,— пиши, брат, по специальности.

— Как же так? — не понимая, спросил я.

— Да ты кто по профессии? — сказал он.— Чернец? Стало, твоя специальность — божественное бытие. Вот и пиши нам в газету для безбожного отдела...

Я перекрестился и не знал что сказать. Между тем Симфориан засмеялся и, как видно, нечаянно посмотрел под скамью, на то место, где сидел Антип Грустный. Потом он плюнул и убежал в другую комнату.

Довольный прекращением тягостного для меня разговора, я пошел к выходу, полагая, что Симфориан плюнул с досады, что я перекрестился. Но при этом я сам взглянул под скамью. В том месте, где до того сидел Антип, на полу стояла невеликая лужица. Пожалуй, лужицу оставил Антип от волнения или по болезни, и это, наверно, на нее плюнул Симфориан.

Сегодня, в воскресное утро, когда заблаговестили к обедне, выглянув в окно, я увидел всеобщее беспокойство. Люди выбегали из корпусов, направляясь к задним воротам, приютские дети что-то голосили, пробежал кое-кто из нашей братии. Я вышел на крыльцо узнать, что происходит.

Оказалось, неизвестный труп утопшего человека был за ночь вынесен рекою Гордатой на берег к нашему монастырю.

Вместе с другими братьями и незнакомыми людьми, пришедшими к обедне, я поспешил на берег. Пробираясь к месту происшествия и прислушиваясь к тому, что кругом говорили, я понял, что утопленник никем не может быть опознан. Наконец я растолкал людей и подошел к покойнику. Сердце у меня билось тревожно, и, хотя я творил про себя молитву, мысли мои были неясны. Человек лежал ногами вверх по скату берега, головою к реке, так что вода омывала длинные волосы утопшего. На его шею намоталась плавучая трава, лицо весьма приметно вспухло.

Как ни приучаем мы себя к мысли о бренности всего сущего, но даже постриженные чернецы и монахи великого подвига не могут видеть смерть с совершенным спокой-

ствием. Я отвел глаза от головы мертвеца и стал осматривать его одежду. Тогда меня бросило в страшную дрожь, и холодный пот выступил на моем лбу. Одежда, прикрывавшая тело несчастного, было известною крылаткою Афанасия Сергеевича Пушкина. Я опять взглянул в лицо усопшего. Не оставалось сомнения: утопленник был не кто иной, как таинственно исчезнувший Афанасий Сергеевич.

Обезображенный насильственной смертью, он все же сохранил черты своего образа, и оспины были видны на его лице, и губы и нос могли принадлежать только ему. Единственно, что помешало скорому опознанию покойного, это волосы. Темно-русых курчавых волос Афанасия Сергеевича как не бывало. С головы Афанасия Сергеевича, вымоченные и распрямленные водою, спускались желтоватые пряди волос, и знаменитые бакенбарды были совершенно рыжи и нимало не курчавы. Подумать только, что этот человек всю жизнь красил волосы, и это должно было обнаружиться столь трагически!

Я закрыл свое лицо руками и побрел в монастырь.

Господи сил, помилуй нас!

Три дня я не мог прийти в себя. Образ Афанасия Сергеевича, лежащего на берегу головою к реке, его потерявшие краску волосы, омываемые водою, не отступали от моего мысленного взора. Удел покойника страшил меня.

На четвертый день я вышел из монастыря, чтобы, не дойдя до города, опрометью броситься назад и замкнуться у себя в келии. То, что я узнал, потрясло меня не менее, нежели смерть Афанасия Сергеевича. Именно эта несчастная смерть, однако, вызвала другое великое несчастье: скончался вследствие отравления неизвестным напитком Симфориан Бесполезный. Мне не удалось узнать в подробностях, как это случилось, и я записываю только слышанное от других лиц. Известно, что Симфориан приходил в мертвецкую городской больницы проститься с телом Афанасия Сергеевича. После того он пожелал непременно напечатать в газете некролог об усопшем и действительно написал замечательную статью о личности покойного Пушкина. Но в газете над ним насмеялись и поместить статью не захотели, так что Симфориан, в раздражении, поклялся никогда в жизни не брать в руки пера. Потом его видели в нетрезвом состоянии на улице, а затем стало известно,

что, придя домой, он много выпил неизвестной жидкости и скончался без покаяния и причастия.

Я чувствую, что не в силах продолжать ведение хроники с тем тщанием, какое подобает этому полезному делу. Однако я запишу и о других событиях, которые стали мне известны со стороны. По приказу председателя Совета отстранен от обязанностей начальник городской милиции Макарушкин, как рассказывают, за писание бумаг, не имеющих смысла. Неизвестно, разумелась ли тут бумага, отправленная Макарушкиным покойному Афанасию Сергеевичу Пушкину, или еще какие-нибудь документы.

Вторая новость: по такому же приказу поведено судебное следствие по делу о неправильном употреблении комиссаром Роктовым жидкости, присланной из губернии для борьбы с вредителями. Опять же не знаю, имеет ли следствие связь с отравлением Симфориана Бесполезного неизвестной жидкостью или нет.

Я заканчиваю свою хронику, когда много успокоился, и в моей жизни намечается некий знаменательный поворот. В те памятные потрясениями дни я был не в состоянии что-либо делать, не говоря о писании хроники. Я день за днем просиживал в своей келии, в замкнутости совершенной и подавленный скорбью. Наконец ко мне постучался и вошел отец Рафаил.

Я испугался не столько его посещения, сколько изменившегося его вида. Он сказал, что строго постился все прошедшие дни, неустанно мысля о предстоящей участи братии и моля господа упасти обитель от всякия скверны. Потом отец Рафаил сказал мне:

— И твоя печаль не укрылась от меня, Игнатий. В рассуждении о будущем я пришел к решению не мешать тебе выбрать путь по своей воле. У тебя всегда были склонности к мирской деятельности. И на нас лежит грех за твою душу: посылая тебя в мир, мы обрекли ее на испытание, непосильное в твои годы. Я вижу, как ты томишься. Если есть на то твоя воля — ступай в мир с миром.

Я поклонился отцу Рафаилу в ноги. Христианская доброта этого человека — источник сил моих до конца дней.

Вскоре я ходил с утешением к бывшей матушке Авдотье Ивановне. Но тут я ничего не могу записать, потому что и подходящих слов подобрать не смею.

Скажу лишь кратко, что, возвращаясь от Авдотьи Ивановны, я приостановился у дома председателя и, как преж-

де, посмотрел в окно. В комнате горела лампа, но занавесь не была опущена. Председатель сидел, наклонившись над столом, и рассматривал бумаги. Лицо его было худо, но в худобе своей твердо и решительно.

На этот раз я не испытывал никакого страха и пошел своей дорогой, думая, что мне предстоит в дальнейшем. На душе у меня пели небесные птицы.

На будущей неделе в среду я с бывшей матушкой Авдотьей Ивановной отправлюсь к бывшему диакону Истукарию в отдел записей актов гражданского состояния.

1924—1925

Илья Ильф
Евгений Петров

СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ



Глава I

«ВЕСНУЛИН» БАБСКОГО

Нет ни одного гадкого слова, которое не было бы дано человеку в качестве фамилии. Счастлив человек, получивший по наследству фамилию Баранов. Не обременены никакими тяготами и граждане с фамилиями Баранович и Барановский. Намного хуже чувствует себя Баранский. Уже в этой фамилии слышится какая-то насмешка. В школе Баранскому живется труднее, чем высокому и сильному Баранову, футболисту Барановскому и чистенькому коллекционеру марок Барановичу. И совсем скверно живется на свете гр. гр. Барану, Баранчику и Барашеку.

Власть фамилии над человеком иногда безгранична. Гражданин Баран если и спасется от скарлатины в детстве, то все равно проворуется и зрелые свои годы проведет в исправительно-трудовых домах. С фамилией Баранчик не сделаешь карьеры. Общеизвестен тов. Баранчик, пытавшийся побороть проклятие, наложенное на него фамилией, и с этой целью подавшийся было в марксисты. Баранчик стал балластом, выметенным впоследствии железной метлой. Братья Барашек и не думают отдаваться государственной деятельности. Они сразу посвящают себя молочной торговле и бесславно тонут в волнах нэпа.

Герою нашего повествования досталась благонадежная, ручейковая фамилия — Филюрин. Он никогда не попадал в неудобные, смешные положения, в которых барахтаются

Бараны, Баранчики и Барашеки. Солнце исправно освещало жизненный путь Егора Карловича Филюрина.

Пятнадцатого июля оно светило несколько сильнее обычного, потому что в этот день во всех учреждениях города Пищеслава выдавали полумесячное жалованье. Булыжные мостовые бросали зеркальный отсвет, перебегавший под карнизами немудреных пищеславских домов. Госпапиросник в полотняном переднике стоял на Тимирязевской площади в столбах солнечного света и жмурился на свой стеклянный ларек. На боку папиросника висел горчичного цвета фанерный ящичек с двумя надписями. Первая, прозаическая — была кратка: «Ящик для жалоб». Вторая была в стихах:

Остановитесь, потребители!
Жалобу на этого папиросника опустить не хотите ли?

В Пищеславе чрезвычайно заботились о благополучии граждан.

Егор Карлович Филюрин торопливо подошел к зашевелившемуся папироснику, купил двадцать пять штук папирос «Дефект», вынул из кармана заранее заготовленную жалобу и опустил ее в горчичный ящик. Проделывал это Филюрин ежедневно, так как был человеком с общественной жилкой. Иногда он жаловался на жесткий вкус папирос «Дефект», иногда протестовал против мягкой упаковки или же обрушивался на антисанитарный передник продавца. Если придраться было не к чему, Филюрин опускал в ящик узенькую ленточку со словами: «Сегодня никаких недочетов не выявлено. Е. Филюрин».

Пыхнув папироской, Филюрин отошел от равнодушного продавца и, пересекая вымощенную квадратными плитами площадь, очутился в освежающей тени конной статуи Тимирязева.

Великий агроном и профессор ботаники скакал на чугунном коне, простерши впереди правую руку с зажатым в ней корнеплодом. Четырехугольная с кистью шапочка доктора Оксфордского университета косо и лихо сидела на почетной голове ученого. Многопудовая мантия падала с плеч крупными складками. Конь, мощно стянутый поводьями, дирижировал занесенными в самое небо копытами.

Великий ученый, рыцарь мирного труда, сжимал круглые бока своего коня ногами, обутыми в гвардейские кавалерийские сапоги со шпорами, звездочки которых напоминали штампованную для супа морковь.

Удивительный монумент украшал город с прошлого года. Воздвигая его, пищеславцы подражали Москве.

В стремлении добиться превосходства над столицей, поставившей у Никитских ворот пеший памятник Тимирязеву, город Пищеслав заказал скульптору Шацу конную статую. Весь город, а вместе с ним и скульптор Шац думали, что Тимирязев — герой гражданских фронтов в должности комбрига.

Шац на время забросил обязанности управдома, которые обычно исправлял, ввиду затишья в художественной жизни города, и в четыре месяца отлил памятник. В первоначальном своем виде Тимирязев держал в руке кривую турецкую саблю. Только во время приема памятника комиссией выяснилось, что Тимирязев был человек партикулярный. Саблю заменили большой чугунной свеклой с длинным хвостиком, но грозная улыбка воина осталась. Заменить ее более штатским или ученым выражением оказалось технически невыполнимым. Так великий агроном и скакал по бывшей Соборной площади, разрывая шпорами бока своего коня.

Филюрин вынул бархатную тряпицу, смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо минут десять, мысленно распределяя жалованье. Из тридцати пяти рублей, полученных сейчас Егором Карловичем за полмесяца в отделе благоустройства Пищ-Ка-Ха, рублей шесть оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартирохозяйкой, мадам Безлюдной.

Стук колотушки, донесшийся из-за угла, прервал печальные вычисления. Филюрин поднял чистое лицо и прислушался. Стук разросся, к нему присоединились еще трещеточные звуки и словно бы грохот падающей мебели.

На площадь въехал изобретатель Бабский верхом на деревянном велосипеде. Над толстым еловым рулем трепетала пыльная борода, похожая на детские штанишки. Заметив Филюрина, изобретатель сделал крутой вираж, намереваясь остановиться, но инерция тяжелого аппарата была так велика, что Бабскому пришлось с раскоряченными ногами описать два кольца вокруг статуи, пока велосипед не остановился.

— Скорее! — крикнул Бабский.

— Что скорее? — спросил Филюрин, недоумевающе моргнув светлыми ресницами.

Но было уже поздно. Остановившийся велосипед накренился и рухнул на плиты, потащив за собою седока. Бабский вытащил ногу из-под шпагатной передачи и раздраженно обратился к Филюрину:

— Просил же я вас подержать мой бицикл! Я — прошу убедиться — еще не выучился им как следует управлять! Нужно еще усовершенствовать тормоз и свободное колесо.

Вдвоем они подняли велосипед, оказавшийся очень тяжелым, и прислонили его к одному из четырех фикусов, стоявших по углам цоколя.

Бабский обеими руками раздвинул свою бороду и захохотал. Ударяя ладонью по велосипеду, он убеждал Филюрина:

— Дешевка! Материалу идет на восемь рублей! Прошу убедиться — одно дерево! Сейчас еду за патентом. Бицикл Бабского! Каково?

— Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы! — восхищенно сказал Филюрин.

— Какие выводы?

— Выпить.

— Это всегда можно. Дайте только патент получить.

— Изобретатель должен угощать,— сказал Филюрин с убеждением.

На фоне идущего к закату солнца фигура Бабского рисовалась грязно-оранжевой глыбой. Это был рослый старик с жирными плечами и бородой, полной пороху и мусора. Утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка.

В каждом городе есть свой сумасшедший, которого жалеют и любят. Им даже немножко гордятся. Городской сумасшедший быстро проходит по бульвару, громко и косноязычно выкрикивая слова. Он с размаху открывает дверь кондитерской, но не успевает еще дойти до прилавка, как навстречу ему улыбающийся хозяин выносит на тарелочке миндальное пирожное. Сумасшедший хватает пирожное и, крича, убегает. Его преследуют дети. Но взрослые относятся к городскому сумасшедшему с почтением. Они привыкли к нему. Он стал для них достопримечательностью, наравне с городским театром и деревянной торцовой мостовой на главной улице.

Есть в каждом городе и свой изобретатель. Его тоже жалеют, но не любят, а побаиваются. Мало ли что может вдруг сочинить городской изобретатель!

Бабский был одновременно городским сумасшедшим и городским изобретателем. Целыми днями он бродил по пищеславским учреждениям, предлагая изобретения и усовершенствования всякого рода. А ночью он работал в своей маленькой комнате, пыльное окно которой смотрело на Косвенную улицу. То слышалось оттуда гудение паяльной лампы, то взвывала автомобильная сирена.

Бабский не брезговал ничем. Окончив опыты над автомобильной сиреной, он изобретал вакцину, которая при впрыскивании в голенища делала сапоги огнеупорными! Провалившись на вакцине, Бабский в течение суток ломал голову над тем, как бы приурочить раскаты грома к двухлетнему юбилею работы местного госцирка. Провалившись на громовых концертах, неутомимый изобретатель произвел на свет «перпетуум мобиле», сделанное из двухрублевых ходиков и мятого самовара, емкостью в полтора ведра. Но и «перпетуум мобиле» не вышло. Тогда Бабский сварил опытный кусок мыла против веснушек. Он уже вышел на улицу, чтобы отнести мыло на пробу в аптечный подотдел, как его осенила мысль о постройке деревянного велосипеда. Изобретатель работал три дня, и из его рук вышел «бицикл Бабского». Все это время мыло лежало в левом кармане брюк, нагревалось и, никому не видимое, меняло свой яичный цвет на голубой.

— Скажите, Бабский,— спросил Филюрин, помогая изобретателю взобраться на кадку с фикусом,— изобретать — это трудно?

Бабский тяжело перелез с кадки на камышовое седло велосипеда и, кряхтя, ответил:

— Простейшее дело.

Раздался гром. Деревянная машина, вздрагивая, покатилась по площади.

— Что это дает в месяц? — крикнул Филюрин вдогонку.

— Рублей шестьдеся-а-а-ат! — донеслось сквозь грохот.

Бицикл Бабского исчез в ослепляющей печи заката.

Филюрин хотел было продолжать путь к дому и сделал уже несколько шагов, когда под его ногами загремела металлическая коробочка. Филюрин поднял ее и повертел в руках. Коробочка была от зубного порошка, но внутри ее оказался кусок нежно-голубого мыла.

«Не иначе как Бабский выронил,— подумал Филюрин.— Интересно, сколько такое мыло может стоить?»

В неслужебное время мысль Филюрина работала довольно вяло. Всегда почему-то на ум ему взбредали одни и те же вопросы: сколько тот или иной предмет стоит, на сколько дешевле он продается за границей и как много зарабатывает собеседник. Только с барышнями он несколько оживлялся и вел беседы на волнующие темы — любовь и ревность. Но и с барышнями разговор ладился до наступления сумерек, когда совместное сидение сводилось к лирическому молчанию.

Голубое мыло навело Филюрина на мысль о бане.

Вечером предстояла дружеская вечеринка с танцами и оргвыводами, т. е. пивом и водкой.

Филюрин покинул площадь и двинулся в Дворянские бани. По дороге он зашел домой, захватил полотенце и люфовую рукавицу.

В Пищеславе средняя цена отдающейся внаем комнаты была восемь-девять рублей. Мадам Безлюдной Филюрин платил только четыре, так как мадам училась пению и ее фиоритуры сильно понижали стоимость комнаты. И сейчас мадам Безлюдная, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты.

Филюрин давно не платил за квартиру. Он собирал деньги на костюм.

Он выбежал на улицу, радуясь тому, что уберег от золотозубой хозяйки четыре рубля, что сейчас он сможет опустить в банный ящик для жалоб какое-либо дельное заявление и, сбросив с себя двухнедельную грязь, отправиться на вечеринку, где его ждет беспримерное веселье в обществе сослуживцев из отдела благоустройства.

Последний широкий луч солнца лег на бритый затылок Филюрина.

Десятки тысяч людей с бритыми затылками и с такими же, как у Филюрина, чистенькими лицами и серенькими глазами влачат обыденную жизнь, исправно ходят в баню, исправно платят членские взносы в профсоюз и не посещают общих собраний, добросовестно веселятся в обществе сослуживцев и ставят себе за правило не платить за квартиру; но не их избрала судьба, не им позволила история выдвинуться для дел больших и чудесных.

Дивный и закономерный раскинулся над страною служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края, и еще большие мириады подотделов, сияющие электрической пылью, легли, как Млечный Путь. Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающие взоры. Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии. И тревожными августовскими ночами падают звезды — очевидно, сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успев сгореть и обратиться в пар, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды. Притягиваемые то одной, то другой звездной организацией, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями.

Велико звездное небо отечественного аппарата и обширен выбор светил. Но для великих преобразований в городе Пищеславе судьба выбрала самую маленькую и неяркую звездочку, свет которой еще не дошел до земли. Выбрала она Егора Карловича Филюрина — мандолиниста и неплательщика в жизни, а по службе скромного регистратора Пищ-Ка-Ха.

Войдя в баню, Филюрин еще не знал, что выйдет оттуда великим. Поэтому, выбрав угловой диванчик, Егор Карлович стал медленно раздеваться. Он распустил матерчатый поясок своей полутолстовки, снял вечный визиточный галстук с металлической машинкой, сорочку с пикейной рубчатой грудью и брюки, бренчавшие, как сбруя (Филюрин носил в карманах множество мелких железных кружочков, которые опускал в автоматы вместо гривенников).

Раздевшись догола, Филюрин долго поглаживал плечи и бока, остывая и с пренебрежением поглядывая на других голых. Знакомых в бане не было. Перекинув через плечо полотенце, Филюрин взял голубое мыло Бабского и вошел в мыльную.

В это время Бабский, подав заявление о патенте и торопливо объяснив собравшейся у входа в ГСНХ толпе преимущества елового бицикла перед металлическим, с шумом выкатил на проспект имени Лошади Пржевальского.

В этот сумеречный час между двумя рядами пепельных от пыли лип уже гуляли пищеславцы. Привыкшие к причудам городского изобретателя граждане провожали бицикл равнодушными взглядами.

Поворачивая на площадь, Бабский наехал на человека в белой косоворотке. Потерпевший покачнулся.

— А! Это вы, товарищ Лялин! — примирительно сказал Бабский.— Я как раз хотел сегодня заехать к вам в аптечный подотдел.

— Опять изобрели что-нибудь? — проворчал товарищ Лялин, массируя ушибленное бедро.

— Изобрел, изобрел! Мыло от веснушек. «Веснулин» Бабского! Сейчас покажу. Весь город ахнет, прошу убедиться. Подержите бицикл.

Освободив руки, изобретатель стал рыться в карманах, ища «веснулин». Но ни в одном из всех четырнадцати карманов пиджачной тройки он не нашел металлической коробочки с мылом.

— Так вы мне завтра в подотдел занесите,— нетерпеливо сказал Лялин,— там и подработаем вопрос.

— Позвольте, позвольте, куда же оно могло деться,—

суетился Бабский,— позвольте, где же я был? Наверно, в губсовнархозе оставил. Подождите здесь! Я сейчас приеду!

И Бабский, оттолкнувшись ногой от заведующего аптечным подотделом, покатил обратно по проспекту им. Лошади Пржевальского.

Пока Бабский ломился в закрытые двери ГСНХ, а потом, опечаленный потерей «веснулина», колесил по всему городу, наполняя его погремушечным стуком, Филюрин мылился.

Он окатился горячей водой из шайки, которой пришлось дожидаться довольно долго, зажмурил глаза и густо намылился. «Веснулин» Бабского издавал беспокойный скипидарный запах.

«Медицинское мыло,— с удовольствием подумал Филюрин, не раскрывая глаз и клекоча от наслаждения,— наверно, не меньше сорока копеек стоит».

Филюрин чувствовал, как тело его становится легким. От этого было приятно, и в голове происходил маленький сумбур. Мыслилось что-то такое очень хорошее, что-то вроде кругосветного путешествия за полтинник. И казалось Филюрину, что он исчезает и растворяется в банном тепле.

И, странное дело, милицейскому надзирателю Адамову, мывшемуся неподалеку и только что намылившему голову семейным мылом, показалось, что голова знакомого ему по участковым делам Филюрина исчезла и моется одно только туловище.

Адамов стал быстро промывать залепленные пеной глаза, а когда промыл, в углу, где только что стоял Филюрин, никого не было. Только вились смутные локончики пара да раскатывалась по наклонному полу тяжелая шайка.

Милиционер Адамов был так удивлен происшедшим, что ему захотелось вытащить свисток и созвать на помощь дворников. Но свисток вместе со своей форменной упряжью остался в предбаннике. К тому же к освободившейся шайке уже подползали голые. Адамов недолго думая первым схватил шайку и предался дальнейшим банным удовольствиям. О Филюрине он сейчас же забыл.

Между тем Филюрин с закрытыми еще глазами подошел к крану и, зачерпнув в ладони холодной воды, умыл лицо. То, что он увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел (а не увидел он многого: ни своих рук, ни ног, ни живота, ни плеч), ошеломило его. В страхе он побежал под душ. Он чувствовал, как под теплым дождиком слетело с него мыло, но тело продолжало отсутствовать.

Необыкновенный испуг вытолкнул Филюрина в предбанник. Филюрин подскочил к зеркалу. Себя он не увидел. Его не было. Он не отражался в зеркале, а между тем он стоял против зеркала и даже притронулся к нему рукой.

Но подумать о своем отчаянном положении Филюрин не успел. В зеркальном поле отразились две подозрительные фигуры. Они вошли в предбанник из передней и, увидев, что здесь никого нет, захватили ближайшую к ним стопку одежды и проворно выбежали.

— Стой! — закричал Филюрин, услышав знакомый звон своих брюк.

Голос его был прежний, филюринский.

В гневе он погнался за похитителями. Воры неслись к темным переулкам Нового города. За ними во весь дух бежал невидимый регистратор.

Произошло темное и удивительное событие. Двадцатишестилетний молодой человек, исправный служащий, отличавшийся завидным здоровьем, одновременно потерял все, что у него было: полутолстовку, визиточный галстук и тело. Осталось только то, в чем Филюрин до сих пор совершенно не нуждался. Осталась душа.

А город, еще ничего не подозревавший, жил обычной жизнью. В ночной тиши раздавались резкие звуки увертюры к опере «Кармен», исполняемой в клубе водников великорусским оркестром на семнадцати домрах.

Глава II

«ВОЛЕНС-НЕВОЛЕНС»

До самого рассвета невидимый регистратор блуждал по переулкам, настолько отдаленным от центра, что их даже к 1928 году не успели переименовать. Воров он не настиг, да и погоня за гардеробом была уже бесцельной. Пробежав километров шесть, Филюрин сообразил, что призраку одежда не нужна. Однако впереди было худшее — в девять часов предстояло прибыть на службу.

Следствием этого явилось решение немедленно отправиться к Бабскому и требовать возвращения тела еще до начала занятий в отделе благоустройства.

Через двадцать минут изобретатель Бабский проснулся от холода. Окно было раскрыто, и утренний ветер сгонял в угол комнаты деревянные стружки, завившиеся колечками.

— Товарищ Бабский! — услышал изобретатель.— Товарищ Бабский!

Бабский выпрыгнул из постели и подбежал к окну. Ули-

ца была пуста и чиста. Холодная, оловянная роса поблескивала на деревьях.

— Хулиганы! — крикнул изобретатель, захлопывая окно.— Удивительное хулиганство!

— Товарищ Бабский,— услышал он за собой,— дело в том, что я был в бане...

Бабский сел на избрызганный подоконник и изумленно оглядел комнату. В комнате никого не было.

— Кто был в бане? — тихо спросил он.

— Я,— ответил стул.

Тогда Бабский поднялся, на пуантах подкрался к стулу и, насторожив слух, с крайним любопытством спросил:

— Вы были в бане?

Но стул не ответил. За спиной изобретателя послышался застенчивый кашель и тот же голос с мольбой произнес:

— Я с этой стороны, товарищ Бабский. Дело в том, что меня не видно.

— Кого не видно? — раздраженно спросил Бабский.

— Меня, Филюрина.

— Позвольте, почему же вас не видно?

— Дело в том, что я был в бане, а теперь мне нужно к девяти часам прийти на службу, а меня не видно.

По мере того как Филюрин вяло и нерешительно выбалтывал подробности своего исчезновения, лицо изобретателя все светлело и оживлялось.

— Так вы говорите, намылились? — спросил изобретатель, дергая себя за бороду.— С научной стороны это весьма интересно!

— Вы же поймите,— убеждал Филюрин,— из-за вашего мыла я теперь не могу пойти на службу.

— А я тут при чем? Вы взяли мой «веснулин» без спроса, но черт с вами. Мне не жалко. Но ведь мыло действовало правильно? Веснушки исчезли?

— Веснушки исчезли,— искательно сказал невидимый,— но ведь и я тоже исчез, товарищ Бабский. Войдите также и в мое положение.

В комнате раздалось жалкое стенание.

— Черт его знает,— задумчиво произнес изобретатель,— я изобрел только мыло от веснушек...

— Скажите, может быть, вы можете сделать так, чтобы я опять сделался видимым?

— Так-с,— заметил Бабский,— надо подумать. Вы где сейчас, молодой человек? Если на стуле, то я сяду на кровать, а то вас раздавить недолго.

— Я постою.

— Ага. Ну, стойте. А я подумаю.

В течение получаса в комнате слышались только громкие междометия, которые пропускал сквозь бороду изобретатель.

— Уже без четверти семь,— канючил невидимый.— Не говоря о том, что я всю ночь не спал, я из-за вашего мыла еще опоздаю на службу.

Бабский встал, вытряхнул свою бороду обеими руками, как вытряхивают носильное платье, и решительно сказал:

— Не морочьте мне голову! Я с вами еще буду судиться за то, что вы стащили мое мыло. Я не могу в полчаса сделать такое серьезное изобретение, как возвращение человеческого тела. Я, может быть, и за пять лет не успею этого сделать.

Как видно, Филюрин пришел в сильнейшее волнение, потому что упал стул и с верстака посыпались чурки — запасные части к бициклу.

— Пошел вон! — завопил Бабский.— Хулиган! Ну, вон отсюда!

Окно само собою распахнулось, и уже с улицы донесся нудный голос невидимого:

— Я на вас в суд подам!

— Я тебе подам! Украл мыло и еще пристает!

— Вы не имеете права,— хорохорилась пустынная улица,— ответите, как за убийство!

— Ворюга! — дразнил городской сумасшедший, свешиваясь из окна.— Так тебе и надо!

Окно с треском захлопнулось. Бабский минут десять ходил по комнате успокаиваясь. Потом, придя к заключению, что «веснулин» приобрел свои удивительные свойства под влиянием брожения в железной коробочке, изобретатель зажег примус и немедленно же стал варить второй кусок «веснулина», восстанавливая по памяти его основные ингредиенты.

Потосковав у окна, прозрачный регистратор двинулся по Косвенной улице.

Город уже проснулся. Проехала клетка с наловленными за утро бродячими псами. Почуяв запах невидимого, население клетки залаяло и завизжало.

Час совслужащих приближался, а Егор Карлович все еще не знал, что предпринять. На Тимирязевской площади уже стоял знакомый госпапиросник. Так же, как и вчера, блистал его стеклянный ларек, и жалобный ящик по-прежнему манил к себе усталого путника. Но все это было не для Филюрина.

Внезапно и скоропалительно переменилась вся жизнь регистратора, даже не переменилась, а, вернее, прекратилась. От него ушли: еда, питье, табак, любовь, движение по службе, возможность восхитить кого-нибудь своим нарядом или телом. Оставалось только одно — возможность мыслить. Но этим делом Филюрин никогда не занимался.

В страхе и удивлении очутился Филюрин перед большим, прибитым к двум столбам, железным плакатом. На плакате был изображен бегущий человек в такой же точно полутолстовке, какая еще вчера была на Егоре Карловиче. Он устремлялся вперед, держа в протянутой руке белый червонец. Под картиной была ликующая надпись:

КТО — КУДА, А Я В СБЕРКАССУ!

«А я куда? — горько подумал невидимый.— Куда я?»

Полный отчаяния, Егор Карлович бросился домой. Он подошел к окну своей квартиры и заглянул внутрь. Мадам Безлюдная сидела за пианино, тяжело роняя пухлые руки на клавиши. Из открытого рта безостановочно лился благовест. Златозубая мадам упражнялась в звуке «и».

— А я куда? — прошептал Филюрин.— Не идти же на службу в таком виде?

А между тем уже все шло и ехало на службу. Проехал в автомобиле заведующий отделом благоустройства Каин Александрович Доброгласов с сыновьями: Афанасием Каиновичем, работающим в отделе лиственных насаждений, и Павлом Каиновичем — из отдела сборов.

— Пойду,— решил Филюрин наконец,— ведь я же ни в чем не виноват! Я им все объясню. Пусть на комиссию пошлют. Пожалуйста!

Отдел благоустройства Пищ-Ка-Ха занимал пять комнат в двухэтажном особняке на Тысячной улице. В каждой комнате был большой камин, отделанный в мрамор. Так как каминов не топили, то в них содержались дела в папках, перевязанных шпагатом, и в раздувшихся скоросшивателях.

К тому времени, когда Каин Александрович прибыл в вверенный ему отдел, все сотрудники были уже в сборе, и только стол регистрации земельных участков пустовал. Каин Александрович критическим взором окинул стол регистрации, потом взглянул на шестигранные стенные часы, сверил их со своими мозеровскими, затем сказал:

— Что, Филюрин болен?

Евсей Львович Иоаннопольский, делавший записи в главной книге и находившийся в эту минуту ближе всех

к начальнику, заметил, что о болезни Филюрина как будто никаких сведений не имеется.

— Не знаю,— сказал Каин Александрович без всякого выражения,— за ним эти шутки не первый раз. Кажется, воленс-неволенс, а я его уволенс.

Последние слова Доброгласов произнес с особенным вкусом.

Выражение это он услышал в 1923 году, когда Пищеслав посетило лицо, облеченное полномочиями по части садового благоустройства. И самое-то это выражение «воленс-неволенс, а я вас уволенс» было сказано ему, Каину Александровичу, за обнаруженные упущения. После этого Доброгласов уверился, что лицо, посетившее город, есть лицо весьма важное и, возможно, даже историческое.

Когда гроза пронеслась, Каин Александрович решил увековечить момент пребывания гостя. Трамвайный вагон № 2, в котором посетитель проехался по городу, был снят с линии и помещен в музей благоустройства с мемориальной дощечкой: «В этом вагоне сентября 28 дня 1923 года тов. Обмишурин отбыл на вокзал». После этого исторического эксцесса в городе Пищеславе циркулировали только два трамвайных вагона, потому что всего их было три. Пищеславцы с ужасом думали о том, что Обмишурин еще раз может приехать с ревизией и тогда трамвайное движение прекратится навсегда.

Каин Александрович давно уже сидел в своем кабинете и макал перо в сторублевую бронзовую чернильницу «Лицом к деревне» (бревенчатая избушка с раскрывающейся дверцей и надписью, сделанной славянской вязью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»), а Иоаннопольский никак не мог избавиться от гнетущего чувства.

Положение Иоаннопольского в отделе было шатким. Его могли выкинуть в любую минуту, хотя он служил верой и правдой уже восьмой год. Происходило это вследствие маниакальной идеи, засевшей в голове Каина Александровича. Два года тому назад в Пищеславе прошумел показательный процесс проворовавшегося управделами ПУМа Иванопольского. С тех пор Доброгласов остановился на мысли, что Иванопольский и Иоаннопольский — одно и то же лицо. При очередном сокращении штатов Каин Александрович неизменно требовал увольнения Иоаннопольского, подкрепляя свое требование криками:

— Зачем нам управделами ПУМа?

Как ни уверяли Доброгласова, что Иоаннопольский, Евсей Львович, ничего общего с Иванопольским, Петром

Каллистратовичем, не имеет, что, в то время как Петр Каллистратович сидел на скамье подсудимых, Евсей Львович аккуратно являлся на службу в девять часов утра и что Иванопольский наконец приговорен к десяти годам и работает в канцелярии допра,— это действовало только временно.

При следующем сокращении Каин Александрович подымался и с упреком спрашивал:

— Зачем нам Иванопольский? Зачем у нас служит управделами ПУМа? Его надо сократить в первую голову.

Доброгласову снова доказывали, какая пропасть отделяет заслуженного бухгалтера Иоаннопольского от известного всему городу жулика Иванопольского, но Каин Александрович смотрел на объяснявшего белыми эмалированными глазами и говорил:

— Вы кончили, товарищ? Ну, а теперь вы мне скажите, зачем нам, я вас спрашиваю, управделами ПУМа? Зачем? Воленс-неволенс, а я его уволенс.

По всем этим причинам Евсей Львович не любил никаких волнений в отделе.

Впрочем, никто в отделе не любил волнений: ни Лидия Федоровна, немолодая девушка со считанными волосами кудрявой прически, ни самый молодой из служащих отдела — Костя, ни товарищ Пташников, пищеславский знахарь, числящийся в ведомости личного состава инструктором-обследователем.

Подобные Пташникову служащие водятся в каждом городе и даже в каждом учреждении. Это обычно недоучившиеся медики или родственники врачей, а то и просто любители поговорить на медицинские темы.

К ним-то и обращаются за советом служащие, глубоко убежденные в том, что врачи страхкассы лечат неправильно, не учитывая новейших достижений научной мысли. Общение же с частными врачами невозможно, так как частные врачи, по мнению служащих, спекулянты и связываться с ними не стоит. Полным доверием пользуются только профессора, но посещать их мешает бедность.

И все обращаются к собственному медику. Советы он дает охотно, денег за это не берет и, сияя отраженным светом родственного или знакомого ему медицинского светила, отличается универсальностью в познаниях.

Пташников, сидевший за своим тонконогим столиком рядом со столом Филюрина, был прекрасным, знающим и совершенно бескорыстным учрежденским знахарем-колдуном. Особое уважение он внушал себе тем, что был двою-

родным племянником известного в Ленинграде терапевта.

Как только Каин Александрович затих в своем кабинете, к Пташникову подошел еще не успокоившийся Евсей Львович.

— Ну, что? — спросил Пташников, останавливая бег своего пера и обратив к Иоаннопольскому круглое лицо.— Как адреналин?

— Впускал, как вы говорили. С носом у меня теперь все благополучно, но знаете что, Пташников...

Выслушав Иоаннопольского и рассмотрев мешки под его глазами, Пташников сказал:

— Лучше всего, конечно, обратиться к профессору. К Невструеву, например.

— А все-таки? — настаивал Евсей Львович.

— Не знаю. Мне кажется, что у вас отравление уриной.

На щеках Евсея Львовича проступил клубничный румянец.

— Неужели уриной?

— Видите ли, лучше всего вам все-таки обратиться к Невструеву. Может быть, это нервное.

— Тут станешь нервным,— заметил Иоаннопольский, поглядывая на дверь.— Что же вы все-таки думаете?

— Я думаю, что это все-таки отравление. Посоветуйтесь с Невструевым или, знаете что, сделайте сначала анализ. Может быть, у вас белочек.

Совершенно подавленный, Евсей Львович отошел к своей конторке и, взобравшись на винтовой полированный табурет, стал разносить статьи по счетам главной книги.

— Что же с Филюриным? — спросили из угла.— Нужно кому-нибудь сесть на регистрацию. Там человека три уже ждет.

И действительно, у барьера, против стола Филюрина, стояло несколько человек, недовольно посматривавших по сторонам.

— Алколоиды,— сказал Пташников, усмехаясь,— просто выпил лишнее.

— Ничего подобного! — отозвался Костя.— Мы его вчера весь вечер ждали. Компания подобралась. Но он не пришел. Всю вечеринку нам сорвал. Мы хотели под мандолину танцевать.

Если бы Костя знал, во что превратился тот, кто еще до вчерашнего дня так ловко бряцал овальным медиатором, прижимая к животу круглый полосатый зад мандолины! Как

далек был теперь от Филюрина вальс «Осенний сон», который он с великим трудом разучил по цифровой системе.

— Кстати, Пташников,— сказал Костя с тревогой,— я слепну.

— Да ну вас! — ответил инструктор-обследователь.— Вечно вы выдумываете какие-то болезни!

— Да, ей-богу, я слепну. Уже три дня, как у меня в глазах плавают разноцветные мушки.

— Ладно. Дайте пульс,— на всякий случай сказал Пташников.— Что ж, пульс нормальный, хорошего наполнения. Ничего вы не слепнете. Пойдите лучше к Доброгласову и спросите, кого посадить на место Филюрина, а то люди ждут.

В это самое время невидимый регистратор, прозрачная сущность которого дрожала от страха, подымался по чугунной лестнице Пищ-Ка-Ха.

«Что скажет Каин Александрович?» — тоскливо думал невидимый.

Глава III

«КТО — КУДА, А Я — В СБЕРКАССУ!»

Приход невидимого на службу вызвал в отделе благоустройства необыкновенный переполох. Первое время ничего нельзя было разобрать. В общем шуме выделялся полнозвучный голос Каина Александровича и дрожащий тенорок Филюрина.

— Этого не может быть! — кричал Доброгласов.

— Ей-богу! — защищался Филюрин.— Спросите Бабского!

Служащие бегали из комнаты в комнату с раскрасневшимися лицами и на все расспросы посетителей отвечали:

— Ну, чего вы лезете? Разве вы не видите, что делается? Приходите завтра.

Все приостановилось. Справок не давали, касса не работала, и в задней комнате потухал брошенный курьерами кипятильник «Титан». Было не до чаю.

— Это бюрократизм! — кричали ничего не понимавшие клиенты отдела благоустройства.

Впрочем, никто ничего не понимал.

В кабинете Доброгласова плотной кучей столпились служащие. В арьергарде топтался боязливый Иоаннопольский, беспрерывно шепча:

— Что? Что он сказал? Это Филюрин сказал? А Каин?

Что Каин ответил? С ума можно сойти. Что? Абсолютно не видно? Стул перевернул? А что Каин ему? Подумать только! Этого нигде в мире нету!

— Ну, нету! В Америке, наверно, есть и не такие!

— Как вам не стыдно это говорить. При чем тут Америка!

— Не мешайте! — шептал Евсей Львович.— Тише! Что он сказал? А Каин? Вы знаете, Каин не прав. Нельзя же так кричать на невинного человека. Впрочем, при его вспыльчивом характере...

В это время Каин Александрович наседал на растерявшегося невидимого.

— В конце концов это не дело администрации, а дело месткома.

Робкий голос Филюрина стлался по самому полу. Может быть, он стоял на коленях.

— Я только об одном прошу — чтобы мое дело разобрали!

— Можно разбирать только дело живого человека. А вы где?

— Я здесь.

— Это бездоказательно! Я вас не вижу. Следовательно, к работе я вас допустить не могу. Обратитесь в страхкассу.

— Но ведь я же здоровый человек.

— Тем более. Воленс-неволенс, а я вас уволенс.

Сотрудники переглянулись.

— Самодур,— прошептал Иоаннопольский.— Без согласования с месткомом!

— Да, да, Филюрин,— продолжал Каин Александрович,— хватит с меня управделами ПУМа. Еще невидимого держать. Берите бюллетень и идите. Идите, идите! Вы же видите, что я занят!

— Меня убили! — закричал невидимый.— У меня украли тело!

— Раз вас убили, страхкасса обязана выдать вам на погребение!

— Какое может быть погребение живого человека!

— Это парадокс, товарищ,— ответил Каин Александрович.— В отделе благоустройства не место заниматься парадоксами, а место заниматься текущей работой. Как решит РКК, так и будет. Вы ушли?

Ответа не было. Испугавшись слова «парадокс», Филюрин покинул кабинет и очутился среди сотрудников.

Сотрудники сначала рассыпались в стороны, крича изо всей силы: «Где вы, где вы?»

— Здесь, у арифмометра. Вот я поднял пресс-папье, а Каин говорит, что я не существую. Я в состоянии работать.

После пугливых расспросов и столь же пугливых ответов невидимого служащие уяснили, что Филюрин в еде не нуждается, холода не испытывает, хотя и исчез, будучи голым, что тело свое ощущает, но, как видно, его все-таки нет, и чем он только что поднял пресс-папье, он и сам не знает.

— Прямо анекдот! — повторял невидимый.

Но событие было настолько поразительным, что общей темы для разговора не нашлось. Стало скучновато.

— Ну, что новенького в отделе? — спросил Прозрачный, хотя за последний год единственной новостью было его собственное исчезновение.

— Ничего,— ответил Иоаннопольский,— говорят, новая тарифная сетка будет.

— Три года говорят,— послышался из-за арифмометра безнадежный ответ невидимого.

— Да.

— Вы знаете, меня еще и обокрали! Все чисто украли.

— А вы заявили в милицию?

— Да зачем заявлять? Ведь мне-то уже не нужно! — с горечью произнес голос регистратора.

— Это вы напрасно, Егор Карлович. Если все так будут относиться, то такой бандитизм разовьется!

Филюрин осмотрелся. Все было прежнее, давно известное, еще вчера надоедавшее, а сегодня бесконечно милое и невозвратимое — счеты с костяшками пальмового дерева, черный дыропробиватель, линейки с острыми латунными ребрами и толстая, чудесная книга регистраций.

— Как же все это произошло? — спросил Евсей Львович.— Расскажите подробно.

Филюрин повторил все, что он рассказывал уже Доброгласову. И так как сотрудники все это слышали, стоя у дверей кабинета, рассказ показался им не таким уже удивительным.

— Бывает, бывает,— сказал инкассатор,— на свете, пусть люди как ни говорят, но есть много непонятного. Моя бабушка перед смертью три гроба видела.

— Это бабьи разговоры! — сказал невидимый.

— Нет, нет,— закричал инкассатор.— Это не пустяк.

Наперерыв стали рассказывать всякие таинственные истории: о гробах, призраках и путешествующих мертвецах.

— Выходит, что и я призрак,— усмехнулся Филюрин.

Но его не услышали.

Инкассатор рассказывал историю загадочного появления покойного дяди одного своего приятеля.

— ...Они открывают окно, а за окном никого нет. Между тем все ясно слышали, что кто-то постучал. Сам я этого не видел, но приятель видел собственными глазами.

Между тем Лидия Федоровна, давно уже с опасением поглядывавшая на двери кабинета Доброгласова, подобралась к арифмометру.

— Вы еще здесь, Егор Карлович? — спросила она.

— Здесь.

— Простите, пожалуйста, мне к арифмометру нужно. Пардон!

Оттеснив невидимого, Лидия Федоровна деловито завертела ручку. Арифмометр заскрежетал. Евсей Львович сел за главную книгу. Потянулись за свои столы и все остальные. О невидимом начинали забывать.

— Скажите,— обратился Филюрин к инкассатору,— вы давно купили эту сорочку? Хорошая сорочка. Сколько вы за нее дали?

Ответа невидимый не получил, так как инкассатор умчался по своим делам.

— Егор Карлович? — спросил Пташников.— Я вам, кстати, хотел посоветовать обратиться к Невструеву. Вполне знающий терапевт.

— Зачем же обращаться? — тупо спросил Филюрин.

— Может быть, это у вас на нервной почве? Вам, наверно, нужна электризация. Токи Дарсонваля. Замечательная вещь. Или, знаете что, попробуйте водолечение. Температуру вы меряли?

— Где там мерять! — сказал Филюрин грустно.— Пойду я в местком.

В маленькой комнате месткома, главным украшением которой являлся щит с прикрепленными к нему частями винтовки и надписью: «Умей стрелять метко», сидели любопытные из всех отделов Пищ-Ка-Ха.

— Меня не имеют права уволить! — раздался голос Филюрина.— Я трудоспособности не потерял!..

Присутствующие загомонили. Самолюбие невидимого временно было удовлетворено. Здесь его история принималась к сердцу чрезвычайно близко. Здесь он еще мог удивлять. Он приподымал чернильницу, показывая, где он находится, объяснял детали нового своего быта и уже с некоторым опытом рассказал, что тело свое он ощущает, но, как

видно, тела все-таки нет, и чем он, Филюрин, поднял только что чернильницу, он и сам не знает.

— Кроме того, меня обокрали,— закончил невидимый свой удивительный рассказ.— Ей-богу! Все начисто уперли.

— Так вы подайте в кассу взаимопомощи,— сказал председатель месткома,— в таких случаях она может выдать даже безвозвратную ссуду. Пишите заявление.

Но тут председатель осекся и потрогал руками прическу.

— Впрочем, вам деньги не нужны. Не к чему. Есть-пить вам не надо, да и платья не на что надеть. Так в чем же ваш конфликт с администрацией? Согласно правил внутреннего распорядка уволить вас не могут. Есть пункт «г», но он к вам не подходит — обнаружившаяся непригодность к работе.

— Работать я могу! — воскликнул невидимый.

— Но зачем же вам работать! Раз пить-есть вам не надо, мы дадим лучше на ваше место многосемейного безработного...

— Как!! — завопил невидимый.— С какой стати меня на биржу посылать! Я вылечусь. Я к профессору Невструеву пойду. Он знающий терапевт. Я стану видимым. Извините, товарищи! Меня нельзя уволить! Где же это такой закон, чтоб невидимых увольнять. Пункт «г» не подходит. А других пунктов подходящих нет.

— Что ж, это верно,— сказал председатель.— Этот вопрос надо заострить.

— А куда он деньги станет класть? — спросил из толпы завистливый Павел Каинович, пришедший полюбоваться на диковинного подчиненного своего папаши.

— Хоть псу под хвост! — грубо ответил невидимый.— Принципиально! Это месткома не касается. Могу класть в банк. Кто — куда, а я — в сберкассу. Мое дело!

— Формально будем защищать,— сказал председатель.— Попроси-ка, Костя, сюда товарища Доброгласова на заседание РКК. Будем филюринское дело разбирать.

— Нет, это прямо безобразие какое-то,— заметил Филюрин,— взять и уволить сотрудника ни за что. Будто невидимый уже и не человек. Возмутительно!

Собравшиеся молчали. Они начинали завидовать невидимому. Как же! Ему не нужно производить никаких расходов. А жалованье идет полностью, как всякому.

— Сколько же такой невидимый может прожить? — спросил курьер Юсюпов, давно уже производивший в уме какие-то вычисления.

— Неизвестно,— злобно ответил загадочный регистратор.

— Может, такой невидимый и не умирает вовсе? — продолжал Юсюпов.

— И наверно даже я буду жить вечно.

Глаза председателя месткома сразу потеряли свой будничный блеск.

— Ты тут потише насчет вечности. Одурел от невидимости. Ты смотри, как бы тебя за такие слова из союза не выкинули.

— А возможно, что и будет жить вечно! — завздыхал Юсюпов.

— Тебе, курьер, завидно! — огрызнулся Филюрин.

— Мне не завидно, а только лет за двести, товарищ Филюрин, можешь большой капитал составить. Вроде как Циндель станешь.

Тут в голове председателя месткома, незаметно для присутствующих, родилась блестящая идея. И он сказал, обративши взор повыше чернильницы:

— Слушай, Филюрин, а тебе и на самом деле деньги не нужны. Ты свою зарплату жертвуй в Осоавиахим. А?

Послышалось страшное сопение. По комнате пронесся небольшой ураган.

— Что вы на меня навалились? Сколько все сотрудники платят, столько и я буду платить.

— Скряга ты, Филюрин,— произнес председатель,— невидимый должен проявить большую активность. Ну, черт с тобой, защищать тебя рабочая часть РКК все-таки будет.

В эту минуту, спугнув лодырничающих сотрудников, в комнату вошел Каин Александрович.

— Товарищи посторонние! — провозгласил председатель.— Прошу очистить помещение. Сейчас будет открытое заседание РКК.

Комната мигом обезлюдела.

Против председателя и Юсюпова, представлявших рабочую часть РКК, уселся управделами. Каин Александрович сел у стены, подложив под спину портфель, чтобы не измарать пиджак. Над головой его жирно блестели винтовочные части.

— А этот уже есть? — спросил Каин Александрович, сделав рукой неопределенное движение.

— Он тут. Ну, товарищи, как же быть с Филюриным? Юсюпов, веди протокол.

Каин Александрович убоялся конфликта и согласился

признать Филюрина живым и дееспособным, выговорив себе двухнедельный испытательный срок, после которого вопрос о невидимом снова должен был стать предметом официального обсуждения.

В конце заседания, происходившего довольно мирно, Каин Александрович вдруг воспламенился.

— Хорошо! Пусть невидимый остается, хотя ни в одном учреждении нет невидимых служащих. Я согласен. Но зачем нам, товарищи, управделами ПУМа, Иванопольский? Не понимаю?

— Каин Александрович, но ведь вопрос об Иоаннопольском прорабатывался не раз, и мы уже сами выявили, что наш Иоаннопольский совсем не тот.

— Нет,— сказал Доброгласов,— я буду просить начальника Пищ-Ка-Ха бросить меня на другую работу. Я не могу отвечать за благоустройство города, когда в отделе работают какие-то невидимые и управделами ПУМа. Я не могу работать с привидениями. Это мистика. Я требую жертв.

— Что же вы хотите? — спросил председатель месткома.

— Я требую жертв,— повторил Каин Александрович.— Я не могу делать из благоустройства бедлам. Воленс-неволенс...

И уже кроткий Евсей Львович, связанный по рукам и ногам, был возложен на жертвенник, уже была занесена над ним вооруженная автоматической ручкой десница Доброгласова, когда подняла свой голос рабочая часть. Она не хотела жертв.

Однако на этот раз разозленный Каин Александрович показал алмазную твердость. Пришлось создать конфликт, и дело о мнимом управлении ПУМа пошло в примирительную камеру.

— Так вы, Филюрин, допускаетесь к исполнению обязанностей. Можете идти работать.

Вслед за этим, впервые в истории учреждений города Пищеслава, со стола скромного регистратора Филюрина ручка сама собой поднялась на воздух, наклонилась под должным углом и вписала в развернутую книгу регистрации земельных участков самую обыденную деловую запись.

Посетители отдела благоустройства, давно забывшие детскую сказку о шапке-невидимке, не читавшие Уэльса и не знавшие еще об удивительном случае с «веснулином» Бабского, первое время обмирали и даже опускали негодующие заявления в огромный жалобный ящик Пищ-Ка-Ха,

но потом, занятые своими делами, привыкли и находили, что невидимый Филюрин работает гораздо быстрее Филюрина видимого и что душа регистратора гораздо вежливее, чем была его земная оболочка.

Пищеславцы успокоились, называли Филюрина «товарищ прозрачный» и даже слегка над ним подтрунивали.

А сам прозрачный тосковал безмерно. Сперва ему нравилось то удивление, которое он вызывал в окружающих. Он любил рассказывать с мельчайшими подробностями о том, как он пошел в баню, как мылся. там необыкновенным голубым мылом, как исчез и как гнался за ворами. Но все это продолжалось лишь два дня. Не находилось больше охотников слушать рассказы о том, как буквально, в точном смысле этого слова, смылся регистратор.

Это обстоятельство повлияло также на судьбу единственного свидетеля исчезновения Филюрина. Милиционер Адамов тоже не находил больше слушателей, от скуки запил и был отправлен в антиалкогольный диспансер, где его лечили гипнозом и холодной водой.

О Бабском ничего не было слышно. Он сидел, запершись, у себя, на Косвенной улице, и примус его, как потом рассказывали, не потухал ни днем ни ночью.

Прозрачный тосковал. Все удовольствия были ему уже недоступны. Только и было ему удовольствия, что одиноко поиграть на мандолине, прижимая ее зад к своему несуществующему животу.

Тогда-то и произошло замечательное событие, перевернувшее Пищеслав вверх дном и вознесшее Егора Карловича Филюрина на головокружительную высоту.

Глава IV

ИСТОРИЯ ГОРОДА ПИЩЕСЛАВА

Сказать правду, Пищеслав был городом ужасным. Больше того. Свежий человек, попав в него, подумал бы, что это город фантастический. Никак свежий человек не смог бы себе представить, что все увиденное им происходит наяву, а не во сне, странном и утомительном.

Еще недавно Пищеслав носил короткое, незначащее название — Кукуев. Переименование города было вызвано экстраординарным изобретением Бабского. Неутомимый мыслитель изобрел машинку для изготовления пельменей.

Продукция машинки была неслыханная — три миллиона

пельменей в час, причем конструкция ее была такова, что она могла работать только в полную силу.

Машинку изобретатель назвал «скоропищ» Бабского.

В порыве восторга Бабскому оказали честь, переименовав Кукуев в Пищеслав. Раскрылись обаятельные, отливающие молочным цветом червонцев, перспективы. Предвиделся расцвет пельменной промышленности в городе, бывшем доселе только административным центром.

В первый же день два «скоропища», работая в три смены, изготовили сто сорок четыре миллиона пельменей. На другой — работа прекратилась, потому что запасы муки и мяса истощились. Штабеля пельменей лежали на улицах Пищеслава, но, к удивлению акционерного общества «Пельменсбыт», образовавшегося для эксплуатации изобретения Бабского, спрос на пельмени, при всей их дешевизне, не превысил пяти тысяч штук.

Перевозить пельмени в другие города на продажу было невозможно из-за жаркого летнего времени.

Пельмени стали разлагаться. Запах гниющего фарша душил город.

Начался переполох. Обнаружился существенный недостаток изобретения Бабского. «Скоропищ» нельзя было приручить и приспособить к скромным потребностям населения. Оказалось, что меньше трех миллионов пельменей в час машинка выпускать не может.

Добровольные дружины в ударном порядке вывозили скисший продукт за город, на свалку.

Когда обратились за разъяснением к Бабскому, он, конструировавший уже станок для массового изготовления лучин, ворчливо ответил:

— Не морочьте мне голову! Если «скоропищ» усовершенствовать, то усилить продукцию до пяти миллионов в час возможно. А меньше трех миллионов, прошу убедиться, нельзя.

Тогда Бабского посадили на полгода в тюрьму, но уже через неделю городской изобретатель стал произносить неопределенные угрозы, говорил про какой-то антитюремный эликсир, и его выпустили.

Возвратить городу прежнее имя было совестно.

Так он и остался Пищеславом.

С какой бы стороны ни подъезжал к Пищеславу путник, взору его представлялось огромное здание, привлекательно и заманчиво высившееся над всем городом. Это был объединенный центральный клуб — здание, по величине своей

немногим только меньшее, чем московский Большой оперный театр.

Клуб помещался в лучшей части города — между шоколадным особняком РКИ и бело-розовым ампирным зданием уголовного розыска.

Клуб был построен очень прочно, добротно и отличался невиданной еще в Пищеславе красотой всех своих четырех фасадов. Но не было в нем ни концертов, ни лекций, ни театральных представлений, ни шахматных игр, ни кружковой работы. Огромное здание, бросавшее тень на добрую половину Пищеслава, совершенно не посещалось гражданами.

Изредка только из колоссального здания клуба выходил человек в толстовочке — комендант — и, жмурясь от солнца, плелся в клуб уголовного розыска поиграть в шашки и на полчасика приобщиться к культурной жизни.

Что же случилось? Почему ни одна душа не посещала клуба? Почему никто не играл там в политфанты и профлото, почему не было увлекательнейших вечеров вопросов и ответов? Почему всего этого не было, хотя здание нравилось всем без исключения пищеславцам?

При постройке здания строителями была допущена ошибка. Мы должны открыть всю правду.

В здании была только одна маленькая, совсем темная комнатка, площадью в семь квадратных метров. Вся остальная неизмеримая площадь была занята большими и малыми колоннами всех ордеров — дорического, ионического и коринфского.

Колоннады аспидного цвета пересекали здание вдоль и поперек, окружали его со всех сторон каким-то удивительным частоколом. Внутри здания тоже были только колонны. И в этом колоннадном лесу чахнул от безлюдья комендант в толстовочке. Пищеславцы, боясь заблудиться в колоннах и не находя комнат, в которых можно было бы послушать лекцию, предпочитали любоваться диковинным клубом извне.

В клубе не было даже уборной. Комендант, кляня архитекторов и стукаясь лбом о колонны, за каждой малостью бежал во двор РКИ. Впрочем, не все были такими щепетильными, как комендант. Колоннады, портики и перистили быстро загрязнились, и запах, схожий с запахом сыра-бакштейн, изливался сквозь колонны на площадь.

Никто не решался первым сознаться в том, что в новом клубе слишком много архитектурных украшений и совсем нет полезной площади. Клубом продолжали гордиться.

И каждые похороны (пищеславцы их очень любили и праздновали с особенным умением и пышностью) неизменно останавливались у гранитной паперти объединенного клуба, где отслуживалась гражданская панихида.

Промышленности в городе не было никакой, да и не могло быть, потому что пищеславские недра не таили в себе ни руд, ни минералов. По географическому положению Пищеслав, стоявший на несудоходной реке Тихоструйке и отдаленный на сорок пять верст от вокзала, никакой промышленности иметь и не мог.

Тем не менее пищеславцы отправили в центр ходоков с просьбой разрешить им пустить в ход потухший пятьдесят лет тому назад завод, который во время крымской кампании производил для нужд армии трубы и барабаны. Центр в средствах отказал.

Тогда пищеславцы, выкроив из чахлого бюджета полтораста тысяч рублей, взялись за дело сами. Через два года напряженной работы завод был восстановлен, и его толстая башенная труба с зубцами зачадила.

Кооперативные прилавки не смогли вместить всей заводской продукции. Пришлось предоставить кредиты на постройку двух универсальных магазинов, предназначенных исключительно для продажи труб и барабанов.

Неизвестно почему, но трубы и барабаны пользовались у потребителей большим успехом.

Комплекты труб и барабанов появились в каждой семье. Выспавшиеся после обеда граждане с увлечением били в барабаны.

Но вскоре эта музыка приелась. Пошли новые культурные веяния. В местной газете «Пищеславский Пахарь» поднялась дискуссия по поводу того, можно ли внедрить в служилую массу классическую музыку с помощью граммофона.

Для популяризации этой идеи в городском театре состоялся конкурс на лучшего граммофониста. Первым призом был объявлен почти новый патефон с восемью пластинками фирмы «Пишущий Амур». Вторым призом явилась живая, яйценосная курица Минорка, а в третий приз давался сборник статей по ирригации Каракумской пустыни.

Конкурс мог похвастаться успехом. Множество людей притащилось в театр с разноцветными рупорами, пластинками и шкатулками. Конкурс, открывшийся большим докладом, продолжался три дня. Три дня со сцены городского театра, где состязались граммофоны, несся щенячий визг и хохот. Как-то так случилось, что все пластинки были на-

петы музыкальными клоунами Бим-Бом. Это очень веселило публику, но комиссия, не признав за этими произведениями общественного значения, присудила:

первый приз — сыну безлошадного крестьянина, Окоемову, за мастерское исполнение музыкальной картины «Мельница в лесу» с подражанием кукушке и мельничным стукам, под управлением капельмейстера Модлинского пехотного полка Черняка;

второй приз — сыну бедного фельдшера Гордиеву, прекрасно исполнившему марш Буланже на тубофоне в сопровождении оркестра акц. о-ва «Граммофон»;

третий приз — сыну мелкого служащего Иоаннопольскому, за пластинку «Дитя, не тянися весною за розой, розу и летом сорвешь», напетую любимцем публики, популярным исполнителем оригинальных романсов Сабининым под собственный аккомпанемент на рояле.

Трудно поверить в существование такого города, как Пищеслав, но он все-таки существовал, и отмахнуться от этого было невозможно.

Вокруг города цвели травы, возделывались поля, ветер гулял в рощах, а в самом городе даже растительность была дикая.

В городе часто случались скандальные происшествия.

В слободской больнице служащему трампарка Господову при операции брюшной полости по ошибке зашили в живот больничный будильник, заведенный двухмесячным заводом на пять часов утра. Скандал начался с увольнения сиделки, обвиненной в краже будильника. Затем поступило заявление больного Господова о том, что в животе его слышится противный звон.

Сиделку реабилитировали, но извлечь будильник из живота Господова побоялись. Новая операция угрожала бы его жизни. Через неделю Господов выписался из больницы и вскоре подал в суд. А жаловался обиженный Господов на то, что будильник звонит не вовремя.

— Пусть себе сидит в животе. Я ничего не имею. Но пусть не звонит в пять часов утра, когда мне на работу идти только в восемь. Мне ж спать невозможно.

Инцидент закончился мирно. Судопроизводство еще и не начиналось, когда истец взял свое заявление обратно. Завод будильника иссяк, и Господов в простоте душевной полагал, что дальнейшие претензии будут неосновательны.

Происшествию с Господовым «Пищеславский Пахарь» не мог уделить много места, потому что четыре его скром-

ные полосы заняты были полемическими письмами в редакцию двух враждовавших между собой литературных групп — крестьянской группы «Чересседельник» и городской — ПАКС (Пищеславская ассоциация культурных строителей).

«Многоуважаемый товарищ редактор! — писал «Чересседельник»,— не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:

«Литературная группа «Чересседельник», закончив организационный период, с 1 июля приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления беспочвенных политиканов, давно исключенных из «Чересседельника» за склочничество и ныне выступающих под флагом литгруппы ПАКС»...

Далее шли печальные сообщения о склочниках из ПАКСа. Подписи под письмом занимали два столбца.

Рядом неизменно бывало заверстано длиннейшее письмо ПАКСа, подписи под которым были так многочисленны, что конец их терялся где-то в отделе объявлений.

«Многоуважаемый товарищ редактор! — писала ПАКС.— Не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:

«Литературная группа ПАКС, закончив организационный период, с двенадцати часов завтрашнего дня приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления оголтелой кучки зарвавшихся политиканов, давно выжженных из ПАКСа каленым железом, а ныне приютившихся под крылышком мелкобуржуазной литгруппы «Чересседельник»...»

Письма с каждым днем становились все длиннее и нудней, а плодов творческой работы все не было видно.

Так текла жизнь города, вплоть до того знаменательного вечера, когда невидимый регистратор в тоске забрел в центральный объединенный клуб.

Углубившись в проход между колоннами, Прозрачный с большим трудом нашел единственную клубную комнату, где жил сам комендант. Несмотря на маленькую свою площадь, комната была высока, как шахта. Потолок ее скрывался во мраке, рассеять который была бессильна маленькая керосиновая лампа, висевшая на крючке у столика.

Отвести душу было не с кем. Комендант ушел ночевать к знакомым, а может быть, и просто сбежал, затосковав по обществу. В комнате, кроме стола, стояли козлы с нечистым матрацем и большой фанерный щит на подпорках, с надписью «Календарь клубных занятий». В углу лежала

груда газетных комплектов в огромных рыжих переплетах.

На дворе стоял июль, а в объединенном клубе было холодно, как в винном погребе.

Прозрачный протяжно выбранился. Если бы он умел говорить умные слова, то побежал бы на площадь, созвал бы побольше народу и поведал бы ему, как тяжело жить бестелесному человеку, который не может придумать ничего такого, что оправдало бы его необычное существование. Но говорить красиво и удивительно он не умел.

Прозрачный рассеянно направился в угол, вытащил оттуда газетную книжицу и нехотя углубился в чтение. Не читал он с тех пор, как кончил городское училище. Это было давно, очень давно.

Ощущения читающего человека были ему чужды. Поэтому чтение произвело на Прозрачного такое же впечатление, какое испытывает курильщик, затянувшийся папиросой после трехдневного перерыва. Прозрачному попалась московская газета.

«Первый Госцирк! — прочел Филюрин вслух.— Последние пять дней. Укрощение двенадцати диких львов на арене под управлением Зайлер Жансо».

Прозрачный стал думать о львах. Потом от объявлений он перешел к более трудным вещам — к котировке фондового отдела при московской товарной бирже. Но это было слишком мудрено, не под силу. Филюрин бросил котировку и перекочевал в отдел суда. Ему попалось на глаза простое алиментное дело, которое для настоящего любителя суда не представляет ни малейшего интереса. Невидимый, однако же, прочел его с необыкновенным волнением.

— Ну и люди теперь пошли! — воскликнул Прозрачный, впервые постигая возможность критики отношений между мужчиной и женщиной.

Он прочел еще несколько судебных отчетов и с удивлением убедился в том, что в стране существует по крайней мере пятнадцать отпетых негодяев.

— Ни стыда, ни совести у людей нет,— шептал Прозрачный, переворачивая большие листы.

С каждым новым номером газеты количество негодяев увеличивалось. Через два часа Прозрачный решил выйти на площадь, чтобы собраться с возникшими при чтении мыслями.

— Действительно,— бормотал он, проплывая между колоннами,— безобразия творятся.

Самые дерзкие параллели возникали в мыслях Прозрач-

ного. Вспоминая последнее прочитанное дело о бюрократизме фруктработников, он пришел к страшному выводу, который не осмелился бы сделать даже вчера. «Каин Александрович,— думал он,— тоже, как видно, бюрократ и бездушный формалист».

Думая таким образом, он мчался вперед. Колонны мелькали. Им не было конца. Они вырастали чем дальше, тем гуще. Выхода не было. Прозрачный заблудился в колонном бору, воздвигнутом усилиями пищеславских строителей.

Это происшествие придало мыслям Филюрина новый жар.

— Тоже построили! — закричал он в негодовании.— Входа-выхода нет. Под суд таких!

И громкое эхо, похожее на крик целой роты, здоровающейся с командиром, вырвалось из-под портиков и колоннад:

— Под суд!

Проплутав еще некоторое время, Прозрачный очень обрадовался, попав обратно в комнату коменданта, и снова принялся за чтение.

Лампочка посылала бледно-желтый слабый свет на гранитную облицовку стен. Газетные листы сами собою переворачивались. Комплекты с шумом летели в угол и снова выскакивали оттуда.

В пустой комнате раздавались отрывочные восклицания:

— Нет! Это никак невозможно! Уволить женщину на восьмом месяце беременности! А Каин в прошлом году такую самую штуку проделал! Ну и дела!

Глава V

ЮБИЛЕЙНАЯ РЕЧЬ

В эту ночь Евсей Львович Иоаннопольский спал и видел во сне семь управделами тучных и семь управделами тощих.

Сон оказался в руку.

Когда Евсей явился утром на службу, ему сообщили, что семь дней местком боролся за него удачно, а последующие семь дней — неудачно и что примкамера, подавленная красноречием Доброгласова, решила дело в пользу администрации.

— Но ведь я же все-таки в ПУМе не служил! — закричал Евсей Львович, скорбно оглядев сотоварищей по отделу.—

Все же знают! Я на этого самодура буду жаловаться в суд!

Свободомыслие бухгалтера не встретило поддержки.

Евсей Львович понял, что дело гораздо серьезнее, чем он предполагал, вынул из конторки собственную чайную ложечку и спросил:

— Кто же сядет на главную книгу?

— Назначили Авеля Александровича,— ответил Пташников,— он уже утвержден.

— Конечно,— сказал Иоаннопольский.

Он чувствовал, что ему нечего терять, кроме собственных цепей.

— Протекционизм! Брата назначил! Сыновья давно служат! А я? Я, конечно, остался с пиковым носом.

Иоаннопольский печальным аллюром двинулся к Пташникову. Учрежденный знахарь сделал вид, что поглощен работой.

— Я сделал анализ,— сказал Иоаннопольский.

Пташников, к удивлению бухгалтера, ничего не ответил.

— Я уже сделал анализ,— глухо повторил Евсей Львович.

— У вас достаточное количество красных кровяных шариков,— с неудовольствием произнес знахарь,— и, знаете, неудобно как-то в служебное время...

— Может быть, мне действительно посоветоваться с профессором Невструевым? — лепетал Евсей, пытаясь вдохнуть жизнь в трусливую душу Пташникова.

Но в это время из кабинета раздался голос Каина Александровича, и знахарь испуганно зашикал на Иоаннопольского.

— Вы хотите, чтобы меня тоже выкинули? — сказал он, глядя на бухгалтера молящими глазами.

Тут Евсей Львович понял, что он уже чужой. Он в раздумье постоял посредине комнаты и подошел к столу Филюрина.

Ручка и книга регистрации земельных участков в пестром переплете недвижимо лежали на столе. Кто знает, где в это время был Филюрин? Может быть, он отдыхал, равнодушно озирая лепной потолок; может быть, гулял по коридору или стоял за спиной Евсей Львовича, иронически усмехаясь.

— Вы слышали, Филюрин? Меня Каин все-таки уволил.

Ответа не последовало.

— Вы здесь, Егор Карлович?

Но молчание не прерывалось, и книга по-прежнему оставалась закрытой.

Иоаннопольский повернулся и спросил, ни к кому не обращаясь:

— Что, Филюрин еще не приходил?

— Не приходил,— ответила Лидия Федоровна.— Смотрю, ручка не подымается.

— Может быть, он заболел? — живо отозвался Пташников.

— А разве невидимые болеют?

— Все может быть. Теперь такая дизентерия пошла.

— Но ведь он же ничего не ест!

— Тогда, может быть, на нервной почве? — ядовито сказал Евсей Львович.

— Какие там нервы! У человека тела нет, а вы толкуете про нервы.

Разгорелся спор, блестяще разрешенный Пташниковым. В пространном резюме, в котором не раз упоминался ленинградский дядя-терапевт и последние открытия в области лечения простоквашей,— учрежденский знахарь пришел к несомненному выводу, что невидимый болеть все-таки не может.

Поэтому решили послать за Филюриным курьера Юсюпова. Евсей Львович взялся сопровождать курьера.

С полуденного неба лился белый горячий свет. В витринах оптического магазина акционерного общества со смешанным капиталом Тригер и Брак, на ступенчатой подставке, покрытой красным сатином, стояли ряды отрубленных восковых голов. На носу каждой головы сидели очки и пенсне разных размеров и форм. Все выставленные барометры показывали бурю.

Мальчики лакомились сахарным мороженым, поедая его костяными ложечками из синих граненых рюмок.

На базарной площади вопили поросята в мешках и гуси в корзинах, зашитые рогожей по самые шеи. Летала солома.

Большие мухи в зеленых бальных нарядах с пропеллерным гудением падали в корзины с черной гниющей черешней, сталкивались в воздухе и совершали небольшие марьяжные путешествия.

Всю дорогу Евсей Львович клеймил Юсюпова за то, что РКК оказалась не на высоте. Юсюпов во всем соглашался и советовал обратиться прямо в суд.

Разговаривая таким образом и руководствуясь зву-

ками «о», доносившимися из окна первого этажа, они быстро нашли квартиру мадам Безлюдной.

Златозубая хозяйка пожала плечами и ввела гостей в комнату Филюрина. Там все трое долго и громко звали Прозрачного. Ответа не было.

— Куда же он, однако, девался, мадам? — спросил Евсей Львович удивленно.

— Понятия не имею,— ответила мадам, выставив золотой пояс зубов.— Как вчера утром ушел на службу, так и не приходил. Беда с таким квартирантом. Вы знаете, я до сих пор не привыкла. Кроме того, он не платит мне за квартиру.

— А вы, извините, мадам, кажется, в положении? — неожиданно молвил Иоаннопольский.— Где служит ваш муж?

Мадам Безлюдная ничего не ответила. Она была разведена уже три года назад, а в выборе отца предполагаемого ребенка все еще колебалась.

— В таком случае до свиданья,— сказал Евсей Львович, вежливо наклонив плешивую голову.

Бросив Юсюпова на полдороге, Иоаннопольский помчался в отдел благоустройства, возбуждаясь на ходу все больше и больше, и под напором интересных мыслей делая крутые виражи на углах пышущих жаром пищеславских магистралей. Сама лошадь Пржевальского, по проспекту которой проносился Евсей, была бы удивлена такой резвостью.

— Уже! — завизжал Иоаннопольский, влетая в каминную комнату.

Он был так возбужден, поднял в отделе такой ветер, что листы месячного календаря «Циклоп» взвились, открыв свой последний декабрьский лист, испещренный красными праздничными цифрами.

— Что, уже? — зашептали сотрудники.

— Уже! — повторил Иоаннопольский, обтирая цветным платком нежную персиковую лысину.

— Да говорите же, Евсей Львович,— взмолились сотрудники,— что уже?

Евсей внезапно замолчал, сел на подоконник, предварительно сняв с него железный, похожий на крыло пролетки, футляр «ремингтона», и медленно стал выпускать горячий воздух, захваченный в легкие во время финиша по проспекту имени Лошади Пржевальского. При этой операции опавший было «Циклоп» снова зашелестел на стене, и на голове Лидии Федоровны поднялись все ее считанные

волосы. Отдышавшись, Иоаннопольский полез в задний карман за папиросами и сказал:

— Уже исчез.

— Филюрин исчез?

— Да, товарищи, Филюрин исчез. Со вчерашнего дня он не приходил домой.

— Теперь,— сказал Пташников,— Каин Александрович его выкинет.

— Вы в этом уверены? — презрительно спросил Евсей.

— Уверен. А вы что думаете?

— Ему в этом месте интересно знать, что думает Евсей Иоаннопольский?

— Ну что за шутки такие! — закричал Костя.— Говорите, товарищ Иоаннопольский, просят же вас.

— Так вы думаете, что Каин Александрович уволит Филюрина?

— Да. Ведь вы же, Иоаннопольский, сами знаете, что это за человек.

— А что вы запоете, если Филюрин уволит вашего Каина Александровича?

За столами водворилась мертвящая тишина. Не в силах удержаться на внезапно ослабевших ногах, Пташников опустился на стул.

— Да, граждане, и это может произойти очень скоро.

— Откуда вы взяли? Это фантазия?

— А невидимый человек, это не фантазия? — возопил Евсей.— А когда невидимый человек исчезает, то это, по-вашему, что, фантазия или не фантазия?

— В чем же дело? — загомонили служащие.

— Дело в том, что где, по-вашему, сейчас Филюрин?

— Откуда же нам это знать?

— Я этого тоже не знаю. Но, товарищи, кто может поручиться, что он не между нами и не слушает всего, что мы сейчас говорим?

Протяжный стон пронесся по отделу благоустройства. Иоаннопольский засмеялся.

Лицо Пташникова покрылось фиолетовыми звездами и полосами.

— А я еще,— сказал он, вздрагивая,— сегодня утром довольно громко ругал Каина. Наверное, Филюрин слышал и все ему расскажет.

— Да вы с ума сошли,— зашикал Евсей Львович,— что вы такое говорите? А если он сейчас сидит на этом футляре и слышит, как вы называете его доносчиком?

Тут с лица Пташникова слетели все краски. У Кости от удивления грудь выгнулась колесом и в продолжение всего разговора уже не разгибалась.

— Боже меня упаси,— сказал знахарь трагически,— я никогда не говорил, что он доносчик. Это вы сами сказали.

— Я не мог этого сказать,— возразил Иоаннопольский. И, обратившись почему-то лицом к совершенно пустому месту, прочувствованно произнес: — Я, который всегда считал Егора Карловича прекрасным товарищем и очень умным человеком с блестящей будущностью, я этого сказать не мог. Даже наоборот. Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что Егор Карлович симпатичнейшая личность.

— Кто же в этом сомневался! — сказала Лидия Федоровна.— Я редко встречала такого милого человека.

— Милого? Что милого! — подлизывался Евсей.— Если вы хотите знать, такого человека, как товарищ Филюрин, во всем свете нет.

Говоря так, Иоаннопольский наслаждался несчастным видом знахаря. Но знахарь оказался не таким дураком, как это могло показаться по внешнему его виду. Он подошел к столу Филюрина и, ласкательно глядя на книгу регистрации земельных участков, произнес большую, почти что юбилейную речь. Тут было все: и «стояние на посту», и «высоко держа», и «счастие совместной работы», и «блестящая инициатива, так способствовавшая». Казалось, что Пташников вытащит сейчас из-под пиджака хромовый портфель, с серебряной визитной карточкой, с загнутым углом и каллиграфической гравировкой: «Старшему товарищу и бессменному руководителю в день трехлетнего юбилея».

Когда речь окончилась и служащие почувствовали, что Прозрачный уже достаточно задобрен, они снова подступили к Евсею Львовичу. Случилось как-то так, что Евсей Львович оказался чем-то вроде поверенного Филюрина. Ему задавали вопросы, и он отвечал на них с большим весом.

По мнению Евсея Львовича, Прозрачный, пользуясь неограниченными своими возможностями, уже занялся высокополезной общественной деятельностью и, конечно, будет ее продолжать. Будучи особенно хорошо знакомым со структурой совучреждений, невидимый, несомненно, будет бороться с извращениями аппарата.

— Уж я его характер хорошо знаю,— говорил Евсей Львович,— можете поверить мне на слово.

Поговорив в таком роде в отделе, Иоаннопольский лучезарно улыбнулся и отправился в местком. По дороге он останавливался, чтобы поговорить со знакомыми из других отделов Пищ-Ка-Ха. Тема была прежняя — исчезновение Прозрачного.

— Я просто так думаю,— говорил Евсей Львович, пожимая руки и раскланиваясь на все стороны,— что Прозрачный сделал это нарочно, чтобы узнать, кто чем дышит. Вы же понимаете, что если он захочет, то от него не может быть никаких тайн. Ей-богу, не хотел бы я быть сейчас на месте Доброгласова. Да и самому Доберману-Биберману может нагореть. Помните историю с подрядом на домовые фонари? А сколько есть дел, о которых мы ничего не знаем! Уж Прозрачному все известно. Будьте уверены! Ну, я пошел!

На знакомых слова Евсея производили совершенно разное впечатление. Одни удивленно ахали, от души веселясь и ожидая в самое ближайшее время больших сюрпризов. Другие грустнели и сразу становились неразговорчивыми.

— Вы слышали новость? — кричал Иоаннопольский, входя в местком.— Прозрачный наконец взялся на ум! Когда его спрашивают — не откликается!

— Ну, что из того? — спросил председатель месткома вяло.

Иоаннопольский, возмущенный индифферентностью профработника, даже подскочил на месте.

— Все два этажа с ума сходят, а он спрашивает меня, что из того! Из этого то, что для Прозрачного теперь секретов нет. Ну, вы, положим, рассказываете своей жене с глазу на глаз, что у вас небольшой недочет союзных денег. Вы думаете, что вы одни, что все, что вы говорите,— это тайна, а Прозрачный в это время спокойненько слушает все, что вы говорите, и вы об этом даже представления не имеете. На другой день за вами приходят от прокурора с криком: «А подать сюда Гоголя-Моголя!»

Председатель, который действительно растратил тридцать рублей МОПРовских денег, ошалело посмотрел на Иоаннопольского. Растрату председатель собирался восполнить членскими взносами, собранными с друзей радио. Недочет же в средствах друзей порядка в эфире должны были покрыть средства Общества друзей советской чайной. А прореху в кассе почитателей кипятку предусмотрительный председатель предполагал залатать с помощью еще одного общества, над организацией которого ныне трудился. Это было общество «Руки прочь от пивной».

Заявление Евсея Львовича одним ударом перешибало стройную систему отношений между добровольными обществами, с такой любовью воздвигнутую председателем.

Продолжая дико глядеть на Иоаннопольского, председатель сказал нудным голосом:

— Этот вопрос нужно заострить.

Впрочем, по лицу Евсея он отлично видел, что вопрос и без того заострен до последней ступени.

На Пищеслав надвигалась туча, сыплющая гром и молнию.

Глава VI

КАИН УВОЛИЛ АВЕЛЯ

С легкой руки Евсея Львовича Пищеслав переполнился слухами о новой деятельности Прозрачного.

И уже на следующее утро Каин Александрович вызвал в кабинет брата своего Авеля Александровича и долго топал на него ногами.

— Что с тобой, Каша? — удивленно спросил Авель Александрович, полулежа в кресле.

— Прошу мне не тыкать при исполнении служебных обязанностей! — завизжал Каин Александрович.

— Я тебя не понимаю. Этот тон...

— Встать! Воленс-неволенс, а я вас уволенс. Можете идти, товарищ Доброгласов. Без выходного пособия.

— Ты что, пьян? — грубо спросил Авель.

Тогда Доброгласов-старший, полагая вполне возможным присутствие в кабинете Прозрачного, счел необходимым высказать Доброгласову-младшему свои мысли о протекционизме.

— Я всегда проводил,— говорил он вздрагивающим голосом,— беспощадную борьбу с кумовством. Я опротестовываю однобокое решение примкамеры относительно всеми уважаемого управделами ПУМа товарища Иоаннопольского. Последний восстанавливается в должности, а вас, как принятого по протекции, я беспощадно снимаю с работы. Мы сидим здесь, товарищи, не для благоустройства родственников, а для благоустройства города. Вам здесь не место. Идите.

Авель Александрович, растерянно тряся головой, вышел из кабинета, сдал главную книгу подоспевшему Евсею Львовичу и покинул отдел благоустройства, не получив даже за проработанные два часа.

Иоаннопольский проводил поверженного в прах Авеля ласковым взглядом и удовлетворенно заметил:

— Прозрачный начинает действовать. Начало хорошее. Что-то еще будет!

При этих словах Пташников чуть не упал со стула. Глаза Лидии Федоровны заблистали от слез, а Костя выбежал из комнаты, выронив из кармана бутерброд, завернутый в пергаментную бумагу.

Между тем Каин Александрович в бурном приступе служебной деятельности работал над искоренением кумовства в отделе.

Сперва он написал в стенную газету «Рупор Благоустройства» заметку такого содержания:

НЕ ВСЕ ГЛАДКО

«С кумовством в нашем учреждении не все обстоит благополучно. Эта гнилая язва протекционизма не может быть больше терпима. Пора уже взять под прицел семейство Доброгласовых, свивших себе под сенью Пищ-Ка-Ха уютное гнездышко, без ведома самого тов. К. А. Доброгласова, который, как только узнал о поступлении в отдел благоустройства А. А. Доброгласова, немедленно такового снял с работы без выдачи двухнедельной компенсации, памятуя об экономии государственных средств. Пора также ликвидировать имеющихся в Пищ-Ка-Ха двух сыночков тов. Доброгласова, втершихся на службу, безусловно, без ведома уважаемого нами всеми за беспорочную и длительную службу Каина Александровича».

В этой заметке, в которой смертельно перепуганный Доброгласов ополчался на собственных своих сыновей, на плоть от плоти и кровь от крови, он недрогнувшей рукой поставил подпись: «Рабкор Ищи меня».

Прокравшись к стенгазете, которая висела в темном, посещаемом только котами, углу коридора, Каин Александрович приклеил заметку синдетиконом к запыленному картону.

Потом Доброгласов вернулся к себе и составил две бумаженции. В одной он доводил до сведения начальника Пищ-Ка-Ха о необходимости немедленного и строжайшего расследования по заметке «Не все гладко» рабкора «Ищи меня», помещенной в стенгазете «Рупор Благоустройства».

Отослав бумажку по назначению, Каин Александрович написал приказ о немедленном выявлении и увольнении из отдела благоустройства каких бы то ни было родственников.

Приказ он собственноручно наклеил на дверях своего кабинета.

Через несколько минут оба Каиновича, подталкиваемые курьерами, уже спускались по учрежденской лестнице.

Евсей Иоаннопольский, наблюдавший из окна исход Каиновичей из Пищ-Ка-Ха, хотел поделиться своей радостью с Пташниковым, но, к великому его удивлению, знахарь стоял на коленях посреди комнаты.

— Что с вами? — закричал Евсей.

— Я родственник,— ответил Пташников.

— Чей?

— Ее.

И Пташников указал на Лидию Федоровну.

— Кем же она вам приходится?

— Женою.

— Но ведь Лидия Федоровна девица. Помнится, так и в анкете написано.

— Скрывали,— зарыдала Лидия Федоровна.— Жили на разных квартирах.

— Сколько же времени вы женаты?

— Двадцать лет. Пятый год скрываем.

— А дети есть?

— Есть. Мальчик один, вы его знаете.

— Какой мальчик?

— Костя. Вот он сидит. Первенец наш. Теперь здесь служит.

— В таком случае,— сказал Евсей Львович,— вас всех надо изжить. Мне вас, конечно, жалко. Вместе работали все-таки. Ну что скажет Прозрачный, если я стану из дружеских чувств потакать своим знакомым? Сами понимаете.

Нелегальное семейство, с такими усилиями скрывавшее свои нормальные человеческие отношения, семейство, жившее тремя домами и устраивавшее супружеские встречи в гостинице, семейство, оказавшееся на краю бездны,— молчало в неизмеримой печали. Пташниковы понимали величину и тяжесть своей вины. Они не просили и не ждали снисхождения.

— Знаете что,— сказал Евсей Львович,— такой важный вопрос без Прозрачного я решить не могу. Сидите пока. Если вы уйдете, некому будет работать. А потом — как решит Прозрачный, так и будет.

Знахарь, жена его Лидия и сын их Костя не стали терять время попусту и с новым усердием принялись за работу.

Дверь кабинета растворилась, и на пороге ее появился Каин Александрович, лишь недавно приклеивший заметку в стенгазету. Обеими руками он держал бронзовую чернильницу «Лицом к деревне». По лицу начальника зайчиком бегала болезненная улыбка.

Он подошел к Косте, со вздохом поставил сторублевую ношу, а взамен ее взял пятикопеечную чернильницу-невыливайку.

Евсей засуетился.

— Ах, какая чернильница! — восторгался он.— Но зачем она Косте? Слушайте, Доброгласов, поставьте ее ко мне. Я ведь все-таки веду главную книгу.

— Пожалуйста, Евсей Львович, мне все равно. Мешает она, знаете ли. Да-а!

Каин Александрович прошелся по комнате и, беспокойно выпучив белые глаза, неожиданно заметил:

— А не кажется ли вам, товарищи, что охрана труда у нас хромает? С вентиляцией все благополучно? Ну, работайте, работайте, не буду вам мешать. Да, кстати... Егор Карлович еще не приходил? Нет его? Отлично. Посадите, Евсей Львович, кого-нибудь на регистрацию, посетители ждать не должны. Ведь не посетители для учреждения, а учреждение для посетителя.

Но посетителей в этот день не было, потому что пищеславские граждане занимались заметанием следов. Многие каялись в своих грехах публично.

Призрак, олицетворяющий предельную добродетель, носился по городу, вызывая самые удивительные события.

Чувство критики, дремавшее в сердцах граждан, проснулось.

На общем собрании членов союза Нарпит работа месткома была признана неудовлетворительной. На секретаря месткома, не знавшего такого случая за всю свою долголетнюю профсоюзную практику, это подействовало ужасающим образом.

Он, заготовивший уже хвалебную резолюцию, онемел на целых полчаса. А когда обрел дар речи, поднялся и заявил, что он, секретарь, в профработе ничего не смыслит, что деньги, ассигнованные на культработу, проиграл на лотерее в пользу беспризорных и что гендоговора никогда в своей жизни не прорабатывал, хотя таковой и должен обязательно прорабатываться на местах.

Свою сильную образную речь секретарь кончил пламенным призывом никогда больше в местком его не выбирать.

Экскурсия, посетившая музей благоустройства, вытащила оттуда трамвайный вагон № 2, снабженный мемориальной доской в честь тов. Обмишурина, и поставила его на рельсы. Трамвайный парк, получив музейное подкрепление, успешно справлялся с перевозками пассажиров.

У дверей прокуратуры и уголовного розыска вились длинные очереди кающихся. Зато очереди у кооперативных магазинов убывали в полном соответствии с очередями у дверей закона.

Две госпивные с зазорными названиями «Киевский Шик» и «Веселый Канарей» прекратили подачу пива и сосисок. Вместо этого подавались сидр с моченым горохом и пудинг из капусты.

«Пищеславский Пахарь» поместил сенсационное письмо секретаря литгруппы ПАКС тов. Пекаря:

«Многоуважаемый тов. редактор! Не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее: хотя организационный период литгруппы ПАКС давно закончился, но мы, несмотря на то что зарвавшиеся политиканы из «Чересседельника» нам уже не мешают, к творческой работе до сих пор не приступили и, вероятно, никогда не приступим.

Дело в том, что все мы слишком любим организационные периоды, чтобы менять их на трудные, кропотливые, требующие больших знаний и даже некоторых способностей занятия творчеством.

Что же касается единственного произведения, имеющегося в распоряжении нашей группы, якобы написанного мною романа «Асфальт», то ставлю вас в известность, что он полностью переписан мною с романа Гладкова «Цемент», почитать который дала мне московская знакомая, зубной техник, гражданка Меерович-Панченко.

Бейте меня, а также топчите меня ногами.

Секретарь литгруппы ПАКС Вавила Пекарь».

Исповедь «Чересседельника» была помещена чуть пониже.

Мелкие жулики каялись на улицах сотнями. Вид у них был такой жалкий, что прохожие принимали их за нищих.

Скульптор Шац, чувствуя страшную вину перед обществом за изготовление гвардейского памятника Тимирязеву, прибежал в допр и, самовольно захватив первую свободную камеру, поселился в ней. От администрации он не требовал ничего, кроме черствого хлеба и сырой воды. Время свое он коротал, биясь головой о стены тюрьмы. Но это

было ему запрещено, так как удары расшатывали тюремные стены.

Даже такой маленький человек, как госпапиросник с бывшей Соборной площади, и тот побоялся разоблачений Прозрачного и опустил на самого себя жалобу в горчичный ящик. Папиросник признавался в том, что из каждой спичечной коробки он вынимал по несколько спичек, из коих в течение некоторого времени составлялся спичечный фонд. Зажиленные таким образом спички папиросник открыто продавал, а вырученные от их продажи деньги обращал в свою личную пользу. Этим за пять лет работы он причинил Пищеславу убыток в сумме 2 рубля 16$^1/_2$ копеек.

На третий день после исчезновения Прозрачного у мадам Безлюдной родился сын. Но, несмотря на общую отныне для Пищеслава чистосердечность, мадам не могла объявить, кто отец ребенка, так как и сама этого не знала.

Евсей Львович чувствовал себя полезным винтиком в новой городской машине и начал отвечать на поклоны Каина Александровича весьма небрежно. Доброгласов так испугался, что перестал ездить домой в автомобиле и стал скромно ходить пешком.

— Тем лучше,— сказал Иоаннопольский,— оставим автомобиль для Прозрачного. Он, вероятно, скоро освободится и захочет служить. Шуточное дело! Столько работы у человека! Вы видели, какую партию жуликов провели вчера с завода труб и барабанов? Это целая панама!

— А завод как же остался?

— Завод закрыли, законсервировали на вечные времена. Нужно же быть сумасшедшим, чтобы работать на таких допотопных станках. Каждая труба стоила чертову уйму денег. О барабанах я уже не говорю!

Пока Прозрачного не было, Евсей Львович пользовался автомобилем сам.

В течение одной недели город совершенно преобразился. Так падающий снопами ливень преображает городской пейзаж. Грязные горячие крыши, по которым на брюхах проползают коты, становятся прохладными и показывают настоящие свои цвета: зеленый, красный или светло-голубой. Деревья, омытые теплой водой, трясут листьями, сбрасывают наземь толстые дождевые капли. Вдоль тротуарных обочин несутся волнистые ручьи.

Все блестит и красуется. Город начинает новую жизнь. Из подворотен выходят спрятавшиеся от дождя прохожие, задирают головы в небо и, удовлетворенные его непорочной

голубизной, с освеженными легкими разбегаются по своим делам.

В Пищеславе никто больше не смел воровать, сквернословить и пьянствовать. Последний из смертных — мелкая сошка Филюрин — стал совестью города.

Иной подымал руку, чтобы ударить жену, но, пораженный мыслью о Прозрачном, тянулся рукою за ненужным предметом.

«Ну его к черту! — думал он.— Может быть, стоит тут рядом и все видит. Опозорит ведь на всю жизнь. Всем расскажет».

На улицах и в общественных местах пищеславцы вели себя чинно, толкаясь, говорили «пардон» и даже, разъезжаясь со службы в трамвае, улыбались друг другу необыкновенно ласкательно.

Исчезли частники. Исчезли удивительнейшие фирмы: «Лапидус и Ганичкин», торговый дом «Карп и сын», подозрительные товарищества «Продкож», «Кожпром», и «Торгкож». Исчезли столовые без подачи крепких напитков под приятными глазу вывесками: «Верден», «Дарданеллы» и «Ливорно». Всех их вытеснили серебристые кооперативные вывески с гербом «Пищетреста» — французская булка, покоящаяся на большом зубчатом колесе.

Сам глава оптической фирмы «Тригер и Брак», известный проныра и тертый десятью прокурорами калач, гражданин Брак пришел в полнейшее отчаяние, чего с ним еще ни разу не случалось с 1920 года. Дела его шли плохо, а магазин собирались описать и продать с аукциона за долги. Единственным человеком, не заметившим происшедшей с Пищеславом метаморфозы, оставался Бабский. Он не покидал своей комнаты со дня визита к нему Филюрина. Длинное оранжевое пламя примуса взвивалось иногда к потолку, освещая заваленную мусором комнату. Городской изобретатель работал.

К концу преобразившей город недели мальчишка-пионер, проходивший мимо Центрального объединенного клуба, громогласно заявил, что клуб, как ему уже давно кажется, ни к черту не годится и что строили его пребольшие дураки. Вокруг мальчика собралась огромная толпа. Все в один голос заявили, что клуб действительно нехорош. Разгоряченная толпа направилась в отдел благоустройства и потребовала немедленной перестройки клуба.

В Пищ-Ка-Ха вняли голосу общественности и обещали приступить к выкорчевыванию лишних колонн. Внутренние большие и малые колонны предполагалось совершенно

уничтожить и на освободившемся месте устроить обширные залы и комнаты для всех видов культработы.

В день открытия работ к зданию с четырех сторон подошли отряды строителей и углубились в колонный мрак. Толпы любопытных окружали клуб, с удовольствием прислушиваясь к строительным стукам.

Иоаннопольский и Доброгласов, с трудом прорезав толпу, подкатили на автомобиле к клубной паперти. Каин Александрович решил лично руководить работами по переделке здания. Евсея он взял с собой, потому что бухгалтер последнее время считал себя неразрывной частью автомобиля и не отрывался от него ни на минуту.

Уже из клуба начали выкатываться аккуратно распиленные на части колонны, как вдруг задним рядам напиравшей на клуб толпы показалось, что на ступеньке здания кто-то взмахнул шапкой. В передних рядах послышались восклицания.

— Что случилось? Что случилось? — пронеслось над толпой.

Еще не все знали, в чем дело, а уже площадь содрогалась от мощных криков.

В дремучем лесу центральных объединенных колонн объявился Прозрачный.

Глава VII

«А Я ЗДЕСЬ!»

Плохо пришлось бы Прозрачному, если бы его невидимое тело требовало пищи. Но есть ему не надо было, и семь дней, проведенных в лабиринте Центрального объединенного клуба, пошли ему даже на пользу. Он научился скучать и читать, что человеку без тела совершенно необходимо.

Мучило его только то, что Доброгласов воспользуется прогулом и уволит его со службы.

В последний день своего пребывания под гостеприимной сенью клубных колонн Прозрачный томился, скучая по свету, по человечьим лицам и голосам. Он сделал последнюю попытку выбраться из лабиринта. Всюду встречали его вздвоенные ряды колонн, поставленных так часто, что дневной свет не проникал дальше третьего их наружного ряда.

Поэтому, заслышав первые удары лома по камню, Прозрачный стал призывать на помощь. Он бросился навстречу

звукам, и скоро между колоннами забрезжил серенький свет.

— Ау! — кричал Прозрачный, словно собирал грибы в лесу.

Не получив ответа, невидимый закричал караул, и на этот крик, знакомый всем пищеславцам с детства, стеклись каменщики и десятники.

А уже через две минуты десятник рысью выбежал на воздух и первый сообщил толпе о том, что Прозрачный наконец нашелся, что он жив и здоров и что сейчас прибудет сам.

Перепрыгивая через поверженные колонны, Филюрин бросился за десятником. Он вынырнул на свет и увидел Евсея Львовича. За ним виднелось перепуганное лицо Каина Александровича. Дальше был океан шевелящихся голов, а еще дальше прямо по толпе скакал Тимирязев, и его чугунная полированная свекла сверкала на солнце.

— Покажите, где вы! — крикнул Иоаннопольский.— Граждане! Прозрачный среди нас. Покажите нам, где вы, Егор Карлович!

Прозрачный снял с головы десятника фуражку с молоточками и помахал ею в воздухе. Вид фуражки, которая сама по себе прыгала на расстоянии двух метров от земли, привел толпу в исступление.

Филюрин, не поняв, что приветственные крики относятся к нему, растерялся и возложил фуражку на голову ее владельца. Это вызвало еще больший энтузиазм.

Прозрачный заметил, что перед ним стоит сам Каин Александрович, отвешивая вежливые поклоны.

— Товарищ Доброгласов,— сказал регистратор,— верьте слову, я тут ни при чем...

— Как же ни при чем,— залебезил Каин Александрович, ориентируясь на голос Филюрина,— когда совершенно наоборот.

— Это возмутительные колонны заставили меня...

— Нет, нет, колонн уже не будет. На этот счет не беспокойтесь.

— Значит, вы признаете, что у меня были уважительные причины для неявки на службу?

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь! Работа не пострадала. На вашем месте уже сидит другой.

— Как другой? — закричал Прозрачный.— Я буду жаловаться! Я до суда дойду!

Но тут Евсей Львович, быстро смекнувший, что Про-

зрачный ничего не знает о своем могуществе, оттолкнул Доброгласова локтем и крикнул в толпу:

— Пламенный привет товарищу Прозрачному от имени работников конторского учета!

— Даешь Прозрачного! — закричала толпа.

Филюрин не понимал ровным счетом ничего.

«Ну и дубина же этот Прозрачный,— подумал Иоаннопольский,— сделали бы меня невидимым, я им бы такое показал!»

И, обращаясь к Доброгласову, крикнул:

— Каин! Скажите, чтобы подавали машину! Товарищ Прозрачный устал от выявления недочетов и заедет ко мне отдохнуть.

— Может быть, товарищ Прозрачный заехал бы ко мне отдохнуть? Жена будет так рада! — пролепетал Доброгласов.

— Не говорите глупостей. Вы же одной ногой стоите на бирже труда! — зашипел Евсей Львович.— Хотели человека уволить за невидимость, а теперь обедать, обедать! Позовите поскорее машину!

— Разве я хотел его уволить? — смутился Каин Александрович.— Не помню, ей-богу.

— Ну хорошо, посмотрим еще, кто будет заведовать отделом благоустройства.

Доброгласов слегка застонал и с усердием курьера-новичка бросился выполнять поручение.

Но сесть в машину Иоаннопольский ему не разрешил.

— Вы и пешком дойдете,— сказал бесцеремонный Евсей,— вам близко. А у меня с товарищем Прозрачным предвидится секретный разговор. Вы здесь, Егор Карлович?

— Здесь,— раздался голос с кожаной стеганой подушки.

— Возьмите мою шляпу и помахайте толпе,— посоветовал бухгалтер,— она это любит.

Когда автомобиль под крики толпы выбрался с площади, Каин Александрович, задумчиво вертя в руках портфель, побрел домой.

— Снимают! — сказал он жене, сбросив пиджак и оттягивая вперед подтяжки табачного цвета.

— Я так и знала,— заявила жена,— после увольнения родных детей и брата я от тебя ничего путного уже и не жду.

— Ты просто дура! — устало сказал Доброгласов.

Он лег на красный плюшевый диван и уставился на цвет-

ную фотографию полуголой дамы, закинувшей руки на затылок. В углу фотографии было написано «Истома». И дамочка и подпись к ней были знакомы Доброгласову со дня женитьбы. Он созерцал фотографию, потому что так ему легче было обдумывать все обстоятельства несчастливо повернувшейся карьеры.

Жена, однако, не отставала.

— Каин! Почему ты уволил детей и Авеля? Ты этим буквально его убил!

— А ты хотела бы, чтобы Авель меня убил? Не выгони я Авеля, этот дурак Прозрачный попер бы меня самого.

— Но тебя ведь все равно снимают.

Тут Доброгласов отвел глаза от фотографии и, видно, придя к какому-то решению, сказал:

— Ну, это еще бабушка надвое сказала!

— А ты получил отчисления от «Тригер и Брак» за поставку фонарей?

— Аннета, ты пошлячка! Ну, как я мог взимать отчисления, когда Прозрачный всюду совал свой нос?

— Чем же ты будешь кормить своих детей?

— Волноваться не нужно. Что-нибудь выдумаем. Знаешь, Аннета, пока Прозрачный сидит у этого негодяя управделами ПУМа, я схожу к Бракам и попробую получить у них отчисления за фонари.

Евсей Иоаннопольский окружил Прозрачного отеческими заботами. Сделать это было нетрудно, потому что ни в каких земных благах невидимый не нуждался.

После длительной беседы с бухгалтером Филюрин узнал обо всем, что произошло в городе за время его отсутствия.

— Они, Егор Карлович, теперь вас, как огня, боятся! — убеждал Евсей.— Какое счастье для города, что в нем живет и работает такой светлый ум. Мне даже страшно, что рядом со мной сидит такая личность.

— Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы,— сказал Филюрин по привычке, но, вспомнив, что тела у него нет по-прежнему, печально затих.

Однако Евсей Львович понял слова Прозрачного по-своему.

— Конечно, нужно сделать соответствующие оргвыводы. Это блестящая идея. Нужно уволить Каина.

— Кто же его уволит?

— Ну, какой вы, простите меня, добродушный и замечательный человек. Вы его уволите, вы!

— Регистратор не может уволить своего начальника.

— Простой регистратор не может, а вот прозрачный регистратор может. Вы все эти мелкие дела передайте мне. Я все устрою. Зачем вам пачкаться в чепухе? У вас теперь есть более важные дела.

— В самом деле, безобразия творятся! — сказал Прозрачный, припоминая прочитанные в клубном заточении отчеты.

На другой день Иоаннопольский без доклада вошел в кабинет Доброгласова и сухо сказал:

— Прозрачный говорит, что вам следовало бы написать заявление об увольнении. В случае отказа Прозрачному придется рассказать кое-кому о том, как вы сдавали подряд на домовые фонари.

Каин Александрович настрочил заявление, даже не пикнув.

Падение Доброгласова подняло акции Прозрачного еще выше. Слава его, прилежно раздуваемая Иоаннопольским, выросла до пределов возможного, и даже состоящееся вскоре назначение Евсея Львовича на пост заведующего отделом благоустройства не смогло ее увеличить.

Высокопоставленный регистратор службу бросил и коротал свои бесконечные досуги в игре на мандолине, посещении цирка и прогулках по городу. Скучал он по-прежнему, и развлекала его только шутка, которой научил его Евсей Львович, имевший на то особые виды. Шутка заключалась в том, что Филюрин регулярно заходил во все учреждения Пищеслава, пробирался в кабинеты ответственных работников и неожиданно вскрикивал:

— А я здесь! А я здесь!

Это всегда давало сильный эффект и поддерживало за Прозрачным репутацию неусыпного контролера над всем происходящим в городе. Самого же Филюрина чрезвычайно потешали испуганные лица и нервные судороги, охватывавшие занятых деловой работой людей.

Гуляя, как Гарун-аль-Рашид, по городу, Прозрачный слышал много разговоров о себе. Его хвалили. Говорили, что с его помощью грозные некогда учреждения стали более доступными для посетителей, что работники прилавка на вопрос о крупе уже не отвечают — «вот еще, чего захотели», а нежно улыбаясь, отвешивают ее с пятиграммовым походом. Толковали о великой пользе, принесенной Прозрачным, и радовались тому, что Центральный объединенный клуб, обнесенный уже стенами, скоро станет отвечать культурным запросам пищеславцев.

И в те дни, когда Филюрин слышал о себе такие

речи, «Осенний сон», исполняемый им на мандолине, звучал еще упоительней, чем обычно.

И скромный серенький регистратор начинал гордиться все больше и больше.

Чувство это, разжигаемое Евсеем, принимало значительные размеры.

Иоаннопольский, державшийся на посту заведующего отделом благоустройства только благодаря Прозрачному и сердечно ему за это признательный, прилагал все усилия к тому, чтобы сделать Филюрину приятное.

Для начала Евсей раздобыл для Прозрачного большую комнату в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского.

В этой комнате жил старик пенсионер Гадинг, кончины которого с нетерпением ждали все жильцы дома. На получение комнаты рассчитывали и соответственно этому строили планы на будущее: дворник, все жильцы от мала до велика и их иногородние родственники, а также управдом, его друзья его друзей.

Подстегиваемый нетерпеливыми жильцами, старик Гадинг тихо скончался. Не успел еще гроб проплыть на кладбище, как комната оказалась запечатанной восемнадцатью сургучными печатями. На них были оттиски медных пятаков, монограмм и просто пальцев. Это были следы жильцов. Кроме того, висели еще официальные фунтовые печати ПУНИ.

Ужасный поединок между жильцами и управдомом, друзьями управдома, и родственниками жильцов, и всех их порознь с ПУНИ прервался неожиданным въездом в комнату, служившую предметом стольких вожделений, Филюрина. С этого времени у Прозрачного появились первые враги.

Эта заслуга Евсея Львовича явилась первой.

За нею последовало угодничество более пышное и обширное. Старался уже не только Евсей Львович. Нашлось множество бескорыстных почитателей филюринского гения.

С большой помпой был отпразднован двухлетний юбилей служения Филюрина в отделе благоустройства. Торжественное заседание состоялось в помещении городского театра, и если бы не клопы, которые немилосердно кусали собравшихся, то все прошло бы совсем как в большом городе.

Клопы были бичом городского театра. Спектакли приходилось давать при полном освещении зрительного зала,

потому что в темноте мерзкие твари могли бы съесть зрителя вместе с контрамаркой.

Зато банкет после заседания был великолепен.

Юбиляру поднесли прекрасную мандолину с инкрустацией из перламутра и черного дерева и сборник нот русских песен, записанных по цифровой системе. Приветственные речи были горячи, и ораторы щедро рассыпали сравнения. Прозрачного сравнивали с могучим дубом, с ценным сосудом, содержащим в себе кипучую энергию, и с паровозом, который бодро шагает к намеченной цели.

Под конец вечера юбиляр внял неотступным просьбам своих друзей и сыграл на новой мандолине все тот же вальс Джойса «Осенний сон». Никогда еще из-под медиатора не лились такие вдохновенные звуки.

«Пищеславский Пахарь» поместил на своих терпеливых столбцах длиннейшее письмо, в котором Прозрачный, помянув должное число раз многоуважаемого редактора и редактируемую им газету, благодарил всех, почтивших его в день двухлетнего юбилея. Письмо было составлено Иоаннопольским. Поэтому наибольшая часть благодарностей пала на его долю.

Иоаннопольского несло. Он вытребовал из допра поселившегося там скульптора Шаца.

— Шац,— сказал ему правая рука Прозрачного,— нужен новый памятник.

— Кому?

— Прозрачному!

— Нет,— ответил Шац,— я не могу больше делать памятников. Мне Тимирязев является по ночам, здоровается со мной за руку и говорит: «Шац, Шац, что вы со мной сделали?»

— Шац, Шац, памятник нужен,— продолжал Евсей,— и вы его сделаете.

— Это действительно так необходимо?

— Этого требует благоустройство города.

— Хорошо. Если благоустройство требует, я согласен. Но, предупреждаю вас, его не будет видно.

— Почему?

— Разве может быть видим памятник невидимому?

Иоаннопольский призадумался, поскребывая многодумную лысину.

— А все-таки вы представьте смету,— заключил он.

— Против сметы я не возражаю,— заметил скульптор,— ее видно. Однако должен вас предупредить, что памятник встанет вам не дешево. Вам бронзу или гипс?

— Бронзу! Обязательно бронзу!

— Хорошо. Все будет сделано.

В тот же вечер, когда произошел беспримерный разговор о постановке памятника невидимому человеку, из пищеславского допра по разгрузке вышел Петр Каллистратович Иванопольский — подлинный управделами ПУМа, известный авантюрист и мошенник.

Глава VIII

ХИЩНИК ВЫХОДИТ НА СВОБОДУ

Оставим на время невидимого, купающегося в лучах своей славы. Оставим граждан города Пищеслава, воздающих робкую хвалу Прозрачному. Оставим и Евсея Львовича, сидящего в кабинете Доброгласова и вычерчивающего красными чернилами многословные резолюции на деловых бумагах.

Обратимся к пружинам более тайным — к лицам, прибывающим теперь в ничтожестве, к людям, ропщущим и недовольным порядком вещей, возникшим в Пищеславе.

Выйдя за ворота допра, Петр Каллистратович Иванопольский очутился на Сенной площади и зажмурился от режущего солнечного света.

Так жмурится тигр, впервые выскочивший на песочную цирковую арену. Его слепит розовый прожекторный свет, раздражает шум и запах толпы. Пятясь назад, он шевелит жандармскими усищами и морщит морду. Ему очень хочется человечины, но он растерян и еще неясно понимает происходящее. Но дайте ему время. Он скоро свыкнется с новым положением, забегает по арене, обмахивая поджарый живот наэлектризованным своим хвостом, и перейдет к нападению — начнет угрожающе рычать и постарается зацепить лапой укротителя в традиционном костюме Буфалло Билля.

Пробежав под стенами домов до памятника Тимирязева, Петр Иванопольский в удивлении остановился. Центральный объединенный клуб был окружен лесами. Из раскрытых ворот постройки цепью выезжали телеги, груженные толстыми колоннами.

Мимо Иванопольского прошел хороший его знакомый по давнишнему делу о дружеских векселях кредитного товарищества «Самопомощь».

— Алло! — крикнул Иванопольский.

Знакомый внимательно посмотрел в сторону Петра Каллистратовича, на секунду остановился, но, не ответив на поклон, важно проследовал дальше.

— Хамло! — сказал Петр Каллистратович довольно громко.

Затем он отправился в Пищетрест, чтобы повидаться с приятелем, с которым был связан узами взаимной протекции.

Приятель встретил Иванопольского без радости. Иванопольскому показалось даже, что его испугались. Тем не менее он немедленно приступил к делу.

— Ты, конечно, понимаешь, что мне до зарезу нужны деньги. Нужна служба.

— Вижу,— холодно сказал приятель.

— На первых порах я многого не требую. Рублей триста оклад и живое дело.

— Вы что, собственно, товарищ, хотите поступить к нам на службу?

— Ну, конечно же.

— Тогда подайте заявление в общем порядке. Впрочем, должен вас предупредить, что свободных вакансий у нас нет, а если бы и открылись, то все равно без биржи труда мы принять не можем.

Иванопольский сделал гримасу.

— Что ты, Аркадий! Это же бюрократизм. В общем порядке, биржа труда...

— Не мешайте мне работать, гражданин,— терпеливо сказал Аркадий.

Иванопольский в гневе повернулся, но, еще прежде чем он ушел, в кабинете раздался возглас:

— А я здесь!

Петр Каллистратович увидел, как перекосилась физиономия Аркадия. Потом по лицу Иванопольского пронесся ветерок, сама собой раскрылась дверь и в общей канцелярии послышалось то же восклицание:

— А я здесь! А я здесь!

Служащие вскакивали с мест и бледнели. Со столов сыпались пресс-папье.

Ничего решительно не поняв, Иванопольский плюнул, вышел на улицу и долго еще стоял перед фасадом Пищетреста, изумленно пяля глаза на его голубую вывеску с круглыми золотыми буквами.

«Что случилось? — думал бывший управделами.— Что за кислота такая в городе?»

Он толкнулся было в магазин фирмы «Лапидус и Ганичкин», но тут его ждала неожиданность. Железные шторы магазина были опущены. Первая стеклянная дверь была закрыта на ключ, а на второй двери Иванопольский увидел большую сургучную печать.

Петра Каллистратовича взяла оторопь.

И он стал бегать по городу, желая восстановить прежние связи и разыскать кончик нити того счастливого клубка, в сердцевине которого ему всегда удавалось найти прекрасную службу, возможность афер, командировочные, тантьемы, процентные вознаграждения,— словом, все то, что он для краткости называл живым делом.

Но все его попытки кончались провалом. Одни его не узнавали, другие были непонятно и возмутительно официальны, а третьих и вовсе не было — они сидели там, откуда Петр Каллистратович только сегодня вышел.

— Придется в другой город переезжать,— бормотал Иванопольский,— ну и дела!

А какие такие дела происходят в городе, он себе еще не уяснил.

— Побегу к Бракам! Если Браки пропали, тогда дело гиблое.

Делами общества со смешанным капиталом «Тригер и Брак» ворочал один Николай Самойлович Брак, потому что Тригер запутался в валюте и давно был выслан в область, которая до приезда Тригера славилась только тем, что в ней находился полюс холода.

Дом Браков был приятнейшим в Пищеславе. Его усердно посещали молодые люди с подстриженными по-боксерски волосами, в аккуратных костюмах, продернутых шелковой ниткой, в шерстяных жилетах, туфлях мастичного цвета и мягких шляпах.

Именно здесь впервые в Пищеславе был станцован чарльстон и сыграна первая партия в пинг-понг. Семья Браков умела жить и веселиться по-заграничному. В передней с молодых людей горничная снимала пальто и брала на чай. После танцев проголодавшимся давали морс с печеньем, а браковские дочки развлекали их разговорами на зарубежные темы. Говорили преимущественно о разнице в ценах на вещи между Берлином и Пищеславом, клеймили монополию внешней торговли, из-за которой ходишь «голая, босая», и о новой заграничной моде — пудриться не пудрой, а тальком. Этому молодое поколение Браков придавало особо важное значение.

Заграничная жизнь в доме Николая Самойловича до-

стигла своего апогея в тот вечер, когда глава семейства принес домой вязочку бананов.

Появление бананов в Пищеславе совпало с приездом в город выставки обезьян. Для поддержания жизни лучшего экспоната выставки — гориллы «Молли» — выставочная администрация выписывала бананы из-за границы. Горилла могла похвастаться тем, что, кроме нее, ни одна живая душа в Пищеславе не ест редкостных плодов.

Но семейство Брак в стремлении своем к настоящей жизни не знало никакого удержу. Николай Самойлович, баловавший дочерей, не мог отказать им ни в чем.

Выставочный сторож не устоял перед посулами Брака.

На чайном столе Браков закрасовались бананы. Они были, правда, вырваны из пасти гориллы, но зато укрепили за семейством репутацию европейцев душою и телом.

Со времени исчезновения Филюрина дом Браков затих. Молодые люди перестали ходить, чарльстон прекратился, а здоровье гориллы заметно улучшилось — она получала теперь свою порцию бананов полностью.

Дела Брака пошатнулись. Оптический магазин был опечатан за неплатеж налогов. Знакомый фининспектор сознался в том, что был дружен с женою некоего налогоплательщика, за что его и сняли с работы. Государственные учреждения не давали больше выгодных подрядов.

Николай Самойлович ходил по квартире смутный и раздражительный.

— Если так будет продолжаться еще неделю,— кричал он,— я пропал!

В такую минуту пришел к нему Доброгласов.

— Ну, как насчет «пыщи»? — зло спросил его Брак.

«Пыщей» Николай Самойлович называл все, имеющее отношение к деньгам, карьере, поставкам и тому подобным приятным вещам. «Как насчет пыщи» значило: «Как вы зарабатываете? Нет ли какого-нибудь дельца? Что слышно в губсовнархозе? С кем вы теперь живете? Получена ли в губсоюзе мануфактура? Почем сегодня на черной бирже турецкие лиры?» Многое, почти все, обозначалось словом «пыща».

Каин Александрович отлично знал универсальность этого слова и грустно ответил:

— Плохо.

— Душат? — спросил Брак.

— Уже задушили,— ответил Каин Александрович.— С работы сняли. Того и гляди под суд попаду.

— За что?

— По вашему делу. Подряд на фонари.

— Значит, выходит, что и я могу попасть с вами?

— Вполне естественно.

— Позвольте, Каин Александрович, но ведь с моей стороны это была не взятка, а добровольные отчисления, благодарность за услуги, которые вы мне оказывали в сверхурочное время.

— Нет, Николай Самойлович, будем говорить откровенно. Прозрачный сидит сейчас у бухгалтеришки Евсея, которого я, дурак, своими руками взял на службу, и играет на мандолине. Как только игра прекратится, нам сообщат. Так что если подлец Евсей захочет подослать Филюрина сюда, мы будем вовремя предупреждены. Итак, поспешим. Вы — лиходатель, а я — взяткобратель, и никакая не благодарность. Для нас обоих существует одна статья. Поэтому нам надо спасать друг друга.

— Кто бы мог подумать, что из-за такого дурака, как Филюрин, вся жизнь перевернется. Вы знаете, Каин Александрович, еще неделя — и я уже не человек.

— Подождите, Николай Самойлович, не убивайтесь.

— Нет! Нет! Я уже чувствую! Брак погибнет, как погиб Тригер. И сказать правду, Тригеру лучше там, чем Браку здесь. Магазин пустят с молотка, квартиру заберут, в учреждениях сидят какие-то тигры. И в довершение всего — могут посадить.

— Вы думаете, мне лучше? — с чувством сказал Каин Александрович.— Воленс-неволенс, а я должен кормить детей и брата Авеля, которых я сам уволил. Денег нет, и я не знаю, откуда они могут взяться.

— Нужно действовать. Нужно что-нибудь придумать. Неужели Прозрачного никак нельзя сковырнуть?

— Попробуйте сковырните! Вы знаете про его шутки в учреждениях?

— «А я здесь»?

— Ну да. Так вот, попробуйте сковырните вы его, когда никто не знает, где он и что!

— Вот если бы он не был прозрачный...— задумчиво молвил Николай Самойлович.

— Чего еще захотели! Да я бы его тогда моментально выгнал со службы, да так, что местком и пискнуть не посмел бы!

— Тогда есть только одно средство! Сделать его снова видимым!

— Открыл Северную и Южную Америку! — с иронией

произнес Доброгласов.— Не вы ли это забросите свои комерческие дела и займетесь изобретенческими вопросами?

— Нет, не я.

— А кто?

— Тот, кто сделал его невидимым.

— Бабский!!

— Догадались наконец.

— Но ведь он совершенно сумасшедший.

— А самое существование Прозрачного — это не сумасшествие? А мы с вами не сумасшедшие, если живем в таком городе и до сих пор не издохли?!

Глаза Каина Александровича расширились. Надежда залила их зеркальным светом.

— Да! — закричал он.— Мы должны выявить Прозрачного, и мы его выявим!

Николай Самойлович поспешно переодевался. Он стянул свое брюхо замшевым поясом с автоматической застежкой. Заливаясь краской, застегнул ворот рубашки «лионез» и пошарил в карманах, бормоча:

— Да! Нужны деньги. О, эти деньги!..

— Их жалеть нечего,— сказал Доброгласов,— с лихвой окупим.

— Ну, с богом! Вы знаете, Каин Александрович, никогда в жизни я еще так не волновался.

И союзники поспешно двинулись на Косвенную улицу, прибавляя шагу по мере приближения к затхлому жилью изобретателя.

В начале Косвенной их поразили необычные крики. Навстречу им по мостовой двигалась странная процессия. Впереди всех, пританцовывая и взмахивая локтями, бежал совершенной голый, волосатый, грязно-голубой мужчина.

Нужно думать, что нагретые солнцем булыжники обжигали ему пятки, потому что голый беспрерывно подскакивал вершка на три от мостовой.

— Я невидимый! — кричал голый низким колеблющимся голосом.

Толпа отвечала смехом и улюлюканьем.

— Я невидимый! Я невидимый! — надсаживался человек.— Я перестал существовать!

— Кто это такой? — спросил Каин Александрович у мальчишки.— Что тут случилось?

Но никто не отвечал. Зрителям не хотелось терять на пустые разговоры ни одной минуты.

Голубой человек с грязными подтеками на спине делал уморительные прыжки. Толпа негодовала:

— Срам какой!

— Давно такого хулиганства не было!

— В милицию его!

— Я невидимый! — вопил голый. — Я стал прозрачным. Я, прошу убедиться, изобрел новую пасту «Невидим Бабского»!

— Бабский! — ахнул Доброгласов. — Мы пропали, Николай Самойлович. Видели, что делается? Окончательно спятил!

К месту происшествия уже катил в пролетке постовой милиционер.

— Держите его, граждане! — крикнул он. — Окажите содействие милиции.

— Вон! — орал Бабский. — Никто не может меня схватить. Меня не видно! Разве вы не видите, что меня не видно?! Ха-ха! «Невидим Бабского» сделал свое дело! Каково?

— Очень хорошо, — уговаривал милиционер, просовывая руки под голубые подмышки изобретателя, — не волнуйтесь, гражданин!

Толпа с гиканьем подсаживала Бабского в пролетку.

— Гениальные изобретения всегда просты! — кричал Бабский, валясь на спину извозчика. — «Невидим Бабского» — шедевр простоты — два грамма селитры, порошок аспирина и четверть фунта аквамариновой краски. Развести в дистиллированной воде!..

Извозчик слушал, равнодушно отвернув лицо в сторону. Ему было все равно, кого возить — голых, пьяных, голубых или сумасшедших людей. Он жалел только, что не вовремя заснул и не успел ускакать от милиционера.

Бабский буйствовал. С помощью дворников и активистов из толпы Бабского удалось уложить поперек пролетки. Дворники уселись на спину изобретателя. Милиционер вскочил на подножку, и отяжелевший экипаж медленно поехал по Косвенной улице, и до самого поворота в Многолавочный переулок видны были толстые аквамариновые икры городского сумасшедшего.

Целый месяц Бабский искал утерянный секрет «веснулина» и кончил тем, что окончательно рехнулся, выкрасился и в полной уверенности, что стал прозрачным, выбежал на люди.

— Что ж теперь делать? — растерянно спросил Бран.

Каин Александрович топнул ногой, выбив каблуком из мостовой искру.

— Кончено! — сказал он.— Воленс-неволенс, а нужно искать других способов.

Опечаленные друзья, обмениваясь короткими фразами, повернули домой.

— Зайдем ко мне,— предложил Николай Самойлович,— посидим, пообедаете. Может, что-нибудь и придумаем. Вы знаете, Доброгласов, нам нужен человек со свежими мозгами. Не знаю, как ваши, но мои уже превратились в битки.

— Да, Каин Александрович, нам нужен свежий, энергичный, без предрассудков и вполне свой человек. И этот человек...

Николай Самойлович растворил дверь кабинета и отступил:

— Вот!

В кабинете, развалясь на диване и покуривая хозяйскую папиросу, полулежал Петр Каллистратович Ивано-польский.

Глава IX

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПАНЦИРЬ

Подлинный бывший управделами ПУМа Петр Каллистратович Иванопольский за время сидения в допре действительно сохранил свежесть мыслей, накопил много энергии и окончательно распростился со всеми предрассудками.

Знакомство его с Каином Александровичем носило сердечнейший характер. Доброгласов, тряся руку Иванопольского, блаженно улыбался и долго повторял:

— Как же, как же, отлично знаю! Управделами ПУМа! Очень, очень приятно! Но вы знаете, какой у вас есть ужасный однофамилец! Змея!

Когда Иванопольский узнал все пищеславские новости, ему стала понятна холодность друзей и плачевная участь, постигшая торговый дом «Лапидус и Ганичкин».

— Загорелся сыр божий,— сказал он.

Щеки его, покрытые до сих пор тюремной бледностью, порозовели.

— Как ваше мнение, Петр Каллистратович? — спросил Доброгласов, искательно глядя на собеседника.

Насторожился и Брак.

— Мое такое мнение,— объявил гость,— что Прозрачному нужно пришить дело.

Мысль, высказанная Иванопольским, была так значительна, что Доброгласов и хозяин дома несколько времени помолчали.

— Скажите,— вымолвил наконец Каин Александрович,— правильно ли я вас понял? Пришить дело?

— Это немыслимо! — вскричал Брак.

Рот его наполовину открылся, и оттуда глянули давно не чищенные от горя и тоски зубы. Но гость стоял на своем.

— Пришить дело. Безусловно.

— Позвольте, как же можно пришить дело невидимому человеку?

— Вам что, собственно говоря, нужно? Опорочить его?

— Да. Во что бы то ни стало убрать Прозрачного.

— Вот и убирайте. Я вам дал идею.

— Не шутите, Иванопольский! — закричал вдруг Брак.— Какое может быть дело?! Филюрин физически не существует.

— Вы правы, Николай Самойлович. Он физически не существует, но зато он существует юридически. Вы рассказывали, что Прозрачный имеет сбережения в сберкассе? Прекрасно. Это подтверждает мое мнение. У него есть комната? Даже новая комната, которую он получил уже в невидимом состоянии? Тем лучше. Все это доказывает, что Прозрачный — лицо юридическое. А я могу пришить любому юридическому лицу любое юридическое дело.

— Хорошо,— заволновался Доброгласов,— допустим, хотя я сильно сомневаюсь в том, что Прозрачный попадает под суд, но ведь это одна фикция. Он может просто не прийти на заседание суда!

— Если он сделает эту глупость, он погиб! — спокойно сказал Иванопольский.— Весь город будет знать, что Прозрачный испугался суда и, следовательно, виновен.

— А если явится?

— Ну, это уж зависит от того, какое дело мы против него поведем.

Собеседники еще раз попытались пробить юридический панцирь, облекающий физическое тело Петра Каллистратовича.

— Ладно. Его присуждают. Кто будет сидеть в тюрьме?

— Прозрачный, конечно!

— Так он вам и пойдет туда! А вдруг он побежит, например, в цирк? Кто ему может помешать?

— Пусть идет куда угодно. Юридически он будет сидеть в тюрьме. И наконец, зачем нам уголовное дело? Опозо-

рить человека можно и гражданским делом. Наша задача — посадить его на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора. После этого карьера Прозрачного окончится. Поверьте слову!

Доброгласов и Брак были наконец побеждены. Они рассыпались в благодарностях.

— Я человек скромный,— сказал Иванопольский,— но одной юридической благодарности мне мало. Я хотел бы получить также физическую.

После долгого торга, который определил размеры вознаграждения Петра Каллистратовича и степень участия его в будущих благах, а также после получения им задаточной суммы на необходимые издержки, Иванопольский поднялся и сказал:

— Покамест я еще не могу сказать вам, какое именно обвинение мы предъявим Прозрачному, так как не знаком с его интимной жизнью. Тут уж мне придется бегать, а вам ждать и верить. У нас ведь, если говорить официально, товарищество на вере?

Узнав у компаньонов, где живет Прозрачный, и еще раз подтвердив, что дело можно пришить всякому,— была бы охота,— повеселевший Иванопольский ушел.

Несколько дней Петр Каллистратович колесил по городу, выискивая за Филюриным грехи, но прошлое регистратора было так же прозрачно, как и настоящее. За ним не было ничего: ни прогулов по службе, ни хулиганских выходок, ни какой-либо преступной страсти.

Некоторое утешение Иванопольский получил только в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского. Все обитатели дома, возмущенные тем, что ПУНИ отдало комнату Прозрачному, были настроены против своего нового соседа. Но из их рассказов Иванопольский не почерпнул необходимых ему данных. Невидимый жилец был тих и кроток и даже на мандолине играл по правилам — только до одиннадцати часов вечера.

Иванопольский понял, однако, что жильцы дома № 16 готовы лжесвидетельствовать против Прозрачного в любом деле, но так как самого дела еще не было, свидетели были пока не нужны и оставлены про запас.

На четвертый день обследования и собирания материалов Петр Каллистратович направился на старую квартиру Филюрина, надеясь хоть там напасть на какой-нибудь след.

Когда он подходил к дому мадам Безлюдной, у фасада стояло несколько зевак. Мастера прилаживали к стене

дома мраморную доску с золотой готической надписью: «Здесь жил Прозрачный в бытность его Егором Карловичем Филюриным».

Петр Каллистратович с ненавистью посмотрел на памятную доску и, поругиваясь, постучался в дверь мадам, из-за которой неслось пение Безлюдной и крики младенца.

Ничего не знавший о комплоте, организующемся против невидимого, Евсей Львович Иоаннопольский безмятежно правил отделом благоустройства. Сотрудники любили его, хотя Пташников, понимавший, какая пропасть ныне отделяет его от Евсея, уже не смел давать ему медицинских советов.

Иоаннопольский, робкий по природе, всю свою жизнь искал крепкое капитальное место, с которого его не могли бы в любой день снять и где он мог бы по-настоящему отдохнуть. Сейчас ему казалось, что такое место он нашел. Поэтому он старательно его укреплял, делая все возможное для того, чтобы поддержать престиж своего покровителя. Устроив Прозрачному юбилей и польстив ему памятной доской на доме мадам Безлюдной, Евсей Львович спешил с разработкой проекта памятника другу и благодетелю.

Мысль эта казалась ему блестящей, и он гнал вовсю, опасаясь, что идея будет перехвачена завистниками и недругами.

Скульптор-управдом вместе с заведующим отделом благоустройства Пищ-Ка-Ха по многу часов подряд толковали о памятнике Невидимому и в конце концов убедились в том, что фигуру Прозрачного не удастся отлить ни из бронзы, ни из гипса, потому что не получится подлинной невидимости.

— Может быть, Евсей Львович, остановимся все же на бронзовом,— осторожно спросил скульптор, войдя в кабинет Иоаннопольского с большой папкой эскизов.

— Нет, нельзя,— ответил Евсей,— получится какая-то видимость, а это уже не то.

— Тогда, может быть, поставим товарищу Прозрачному колонну! — воскликнул Шац.

— Вроде Вандомской?

— Конечно! Дайте мне заказ, и я вам сделаю прекраснейшую колонну с барельефами и другими скульптурными украшениями.

— Это мысль. Кстати, у нас на дворе есть много свободных колонн от Центрального клуба.

— Тогда поставим несколько! Одну большую колонну, символизирующую невидимость, посредине, а по бокам — портики, для прогулки граждан.

— И сквер!

— И скамейки для тех, кто захочет посидеть и полюбоваться на памятник!

Новая идея очень увлекла Иоаннопольского. Он старательно укреплял свое положение.

Но не успел проект пройти все положенные инстанции, как произошло нечто непредвиденное.

Придя однажды на службу, Иоаннопольский заметил, что Пташников смотрит на него кроличьим взглядом.

— Что с вами? — пошутил Евсей Львович.— У вас очень нехороший вид. Может быть, у вас на нервной почве.

Пташников замялся.

— Или отравление уриной? — приставал начальник.

Пташников несмело улыбался. Но, как видно, дело было не на нервной почве. Через несколько минут учрежденский знахарь вошел в кабинет Иоаннопольского.

— Вы слышали новость, Евсей Львович? — спросил он, с опасением поглядывая на дверь.— Говорят, будто бы у товарища Прозрачного родилась дочь.

— Что за глупости!

— Честное слово, говорят.

— От кого?

— От бывшей его квартирной хозяйки.

— Какие глупости! — вскричал Иоаннопольский.

Но тут же вспомнил свой разговор с мадам Безлюдной в утро исчезновения Филюрина.

— Чепуха! — проговорил он менее уверенным тоном.

— Нет, нет! Говорят, совершенно точно!

— Ну, что ж из того? Ну, родился ребенок, но ведь это же его интимное дело!

— Да, но рассказывают подробности. Говорят, что он ее на седьмом месяце бросил и теперь даже знать не хочет!

Иоаннопольский сердито встал из-за стола и крикнул:

— Пташников! Вас надо изжить! Воленс-неволенс, а я вас уволенс за распространение порочащих слухов.

— При чем тут я? — оправдывался знахарь.— Я хотел вас предупредить. Вы знаете, что весь город со вчерашнего вечера только об этом и говорит. Я удивляюсь, как товарищ Прозрачный этого не знает.

— Молчите, Пташников! У вас слишком длинный язык!

Но Пташникова уже нельзя было остановить. Прижимая руки к груди и наклоняясь над чернильницей «Лицом к деревне», которая перекочевала в кабинет заведующего, он сообщал новости одна другой ужасней.

— Квартирохозяйка подала в суд!

— Чего же она хочет?

— Алиментов. Много алиментов. Удивляюсь вам, Евсей Львович, весь город знает. Люди возмущены.

— Как? Кто смеет возмущаться?

— Многие! Некоторые, правда, не верят, чтобы Прозрачный мог бросить несчастную больную женщину с ребенком на руках!

— Это ложь! — завопил Евсей.— Они этого не докажут!

— А между прочим, говорят, что бедная женщина голодает, в то время как Прозрачный купается в роскоши.

Тут только Иоаннопольский понял, какая бездна развернулась под его ногами. И место заведующего отделом благоустройства, которое Евсей Львович так старательно укреплял и дренажировал, вырывалось из-под его геморроидального зада.

Иоаннопольский знал силу сплетни.

«Хорошо,— думал он,— бегая вдоль стены кабинета.— Суд — это еще полбеды, хотя и это уже плохо. Прозрачный не должен был бы судиться. Как они это докажут? Нужно бороться, иначе все погибло. Нужно пустить контрслух о том, что все это враки, что Прозрачный ни в чем не виновен...»

— А я здесь! — раздался голос Прозрачного.

— Егор Карлович? — спросил Иоаннопольский.— Ну, так говорите тише.

— Что новенького в отделе? — сказал Прозрачный.— Хороший у вас галстук, Евсей Львович, сколько дали?

Но Евсею Львовичу было не до галстука. Он сразу вывалил Прозрачному все, что знал со слов Пташникова.

— Разве это про меня говорят? — удивился невидимый.— Я действительно слышал в городе разговоры про какого-то ребенка. Но я думал, что это про кого-нибудь другого.

Евсей Львович со злостью посмотрел в сторону шкафа, откуда шел беззаботный голос Филюрина, и в отчаянии подумал:

«Ему все равно, засудят его или не засудят, а ведь я место потеряю, мне пить-есть надо. Я ж не прозрачный».

— Еще можно все поправить,— сказал Евсей Львович,— вы жили с ней, с вашей квартирохозяйкой?

— С кем? С мадам Безлюдной? Даже не думал! Все с ума посходили, что ли?

— В таком случае я ничего не понимаю! — воскликнул Евсей Львович.— Вы, серьезно, с ней не жили?

— Да ей-богу же, не жил! Даю вам честное слово!

— Откуда? Откуда тогда этот слух? Как же эта дура осмелилась вас позорить? Вы знаете, что на вас подали в суд? Вам нужно защищаться! При вашем положении вы должны пресекать подобные выступления в корне.

И Евсей Львович, сообразивший теперь, что дело совсем не в мадам Безлюдной и не в ее претензиях, что тут действуют какие-то темные и неведомые ему силы, принялся втолковывать Прозрачному элементарные методы борьбы с алиментным злом.

Еще большую энергию вдохнул в него телефонный звонок. Дружеский голос с недоумением сообщил, что Прозрачному вчинен гражданский иск на содержание ребенка, прижитого им от гражданки Безлюдной.

— Повестку послали на квартиру товарищу Прозрачному. Суд состоится, вероятно, дня через три. Так как общественность проявляет к процессу большой интерес, судебное заседание будет устроено на Тимирязевской площади, под открытым небом! — закончил доброжелатель.

После этого в трубке послышался рвущий уши треск и хлопанье крыльев.

— Едемте ко мне! — торопил Евсей.— Нужно обсудить! Принять меры!

Когда Иоаннопольский сбежал по лестнице, то увидел, что у дверей Пищ-Ка-Ха стояла мадам Безлюдная в легком белом платье с вышивкой. На руках у нее лежал большой белый кокон, из которого слышался слабый писк.

Услышав голос Прозрачного, легкомысленно спросившего Евсея Львовича «который час», мадам живо выступила вперед и сразу же взяла всесокрушающее до диез.

— Вот он! — вопила она.— Смотрите все на отца! Его не видно, но он здесь! Он только что разговаривал!

— Бегите! — шепнул Евсей.

Но было уже поздно. Вдова оскалила все свое золото и, протянув ребенка вперед, завизжала:

— На, подлец! Возьми своего ребенка!!!

Прозрачный инстинктивно подхватил дитя. И взорам собравшейся толпы предстала удивительная картина: ребе-

нок, завернутый в пикейное одеяльце, повис в воздухе, а мадам, предусмотрительно отбежав шагов на десять, ломала пальцы, без перерыву крича:

— Смотрите все на отца-негодяя! Смотрите! Вот он! А еще Прозрачный.

Евсей Львович был вне себя.

— Да что вы стоите как дурак! Бросайте ребенка и бегите! Это же подстроенный скандал!

И необозримая толпа, запрудившая к тому времени улицу и переулки, увидела, как ребенок плавно спустился на тротуар и лег на пороге Пищ-Ка-Ха.

— Он убежал! — надрывалась мадам Безлюдная.— Последний босяк этого не сделал бы.

Евсей Львович ринулся вперед и стал проталкиваться сквозь толпу.

Он увидел, как вдоль улицы, под стенкой, трусил Каин Александрович, удаляясь от места происшествия. Рядом с ним, отдуваясь и обтирая лоб платком, тяжело бежал толстяк в коверкотовом костюме. В бежавшем Евсей без труда узнал Николая Самойловича Брака.

А у порога Пищ-Ка-Ха, указывая то на плачущую мать, то на лежащего у ее ног ребенка, стоял Петр Каллистратович Иванопольский.

Возбужденная событием, толпа не расходилась до поздней ночи.

Глава X

«ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЮ»

Иванопольский, Доброгласов и Брак предались ликованию.

— Ну, как насчет пыщи? — хохотал Николай Самойлович.

— Живое дело! — ответил Иванопольский.— Говорю вам это как юридическое лицо юридическому лицу!

А бледный от внутреннего торжества Каин Александрович слонялся из угла в угол, мечтая о том часе, когда он снова войдет в кабинет заведующего отделом благоустройства, чтобы писать там резолюции, получать отчисления и пугать служащих своим видом. Он ясно воображал себе, как сорвет с дверей кабинета с перепугу написанный им приказ об увольнении родичей и повесит на это место белую эмалированную таблицу: «Приема нет».

В последние три ночи перед разбором дела Прозрачного

Доброгласову снился один и тот же воинственный сон. Он отчетливо видел ахейских воинов, подступивших к огромным воротам Трои и с удивлением останавливающихся перед белой эмалированной таблицей с надписью: «Приама нет!»

И он слышал во сне, как печально кричали ахейцы, отступая от ворот Трои:

— Приама нет! Приема нет!

— Приема нет! — кричал Каин Александрович, просыпаясь от звуков собственного голоса.

Все предвещало победу и обильную «пыщу», которая, конечно. должна была вскоре последовать. Даже самое звучание слова «пыща» таило в себе обещание некоей пышности и грядущего благоденствия.

В то время как в стане врагов Прозрачного кипело оживление и в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского шла вербовка свидетелей по алиментному делу, Евсей Львович прилагал все увилия к тому, чтобы укрепить пошатнувшуюся популярность своего невидимого покровителя.

Иоаннопольский привел в действие весь аппарат отдела благоустройства. Сотрудники отдела, напуганные возможностью возвращения Каина Александровича, старались вовсю. Они с жаром доказывали друзьям и знакомым, что Прозрачный действительно является существом кристальным и что возведенный на него поклеп — просто глупая болтовня пьяной бабы.

Следствием этого был новый поворот в общественном мнении. Большинство склонялось к тому, что обвинять Прозрачного до суда — преждевременно.

Евсей Львович маялся. Планы, один грандиознее другого, возникали в его лысой голове. То он решал вести борьбу на суде со всем возможным напряжением, заучивал свои показания (он собирался выступать в качестве свидетеля с громовой речью), то исход дела казался ему безнадежным и мысли его обращались к американским родственникам — Гарри Львовичу, Синклеру Львовичу и Хираму Львовичу Джонопольским — родным и богатым братьям Евсея Львовича.

«Не лучше ли бросить,— думал он,— всю эту волынку и продать Филюрина в Америку? Там призраки, наверное, высоко ценятся. Хорошо было бы списаться с братьями!»

Но эта чушь сидела в голове недолго, и Иоаннопольский снова принимался за будничные хлопоты по сколачи-

ванию свидетельского института и репетированию с Прозрачным его последнего слова.

На рассвете того дня, в который назначено было судебное заседание, Евсей проснулся от голоса Филюрина.

— Евсей! — говорил Прозрачный плачущим голосом.— Мне тошно жить на свете! Разве это жизнь? Я не знаю, что такое аппетит. Я не спал уже два месяца. А теперь еще алименты плати. Вот жизнь!

Иоаннопольский вскочил и быстро стал одеваться.

Солнце, высунувшееся из-за горизонта, посылало темнорозовые лучи прямо под ноги людям, работавшим на площади.

Перед памятником Тимирязеву устанавливали скамьи, к фонарным столбам приладили радиоусилители, и на судейском столе, покрытом сукном, уже стояли графин с водой и никелированный колокольчик.

— Я не хочу платить алименты! — тосковал Филюрин.— Невидимый не должен платить алименты. Мало того что я потерял тело! Лучше и не мылся бы никогда в своей жизни!

— Так вы смотрите,— увещевал Иоаннопольский,— говорите громко и медленно. Слышите?

— Да, слышу, слышу,— уныло отвечал Прозрачный,— вот противная баба Безлюдная! Хорошо, что я ей за квартиру, когда съезжал, не заплатил.

Ровно в десять часов усилители разнесли по всей площади крик:

— Суд идет! Прошу встать!

Но так как пищеславцы, хлынувшие на площадь в несметном числе, и без того стояли на ногах, то обычного шевеления при появлении судей не произошло.

Уняв гомонившие толпы продолжительными, во сто раз усиленными радиозвонками, нарсудья исподлобья взглянул на непривычную по величине аудиторию и возвестил:

— Слушается дело по иску гражданки Безлюдной к гражданину Филюрину. Гражданка Безлюдная!

Мадам приблизилась к столу и, прежде чем ее успели спросить, заголосила, оглядываясь на толпу и выставляя вперед младенца. Судья успокоил ее мягким замечанием и вызвал Филюрина.

— А я здесь! — прокричал Прозрачный.

Судья попросил относиться к суду серьезней, а мадам заплакала навзрыд. В толпе поднялся шум — заседание начиналось общим сочувствием истице.

Особенно горячих сторонников потерпевшей пришлось

призвать к порядку. Только после этого притихли стоявшие в первых рядах Каиновичи и Иванопольский. Доброгласов и Брак таились где-то вглуби. Евсей Львович в соломенной шляпе «канотье» и белом пикейном жилете (именно так он был одет в день свадьбы своей сестры много лет тому назад) стоял с бурым от волнения лицом поблизости к судьям. За ним виднелись лица Пташникова, его тайной жены, тайного сына, курьера Юсюпова и инкассатора. Евсей Львович поминутно оборачивался и делал своей свите какие-то знаки.

Вдова с плачем давала объяснения.

Она ничего не требовала, ничего не просила. Она хотела только, чтобы все узнали, как низко бросил ее этот человек, который когда-то с ней сходился, был видимым, а тогда, когда его фактическая жена была на седьмом месяце беременности, почему-то сделался невидимым.

— Не кажется ли это суду подозрительным! — с гражданским пафосом спросил из первого ряда Петр Каллистратович Иванопольский.

«Это жулик,— хотелось крикнуть Евсею,— не верьте ему».

Но судья и сам знал, что ему нужно было делать.

— Уведите этого гражданина! — сказала судья курьеру.

Иванопольский, выведенный за пределы площади, обошел вокруг перестроенного Центрального клуба и вернулся назад.

— И я прошу,— закончила вдова,— чтобы суд заклеймил обманщика и...

— И воочию показал,— не мог удержаться Иванопольский,— что пролетарский суд, советский суд, учтя статью гражданского процессуального кодекса, покарал...

Конец вдовьей речи Иванопольский произносил уже под надзором курьера, вторично выводившего его с площади.

— Не кажется ли суду подозрительным,— сказал Евсей Львович дрожащим голосом, снимая «канотье»,— что посторонние элементы давят на сознание граждан судей?

— А вы кто такой? Правозаступник? Тогда почему вы вмешиваетесь?

Евсей Львович в страхе отступил. И дело продолжалось.

— Филюрин, Егор Карлович,— сказал судья,— дайте ваши объяснения.

Стало так тихо, что слышно было, как на Тихостройке кричат дети, занятые ловлей раков.

— Что же говорить, товарищ судья! — грустно молвил Прозрачный.— Действительно, я у мадам Безлюдной снимал комнату. (Смех Каиновичей.) Но ничего с ней у меня не было. (Голос Брака: «Ну-у-у!») Верьте не верьте, товарищ судья, тут моей вины нет. Эта дамочка со всеми крутила! (Радостное восклицание Евсея Львовича.) Теперь, товарищ судья, разрешите задать гражданке вопрос?

— Можете.

— Скажите, мадам Безлюдная, почему вы так поздно заявили в суд, если выходит, что я вас два месяца тому назад бросил?

— Не подумала как-то,— ответила вдова, ища глазами поддержки в Иванопольском.

— Больше вопросов не имею! — закричал Евсей Львович, не дожидаясь, пока эту фразу произнесет подученный им Прозрачный.

— Выведите этого гражданина,— сказал судья.

И судоговорение продолжалось.

Когда Евсей Львович бегом вернулся на площадь, шел вызов свидетелей. Со стороны мадам Безлюдной вышло около пятидесяти человек во главе с Петром Каллистратовичем. Со стороны же Прозрачного выступил один только Евсей Львович. Сколько ни делал он знаков своей свите, никто не вышел. Сунувшийся было на соединение с Иоаннопольским Пташников в последний момент одумался и нырнул в толпу.

Свидетелей увели в Центральный клуб и вызывали оттуда поодиночке.

Навербованные Иванопольским свидетели оказались всесторонне осведомленными.

Да, они часто видели бывшего Филюрина вместе с истицей, и часто им удавалось заметить существовавшую между этими гражданами интимную близость, т. е. поцелуи, продолжительные пожатия рук, нежность взглядов и многое другое, неоспоримо доказывающее, что Прозрачный является отцом ребенка и что он совершил неблаговидный поступок, бросив ни в чем не повинное дитя и переселившись к тому же в совершенно чужой дом.

Так показывали все жильцы, дворники и управдом дома № 16, по проспекту Лошади Пржевальского.

Свидетельские показания произвели на толпу ошеломляющее впечатление. Чистота Прозрачного была испачкана и вываляна в пыли.

Ввели Иванопольского.

— Вы что, пришли как свидетель? — спросил судья.

— Я пришел к вам как юридическое лицо к юридическому лицу,— с жаром сказал Петр Каллистратович.

— Выведите его,— страдальчески сказал судья,— и не пускайте больше. Кстати, вы судились уже?

— Четыре раза,— ответил Иванопольский, которого на этот раз уводил милиционер.

Это было единственное выступление, бросившее некоторую тень на показания свидетелей истицы. Расположение толпы было все же на стороне бедной женщины, тем более что Евсею Львовичу так и не удалось произнести громовой речи.

Евсей долго вытирал лысину, прижимал «канотье» к свадебному пикейному жилету, но никак не мог вспомнить ни одного слова из затверженной наизусть речи. Неожиданно для самого себя Иоаннопольский сказал судье:

— Больше вопросов не имею.

— Вы и не можете их иметь! — сказал измочаленный судья.— Идите! Подсудимый, вам предоставляется последнее слово.

— Мало того что я невидимый,— послышался рыдающий голос,— она мне еще хочет чужого байстрюка подбросить.

— Прошу выбирать выражения! — сказал судья.

— Хорошо, товарищ судья, только напрасно на меня люди говорят. Я человек искалеченный. Тут Бабского с его мылом судить надо, а не меня.

— Держитесь ближе к делу.

Голос Прозрачного шел от цоколя памятника.

— Товарищ судья...

Но не успел еще Прозрачный высказать свою мысль, которая, возможно, была бы ближе к делу, чем все предыдушие, как случилось нечто такое, что исторгнуло из груди всех пищеславцев, собравшихся на площади, протяжный вопль.

На цоколе памятника показалось розоватое облачко, которое на глазах у всех уплотнилось и приобрело очертания человека.

Судья вскочил. Графин с водой опрокинулся и окатил присевшего на корточки Евсея Львовича с ног до головы. Колокольчик брякнулся о каменные плиты, издав глухой звон.

Но все было покрыто громовым шумом толпы, увидевшей Егора Карловича Филюрина в его натуральном виде, с порядочной русой бородой и всклокоченными волосами.

«Веснулин» городского сумасшедшего Бабского неожиданно и вмиг прекратил свое действие.

Голый с криком соскочил наземь, сорвал со стола сукно и закутался им, как тогой.

— Согласен! — закричал он, обнимая судью голой рукой.— На все согласен! Хоть ребенок и не мой, пусть берут алименты! Я видимый! Я видимый!

Но истицы уже не было. Она в страхе убежала.

Егор Карлович Филюрин получил тело, а вместе с ним возможность есть, пить, спать, двигаться по службе, не посещать общих собраний и делать еще тысячу, доступных только непрозрачным людям, чертовски приятных вещей.

ЭПИЛОГ

На другой день после суда Евсея Львовича вызвал начальник Пищ-Ка-Ха.

— Скажите,— спросил он,— как вы попали на должность заведующего отделом?

— Вы сами меня назначили,— ответил Евсей Львович шепотом.

После вчерашнего он потерял голос.

— Не помню, не помню,— сказал начальник.— А где вы раньше служили?

— Там же. Бухгалтером.

— Ага! Теперь я вспоминаю. Так вы и оставайтесь бухгалтером.

Не чуя от счастья ног Евсей Львович возвратился в отдел, развернул главную книгу и сквозь радостные слезы посмотрел на ее розовые и голубые линии.

В отделе все было по-старому. За своей деревянной решеточкой сидел Филюрин, аккуратно вписывая в книгу регистраций земельных участков трезвые будничные записи. Семейство Пташниковых вертело арифмометр, щелкало костяшками счетов и копировало под прессом деловые письма. Инкасатор бегал по своим инкассаторским делам.

И не было только Каина Александровича. На его месте сидел другой.

За время прозрачности Филюрина город отвык от мошенников и не хотел снова к ним привыкать. По этой же причине угас приятнейший в Пищеславе дом Браков, не возвратился к живому делу энергичнейший управделами

ПУМа Иванопольский, а мадам Безлюдная так и не посмела возобновить свои неосновательные притязания.

Евсей Львович сполз с винтового табурета и подошел к Пташникову.

— Ну, что? — спросил он.

— Я думаю, что это на нервной почве,— ответил Пташников по привычке.

— А знаете,— закричал вдруг Филюрин, который в продолжение уже пяти минут рассматривал свое лицо в карманном зеркальце.— А ведь веснушки-то действительно исчезли!

1928 г.

Михаил Булгаков

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

I

У-у-у-у-у-гу-гу-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке — повар столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства — плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи, боже мой — как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Неужели я обожру Совет Народного Хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это — последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо — грибы, соус пикан по 3 р. 75 к. порция. Это дело на любителя — все равно, что калошу лизать... У-у-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в

Сокольники, там есть особенная, очень хорошая травка, а кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не грымза какая-то, что поет на кругу при луне — «милая Аида» — так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдешь? Не били вас по заду сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело мое изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что — как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а, получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадается разный. Например — покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании — уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. Сволочи эти французы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, и все с красным вином. Да... Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в «Бар» не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает... Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные

25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь на французской почве, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вон она... Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорет: до чего ты не изящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду — все на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль! Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне... Куда пойду? У-у-у-у-у!..

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик... Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух...

Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

Боже мой... Какая погода... Ух... И живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало ее вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали. Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. «Шарик» — она назвала его... Какой он к черту «Шарик»? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже — вернее всего — господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза — значительная вещь. Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай. Раз боишься — значит стоишь... р-р-р... гау-гау...

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворóтню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он все ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный — больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое?! Кол-ба-су. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне.

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю — в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. Он мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пес пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в

сущности — зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у-у... Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние — и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остается.

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок. О, бескорыстная личность! У-у-у!

— Фить-фить,— посвистал господин и добавил строгим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте, как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

— Будет пока что...— Господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по шарикову животу.

— А-а,— многозначительно молвил он,— ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной.— Он пощелкал пальцами.— Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботинками, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью — как бы не утерять в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик, у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго, и этого вора прихватит с собой, и

придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа.— Ф-р-р-р...гау! Вон! Не напасешься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке.

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять.

Эх, чудак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете.

— Фить-фить-фить! Сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

— Фить-фить! Сюда? С удово... Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе.

— Да не бойся ты, иди.

— Здравия желаю, Филипп Филиппович.

— Здравствуй, Федор.

Вот это — личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец — ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду уродовал мне, а?

— Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович (интимно вполголоса вдогонку),— а в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так, целых четыре штуки.

— Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

— Да ничего-с.

— А Федор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Черт знает, что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних — в шею.

— Что делается. Ай-яй-яй... Фить-фить.

Иду-с, поспешаю. Бок, изволите ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот — бельэтаж.

II

Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью МСПО — мясная торговля. Повторяем, все это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пес отведал изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной», и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами

и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки.

Далее пошло еще успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, а потом и «Б» — подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер.

Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «С-ы-р». Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного, зверей-приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн.

Если играли на гармошке, что было немногим лучше «милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «неприли...», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях, псов же постоянно — салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины... гау-гау... га... строномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и-ви-на-а-вина... Елисеевы братья бывшие.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розовым стеклом двери. Три первые буквы он сложил сразу: «Пэ-ер-о — Про». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. «Неужто пролетарий?» — подумал Шарик с удивлением... «Быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь пролетарием не пахнет. Ученое слово, а бог его знает — что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да, это я понимаю»,— подумал пес.

— Пожалуйте, господин Шарик,— иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на чернобурой лисе с синеватой искрой.— Батюшки! До чего паршивый!

— Вздор говоришь. Где паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм! Это не парши... да стой ты, черт... Гм! А-а. Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..

«Повар-каторжник, повар!» — жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.

— Зина,— скомандовал господин,— в смотровую его сейчас же и мне халат.

Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной каморке, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э, нет...— мысленно завыл пес,— извините, не дамся! Понимаю, о черт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»

— Э, нет, куда?! — закричала та, которую называли Зиной.

Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хряснуло по всей квартире. Потом отлетел назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.

— Куда ты, черт лохматый?..— кричала отчаянно Зина,— вот окаянный!

«Где у них черная лестница?..» — соображал пес. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

— Стой, с-скотина,— кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги.— Зина, держи его за шиворот, мерзавца!

— Ба... Батюшки, вот так пес!

Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тяпнул ее повыше шкурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная жидкость перехватило дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво и вбок. «Спасибо, конечно,— мечтательно подумал он, валясь прямо на острые стекла: — Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодеры, за что же вы меня?»

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети,— подумал он смутно,— но ловко, надо отдать им справедливость».

— От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей,— запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом.

«Угодники! — подумал пес,— это, стало быть, я его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть!»

— Р-раздаются серенады, раздается стук мечей! Ты

зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

— У-у-у,— жалобно заскулил пес.

— Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.

— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? — спросил приятный мужской голос и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.

— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил:

— Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

— Только попробуй. Я тебе съем! Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость. Не сметь! Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит... «Всех, кто скажет, что другая здесь сравняется с тобой...»

Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

— Фить, фить. Ну, ничего, ничего. Идем принимать.

Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожал, но быстро оправился и пошел следом за развевающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну пред-

метов, из которых самым занятным оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку.

— Ложись,— приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошел тот, тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым, с острой бородкой, подал лист и молвил:

— Прежний...

Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

«Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал,— в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана,— а сову эту мы разъясним...»

Дверь мягко открылась, и вошел некто, настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко...

— Молчать! Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик.

Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филипп Филипповичу.

— Хи-хи! Вы маг и чародей, профессор,— сконфуженно вымолвил он.

— Снимайте штаны, голубчик,— скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

«Господи Исусе,— подумал пес,— вот так фрукт!»

На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет, морщины расползались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского щелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

Тяу, тяу!..— он легонько потявкал.

— Молчать! Как сон, голубчик?

— Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неописуемо,— конфузливо заговорил посетитель.— Пароль д'оннер — 25 лет ничего подобного,— субъект взялся за пуговицу брюк,— верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы — кудесник.

— Хм,— озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны.

Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками и пахли духами.

Пес не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

— Ай!

— Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

«Я не кусаюсь?» — удивился пес.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.

— Вы, однако, смотрите,— предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем,— все-таки, смотрите, не злоупотребляйте!

— Я не зло...— смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться,— я, дорогой профессор, только в виде опыта.

— Ну, и что же? Какие результаты? — строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

— 25 лет, клянусь Богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899-м году в Париже на рю де ла Пэ.

— А почему вы позеленели?

Лицо пришельца затуманилось.

— Проклятая Жиркость![1] Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите,— бормотал субъект, ища глазами зеркало.— Им морду нужно бить! — свирепея, добавил он.— Что же мне теперь делать, профессор? — спросил он плаксиво.

— Хм, обрейтесь наголо.

— Профессор,— жалобно восклицал посетитель,— да ведь они опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не езжу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

— Не сразу, не сразу, мой дорогой,— бормотал Филипп Филиппович.

Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента:

— Ну, что ж — прелестно, все в полном порядке. Я даже

---

[1] «Жиркость» — трест по изготовлению косметических средств.— *Ред.*

не ожидал, сказать по правде, такого результата. Много крови, много песен... Одевайтесь, голубчик!

— «Я же той, что всех прелестней!..» — дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

— Две недели можете не показываться,— сказал Филипп Филиппович,— но все-таки прошу вас: будьте осторожны.

— Профессор! — из-за двери в экстазе воскликнул голос,— будте совершенно спокойны,— он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

— Годы показаны неправильно. Вероятно 54—55. Тоны сердца глуховаты.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеваной шее. Страшные черные мешки висели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась.

— Сударыня! Сколько вам лет? — очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.

Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян.

— Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!..

— Лет вам сколько, сударыня? — еще суровее повторил Филипп Филиппович.

— Честное слово... Ну, сорок пять...

— Сударыня,— возопил Филипп Филиппович,— меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста, Вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздымалась.

— Я вам одному, как светилу науки. Но клянусь — это такой ужас...

— Сколько вам лет? — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули.

— Пятьдесят один! — корчась от страху, ответила дама.

— Снимайте штаны, сударыня,— облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.

— Клянусь, профессор,— бормотала дама, дрожащими

пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе,— этот Мориц... Я вам признаюсь, как на духу...

— От Севильи до Гренады...— рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.

— Богом клянусь! — говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные продирались на ее щеках,— я знаю — это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод.— Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок.

Пес совершенно затуманился, и все в голове у него пошло кверху ногами.

«Ну вас к черту,— мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда,— и стараться не буду понять, что это за штука — все равно не пойму».

Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.

Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.

— Я вам, сударыня, вставляю яичники обезьяны,— объявил он и посмотрел строго.

— Ах, профессор, неужели обезьяны?

— Да,— непреклонно ответил Филипп Филиппович.

— Когда же операция? — бледнея и слабым голосом спрашивала дама.

— От Севильи до Гренады... Угм... в понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас.

— Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?

— Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого — 50 червонцев.

— Я согласна, профессор!

Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утихшим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна; будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста... потом взволнованный голос тявкнул над головой.

— Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?

— Господа,— возмущенно кричал Филипп Филиппо-

вич,— нельзя же так! Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?

— Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.

— Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.

— Женат я, профессор.

— Ах, господа, господа!

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук.

«Похабная квартирка,— думал пес,— но до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта дрянь... Наглая».

Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?» — удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

— Мы к вам, профессор,— заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос,— вот по какому делу...

— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду,— перебил его наставительно Филипп Филиппович,— во-первых, вы простудитесь, а, во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

— Во-первых, мы не господа,— молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.

— Во-первых,— перебил и его Филипп Филиппович,— вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот, с копной.

— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.

— Я — женщина,— признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папахе.

— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор,— внушительно сказал Филипп Филиппович.

— Я вам не милостивый государь,— резко заявил блондин, снимая папаху.

— Мы пришли к вам,— вновь начал черный с копной.

— Прежде всего — кто это мы?

— Мы — новое домоуправление нашего дома,— в сдержанной ярости заговорил черный.— Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы...

— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?

— Нас,— ответил Швондер.

— Боже, пропал Калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

— Что вы, профессор, смеетесь? — возмутился Швондер.

— Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии,— крикнул Филипп Филиппович,— что же теперь будет с паровым отоплением?

— Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

— По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

— Мы, управление дома,— с ненавистью заговорил Швондер,— пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович,— потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вопрос стоял об уплотнении.

— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно,— ответил Швондер,— но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

— Я один живу и работаю в семи комнатах,— ответил Филипп Филиппович,— и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

— Восьмую! Э-хе-хе,— проговорил блондин, лишенный головного убора,— однако, это здорово.

— Это неописуемо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

— У меня приемная — заметьте — она же библитека, столовая, мой кабинет — 3. Смотровая — 4. Операционная — 5. Моя спальня — 6 и комната прислуги — 7. В общем, не хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

— Извиняюсь,— сказал четвертый, похожий на крепкого жука.

— Извиняюсь,— перебил его Швондер,— вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.

— Даже у Айседоры Дункан,— звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, и он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

— И от смотровой также,— продолжал Швондер,— смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

— Угу,— молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом,— а где же я должен принимать пищу?

— В спальне,— хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

— В спальне принимать пищу,— заговорил он слегка придушенным голосом,— в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!..— вдруг рявкнул он и багровость его стала желтой.— Я буду обедать в столовой, оперировать в операционной! Передайте это общему собранию, и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия,— сказал взволнованный Швондер,— мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

— Ага,— молвил Филипп Филиппович,— так? — и го-

лос его принял подозрительно вежливый оттенок,— одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень,— в восторге подумал пес,— весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще — каким способом, но так тяпнет... Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие... р-р-р...»

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так:

— Пожалуйста... да... благодарю вас... Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами, и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее.

— Позвольте, профессор,— начал Швондер, меняясь в лице.

— Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

— Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О, нет, Петр Александрович! О, нет. Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага... Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны,— змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру,— сейчас с вами будут говорить.

— Позвольте, профессор,— сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая,— вы извратили наши слова.

— Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

— Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же действовали по правилам... Так у профессора и так совершенно исключительное положение... Мы знаем об его работах... Целых пять комнат хотели оставить ему... Ну, хорошо... Раз так... Хорошо...

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

«Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал пес,— что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить, как хотите, а я отсюда не уйду».

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

— Это какой-то позор! — несмело вымолвил тот.

— Если бы сейчас была дискуссия,— начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем,— я бы доказала Петру Александровичу...

— Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? — вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем... Только я, как заведующий культотделом дома...

— За-ве-дующая,— поправил ее Филипп Филиппович.

— Хочу предложить вам,— тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов,— взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

— Нет, не возьму,— кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.

— Почему же вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую.

— Жалеете по полтиннику?

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу.

Помолчали.

— Знаете ли, профессор,— заговорила девушка, тяжело вздохнув,— если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дернул ее за край куртки, но она отмахну-

лась) лица, которых, я уверена, мы еще разъясним, вас следовало бы арестовать.

— А за что? — с любопытством спросил Филипп Филиппович.

— Вы ненавистник пролетариата! — гордо сказала женщина.

— Да, я не люблю пролетариата,— печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

— Зина,— крикнул Филипп Филиппович,— подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча переднюю и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

III

На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыра со слезой, и в серебряной кадушке, обложенной снегом,— икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты — тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки.

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды!» — подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой.

— Сюда их,— хищно скомандовал Филипп Филиппович.— Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета: налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

Красавец-тяпнутый — он был уже без халата, в приличном черном костюме — передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной.

— Ново-благословенная? — осведомился он.

— Бог с вами, голубчик,— отозвался хозяин.— Это спирт, Дарья Петровна сама отлично готовит водку.

— Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная — 30 градусов.

— А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это во-первых,— наставительно перебил Филипп Филиппович,— а во-вторых,— Бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать — что им придет в голову?

— Все, что угодно,— уверенно молвил тяпнутый.

— И я того же мнения,— добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло,— ...мм... доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это... я ваш кровный враг на всю жизнь. От Севильи до Гренады...

Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились.

— Это плохо? — жуя, спрашивал Филипп Филиппович.— Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

— Это бесподобно,— искренно ответил тяпнутый.

— Еще бы... Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только не дорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок — это первая. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском базаре. На, получай.

— Пса в столовой прикармливаете,— раздался женский голос,— а потом его отсюда калачом не выманишь.

— Ничего. Бедняга наголодался,— Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.

Засим от тарелок поднимался пахнущий раками пар; пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:

— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе — большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать — что есть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой.) И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.

— Гм... Да ведь других нет.

— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел

30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду»,— теряли в весе.

— Гм...— с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.

— Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.

— Вот черт...

— Да-с. Впрочем, что ж это я? Сам же заговорил о медицине.

Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа. Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение,— думал он, захлопывая отяжелевшие веки,— глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда — это глупость».

Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы.

— Сен-Жюльен — приличное вино,— сквозь сон слышал пес,— но только ведь теперь же его нету.

Глухой, смягченный потолками и коврами хорал донесся откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.

— Зинуша, что это такое значит?

— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович,— ответила Зина.

— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович,— ну, теперь, стало быть, пошло, пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда — спрашивается. Все будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.

— Убивается Филипп Филиппович,— заметила, улыбаясь, Зина и унесла груду тарелок.

— Да ведь как не убиваться?! — возопил Филипп Филиппович,— ведь это какой дом был — вы поймите!

— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович,— возразил красавец-тяпнутый,— они теперь резко изменились.

— Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я — человек фактов, человек наблюдения. Я — враг необоснованных

гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме.

— Это интересно...

«Ерунда — калоши. Не в калошах счастье,— подумал пес,— но личность выдающаяся».

— Не угодно ли — калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая — подчеркиваю красным карандашом н и о д н о г о, чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня прием. В марте 17-го в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, 3 палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция — не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запирать под замок? И еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

— Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош,— заикнулся было тяпнутый.

— Ничего похожего! — громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина.— Гм... я не признаю ликеров после обеда: они тяжелят и скверно действуют на печень... Ничего подобного! На нем есть теперь калоши, и эти калоши... мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок.) Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок.) Ни в коем случае! Это сделали вот эти самые певуны! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь.) На какого черта

убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, тухло в течении 20-ти лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь, статистика — ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому.

— Разруха, Филипп Филиппович.

— Нет,— совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович,— нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это — мираж, дым, фикция,— Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали по скатерти.— Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее.— Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» — я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев — прямым своим делом,— разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удается, доктор, и тем более — людям, которые вообще, отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!

Филипп Филиппович вошел в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром.

Его слова на сонного пса падали, точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещенный

резким электричеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.

«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать,— мутно мечтал пес,— первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют».

— Городовой! — кричал Филипп Филиппович.— Городовой! — «Угу-гу-гу!» — какие-то пузыри лопались в мозгу пса...— Городовой! Это и только это. И совершенно неважно — будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите — разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему.

— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович,— шутливо заметил тяпнутый,— не дай бог вас кто-нибудь услышит.

— Ничего опасного,— с жаром возразил Филипп Филиппович.— Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно — что под ним скрывается? Черт его знает! Так я и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.

Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: «Мерси».

— Минутку, доктор! — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: — Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу.

Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.

— Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? — осведомился он.

— Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом — «Аида». А я давно не слышал. Люблю... Помните? Дуэт... Тари-ра-рим.

— Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? — с уважением спросил врач.

— Успевает всюду тот, кто никуда не торопится,— назидательно объяснил хозяин.— Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел,— под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетир,— начало девятого... Ко второму акту поеду... Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух... Вот что, Иван Арнольдович, вы все же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола — в питательную жидкость и ко мне!

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович,— патологоанатомы мне обещали.

— Отлично, а мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем. Пусть бок у него заживет.

«Обо мне заботится,— подумал пес,— очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он — волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки... Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг — сон? (Пес во сне дрогнул.) Вот проснусь... и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди... Столовая, снег... Боже, как тяжело мне будет!..»

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконником наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире.

Совершенно ясно: пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной, в приемной между шкафами отражали удачливого пса-красавца.

«Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито,— размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях.— Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю — у меня на морде — белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович — человек с большим вкусом, не возьмет он первого попавшегося пса-дворнягу».

В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Но, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича

и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак, пес изучил звонок Филиппа Филипповича — два полнозвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в чернобурой лисе, сверкая миллионом снежных блесток, пахнущих мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу.

— Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?

— Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз,— возмущенно говорила Зина,— а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал.

— Никого драть нельзя,— волновался Филипп Филиппович,— запомните это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?

— Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь — как он не лопнет.

— Ну и пусть ест на здоровье... Чем тебе помешала сова, хулиган?

— У-у! — скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.

Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на заду, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый портрет.

— Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались,— расстроенно докладывала Зина,— ведь на стол вскочил, мерзавец! И за хвост ее — цап! Я опомниться не успела, как он ее всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить.

И начинался вой. Пса, прилипшего к ковру, тащили ты-

кать в сову, причем пес заливался горькими слезами и думал: «Бейте, только из квартиры не выгоняйте».

— Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 16 копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.

На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя — как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пес понял, что он — просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пес шел, как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у Мертвого переулка — какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестеркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Федор-швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика, Зине он при этом заметил:

— Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович. И удивительно жирный.

— Еще бы — за шестерых лопает,— пояснила румяная и красивая от мороза Зина.

«Ошейник — все равно, что портфель»,— сострил мысленно пес, и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически запрещен — именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах.

— Вон! — завопила Дарья Петровна,— вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!..

— Чего ты? Ну, чего лаешься? — умильно щурил глаза

пес.— Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете? — и он боком лез в дверь, просовывая в нее морду.

Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашицей, заливала все это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты. В плите гудело, как на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя клокотало и переливалось.

Вечером потухала каменная пасть, в окне кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на теплой плите, как лев на воротах и, задрав от любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью, все, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете черноусого и пасхальный розан свисал с него.

— Как демон пристал,— бормотала в полумраке Дарья Петровна,— отстань! Зина сейчас придет. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?

— Нам это ни к чему,— плохо владея собой и хрипло отвечал черноусый.— До чего вы огненная!

Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами, и, если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете в глубоком кресле. Огней под потолком не было. Горела только одна зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени, и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось

маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало желтые упругие мозги.

— К берегам священным Нила,— тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра.

Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате, в песьей шкуре оживала последняя, еще не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела входная дверь.

«Зинка в кинематограф пошла,— думал пес,— а как придет, ужинать, стало быть, будем. Сегодня, надо полагать,— телячьи отбивные!»

В этот ужасный день еще утром Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал и утренний завтрак — полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку — съел безо всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днем после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошел обычно. Приема сегодня не было потому, что, как известно, по вторникам приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.

— Отлично,— послышался его голос,— сейчас же везите, сейчас же!

Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед.

— Обед! Обед! Обед!

В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение.

«Не люблю кутерьмы в квартире»,— раздумывал он... И только он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Борменталя. Тот привез с собой дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович

бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.

— Когда умер? — закричал он.

— Три часа назад,— ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстегивая чемодан.

«Кто такое умер? — хмуро и недовольно подумал пес и сунулся под ноги,— терпеть не могу, когда мечутся».

— Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! — закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина.— Зина! К телефону Дарью Петровну, записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас — скорей, скорей, скорей!

«Не нравится мне, не нравится»,— пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно.

«Пойти, что ль, пожрать? Ну их в болото»,— решил пес и вдруг получил сюрприз.

— Шарику ничего не давать,— загремела команда из смотровой.

— Усмотришь за ним, как же.

— Запереть!

И Шарика заманили и заперли в ванной.

«Хамство,— подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате,— просто глупо...»

И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа — то в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно...

«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович,— думал он,— две пары уже пришлось прикупить и еще одну купите. Чтоб вы псов не запирали».

Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности — солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы-побродяги.

«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать,— тосковал пес, сопя носом,— привык. Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...»

Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.

— У-у-у! — как в бочку пролетело по квартире.

«Сову раздеру опять»,— бешено, но бессильно подумал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза.

И в разгар муки дверь раскрылась. Пес вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошел у пса под сердцем.

«Зачем же я понадобился? — подумал он подозрительно,— бок зажил — ничего не понимаю».

И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было все в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки — в черных перчатках.

В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге.

Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно и ушел в угол.

— Ошейник, Зина,— негромко молвил Филипп Филиппович,— только не волнуй его.

У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на нее.

«Что же... вас трое. Возьмете, если захотите. Только стыдно вам... Хоть бы я знал, что будете делать со мной...»

Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутнящий запах разлился от него.

«Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно...» — подумал пес и попятился от тяпнутого.

— Скорее, доктор,— нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.

Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. «Злодей...» — мелькнуло в голове.— «За что?» И еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые загробные, небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.

— На стол! — веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом — ничего.

IV

На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазами наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно.

— Иван Арнольдович, самый важный момент — когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету,— он помолчал, прищуря глаз, заглянул в как бы насмешливо полуприкрытый глаз пса и добавил: — А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.

Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на черную резину.

Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и

стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комочком обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и промолвил, отдуваясь: «Готово».

Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.

— Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спросила она, боязливо косясь на бритую голову пса.

— Можешь.

Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый песий череп и странная бородатая морда.

Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал:

— Ну, Господи, благослови. Нож.

Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облекся в такие же черные перчатки, как и жрец.

— Спит? — спросил Филипп Филиппович.

— Спит.

Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из нее брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у Борменталя пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: «Ножницы!»

Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал:

— Шейте, доктор, мгновенно кожу,— затем оглянулся на круглые белые стенные часы.

— 14 минут делали,— сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.

— Нож! — крикнул Филипп Филиппович.

Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули, как скальп. Обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:

— Трепан!

Борменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой так, что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.

Тогда обнажился купол Шарикового мозга — серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталя полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время Борменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:

— Пульс резко падает...

Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.

— Иду к турецкому седлу,— зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он

скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас же сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц.

— В сердце? — робко спросил он.

— Что вы еще спрашиваете? — злобно заревел профессор,— все равно он уже 5 раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо? — Лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника.

Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса.

— Живет, но еле-еле,— робко прошептал он.

— Некогда рассуждать тут — живет не живет,— засипел страшный Филипп Филиппович,— я в седле. Все равно помрет... ах, ты че... К берегам священным Нила... Придаток давайте.

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой — «Не имеет равных в Европе... ей-богу!» — смутно подумал Борменталь,— он выхватил болтающийся комочек, а другой ножницами выстриг такой же в глубине где-то между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:

— Умер, конечно?..

— Нитевидный пульс,— ответил Борменталь.

— Еще адреналину.

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взревел:

— Шейте!

Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы.

И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный куколь и крикнул:

— Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье и ванну.

Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:

— Вот, черт возьми. Не издох. Ну, все равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, хотя и хитрый.

ИЗ ДНЕВНИКА ДОКТОРА БОРМЕНТАЛЯ

Тонкая, в писчий лист форматом тетрадь. Исписана почерком Борменталя. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и четок, в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс.

22 декабря 1924 г. Понедельник.

История болезни.

Лабораторная собака приблизительно 2-х лет от роду. Самец. Порода — дворняжка. Кличка — Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору — плохое, после недельного пребывания — крайне упитанный. Вес 8 кг. *(знак восклицат.)*. Сердце, легкие, желудок, температура...

23 декабря. В 8.30 часов вечера произведена первая в Европе операция по проф. Преображенскому: под хлороформенным наркозом удалены яички Шарика и вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками, взятые от скончавшегося за 4 часа, 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшиеся в стерилизованной физиологической жидкости по проф. Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крышки придаток мозга — гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины.

Введено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца адреналина в сердце.

Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей.

Оперировал проф. Ф. Ф. Преображенский.

Ассистировал д-р И. А. Борменталь.

В ночь после операции: грозные повторные падения

пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфары по Преображенскому.

24 декабря. Утром — улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42. Камфара, кофеин под кожу.

25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфара по Преображенскому, физиологический раствор в вену.

26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41. Камфара, питание клизмами.

27 декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39,8, зрачки реагируют. Камфара под кожу.

28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37,0. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка. Появился аппетит. Питание жидкое.

29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызваны для консультации: профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского ветеринарного показательного института. Ими случай признан не описанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура — нормальна.

(Запись карандашом)

Вечером появился первый лай (8 ч. 15 мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова «гау-гау» на слоги «а-о», по окраске отдаленно напоминает стон.

30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат — вес 30 кг за счет роста (удлинения) костей. Пес по-прежнему лежит.

31 декабря. Колоссальный аппетит.

(В тетради — клякса. После кляксы торопливым почерком).

В 12 ч. 12 мин. дня пес отчетливо пролаял А-б-ыр.

(В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано):

1 декабря. *(Перечеркнуто, поправлено)* 1 января 1925 г. Фотографирован утром. Отчетливо лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня *(крупными буквами)* засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнес 8 раз подряд слово «Абыр-валг», «Абыр».

(Косыми буквами карандашом): профессор расшифро-

вал слово «Абыр-валг», оно означает «Главрыба»... Что-то чудовищ...

2 января. Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.

(В тетради вкладной лист).

Русская наука чуть не понесла тяжелую утрату.

История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского.

В 1 час 13 мин.— глубокий обморок с проф. Преображенским. При падении ударился головой о ножку стула. Тинктура Валериана.

В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери.

(Перерыв в записях).

---

6 января. *(То карандашом, то фиолетовыми чернилами).*

Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово «пивная». Работает фонограф. Черт знает что такое.

Я теряюсь.

Прием у профессора прекращен. Начиная с 5-ти час. дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышатся явственно вульгарная ругань и слова «еще парочку».

7 января. Он произносит очень много слов: «Извозчик», «Мест нету», «Вечерняя газета», «Лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе.

Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей. В области половых органов — формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно. Лоб скошен и низок.

Ей-богу, я с ума сойду.

Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я. *(Фонограф, фотографии).*

По городу расплылись слухи.

Последствия неисчислимые. Сегодня днем весь переулок был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка. «Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чем не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». О каком, к черту, марсианине? Ведь это — кошмар.

Еще лучше в «Вечерней» — написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографическая карточка, и под ней подпись: «Проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это что-то неописуемое... Он говорит новое слово «милиционер».

Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того, как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню и т. д.

Что творится во время приема! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут...

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем — сами не знают.

8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый ученый, признал свою ошибку — перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечение *(подчеркнуто три раза)*. От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних лапах *(зачеркнуто)*... на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы

искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое отчетливо произнесенное слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, беспрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически, подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, черт меня возьми.

На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:

— Перестать!

Это не произвело никакого эффекта.

После прогулки в кабинете общими усилиями Шарик был водворен в смотровую.

После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: «Москвошвея, да... От Севильи до Гренады. Москвошвея, дорогой доктор...». Я ничего не понял. Он пояснил: — «Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак».

9 января. Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «Не толкайся», «Подлец», «Слезай с подножки», «Я тебе покажу», «Признание Америки», «Примус».

10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет. Носки ему велики.

(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам, изображающие превращение собачьей ноги в человеческую).

Удлиняется задняя половина скелета стопы (planta). Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад.

11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую фразу: «Дай папиросочку,— у тебя брюки в полосочку».

Шерсть на голове — слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ест селедку.

В 5 часов дня событие: впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно: когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки на пол»,— неожиданно ответил: «Отлезь, гнида».

Филипп Филиппович был поражен, потом оправился и сказал:

— Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья довольно раздраженно, но стих.

Ура, он понимает!

12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал «Ой, яблочко». Поддерживает разговор.

Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важно: изумительный опыт проф. Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме — гормонами облика. Новая область открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский, вы — творец. *(Клякса)*.

Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению, дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Еще моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал опериро-

вать в первую очередь,— уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах.

Шарик читал. Читал *(3 восклицательных знака)*. Это я догадался. По главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перерыве зрительных нервов у собаки.

Что в Москве творится — уму не постижимо человеческому. Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно называла число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось... Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночую в приемной с Шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили.

С Филиппом что-то странное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

(В тетради вкладной лист).

Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет[1], холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам.

Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной («Стоп-Сигнал» у Преображенской заставы).

[1] В тексте расхождение: ср. стр. 333. *Ред.*

Старик, не отрываясь, сидит над Климовской болезнью. Не понимаю — в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался осмотреть в патолого-анатомическом весь труп Чугункина. В чем дело — не понимаю. Не все ли равно, чей гипофиз?

17 января. Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцей. За это время облик окончательно сложился:

а) совершенный человек по строению тела;
б) вес около 3-х пудов;
в) рост маленький;
г) голова маленькая;
д) начал курить;
е) ест человеческую пищу;
ж) одевается самостоятельно;
з) гладко ведет разговор.

Вот так гипофиз *(клякса)*.

Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм; наблюдать его нужно с начала.

Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки.

Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского

Доктор Борменталь

VI

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприемное время. На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем рукою Филиппа Филипповича было написано:

«Семечки есть в квартире запрещаю».

Ф. Преображенский.

И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукой Борменталя:

«Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается».

Затем рукой Зины:

«Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю — куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером».

Рукой Преображенского:

«Сто лет буду ждать стекольщика?»

Рукой Дарьи Петровны *(печатно):*

«Зина ушла в магазин, сказала, приведет».

В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под шелковым абажуром. Свет из буфета падал, перебитый пополам,— зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые воркующие слова. Он читал заметку:

«Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом.

Шв...р»

Очень настойчиво, с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

— Све-е-етит месяц... све-е-етит месяц... све-тит месяц... Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

— Скажи ему, что 5 часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу на ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько

бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами.

«Как в калошах»,— с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять раз. Внутри них еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

— Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатях в кухне — тем более днем?

Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил:

— Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстуке.

Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.

— Чем же «гадость»? — заговорил он.— Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.

— Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить при-лич-ные ботинки; а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

— Я ему велел чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий — все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

— Спанье на полатях прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.

Лицо человека потемнело и губы оттопырились.

— Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши. Это все Зинка ябедничает.

Филипп Филиппович глянул строго:

— Не сметь называть Зину Зинкой! Понятно?

Молчание.

— Понятно, я вас спрашиваю?

— Понятно.

— Убрать эту пакость с шеи. Вы... ты... вы посмотрите на себя в зеркало — на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать — в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту «пес его знает!»? Что вы, в самом деле, в кабаке что ли?

— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете,— вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

— Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человечке.

— Да что вы все... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете?! И насчет «папаши» — это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? — человек возмущенно лаял.— Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек завел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить.

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип»,— пролетело у него в голове.

— Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? — прищурившись, спросил он.— Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал...

— Да что вы все попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ?

— Филипп Филиппович! — раздраженно воскликнул Филипп Филиппович,— я вам не товарищ! Это чудовищно! «Кошмар, кошмар»,— подумалось ему.

— Уж, конечно, как же...— иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу,— мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Толь-

ко теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право...

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурок в раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!» Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку.

— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крикнул Филипп Филиппович,— и я не понимаю — откуда вы их берете?

— Да что уж,, развожу я их, что ли? — обиделся человек,— видно, блохи меня любят,— тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клок рыжей легкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил:

— Какое дело еще вы мне хотели сообщить?

— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филиппа Филипповича несколько передернуло.

— Хм... Черт! Документ! Действительно... Кхм... а, может быть, это как-нибудь можно...— голос его звучал неуверенно и тоскливо.

— Помилуйте,— уверенно ответил человек,— как же так без документа? Это уж — извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком...

— При чем тут домком?

— Как это при чем? Встречают, спрашивают — когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

— Ах ты, Господи,— уныло воскликнул Филипп Филиппович,— встречаются, спрашивают... Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам.

— Что я, каторжный? — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине.— Как это так «шляться»?! Довольно обидные ваши слова. Я хожу, как все люди.

При этом он посучил лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Надо все-таки сдерживать себя»,— подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.

— Отлично-с,— поспокойнее заговорил он,— дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

— Что ж ему говорить... Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

— Чьи интересы, позвольте осведомиться?

— Известно чьи — трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

— Почему же вы — труженик?

— Да уж известно — не нэпман.

— Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?

— Известно что — прописать меня. Они говорят — где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это — раз. А самое главное — учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же — союз, биржа...

— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? — По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно все-таки считаться с положением! Не забывайте, что вы... Э... гм... вы ведь, так сказать,— неожиданно явившееся существо, лабораторное.— Филипп Филиппович говорил все менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

— Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии.

— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете, и шабаш.

— Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

— Полиграф Полиграфович.

— Не валяйте дурака,— хмуро отозвался Филипп Филиппович,— я с вами серьезно говорю.

Язвительная усмешка искривила усишки человека.

— Что-то не пойму я,— заговорил он весело и осмысленно.— Мне по матушке нельзя. Плевать — нельзя. А от вас только и слышу: «Дурак, дурак». Видно только профессорам разрешается ругаться в Ресефесере.

Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан, разбил его. Напившись из другого, подумал: «Еще

немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя».

Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твердостью произнес:

— Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?

— Домком посоветовал. По календарю искали — какое тебе, говорят? Я и выбрал.

— Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

— Довольно удивительно,— человек усмехнулся,— когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях, и на звонок явилась Зина.

— Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил:

— Где?

— 4-го марта празднуется.

— Покажите... Гм... Черт... В печку его, Зина, сейчас же.

Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покачал укоризненно головою.

— Фамилию позвольте узнать?

— Фамилию я согласен наследственную принять.

— Как? Наследственную? Именно?

— Шариков.

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом.

— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.

— Что же,— заговорил Швондер,— дело не сложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм... зародившийся в вашей, мол, квартире.

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом.

— Гм... вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... ну, одним словом...

— Это — ваше дело,— со спокойным злорадством вымолвил Швондер,— зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.

— И очень просто,— пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.

— Я бы очень просил вас,— огрызнулся Филипп Филиппович,— не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите «и очень просто» — это очень не просто.

— Как же мне не вмешиваться,— обидчиво забубнил Шариков.

Швондер немедленно его поддержал:

— Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право — участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: «Да...», покраснел и закричал:

— Прошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? — И он с силой всадил трубку в рогульки.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера.

Филипп Филиппович, багровея, прокричал:

— Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух:

— «Сим удостоверяю»... Черт знает, что такое... Гм... «Предъявитель сего — человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах»... Черт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись — «профессор Преображенский».

— Довольно странно, профессор,— обиделся Швондер,— как это так вы документы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

— Я воевать не пойду никуда! — вдруг хмуро тявкнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться.

— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом,— неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли — мораль». Борменталь многозначительно кивнул головой.

— Я тяжко раненный при операции,— хмуро подвыл Шариков,— меня, вишь, как отделали,— и он показал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.

— Вы анархист-индивидуалист? — спросил Швондер, высоко поднимая брови.

— Мне белый билет полагается,— ответил Шариков на это.

— Ну-с, хорошо, не важно пока,— ответил удивленный Швондер,— факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и вам выдадут документ.

— Вот что, э...— внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой,— нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить.

Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался старик»,— подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил:

— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние 14 лет! Вот — тип, я вам доложу...

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.

— Боже мой, еще что-то! — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.

— Кот, — сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

— Сколько раз я приказывал — котов чтобы не было, — в бешенстве закричал Филипп Филиппович. — Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради Бога, пациентов в приемной!

— В ванной, в ванной проклятый черт сидит, — задыхаясь, закричала Зина.

Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась.

— Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:

— Убью на месте...

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком ванной в кухню, треснуло червивой трещиной, и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городового. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством:

— О, Господи Иисусе!

Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно:

— Что вам надо?

— Говорящую собачку любопытно поглядеть, — ответила старуха заискивающе и перекрестилась.

Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо:

— Сию секунду из кухни вон!

Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись:
— Чтой-то уж больно дерзко, господин профессор.
— Вон, я говорю! — повторил Филипп Филиппович, и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой.— Дарья Петровна, я же просил вас!
— Филипп Филиппович,— в отчаянье ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки,— что же я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай.
Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно. Вошел доктор Борменталь.
— Иван Арнольдович, убедительно прошу... гм... сколько там пациентов?
— Одиннадцать,— ответил Борменталь.
— Отпустите всех, сегодня принимать не буду.
Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:
— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?
— Гу-гу! — жалобно и тускло ответил голос Шарикова.
— Какого черта!.. Не слышу, закройте воду.
— Гау! Гау!..
— Да закройте воду! Что он сделал — не понимаю...— приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович.
Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович еще раз прогрохотал кулаком в дверь.
— Вот он! — выкрикнула Дарья Петровна из кухни.
Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина.
— Вы с ума сошли? — спросил Филипп Филиппович.— Почему вы не выходите?
Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:
— Защелкнулся я.
— Откройте замок. Что ж, вы никогда замка не видели?
— Да не открывается, окаянный! — испуганно ответил Полиграф.
— Батюшки! Он предохранитель защелкнул! — вскричала Зина и всплеснула руками.
— Там пуговка есть такая! — выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду,— нажмите ее книзу... Вниз нажимайте! Вниз!

Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке.

— Ни пса не видно,— в ужасе пролаял он в окно.

— Да лампу зажгите. Он взбесился!

— Котяра проклятый лампу раскокал,— ответил Шариков,— а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

— Ду... гу-гу! — что-то кричал Шариков сквозь рев воды.

Послышался голос Федора:

— Филипп Филиппович, все равно надо открывать, пусть разойдется, отсосем из кухни.

— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока: прямо — в противоположную уборную, направо — в кухню и налево — в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке — весь мокрый.

— Еле заткнул, напор большой,— пояснил он.

— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.

— Боится выходить,— глупо усмехаясь, объяснил Федор.

— Бить будете, папаша? — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной.

— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролет лестницы и падала в подвал.

Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубо-

кой луже на паркете в передней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.

— Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры отойти от двери, у нас труба лопнула...

— А когда же прием? — добивался голос за дверью,— мне бы только на минуточку...

— Не могу,— Борменталь переступил с носков на каблуки,— профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.

— Тряпки не берут.

— Сейчас кружками вычерпаем,— отозвался Федор,— сейчас.

Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже подошвой стоял в воде.

— Когда же операция? — приставал голос и пытался просунуться в щель.

— Труба лопнула...

— Я бы в калошах прошел...

Синеватые силуэты появлялись за дверью.

— Нельзя, прошу завтра.

— А я записан.

— Завтра. Катастрофа с водопроводом.

Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной.

— Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? — сердилась Дарья Петровна.— Выливай в раковину.

— Да что в раковину,— ловя руками мутную воду, отвечал Шариков,— она на парадное вылезет.

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.

— В калоши станьте.

— Да ничего. Все равно уже ноги мокрые.

— Ах, боже мой! — расстраивался Филипп Филиппович.

— До чего вредное животное! — отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, очки вспыхнули.

— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с высоты,— позвольте узнать.

— Про кота я говорю. Такая сволочь,— ответил Шариков, бегая глазами.

— Знаете, Шариков,— переводя дух, отозвался Филипп Филиппович,— я положительно не видал более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

— Вы,— продолжал Филипп Филиппович,— просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили и еще позволяете... Да нет! Это черт знает что такое!

— Шариков, скажите мне, пожалуйста,— заговорил Борменталь,— сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие! Дикарь!

— Какой я дикарь,— хмуро отозвался Шариков,— ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет — как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппович,— вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

— Чуть глаза не лишил,— мрачно отозвался Шариков, трогая глаз мокрой грязной рукой.

Когда черный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись банным налетом, и звонки прекратились. Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

— Вот вам, Федор.

— Покорнейше благодарю.

— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

— Покорнейше благодарю,— Федор помялся, потом сказал: — Тут еще, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только — за стекло в 7-й квартире... Гражданин Шариков камнями швырял...

— В кота? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.

— То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подать.

— Черт!

— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили.

— Ради Бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах! Сколько нужно?

— Полтора.

Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору.

— Еще за такого мерзавца полтора целковых платить,— послышался в дверях глухой голос,— да он сам...

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

— Не сметь! — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, уж это действительно,— многозначительно заметил Федор,— такого наглого я в жизнь свою не видал.

Борменталь как из-под земли вырос.

— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.

Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос:

— Вы что? В кабаке, что ли?

— Это так...— добавил решительный Федор,— вот это так... Да по уху бы еще...

— Ну, что вы, Федор,— печально буркнул Филипп Филиппович.

— Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.

VII

— Нет, нет и нет! — настойчиво заговорил Борменталь,— извольте заложить.

— Ну, что, ей-богу,— забурчал недовольно Шариков.

— Благодарю вас, доктор,— ласково сказал Филипп Филиппович,— а то мне уже надоело делать замечания.

— Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

— Как это так «примите»? — расстроился Шариков,— я сейчас заложу.

Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.

— И вилкой, пожалуйста,— добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

— Я еще водочки выпью? — заявил он вопросительно.

— А не будет ли вам? — осведомился Борменталь,— вы последнее время слишком налегаете на водку.

— Вам жалко? — осведомился Шариков и глянул исподлобья.

— Глупости говорите...— вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил.

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто — это вредно. Это — раз, а второе — вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

— Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы,— произнес профессор.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталя, налил рюмочку.

— И другим надо предложить,— сказал Борменталь,— и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

— Вот все у вас, как на параде,— заговорил он,— салфетку — туда, галстук — сюда, да «извините», да «пожалуйста — мерси», а так, чтобы по-настоящему,— это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.

— А как это «по-настоящему»? — позвольте осведомиться.

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес.

— Ну, желаю, чтобы все...

— И вам также,— с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.

— Стаж,— вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивленно покосился.

— Виноват...

— Стаж! — повторил Филипп Филиппович, и горько качнул головой,— тут уж ничего не поделаешь — Клим.

Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича:

— Вы полагаете, Филипп Филиппович?

— Нечего полагать, уверен в этом.

— Неужели...— начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова.

Тот подозрительно нахмурился.

— Später[1]...— негромко сказал Филипп Филиппович.

— Gut[2],— отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

— Я не хочу. Я лучше водочки выпью.— Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане.

Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

— Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? — осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:

— В цирк пойдем, лучше всего.

— Каждый день в цирк,— благодушно заметил Филипп Филиппович,— это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.

— В театр я не пойду,— неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот.

— Иканье за столом отбивает у других аппетит,— машинально сообщил Борменталь.— Вы меня извините... Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел на пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

— Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головою.

— Вы бы почитали что-нибудь,— предложил он,— а то, знаете ли...

— Уж и так читаю, читаю...— ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.

— Зина,— тревожно закричал Филипп Филиппович,— убирай, детка, водку. Больше уж не нужна. Что же вы читаете?

В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона...»

---

[1] Позже *(нем.)*.
[2] Хорошо *(нем.)*.

— Эту... Как ее... переписку Энгельса с этим... как его — дьявола — с Каутским.

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?

Шариков пожал плечами.

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или с Каутским?

— С обоими,— ответил Шариков.

— Это замечательно, клянусь Богом. Всех, кто скажет, что другая... А что бы вы со своей стороны могли предложить?

— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...

— Так я и думал,— воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти,— именно так и полагал.

— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.

— Да какой тут способ,— становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков,— дело не хитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

— Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков съежился и промолчал.

— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?

— 39-ти человекам,— тотчас ответил Борменталь.

— Гм... 390 рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести.

— Хорошенькое дело,— ответил Шариков, испугавшись,— это за что такое?

— За кран и за кота,— рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

— Филипп Филиппович,— тревожно воскликнул Борменталь.

— Погодите. За безобразие, которое вы учинили и бла-

годаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто...

— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, — подлетел Борменталь.

— Вы стойте...— рычал Филипп Филиппович.

— Да она меня по морде хлопнула,— взвизгнул Шариков,— у меня не казенная морда!

— Потом что вы ее за грудь ущипнули,— закричал Борменталь, опрокинув бокал,— вы стоите...

— Вы стоите на самой низшей ступени развития,— перекричал Филипп Филиппович,— вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить... а в то же время вы наглотались зубного порошку...

— Третьего дня,— подтвердил Борменталь.

— Ну вот-с,— гремел Филипп Филиппович,— зарубите себе на носу,— кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? — что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

— Все у вас негодяи,— испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.

— Я догадываюсь,— злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй... Чтоб я развивался...

— Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского,— визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене.— Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!

— Зина! — кричал Борменталь.

— Зина! — орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

— Зина, там в приемной... Она в приемной?

— В приемной,— покорно ответил Шариков,— зеленая как купорос.

— Зеленая книжка...

— Ну, сейчас палить,— отчаянно воскликнул Шари ков,— она казенная, из библиотеки!

— Переписка — называется, как его... Энгельса с этим чертом... В печку ее!

Зина улетела.

— Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку,— воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки,— сидит изумительная дрянь в доме — как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире»,— вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

— Я не буду ее есть,— сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков.

— Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

— Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога, посмотрите в программе — котов нету?

— И как такую сволочь в цирк пускают,— хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

— Ну, мало ли кого туда допускают,— двусмысленно отозвался Филипп Филиппович,— что там у них?

— У Соломонского,— стал вычитывать Борменталь,— четыре какие-то... Юссемс и человек мертвой точки.

— Что это за Юссемс? — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

— Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

— Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно.

— У Никитиных... У Никитиных... гм... слоны и предел человеческой ловкости.

— Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова.

Тот обиделся.

— Что же, я не понимаю, что ли. Кот — другое дело. Слоны — животные полезные,— ответил Шариков.

— Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с зализами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «к берегам священным Нила...» и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек,— извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

— Ей-богу, я, кажется, решусь.

Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11 часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике... Профессор нетерпеливо поджидал возвращения д-ра Борменталя и Шарикова из цирка.

VIII

Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал, и, может быть, вследствие его бездействия, квартирная жизнь переполнилась событиями.

Дней через 6 после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал д-ра Борменталя.

— Борменталь!

— Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте! — отозвался Борменталь, меняясь в лице.

Нужно заметить, что в эти 6 дней хирург ухитрился раз 8 поссориться со своим воспитанником. И атмосфера в обуховских комнатах была душная.

— Ну и меня называйте по имени и отчеству! — совершенно основательно ответил Шариков.

— Нет! — загремел в дверях Филипп Филиппович.— По такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно «Шариков», и я, и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».

— Я не господин, господа все в Париже! — отлаял Шариков.

— Швондерова работа! — кричал Филипп Филиппович,— Ну, ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае или я или вы уйдете отсюда и, вернее всего, вы. Сегодня я помещу в газетах объявление и, поверьте, я вам найду комнату.

— Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда,— очень четко ответил Шариков.

— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав.

— Вы знаете, не нахальничайте, мосье Шариков! — Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана 3 бумаги: зеленую, желтую и белую и, тыча в них пальцами, заговорил:

— Вот. Член жилищного товарищества, и площадь мне полагается определенно в квартире № 5 у ответственного съемщика Преображенского в 16 квадратных аршин,— Шариков подумал и добавил слово, которое Бор-

менталь машинально отметил в мозгу, как новое: благоволите.

Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил:

— Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю.

Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам.

— Филипп Филиппович, vorsichtig[1]...— предостерегающе начал Борменталь.

— Ну, уж знаете... Если уж такую подлость!..— вскричал Филипп Филиппович по-русски.— Имейте в виду, Шариков... господин, что я, если вы позволите себе еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. 16 аршин — это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушечьей бумаге!

Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.

— Я без пропитания оставаться не могу,— забормотал он,— где же я буду харчеваться?

— Тогда ведите себя прилично! — в один голос заявили оба эскулапа.

Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь небольшой отлучкой Борменталя, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и д-р Борменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.

Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Борменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последнее событие: этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича 2 червонца, лежавшие под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились 2 неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъявивших желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх

---

[1] Осторожно *(нем.)*.

белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотою вязью было написано: «Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные ординаторы в день...», дальше шла римская цифра XXV.

— Кто они такие? — наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки, на Шарикова.

Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет того, что личности ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а — хорошие.

— Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные... Как же они ухитрились? — поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея.

— Специалисты,— пояснил Федор, удаляясь спать с рублем в кармане.

От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неявственное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире.

— Ага, быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы? — осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом.

Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение:

— А может быть, Зинка взяла...

— Что такое?..— закричала Зина, появившись в дверях как привидение, прикрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью,— да как он...

Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом.

— Спокойно, Зинуша,— молвил он, простирая к ней руку,— не волнуйся, мы все это устроим.

Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключице.

— Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам! — заговорил Борменталь растерянно.

— Ну, Зина, ты — дура, прости господи,— начал было Филипп Филиппович.

Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук — не то «и», не то «е» — вроде

«эээ!». Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть.

— Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!

И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Борменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.

Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа 3 полуночи, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь.

Доктор Борменталь, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной талией.

— Филипп Филиппович,— прочувственно воскликнул он,— я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор, учитель... Мое безмерное уважение к вам... Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович.

— Да, голубчик мой...— растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся навстречу. Борменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.

— Ей-богу, Филипп Фили...

— Так растрогали, так растрогали... Спасибо вам,— говорил Филипп Филиппович,— голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок... От Севильи до Гренады...

— Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?..— искренно воскликнул пламенный Борменталь,— если вы не хотите меня обижать, не говорите мне больше таким образом...

— Ну, спасибо вам... К берегам священным Нила... Спасибо... И я вас полюбил как способного врача.

— Филипп Филиппович, я вам говорю!..— страстно воскликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор и, вернувшись, продолжал шепотом,— ведь это — единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь так нельзя же больше работать!

— Абсолютно невозможно,— вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.

— Ну, вот, это же немыслимо,— шептал Борменталь,— в прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если

бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но по моему глубокому убеждению, другого выхода нет.

Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:

— И не соблазняйте, даже и не говорите,— профессор заходил по комнате, закачав дымные волны,— и слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами на «принимая во внимание происхождение» — отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой?

— Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно,— горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.

— Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси. От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей... вот, черт ее возьми.

— Филипп Филиппович, вы — величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына... Да разве они могут вас тронуть, помилуйте!

— Тем более не пойду на это,— задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.

— Да почему?

— Потому что вы-то ведь не величина мирового значения.

— Где уж...

— Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите... Я — московский студент, а не Шариков.

Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.

— Филипп Филиппович, эх...— горестно воскликнул Борменталь,— значит, что же? Теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?

Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил:

— Иван Арнольдович, как по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии ну, скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?

— Филипп Филиппович, что вы спрашиваете? — с большим чувством ответил Борменталь и развел руками.

— Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже пола-

гаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.

— А я полагаю, что вы — первый не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде! — яростно перебил Борменталь.

— Ну, ладно, пусть будет так. Ну так вот-с, будущий профессор Борменталь: это никому не удастся. Кончено. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, скажите, Преображенский сказал. Finita. Клим! — вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном,— Клим,— повторил он.— Вот что, Борменталь, вы первый ученик моей школы и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам, как другу, сообщу по секрету,— конечно, я знаю, вы не станете срамить меня — старый осел Преображенский нарвался на этой операции как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете — какое,— тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая на Москву,— но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где — здесь,— Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее,— будьте спокойны! Если бы кто-нибудь,— сладострастно продолжал Филипп Филиппович,— разложил меня здесь и выпорол,— я бы, клянусь, заплатил бы червонцев пять! От Севильи до Гренады... Черт меня возьми... Ведь я пять лет сидел, выковыривал придатки из мозгов... Вы знаете, какую я работу проделал — уму непостижимо. И вот теперь спрашивается — зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают.

— Исключительное что-то!

— Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей.

— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?

— Да! — рявкнул Филипп Филиппович.— Да! Если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом, а вы видели — какого сорта эта операция. Одним словом, я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящего. Но на какого дьявола? — спрашивается. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить

когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого! Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории Шариковской болезни. Мое открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош... Да, не спорьте, Иван Арнольдович, я ведь уж понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно. Ну, ладно! Физиологи будут в восторге. Москва беснуется... Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? — Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков.

— Исключительный прохвост.

— Но кто он? — Клим, Клим,— крикнул профессор,— Клим Чугунов[1] (Борменталь открыл рот) — вот что-с: две судимости, алкоголизм, «все поделить», шапка и два червонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел) — хам и свинья... Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! От Севильи до Гренады...— свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович,— а не общечеловеческое. Это — в миниатюре — сам мозг. И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался. Неужели вы думаете, что из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый.

— Вы великий ученый, вот что! — молвил Борменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью.

— Я хотел проделать маленький опыт после того, как 2 года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось? Боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о Господи... Доктор, передо мной — тупая безнадежность, я, клянусь, потерялся.

Борменталь вдруг засучил рукава и произнес, косяглазами к носу:

— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск накормлю его мышьяком. Черт с ним, что папа судебный следователь. Ведь в конце концов — это ваше собственное экспериментальное существо.

Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:

---

[1] В тексте расхождение: ср. стр. 339.— *Ред.*

— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.

— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот Швондер, что ж из него получится?! Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!

— Ага! Теперь поняли? А я понял через 10 дней после операции. Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.

— Еще бы! Одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем.

— О нет, нет,— протяжно ответил Филипп Филиппович,— вы, доктор, делаете крупнейшую ошубку, ради бога не клевещите на пса. Коты — это временно... Это вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас. Еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.

— А почему не теперь?

— Иван Арнольдович, это элементарно... Что вы, на самом деле, спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты — это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!

До последней степени взвинченный Борменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами, твердо молвил:

— Конечно. Я его убью!

— Запрещаю это! — категорически ответил Филипп Филиппович.

— Да помилуйте...

Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.

— Погодите-ка... Мне шаги послышались.

Оба прислушались, но в коридоре было тихо.

— Показалось,— молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина».

— Минуточку,— вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери. Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Борменталь распахнул двери и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в кресле.

В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощного и, как от страху показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это «что-то», упираясь, садилось на зад, и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету. «Что-то», конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке.

Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:

— Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина — невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.

Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнула, закрыла грудь руками и унеслась.

— Дарья Петровна, извините, ради бога,— опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.

Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович заглянул ему в глаза и ужаснулся.

— Что вы, доктор! Я запрещаю...

Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно на сорочке спереди треснуло.

Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.

— Вы не имеете права биться! — полузадушенный, кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.

— Доктор! — вопил Филипп Филиппович.

Борменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.

— Ну, ладно,— прошипел Борменталь,— подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится.

Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать.

При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались.

Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил:

— Ну-ну...

IX

Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:

— Воображаю, что будет твориться на улице... Вообража-а-ю. От Севильи до Гренады, боже мой.

— Он в домкоме еще может быть,— бесновался Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец Полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей.

Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно — что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят копеек.

— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверен-

ный звонок, и Полиграф Полиграфович вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней. Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Он пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

— Я, Филипп Филиппович,— начал он наконец говорить,— на должность поступил.

Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

— Бумагу дайте.

Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) в отделе МКХ».

— Так,— тяжело молвил Филипп Филиппович,— кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь.

— Ну, да, Швондер,— ответил Шариков.

— Позвольте вас спросить — почему от вас так отвратительно пахнет?

Шариков понюхал куртку озабоченно.

— Ну, что ж, пахнет... известно: по специальности. Вчера котов душили, душили...

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталя. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.

— Караул! — пискнул Шариков, бледнея.

— Доктор!

— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович,— не беспокойтесь,— железным голосом отозвался Борменталь и завопил: — Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

— Ну, повторяйте,— сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе,— извините меня...

— Ну хорошо, повторяю,— сиплым голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуху,

дернулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.

— Доктор, умоляю вас.

Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять.

— ...Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида?..

— Прокофьевна,— шепнула испуганно Зина.

— Уф, Прокофьевна...— говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков,—...что я позволил себе...

— Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.

— Опьянения...

— Никогда больше не буду...

— Не бу...

— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович,— взмолились одновременно обе женщины,— вы его задушите.

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

— Грузовик вас ждет?

— Нет,— почтительно ответил Полиграф,— он только меня привез.

— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?

— Куда же мне еще? — робко ответил Шариков, блуждая глазами.

— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?

— Понятно,— ответил Шариков.

Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически:

— Что же вы делаете с этими... с убитыми котами?

— На польты пойдут,— ответил Шариков,— из них белок будут делать на рабочий кредит.

Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталя.

Несмотря на то, что Борменталь и Шариков спали в одной комнате — приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с под-

рисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В потертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот, оторопелый, остановился, прищурился и спросил:

— Позвольте узнать?

— Я с ней расписываюсь, это — наша машинистка, жить со мной будет. Борменталя надо будет выселить из приемной. У него своя квартира есть,— крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее.

— Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.

— И я с ней пойду,— быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.

— Извините,— сказал он,— профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь.

— Я не хочу,— злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем.

— Нет, простите,— Борменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

— Он сказал, негодяй, что ранен в боях,— рыдала барышня.

— Лжет,— непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головою и продолжал.— Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения... Детка, ведь это безобразие... Вот что...— Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

— Я отравлюсь,— плакала барышня,— в столовке солонина каждый день... и угрожает... говорит, что он красный командир... со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире... каждый день ананасы... психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу. Он у меня кольцо на память взял...

— Ну, ну, ну,— психика добрая... От Севильи до Грена-

ды,— бормотал Филипп Филиппович,— нужно перетерпеть — вы еще так молоды...

— Неужели в этой самой подворотне?

— Ну, берите деньги, когда дают взаймы,— рявкнул Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка.

— Подлец,— выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

— Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме,— вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

— Я на колчаковских фронтах ранен,— пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппович,— погодите, колечко позвольте,— сказал он, обращаясь к Шарикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

— Ну, ладно,— вдруг злобно сказал он,— попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.

— Не бойтесь его,— крикнул вслед Борменталь,— я ему не позволю ничего сделать.— Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф.

— Как ее фамилия? — спросил у него Борменталь.— Фамилия! — заревел он и вдруг стал дик и страшен.

— Васнецова,— ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.

— Ежедневно,— взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Борменталь,— сам лично буду справляться в очистке — не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы... узнаю, что сократили, я вас... собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков,— говорю русским языком!

Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский нос.

— У самих револьверы найдутся...— пробормотал Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.

— Берегитесь! — донесся ему вдогонку борменталевский крик.

Ночь и половину следующего дня висела, как туча

перед грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками к профессору.

— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил осунувшийся Филипп Филиппович,— садитесь, пожалуйста.

— Мерси. Нет, профессор,— ответил гость, ставя шлем на угол стола,— я вам очень признателен... Гм... Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... питая большое уважение... гм... предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост...— Пациент полез в портфель и вынул бумагу,— хорошо, что мне непосредственно доложили...

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. «...а также угрожая убить председателя домкома товарща Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно, не прописанный, проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова — удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».

— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами,— или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

— Извините, профессор,— очень обиделся пациент и раздул ноздри,— вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... — И тут он стал надуваться, как индейский петух.

— Ну, извините, извините, голубчик! — забормотал Филипп Филиппович,— простите, я, право, не хотел вас обидеть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задергал...

— Я думаю,— совершенно отошел пациент,— но какая все-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают...

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время.

* * *

Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Борменталя, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:

— Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, все, что вам нужно,— и вон из квартиры!

— Как это так? — искренне удивился Шариков.

— Вон из квартиры — сегодня,— монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его, и рок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

— Да что такое, в самом деле! Что я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

— Убирайтесь из квартиры,— задушевно шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталя упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростертый и хрипящий, лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь с не своим лицом прошел на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

«Сегодня приема по случаю болезни профессора нет. Просят не беспокоить звонками».

Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. За-

тем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал:

— Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

— Хорошо,— робко ответили Зина и Дарья Петровна.

— Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ,— заговорил Борменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью лицо.— Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.

— Хорошо,— ответили женщины и сейчас же стали бледными. Борменталь запер черный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом, мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора... Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того, как Борменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое и все, ну, все... вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще, что... впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врет...

За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.

КОНЕЦ ПОВЕСТИ

ЭПИЛОГ

Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховском переулке, ударил резкий звонок.

— Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.

Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной с заново застекленными шкафами оказалась масса народу. Двое в милицейской форме, один

в черном пальто, с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстука.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.

— Не стесняйтесь, профессор,— очень смущенно отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил.— Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и,— человек покосился на усы Филиппа Филипповича и докончил,— и арест, в зависимости от результата.

Филипп Филиппович прищурился и спросил:

— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?

Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля.

— По обвинению Преображенского, Борменталя, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.

— Ничего я не понимаю,— ответил Филипп Филиппович, королевски вздергивая плечи,— какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса... которого я оперировал?

— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело.

— То есть он говорил? — спросил Филипп Филиппович.— Это еще не значит быть человеком. Впрочем, это неважно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

— Профессор,— очень удивленно заговорил черный человечек и поднял брови,— тогда его придется предъявить. Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.

— Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шарика следователю,— приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.

Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел.

Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс,

пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги.

Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:

— Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...

— Я его туда не назначал,— ответил Филипп Филиппович,— ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

— Я ничего не понимаю,— растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру.— Это он?

— Он,— беззвучно ответил милицейский. — Форменно он.

— Он самый,— послышался голос Федора,— только, сволочь, опять оброс.

— Он же говорил... кхе... кхе...

— И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.

— Но почему же? — тихо осведомился черный человек.

Филипп Филиппович пожал плечами.

— Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.

— Неприличными словами не выражаться,— вдруг гаркнул пес с кресла и встал.

Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливей всего были слышны три фразы:

Филиппа Филипповича: — Валерьянки. Это обморок.

Доктора Борменталя: — Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского.

И Швондера: — Прошу занести эти слова в протокол.

* * *

Серые гармонии труб грели. Шторы скрыли густую пречистенскую ночь с ее одинокою звездою. Высшее существо, важный песий благотворитель сидел в кресле, а пес Шарик,

привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и теплые.

«Так свезло мне, так свезло,— думал он, задремывая,— просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть».

В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

— К берегам священным Нила...

Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги,— упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел:

— К берегам священным Нила...

Январь — март 1925 г.
Москва



Михаил Зощенко

О ЧЕМ ПЕЛ СОЛОВЕЙ



1



А ведь посмеются над нами лет через триста! Странно, скажут, людишки жили. Какие-то, скажут, у них были деньги, паспорта. Какие-то акты гражданского состояния и квадратные метры жилищной площади...

Ну что ж! Пущай смеются.

Одно обидно: не поймут ведь, черти, половины. Да и где же им понять, если жизнь у них такая будет, что, может, нам и во сне не снилась!

Автор не знает и не хочет загадывать, какая у них будет жизнь. Зачем же трепать свои нервы и расстраивать здоровье — все равно бесцельно, все равно не увидит, вероятно, автор полностью этой будущей прекрасной жизни.

Да будет ли она прекрасна? Для собственного успокоения автору кажется, что и там много будет ерунды и дряни.

Впрочем, может, эта ерунда будет мелкого качества. Ну, скажем, в кого-нибудь, извините за бедность мысли, плюнули с дирижабля. Или кому-нибудь пепел в крематории перепутали и выдали заместо помершего родственничка какую-нибудь чужую и недоброкачественную труху... Конечно, это не без того,— будут случаться такие ничтожные неприятности в мелком повседневном плане. А остальная-то жизнь, наверное, будет превосходна и замечательна.

Может быть, даже денег не будет. Может быть, все будет бесплатно, даром. Скажем, даром будут навязывать какие-нибудь шубы или кашне в Гостином дворе.

— Возьмите,— скажут,— у нас, гражданин, отличную шубу.

А ты мимо пойдешь. И сердце не забьется.

— Да нет,— скажешь,— уважаемые товарищи. На черта мне сдалась ваша шуба. У меня их шесть.

Ах, черт! До чего веселой и привлекательной рисуется автору будущая жизнь!

Но тут стоит призадуматься. Ведь если выкинуть из жизни какие-то денежные счеты и корыстные мотивы, то в какие же удивительные формы выльется сама жизнь! Какие же отличные качества приобретут человеческие отношения! И, например, любовь. Каким небось пышным цветом расцветет это изящнейшее чувство!

Ах ты, какая будет жизнь, какая жизнь! С какой сладкой радостью думает о ней автор, даже вчуже, даже без малейшей гарантии застать ее. Но вот — любовь.

Об этом должна быть особая речь. Ведь многие ученые и другие люди вообще склонны понижать это чувство. Позвольте, говорят, какая любовь? Нету никакой любви. И никогда и не было. И вообще, мол, это заурядный акт того же гражданского состояния, ну, например, вроде похорон.

Вот с этим автор не может согласиться.

Автор не хочет исповедоваться перед случайным читателем и не хочет некоторым, особо неприятным автору критикам открывать своей интимной жизни, но все же, разбираясь в ней, автор вспоминает одну девицу в дни своей юности. Этакое было у ней глупое белое личико, ручки, жалкие плечики. А в какой телячий восторг впадал автор! Какие чувствительные минуты переживал автор, когда от избытка всевозможных благородных чувств падал на колени и, как дурак, целовал землю.

Теперь, когда прошло пятнадцать лет и автор слегка седеет от различных болезней, и от жизненных потрясений, и от забот, когда автор просто не хочет врать и не для чего ему врать, когда, наконец, автор желает увидеть жизнь как она есть, без всякой лжи и украшений,— он, не боясь показаться смешным человеком из прошлого столетия, все же утверждает, что в ученых и общественных кругах сильно на этот счет ошибаются.

На эти строчки о любви автор уже предвидит ряд жестоких отповедей со стороны общественных деятелей.

— Это,— скажут,— товарищ, не пример — собственная ваша фигура. Что вы, скажут, в нос тычете свои любовные шашни? Ваша, скажут, персона не созвучна эпохе и вообще случайно дожила до теперешних дней.

— Видали? Случайно! То есть, дозвольте вас спросить, как это случайно? Что ж, прикажете под трамвай ложиться?

— Да это как вам угодно,— скажут.— Под трамвай или с моста, а только существование ваше ни на чем не обосновано. Посмотрите, скажут, на простых, неискушенных людей, и вы увидите, как иначе они рассуждают.

Ха!.. Прости, читатель, за ничтожный смех. Недавно автор вычитал в «Правде» о том, как один мелкий кустарь, парикмахерский ученик, из ревности нос откусил одной гражданке.

— Это что — не любовь? Это, по-вашему, жук нагадил? Это, по-вашему, нос откушен для вкусовых ощущений? Ну и черт с вами! Автор не желает расстраиваться и портить себе кровь. Ему надобно еще закончить повесть, съездить в Москву и сделать, кроме того, несколько неприятных автору визитов к кое-каким литературным критикам, попросив их не торопиться с написанием критических статей и рецензий на эту повесть.

Итак, любовь.

Пущай об этом изящном чувстве каждый думает как хочет. Автор же, признавая собственное ничтожество и неспособность к жизни, даже, черт с вами, пущай трамвай впереди,— автор все же остается при своем мнении.

Автор только хочет рассказать читателю об этом мелком любовном эпизоде, случившемся на фоне теперешних дней. Опять, скажут, мелкие эпизоды? Опять, скажут, мелочи к двухрублевой книге? Да что вы, скажут, очумели, молодой человек? Да кому, скажут, это нужно в космическом масштабе?

Автор честно и открыто просит:

— Не мешайте, товарищи! Дайте человеку высказаться хотя бы в порядке дискуссии!..

2

Фу! Трудно до чего писать в литературе!

По́том весь изойдешь, пока продерешься через непроходимые дебри.

И ради чего? Ради какой-то любовной истории гражданина Былинкина. Автору он не сват и не брат. Автор у него в долг не занимал. И идеологией с ним не связан. Да уж если говорить правду, то автору он глубоко безразличен. И расписывать его сильными красками автору нет

охоты. К тому же автор не слишком-то помнит лицо этого Былинкина, Василия Васильевича.

Что касается других лиц, участвующих так или иначе в этой истории, то и другие лица тоже прошли перед взором автора малозамеченные. Разве что Лизочка Рундукова, которую автор запомнил по причинам совершенно особенным и, так сказать, субъективным.

Уже Мишка Рундуков, братишка ее, менее запомнился. Это был парнишка крайне нахальный и задира. Наружностью своей он был этакий белобрысенький и слегка мордастый.

Да о наружности его автору тоже нет охоты распространяться. Возраст у парнишки переходный. Опишешь его, а он, сукин сын, подрастет к моменту выхода книги, и там разбирайся — какой это Мишка Рундуков. И откуда у него усы взялись, когда у него и усов-то не было в момент описания событий.

Что же касается самой старухи, так сказать, мамаши Рундуковой, то читатель и сам вряд ли выразит претензию, ежели мы старушку и вовсе обойдем в своем описании. Тем более что старушек вообще трудновато художественно описывать. Старушка и старушка. А пес ее разберет, какая эта старушка. Да и кому это нужно описание, скажем, ее носа? Нос и нос. И от подробного его описания читателю не легче будет жить на свете.

Конечно, автор не взялся бы писать художественные повести, если бы были у него только такие скудные и ничтожные сведения о героях. Сведений у автора хватает. Например, автору очень живо рисуется вся ихняя жизнь. Ихний небольшой рундуковский домишко. Этакий темненький, в один этаж. На фасаде — номер двадцать два. Повыше на досочке багор нарисован. На предмет пожара. Кому что тащить. Рундуковым, значит, багор тащить. А только есть ли у них багор? Ох, небось нету!.. Ну, да не дело художественной литературы разбираться и обращать на это внимание уездной администрации.

А вся внутренность ихнего домика и, так сказать, вещественное его оформление в смысле мебели тоже достаточно рельефно вырисовываются в памяти автора... Три комнаты небольшие. Пол кривой. Рояль Беккера. Этакий жуткий рояль. Но играть на нем можно. Кой-какая мебелишка. Диван. Кошка или кот на диване. На подзеркальнике часишки под колпаком. Колпак пыльный. А само зеркало мутное — морду врет. Сундук огромный. Нафталином и дохлыми мухами от него пахнет.

Скучно небось было бы жить в этих комнатах столичным гражданам!

Скучно небось столичному гражданину и в ихнюю кухню войти, где мокрое белье на бечевке развешано. И у плиты старуха продукты стряпает. Картошку, например, чистит. Шелуха лентой с-под ножа свивается.

Только пущай не думает читатель, что автор описывает эти мелкие мелочи с любовью и восхищением. Нету! Нету в этих мелких воспоминаниях ни сладости, ни романтизма. Знает автор и эти домики и эти кухни. Заходил. И жил в них. И может, и сейчас живет. Ничего в этом нету хорошего, так — жалкая жалость. Ну, войдешь в эту кухню — и ведь непременно мордой в мокрое белье угодишь. Да еще спасибо, ежели в благородную часть туалета, а то в мокрый чулок какой-нибудь, прости господи! Противно же мордой в чулок! Ну его к черту! Такая гадость.

А по причинам, не касающимся художественной литературы, автору приходилось несколько раз бывать у Рундуковых. И автор всегда удивлялся, как это в такой прели и мелкоте жила такая выдающаяся барышня, такой, можно сказать, ландыш и настурция, как Лизочка Рундукова.

Автору всегда было очень-очень жаль эту миловидную барышню. О ней будем в свое время длинно и обстоятельно говорить, пока же автор принужден рассказать кое-что о гражданине Василии Васильевиче Былинкине. О том, какой это человек. Откуда он взялся. И благонадежен ли он политически. И какое отношение он имеет к уважаемым Рундуковым. И не родственник ли он им.

Нет, он не родственник. Он просто случайно и на время замешался в ихнюю жизнь.

Автор уже предупреждал читателя, что физиономия этого Былинкина ему не слишком запомнилась. Хотя вместе с тем автор, закрывая глаза, видит его как живого.

Этот Былинкин ходил всегда медленно, даже вдумчиво. Руки держал позади. Ужасно часто моргал ресницами. И фигуру имел несколько сутулую, видимо придавленную житейскими обстоятельствами. Каблуки же Былинкин снашивал внутрь до самых задников.

Что касается образования, то на вид образование было не ниже четырех классов старой гимназии.

Социальное происхождение — неизвестно.

Приехал человек из Москвы в самый разгар революции и о себе не распространялся.

А зачем приехал — тоже неясно. Сытее, что ли, в провинции показалось? Или не сиделось ему на одном месте и

влекли его, так сказать, неведомые дали и приключения? Черт его разберет! Во всякую психологию не влезешь.

Но скорей всего в провинции сытней показалось. Потому — первое время ходил человек по базару и с аппетитом посматривал на свежие хлебы и на горы всевозможных продуктов.

Но, между прочим, как он кормился — для автора неясная тайна. Может, он даже и руку протягивал. А может, и пробки собирал от минеральных и фруктовых вод. И продавал после. Были и такие отчаянные спекулянты в городе.

Только, видимо, жил человек худо. Весь сносился и волосы стал терять. И ходил робко, оглядываясь по сторонам и волоча ноги. Даже глазами перестал моргать и смотрел неподвижно и скучно.

А после, по невыясненной причине, в гору пошел. И к моменту разыгравшейся нашей любовной истории имел Былинкин прочное социальное положение, государственную службу и оклад по седьмому разряду плюс за нагрузку.

И к этому моменту Былинкин уже несколько округлился в своей фигуре, влил, так сказать, в себя снова потерянные жизненные соки и снова по-прежнему часто и развязно моргал глазами.

И ходил по улице тяжеловатой походкой человека, насквозь прожженного жизнью, и имеющего право жить, и знающего себе полную цену.

И действительно, к моменту развернувшихся событий был он мужчина хоть куда в свои неполные тридцать два года.

Он много и часто гулял по улицам и, размахивая палкой, сбивал по дороге цветы, или траву, или даже листья. Иногда присаживался на скамейку бульвара и бодро дышал полной грудью, счастливо улыбаясь.

О чем он думал и какие исключительные идеи осеняли его голову — никому не известно. Может, он и ни о чем не думал. Может, он просто проникался восторгом своего законного существования. Или скорей всего думал, что ему совершенно необходимо переменить квартиру.

И в самом деле: он жил у Волосатова, у дьякона живой церкви, и, в силу своего служебного положения, весьма беспокоился жить у лица, столь политически запачканного.

Он много раз спрашивал, не знает ли кто, ради бога, какой-нибудь новой квартиренки или комнаты, так как он не в силах более жить у служителя определенного культа.

И наконец кто-то по доброте душевной сосватал ему небольшую, в две квадратные сажени, комнату. Это было как

раз в доме уважаемых Рундуковых. Былинкин немедленно же переехал. Сегодня он осмотрел комнату и завтра с утра въехал, наняв для этой цели водовоза Никиту.

Отцу дьякону ни с какой стороны не нужен был этот Былинкин, однако, видимо, уязвленный в неясных, но отличных своих чувствах, дьякон страшным образом ругался и даже грозил при случае набить Былинкину морду. И когда Былинкин складывал свое добро на телегу, дьякон стоял у окна и громко искусственно хохотал, желая этим показать полное свое равнодушие к отъезду.

Дьяконица же выбегала время от времени во двор и, кидая на телегу какую-нибудь вещь, кричала:

— Скатертью дорожка. Камнем в воду. Не задерживаем.

Собиравшаяся публика и соседи с удовольствием хохотали, прозрачно намекая на ихние будто бы любовные отношения. Об этом автор не берется утверждать. Не знает. Да и не желает заводить излишних сплетен в изящной литературе.

3

Комната Былинкину, Василию Васильевичу, была сдана без всякой корысти и даже без особой на то нужды. Вернее, старуха Дарья Васильевна Рундукова побаивалась, как бы из-за жилищного кризиса ихнюю квартирку не уплотнили бы вселением какого-нибудь грубого и лишнего элемента.

Былинкин этим обстоятельством несколько даже воспользовался. И, проходя мимо беккеровского рояля, сердито покосился на него и с неудовольствием заметил, что этот инструмент, вообще говоря, лишнее и что сам он, Былинкин, человек тихий и потрясенный жизнью, побывавший на двух фронтах и обстрелянный артиллерией, не может переносить лишних мещанских звуков.

Старуха обиженно сказала, что у них сорок лет стоит этот рояльчик и для былинкинских прихотей не могут они его сломать или выдернуть из него струны и педали, и тем более что Лизочка Рундукова обучается игре на инструменте и, может быть, это у ней основная цель к жизни.

Былинкин сердито отмахнулся от старухи, заявив, что это он говорит в форме деликатной просьбы, а отнюдь не в виде строгого приказания.

На что старуха, крайне обидевшись, расплакалась и

чуть было вовсе не отказала от комнаты, если б не подумала о возможности вселения со стороны.

Былинкин переехал утром и до вечера кряхтел в своей комнате, устанавливая и прибирая все по своему столичному вкусу.

Два или три дня прошли тихо и без особых перемен.

Былинкин ходил на службу, возвращался поздно и долго ходил по комнате, шаркая войлочными туфлями. Вечером жевал что-то и наконец засыпал, слегка похрапывая и вереща носом.

Лизочка Рундукова эти два дня ходила несколько притихшая и много раз расспрашивала свою мамашу, а также и Мишку Рундукова о том, какой это Былинкин на ихний взгляд, курит ли трубку и имел ли он в своей жизни какое-нибудь прикосновение к морскому комиссариату.

Наконец на третий день она и сама увидела Былинкина.

Это было рано утром. Былинкин по обыкновению собирался на службу.

Он шел по коридору в ночной рубашке с расстегнутым воротом. Помочи от штанов болтались позади, развеваясь в разные стороны. Он шел медленно, держа в одной руке полотенце и душистое мыло. Другой рукой он приглаживал встрепанные за ночь волосы.

Она стояла в кухне по своим домашним делам, раздувая самовар или нащипывая от сухого полена лучину.

Она тихо вскрикнула, увидев его, и бросилась в сторону, стыдясь своего неприбранного утреннего туалета.

А Былинкин, стоя в дверях, разглядывал барышню с некоторым изумлением и восторгом.

И верно: в то утро она была очень хороша.

Эта юная свежесть слегка заспанного лица. Этот небрежный поток белокурых волос. Слегка приподнятый кверху носик. И светлые глаза. И небольшая по высоте, но полненькая фигура. Все это было в ней необыкновенно привлекательно.

В ней была та очаровательная небрежность и, пожалуй, даже неряшливость той русской женщины, которая вскакивает поутру с постели и, немытая, в войлочных туфлях на босу ногу, возится по хозяйству.

Автору, пожалуй, даже нравятся такие женщины. Он ничего не имеет против таких женщин.

В сущности, нет ничего в них хорошего, в этих полных, с ленивым взглядом женщинах. Нет в них ни живости, ни яркости темперамента, ни, наконец, кокетливости позы.

Так — мало двигается, в мягких туфлях, непричесанная... Вообще говоря, пожалуй, даже противно. Но вот подите ж!

И странная вещь, читатель!

Такая какая-нибудь кукольная дамочка, так сказать — измышление буржуазной западной культуры, совсем не по душе автору. Этакая прическа у ней, черт ее знает, какая греческая — дотронуться нельзя. А дотронешься — криков и скандалов не оберешься. Этакое платье ненастоящее — опять не дотронешься. Или порвешь, или запачкаешь. Скажите: кому это нужно? В чем тут прелесть и радость существования?

Наша, например, как сядет, так вполне видишь, что сидит, а не на булавке пришпилена, как иная. А та — как на булавке. Кому это надо?

Автор многим восхищен в иноземной культуре, однако относительно женщин автор остается при своем национальном мнении.

Былинкину тоже, видимо, нравились такие женщины.

Во всяком случае, он стоял теперь перед Лизочкой Рундуковой и, слегка раскрыв рот от восторга и не прибрав даже висящие подтяжки, смотрел на нее с радостным изумлением.

Но это длилось одну минуту.

Лизочка Рундукова, тихо ахнув и заметавшись по кухне, вышла прочь, на ходу поправляя свой туалет и спутанные волосы.

К вечеру, когда Былинкин вернулся со службы, он медленно прошел в свою комнату, рассчитывая встретить в коридоре Лизочку.

Но не встретил.

Тогда попозже, к вечеру, Былинкин пять или шесть раз смотался на кухню и наконец встретил Лизочку Рундукову, которой и поклонился страшно почтительно и галантно, слегка склонив голову набок и делая руками тот неопределенный жест, который условно показывает восхищение и чрезвычайную приятность.

Несколько дней таких встреч в коридоре и на кухне значительно их сблизили.

Былинкин приходил теперь домой и, слушая, как Лизочка играет какой-нибудь трамблям на рояле, упрашивал ее изобразить еще и еще что-нибудь душещипательное.

И она играла какой-нибудь собачий вальс или шимми или брала несколько бравурных аккордов второй или треть-

ей, а может даже, черт их разберет, и четвертой рапсодии Листа.

И он, Былинкин, дважды побывавший на всех фронтах и обстрелянный тяжелой артиллерией, как бы впервые слушал эти дребезжащие звуки беккеровского рояля. И, сидя в своей комнате, мечтательно откидывался на спинку кресла, думая о прелестях человеческого существования.

Очень роскошная жизнь началась у Мишки Рундукова. Былинкин дважды давал ему по гривеннику и один раз пятиалтынный, прося Мишку тихонько свистеть в пальцы, когда старуха у себя на кухне и Лизочка одна в комнате.

Зачем это понадобилось Былинкину, автору крайне неясно. Старуха с совершенным восторгом смотрела на влюбленных, рассчитывая не позднее осени повенчать их и сбыть Лизочку с рук.

Мишка Рундуков также не разбирался в психологических тонкостях Былинкина и самосильно свистал раз по шесть в день, приглашая Былинкина заглянуть то в ту, то в другую комнату.

И Былинкин входил в комнату, садился подле Лизочки, перекидывался с ней сначала незначительными фразами, потом просил сыграть на инструменте какую-нибудь наиболее ее любимую вещь. И там, у рояля, когда Лизочка переставала играть, Былинкин клал свои узловатые пальцы, пальцы философски настроенного человека, прожженного жизнью и обстрелянного тяжелой артиллерией, на Лизочкины белые руки и просил барышню рассказать о ее жизни, живо интересуясь подробностями ее прежнего существования.

Иногда же спрашивал, чувствовала ли она когда-нибудь трепет настоящей, истинной любви, или это у нее в первый раз.

И барышня загадочно улыбалась и, тихо перебирая рояльные клавиши, говорила:

— Не знаю...

4

Они страстно и мечтательно полюбили друг друга.

Они не могли видеться без слез и трепета.

И, встречаясь, всякий раз испытывали все новый и новый прилив восторженной радости.

Былинкин, впрочем, с некоторым даже испугом вглядывался в себя и с изумлением думал, что он, дважды побывавший на всех фронтах и с необыкновенной трудностью

заработавший себе право существования, с легкостью бы теперь отдал свою жизнь за один ничтожный каприз этой довольно миленькой барышни.

И, перебирая в своей памяти тех женщин, которые прошли в его жизнь, и даже последнюю, дьяконицу, с которой у него таки был роман (автор совершенно в этом уверен), Былинкин с уверенностью думал, что только теперь, на тридцать втором году, он узнал истинную любовь и подлинный трепет чувства.

Распирали ли Былинкина его жизненные соки или же у человека бывает предрасположение и склонность к отвлеченным романтическим чувствам — пока остается тайной природы.

Так или иначе Былинкин видел, что он иной теперь человек, чем был раньше, и что кровь у него изменилась в своем составе, и что вся жизнь — смешна и ничтожна перед столь необычайной силой любви.

И Былинкин, этот слегка циник и прожженный жизнью человек, оглушенный снарядами и видевший не раз лицом к лицу смерть, этот жуткий Былинкин слегка ударился даже в поэзию, написав с десяток различных стихотворений и одну балладу.

Автор незнаком с его стишками, но одно стихотворение, под заглавием: «К ней и к этой», посланное Былинкиным в «Диктатуру труда» и не принятое редакцией как несозвучное социалистической эпохе, случайно и благодаря любезности технического секретаря, Ивана Абрамовича Кранца, сделалось известным автору.

У автора особое мнение насчет стишков и любительской поэзии, и потому автор не будет утруждать читателей и наборщиков целым и довольно длинным стихом. Автор предлагает вниманию наборщиков только пару последних, наиболее звучных строф:

Девизом сердца своего,
Любовь прогрессом называл.
И только образ твоего
Изящного лица внимал.

Ах, Лиза, это я
Сгорел, как пепел, от огня
Тому подобного знакомства.

С точки зрения формального метода стишки эти как будто и ничего себе. Но вообще же стишки — довольно паршивые стишки и действительно несозвучны и несоритмичны с эпохой.

В дальнейшем Былинкин не увлекался поэзией и не по-

шел по тяжкому пути поэта. Былинкин, всегда несколько склонный к американизму, забросил вскоре свои литературные достижения, без сожаления закопал талант в землю и стал жить по-прежнему, не проектируя своих безумных идей на бумагу.

Былинкин и Лизочка встречались теперь по вечерам, уходили из дому и до ночи бродили по опустевшим улицам и бульварам. Иногда спускались к реке и сидели над песчаным обрывом, с глубокой и молчаливой радостью следя за быстрой водой реки Козявки. Иногда же, взяв друг друга за руки, тихо ахали, восторгались необычайными красотами природы или легкой воздушной тучкой, пробегавшей по небу.

Все это было им ново, очаровательно и, главное, казалось, что видят они все в первый раз.

Иногда влюбленные уходили за город и шли к лесу. А там, взявшись за пальцы, ходили разомлевшие и останавливались перед какой-нибудь сосной или елкой, смотрели на нее с изумлением, искренне удивляясь причудливой и смелой игре природы, выкинувшей из-под земли столь нужное для человека дерево.

И тогда Василий Былинкин, потрясенный необычайностью существования на земле и удивительными ее законами, падал от избытка чувств на колени перед барышней и целовал землю вокруг ее ног.

А кругом-то луна, кругом таинственность ночи, трава, светлячки чирикают, лес молчаливый, лягушки и букашки. Кругом этакая сладость и умиротворение в воздухе. Кругом та радость простого существования, от которой автор не хочет еще до конца отказаться и поэтому ни под каким видом не может признать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни.

Так вот, Былинкин с Лизочкой наиболее любили эти свои прогулки за город.

Но в одну из таких прелестных прогулок, видимо сырой ночью, неосторожный Былинкин простудился и слег. У него открылась болезнь вроде свинки. Или, как врачи называют,— заушница.

Уже к вечеру Былинкин почувствовал легкий озноб и режущую боль в горле. К ночи же морду его стало раздувать.

С тихим плачем входила Лиза в его комнату и с распущенными волосами, в мягких туфлях металась от постели к столу, не зная, что ей предпринять, и что делать, и как облегчить участь больного.

Мамаша Рундукова — и та вкатывалась в комнату по

нескольку раз в день, расспрашивая, не хочет ли болящий клюквенного киселька, который будто бы незаменим при всех инфекционных заболеваниях.

Через два дня, когда морду у Былинкина раздуло до неузнаваемости, Лизочка побежала за доктором.

Осмотрев больного и прописав ему какие-то медикаменты, доктор ушел, в душе, видимо, ругаясь, что дали ему мелочью.

Лизочка Рундукова побежала за ним и, догнав его на улице, заламывая руки, стала лепетать и спрашивать: ну, как? Что? Есть ли надежда? И что пущай врач знает, что она не перенесет гибели этого человека.

Тогда врач, в силу своей профессии привыкший к этим сценам, равнодушно сказал, что свинка — свинка и есть и помирать от этого, к сожалению, не приходится.

Несколько раздосадованная незначительной опасностью, Лизочка грустно вернулась домой и стала самоотверженно ухаживать за больным, не щадя ни своих слабых сил, ни здоровья, не боясь даже схватить эту самую свинку от заражения.

Былинкин в первые дни боялся подняться с подушки и, ощупывая раздувшееся свое горло, с ужасом спрашивал, не разлюбит ли его Лизочка Рундукова после болезни, которая позволила увидеть его в столь безобразном и омерзительном виде.

Но барышня, упрашивая его не беспокоиться, говорила, что, на ее взгляд, он стал более представительный мужчина, чем был раньше.

И Былинкин тихо и благодарно смеялся, говоря, что эта болезнь как нельзя более испытала крепость ихней любви.

5

Это была совершенно необыкновенная любовь.

А с тех пор когда Былинкин встал с одра болезни и голова с шеей снова приняли прежние формы, ему стало казаться, что Лизочка Рундукова спасла его от неминуемой гибели.

От этого в ихние любовные отношения вошла некоторая торжественность и даже великодушие.

В один из ближайших после болезни дней Былинкин взял Лизочку за руку и тоном решившегося на что-то человека попросил ее выслушать его, не задавая пока что лишних вопросов и не вмешиваясь со своими глупыми репликами.

Былинкин сказал длинную и торжественную речь о том, что он совершенно знает, что такое жизнь, и знает, как трудно существовать на земле, и что раньше, когда он был еще неоперившимся юнцом, он с преступной легкостью относился к жизни, за что сильно пострадал в свое время, но теперь, умудренный житейским опытом, знает, как надо жить, и знает суровые и непоколебимые законы жизни. И что, все это обдумав, он предполагает внести кой-какие изменения в свою намеченную жизнь.

Одним словом, Былинкин сделал Лизочке Рундуковой официальное предложение с просьбой не тревожиться за будущее благосостояние, даже если Лизочка Рундукова и впредь останется безработной и не будет в состоянии вносить посильную лепту в общий скромный котел.

Она, слегка поломавшись и поговорив для изящности переживаемого момента о свободной любви, все же с восторгом приняла предложение, говоря, что она давно ждала его и что если б он не сделал этого, то он был бы последним мазуриком и проходимцем. А что свободные отношения, хотя и тоже очень хороши и отличны в свое время, но это уж не то, что иное прочее.

Со своей радостной новостью Лизочка Рундукова немедленно побежала к мамаше, а также и к соседям, приглашая их прийти на бракосочетание, которое состоится в весьма непродолжительном времени и будет носить скромный и семейный характер.

Соседи горячо поздравили ее, говоря, что она достаточно уже засиделась и намучилась безысходностью своего существования.

Мамаша Рундукова всплакнула, конечно, и пошла к Былинкину, чтоб самой убедиться в подлинности факта.

И Былинкин удостоверил старуху, торжественно попросив называть ее с этого дня мамашей. Старуха, плача и сморкаясь в передник, сказала, что она пятьдесят три года живет на свете, но что этот день — самый счастливый в ее жизни. И, в свою очередь, попросила называть его Васей. На что Былинкин милостиво дал свое согласие.

Что касается Мишки Рундукова, то Мишка довольно равнодушно отнесся к жизненной перемене своей сестры и в настоящее время мотался где-то по улицам, сломя голову и высунув язык.

Теперь влюбленные не ходили уже за город. Большей частью они просиживали дома и, болтая до ночи, обсуждали план своей дальнейшей жизни.

И в одну из таких бесед Былинкин принялся с каран-

дашом в руках чертить на бумаге план их будущих комнат, которые будут составлять как бы отдельную, маленькую, но уютную квартирку.

Они, совершенно захлебываясь и споря друг с другом, доказывали, куда лучше поставить кровать, и куда поставить стол, и где расположить туалет.

Былинкин убеждал Лизочку не делать глупостей и не ставить туалетный столик в углу.

— Это абсолютное мещанство,— сказал Былинкин,— ставить туалетный столик в углу. Это каждая барышня ставит этак. В углу гораздо лучше и монументальнее поставить комод и покрыть его легкой кружевной скатертью, которую мамаша, надеюсь, не откажет дать.

— Комод в углу тоже мещанство,— сказала Лизочка, едва не плача.— Да к тому же комод мамашин, и даст ли она его или нет, это еще вопрос и ответ.

— Ерунда, — сказал Былинкин, — как это она не даст? Не держать же нам белье на подоконниках! Явная чушь.

— Ты, Вася, поговори с мамашей,— строго сказала Лизочка.— Поговори просто как с родной матерью. Скажи: дескать, дайте, маменька, комод.

— Ерунда,— сказал Былинкин,— Да, впрочем, я могу и сейчас сходить к старухе, если тебе этого так хочется.

И Былинкин пошел в старухину комнату.

Было уже довольно поздно. Старуха спала.

Былинкин долго раскачивал ее, и та, брыкаясь во сне, никак не хотела вставать и понять, в чем дело.

— Проснитесь же, мамаша,— строго сказал Былинкин.— Ведь можем же мы с Лизочкой рассчитывать на какой-то небольшой комфорт? Ведь не трепаться же белью на подоконниках.

С трудом понимая, что от нее нужно, старуха принялась говорить, что комод этот пятьдесят один год стоит на своем месте, и на пятьдесят втором году она не намерена перетаскивать его в разные стороны и разбрасывать его налево и направо. И что комоды она не сама делает. И что поздно ей на старости лет обучаться столярному ремеслу. Пора бы это понять и не обижать старуху.

Былинкин принялся стыдить мамашу, говоря, что он, побывавший на всех фронтах и дважды обстрелянный тяжелой артиллерией, может же наконец рассчитывать на покойную жизнь.

— Стыдно, мамаша! — сказал Былинкин.— Жалко вам комода! А в гроб вы его не возьмете. Знайте это.

— Не дам комода! — визгливо сказала старуха.— Помру, тогда и берите хоть всю мебель.

— Да, помрете! — сказал Былинкин с негодованием.— Жди!..

Видя, что дело принимает серьезный оборот, старуха принялась плакать и причитать, говоря, что в таком случае пущай невинный ребенок Мишка Рундуков своими устами скажет последнее слово, тем более что он единственный мужской представитель в ихнем рундуковском роду, и комод, по праву, принадлежит ему, а не Лизочке.

Разбуженный Мишка Рундуков крайне не захотел отдавать комода.

— Да-а,— сказал Мишка.— Небось гривенник отвалят, а комод взять хочут. Комоды тоже денег стоят.

Тогда Былинкин, хлопнув дверью, пошел в свою комнату и, горько отчитывая Лизочку, говорил ей, что ему без комода как без рук и что он сам, закаленный борьбой, знает, что такое жизнь, и ни на шаг не отступится от своих идеалов.

Лизочка буквально металась от матери к Былинкину, умоляя их как-нибудь прийти к соглашению и предлагая по временам перетаскивать комод из одной комнаты в другую.

Тогда, попросив Лизочку не метаться, Былинкин предложил ей немедленно лечь спать и набраться сил, с тем чтобы с утра заняться этим роковым вопросом.

Утро ничего хорошего не принесло. Много было сказано со всех сторон горьких и обидных истин.

Разгневанная старуха с отчаянной решимостью сказала, что она видит его, Василия Васильевича Былинкина, вдоль и поперек, и что сегодня он комод от нее требует, а завтра студень из нее сварит и съест с хлебом. Вот это какой человек!

Былинкин кричал, что он подаст в уголовный розыск прошение об аресте старухи за распространение заведомо ложных и порочащих слухов.

Лизочка с тихим криком перебегала от одного к другому, упрашивая их наконец не орать и постараться спокойно разобраться в вопросе.

Тогда старуха сказала, что она вышла из того возраста, когда орут, и что она без оранья скажет всем и каждому, что Былинкин за это время у них обедал три раза и не потрудился даже ради любезности предложить некоторую компенсацию хотя бы за один обед.

Страшно взволнованный, Былинкин язвительно сказал,

что зато он, гуляя с Лизочкой, много раз покупал ей леденцы и пастилу и два раза букеты цветов и тем не менее не предъявляет мамаше никаких счетов.

На что Лизочка, закусив губы, сказала, что пусть он не врет нахально, что никакой пастилы не было, а было лишь монпансье и небольшой букетик фиалок, которым грош цена и которые к тому же на другой день завяли.

Сказав это, Лизочка с плачем вышла из комнаты, предоставив все на волю судьбы.

Былинкин хотел побежать за ней и извиниться за неточные сведения, но, снова связавшись со старухой, назвал ее чертовой мамашей и, плюнув в нее, выбежал из дому.

Былинкин ушел из дому и два дня пропадал неизвестно где. И когда явился, то официальным тоном заявил, что он не считает более возможным пребывание в этом доме.

Через два дня Былинкин переехал на другую квартиру, в дом Овчинниковых. Лизочка демонстративно просидела эти дни в своей комнате.

Автор не знает подробностей переезда и также не знает, какие горькие минуты переживала Лизочка. И переживала ли она их. И сожалел ли обо всем Былинкин, или все сделал с полным сознанием и решимостью.

Автору известно только, что Былинкин, переехав, долгое еще время, правда, уже после своей женитьбы на Марусе Овчинниковой, ходил к Лизочке Рундуковой. И они вдвоем, потрясенные свои несчастьем, сидели рядом, перебрасываясь незначительными словами. Иногда, впрочем, перебирая в своей памяти тот или иной счастливый эпизод и случай из прошлого, говорили о нем с грустной и жалкой улыбкой, сдерживая слезы.

Иногда приходила в комнату мать, и тогда они втроем — оплакивали судьбу.

После Былинкин перестал ходить к Рундуковым. И, встречаясь с Лизочкой на улице, корректно и сдержанно кланялся ей и проходил мимо.

6

Так кончилась эта любовь.

Конечно, в иное время, лет, скажем, через триста, эта любовь так бы не кончилась. Она бы расцвела, дорогой читатель, пышным и необыкновенным цветом.

Но жизнь диктует свои законы.

В заключение повести автор хочет сказать, что, развертывая эту несложную историю любви и несколько увлек-

шись переживаниями героев, автор совершенно упустил из виду соловья, о котором столь загадочно упоминалось в заглавии.

Автор побаивается, что честный читатель или наборщик, или даже отчаянный критик, прочтя эту повесть, невольно расстроится.

— Позвольте,— скажет,— а где же соловей? Что вы, скажет, морочите голову и заманиваете читателя на легкое заглавие?

Было бы, конечно, смешно начинать сначала повесть об этой любви. Автор и не пытается этого сделать. Автор только хочет восполнить кое-какие подробности.

Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловьев, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала:

— Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?

На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно:

— Жрать хочет, оттого и поет.

И только потом, несколько освоившись с психологией барышни, Былинкин отвечал более подробно и туманно. Он предполагал, что птица поет о какой-то будущей распрекрасной жизни.

Автор тоже именно так и думает: о будущей отличной жизни лет, скажем, через триста, а может, даже и меньше. Да, читатель, скорее бы уж наступили эти отличные времена.

Ну, а если и там будет плохо, тогда автор с пустым и холодным сердцем согласится считать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни.

Тогда можно и под трамвай.

1925

Андрей Платонов

ГОРОД ГРАДОВ



(ЗАМЕТКИ КОМАНДИРОВАННОГО)

> **Мое сочинение скучно и терпеливо, как жизнь, из которой оно сделано.**
>
> Ив. Шаронов, писатель конца XIX века.

1



От татарских князей и мурз, в летописях прозванных мордовскими князьями, произошло столбовое градовское дворянство,— все эти князья Енгалычевы, Тенишевы и Кугушевы, которых до сих пор помнит градовское крестьянство.

Градов от Москвы лежит в пятистах верстах, но революция шла сюда пешим шагом. Древлевотчинная Градовская губерния долго не сдавалась ей: лишь в марте 1918 года установилась советская власть в губгороде, а в уездах — к концу осени.

Оно и понятно: в редких пунктах Российской империи было столько черносотенцев, как в Градове. Одних мощей Градов имел трое: Евфимий — ветхопещерник, Петр — женоненавистник и Прохор — византиец; кроме того, здесь находились четыре целебных колодца с соленой водой и две лежащих старушки-прорицательницы, живьем легшие в удобные гробы и кормившиеся там одной сметаной. В голодные годы эти старушки вылезли из гробов и стали мешочницами, а что они святые — все позабыли, до того суетливо жилось тогда.

Проезжий ученый говорил властям, что Градов лежит на приречной террасе, о чем и был издан циркуляр для сведения.

Город орошала речка Жмаевка — так учили детей в школе первой ступени. Но летом на улицах было сухо, и де-

ти не видели, что Жмаевка орошает Градов, и не понимали урока.

Вокруг города жили слободы: исконные градовцы называли слобожан нахальщиками, ибо слобожане бросали пахотное дело и стремились стать служилами-чиновниками, а в междуцарствие свое — пока им должностей не выходило — занимались чинкой сапог, смолокурством, перепродажей ржаного зерна и прочим незнатным занятием. Но в том была подоплека всей жизни Градова: слобожане наседали и отнимали у градовцев хлебные места в учреждениях, а градовцы обижались и отбивались от деревенских охальников. Поэтому три раза в год — на троицу, в николин день и на крещенье — между городом и слободами происходили кулачные бои. Слобожане, кормленные густой пищей, всегда побивали градовцев, исчахших на казенных харчах.

Если подъезжать к Градову не по железной дороге, а по грунту, то въедешь в город незаметно: все будут поля, потом пойдут хаты, сделанные из глины, соломы и плетня, потом предстанут храмы, и уже впоследствии откроется площадь. Посреди площади стоит собор, а против него двухэтажный дом.

— А где же город? — спросит приезжий человек.

— А вот он, город, и есть! — ответит ему извозчик и укажет на тот же двухэтажный дом старинной стройки. На доме том висит вывеска:

«Градовский уисполком».

На краю базарной площади стоят еще несколько домов казенного вечного образца — там тоже необходимые губернии учреждения.

Есть в Градове жилища и поприличней хат. Крыты они железом, на дворе имеют нужники, а с уличной стороны палисадники. У иных есть и садики, где растут вишня и яблоня. Вишня идет в настойку, а яблоко в мочку.

Живут в таких домах служащие люди и хлебные скупщики.

В летние вечера город наполняется плавающим колокольным звоном и трубным дымом поставленных самоваров.

Народ в городе существовал без спешки и не беспокоился о якобы лучшей жизни. Служил с усердием, держа порядок в губернии, но ярости в труде не знал. Торговали по малости, без риска, но прочно сбивая хлеб насущный.

Героев город не имел, безропотно и единогласно принимая резолюции по мировым вопросам.

А может, и были в Градове герои, только их перевела точная законность и надлежащие мероприятия.

Отсюда пошло то, что, сколько ни давали денег этой ветхой, растрепанной бандитами и заросшей лопухами губернии, ничего замечательного не выходило.

В Москве руководители губернии говорили правительству, что хотя нельзя сказать точно, на что истрачены пять миллионов, отпущенные в прошлом году на сельское хозяйство, но толк от этих миллионов должен быть: все-таки деньги истрачены в Градовской губернии, а не в чужом месте и как-нибудь скажутся.

— Может, пройдет десять годов,— говорил председатель Градовского губисполкома,— а у нас рожь начнет расти с оглоблю, а картошка в колесо. Вот тогда и видно будет, куда ушло пять миллионов рублей!

А было дело так. Случился в Градовской губернии голод от засухи. На прокормление крестьян и на особые гидротехнические работы отпустили пять миллионов рублей.

Восемь раз заседал президиум Градовского губисполкома: что делать с этими деньгами? Четыре месяца шло обсуждение серьезного вопроса.

В основу отбора голодающих крестьян от сытых был положен классовый принцип: помощь оказывать только тем крестьянам, у которых нет ни коровы, ни лошади, а наличный скот — не свыше двух овец и двадцати кур, включая петуха; остальным крестьянам, имеющим корову или лошадь, давать хлеб порциями, когда в теле есть научные признаки голода.

Научное определение голода было возложено на ветеринаров и на сельский педагогический персонал. Затем Градовским губисполкомом была детально разработана «Ведомость учета крестьянских хозяйств, на восстановление, укрепление и развитие коих может в некоторой степени повлиять частичный недород некоторых районов губернии».

Сверх натуральной кормежки решено было начать гидротехнические работы. Создана была особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла, так как оказалось: чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего Карла Маркса.

Комиссия решила, что технического персонала на рынке республики нет, и по одному доброму совету приняла, что эти работы надо поручить бывшим солдатам-военнопленным, а также сельским самоучкам, которые даже часы могут чинить, а не только насыпь сделать или яму для воды выкопать. Один член этой приемочной комиссии вслух про-

читал книгу, где говорится, как холоп Микишка сделал аэроплан и летал на нем перед Иваном Грозным,— чем убедил окончательно комиссию в скрытых силах пролетариата и трудового крестьянства. Следовательно, решила комиссия, средства, отпущенные губернии на борьбу с недородом, помогут «выявить, использовать, учесть и в дальнейшем снова использовать внутренние умственные силы пролетариата и беднейших крестьян, тем самым гидротехнические работы в нашей губернии будут иметь косвенный культурный эффект».

Было построено шестьсот плотин и четыреста колодцев. Техников совсем не было, а может, было человека два. Не достояв до осени, плотины были смыты летними легкими дождями, а колодцы почти все стояли сухими.

Кроме того, одна сельскохозяйственная коммуна, под названием «Импорт», начала строить железную дорогу длиною в десять верст. Железная дорога должна соединить «Импорт» с другой коммуной — «Вера, Надежда, Любовь». Денег «Импорт» имел пять тысяч рублей, и даны они были на орошение сада. Но железная дорога осталась недостроенной: коммуна «Вера, Надежда, Любовь» была ликвидирована губернией за свое название, а член правления «Импорта», посланный в Москву купить за двести рублей паровоз, почему-то не вернулся.

Сверх того, на те же казенные деньги десятниками самочинно были построены восемь планеров для почтовой службы и перевозки сена и один вечный двигатель, действующий моченым песком.

2

В Градов Иван Федотович Шмаков ехал с четким заданием — врасти в губернские дела и освежить их здравым смыслом. Шмакову было тридцать пять лет, и славился он совестливостью перед законом и административным инстинктом, за что и был одобрен высоким госорганом и послан на ответственный пост.

Думал Шмаков как раз про то, что было ему известно про Градов. А известно ему было одно, что Градов — оскуделый город и люди живут там настолько бестолково, что даже чернозем травы не родит.

За два часа до Градова Шмаков вышел на попутную станцию и, оглянувшись по сторонам, испуганно и наспех выпил водочки в буфете, зная, что советская власть не любит водки. Особое чувство скуки и беспокойства охватило

Шмакова, когда он шел по мрачным и бесприютным залам вокзала. В третьем классе сидели безработные и ели дешевую мокрую колбасу. Плакали дети, увеличивая чувство тревоги и беспомощной жалости. Уныло гудели маломощные паровозы, готовясь к одолению скучных осенних пространств, полных редкой и убогой жизни.

Проезжие люди жили так, как будто они ехали по чужой планете, а не по отечественной стране; каждый ел укромкой и соседу пищи не давал, но все-таки люди жались друг к другу, ища защиты на страшных путях сообщения.

Шмаков вошел в вагон и закурил. Поезд тронулся. Наспех выскочила баба с яблоками, запутавшись в сдаче пассажиру с гривенника.

Шмаков плюнул, раздражаясь от длительности пути, и сел. За окном проскакивали хижины какого-то городка и не спеша помахивала мельница ветхими крыльями, тяжело меля грубое зерно.

Некий старичок рассказывал соседям хитроумную притчу, и люди смеялись, торопя старика:

— А мордвин што?

— А мордвин богатый человек,— говорил старик,— мордвин угостил русского подобру и честь честью. Только русский говорит мордвину: «Я беден, и когда разбогатею, тогда тебя тоже в гости позову».

— А мордвин ему што?

— А мордвин ждет! Прошел год, еще год, а потом сразу два. Русский все не богатеет, а мордвин все ждет — когда его русский к себе в гости позовет? Четыре года томился мордвин, а потом вспомнил про русского и пошел к нему в гости. Вот приходит в хату...

— К русскому?

— К русскому, то видно по рассказу. Русский схватил шапку с мордвина — то на один гвоздь ее повесит, то на другой, то на третий. «Што ты?» — спрашивает его мордвин. «Места тебе не найду»,— говорит русский. «Почет, значит?» — «Ну, почет, конечно». Сел мордвин за порожний стол и глядит, чего бы ухватить ему из пищи. Глядь, русский кувшин тащит. «Пей»,— говорит. Мордвин ухватился, думал — влага какая, а там вода. Попил мордвин. «Будя»,— говорит. «Пей,— говорит русский,— не обижай, пожалуйста!» Мордвин, конечно, человек уважительный,— пьет. Не успел выпить этого кувшина, хозяйка ведро принесла, а хозяин доливает кувшин и потчует гостя. «Не обидь,— говорит,— угощайся, ради бога!» Выпил мордвин три ведра воды и пошел домой. «Хорошо угостил тебя

русский?» — спрашивает мордвина жена. «Хорошо,— говорит мордвин,— спасибо, что вода была, а от водки я бы помер — три ведра выпил...»

Шмаков задремал от плавного хода поезда и сбился с рассказа старика. Увидев во сне кошмарное видение, что рельсы лежат не на земле, а на диаграмме и означают пунктир, то есть косвенное подчинение, Шмаков пробормотал что-то и проснулся. Старичок исчез, взяв свой мешок с продуктами, а на его месте сидел комсомолец и проповедовал:

— Религия должна караться по закону!

— Это через почему ж такое по закону-то? — злобно допытывался неизвестный человек, ранее рассказывавший о ценах на пшено в Саратове и Раненбурге.

— А вот почему! — говорил парень, равнодушно и старчески улыбаясь и явно жалея собеседников.— Я расскажу все последовательно! Дело ведь просто: солнце начинает нагревать навоз, сначала вонь идет, а потом оттуда трава вырастает. Так и всякая жизнь на земле произошла — очень просто...

— А я у вас извинения попрошу, товарищ коммунист,— робко выговорил все тот же неизвестный человек, что на пшено цену знал,— ежели ты навоз, допустим, на загнетку положишь, а печку затопишь, чтоб тепло и свет шли, то, по-вашему, вырастет трава из навоза аль нет?

— Ну да, вырастет! — ответил знающий парень.— Все равно — что печка, что солнце...

— И на лежанке можно? — хитрил неизвестный человек.

— Ясно, можно! — подтвердил комсомолец.

— А вы вот что нам скажите, гражданин коммунист,— хрипло обратился человек, ехавший в Козлов на мясохладобойню,— правда, что Днепр перегородить хотят и Польшу затопить?

Комсомольский знаток разгорелся и сразу рассказал о Днепрострое все, что известно и неизвестно.

— Сурьезное дело! — дал свое заключение о Днепрострое козловский человек.— Только воду в Днепре не удержать!

— Это почему ж такое? — вступился тут Шмаков.

Козловец сумрачно поглядел на Шмакова: дескать, это еще что за моль тут встряла в разговор?

— А потому,— сказал он,— что вода — дело тяжкое, камень точит и железо скоблит, а советский материал — мягкая вещь!

«Он прав, сволочь! — подумал Шмаков.— У меня тоже

пуговицы от новых штанов оторвались, а в Москве покупал!»

Дальше Шмаков не слушал, заскорбев от дум и недоброкачественности жизни. Поезд гремел на крутом уклоне и скрежетал бессильными тормозами.

Печальный, молчаливый сентябрь стоял в прохладном пустопорожнем поле, где не было теперь никакого промысла. Одно окно в вагоне было открыто, и какие-то пешие люди кричали в поезд:

— Эй, сволочи!

Иногда встречные пастушонки просили:

— Брось газету! — Газета им требовалась на цигарки.

Комсомолец, раздобрев от своей осведомленности, побросал им всю наличную бумагу, и пастушонки ловили ее, не допуская до земли. Но Шмаков своей газеты не дал — в чужом городе всякий клок дорог.

— Градов! Кому до Градова? Первая остановка! — сказал проводник и начал выметать сор.— Насорили, идолы, как в поле! Штрафовать вас надо, да денег у вас нету! Бабка, прими ноги!

Шмаков сошел в Градове, и его охватила некоторая жуть.

«Вот оно, мое поселение»,— подумал Шмаков и оглядывал тихий вокзал и скромных людей, спешащих попасть в вагоны.

Несмотря на то что этот пункт был связан рельсами со всем миром — с Афинами и Апеннинским полуостровом, а также с берегом Тихого океана,— никто туда не ездил: не было надобности. А если б кто поехал, то запутался бы в маршруте: народ тут жил бестолковый.

3

Вселился Шмаков в дом № 46 по Коркиной улице; дом был невелик, и жила в нем одна старушка, караульщица своего недвижимого имущества. Получала она за мужа пенсию одиннадцать рублей двадцать пять копеек в месяц и комнату сдавала за восемь рублей с ее топкой.

Сел за голый стол Иван Федотыч, поглядел на двор, где травы умирали, и ему сделалось скучно. Посидев, Иван Федотыч лег, а полежавши, встал и пошел еды купить.

Еще не закатилось сентябрьское солнце, а Иван Федотыч вернулся в пустоту своего жилища. Старушка вздыхала на кухне от перемены власти и трещала лучинками к самовару.

Иван Федотыч поел колбасы, а затем сел вырабатывать форму своей подписи на будущих бумагах. «Шмаков»,— написал Иван Федотыч. «Нет, не твердо»,— подумал он и вновь написал «Шмаков», но уже более бесхитростно и как бы невзначай копируя по простоте начертания подпись Ленина.

Затем долго раздумывал Иван Федотыч — ставить ему перед своей фамилией «Ив» — Иван или не надо. Наконец решил поставить: могут обознаться и спутать с инородным человеком; хотя фамилия «Шмаков» — достаточно редкостная.

В восемь часов старушка перестала вздыхать и тихо засопела — уснула, стало быть. Потом проснулась и долго бормотала славянские молитвы.

Иван Федотыч задернул занавесочки, понюхал больной цветок на подоконнике и извлек из чемодана кожаную тетрадь. На коже было вырезано перочинным ножом заглавие рукописного труда:

«Записки государственного человека»

Открыв рукопись на сорок девятой странице, Иван Федотыч подчитал конец и, разогнавшись мыслью, начал продолжать:

«...Я тайно веду свой труд. Но когда-нибудь он сделается мировым юридическим сочинением, а именно: я говорю, чиновник и прочее всякое должностное лицо — это ценнейший агент социалистической истории, это живая шпала под рельсами в социализм.

Служение социалистическому отечеству — это новая религия человека, ощущающего в своем сердце чувство революционного долга.

Воистину в 1917 году в России впервые отпраздновал свою победу гармонический разум порядка!

Современная борьба с бюрократией основана отчасти на непонимании вещей.

Бюро есть конторка. А конторский стол суть непременная принадлежность всякого государственного аппарата.

Бюрократия имеет заслуги перед революцией; она склеила расползавшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей.

Бюрократ должен быть раздавлен и выжат из Советского государства, как кислота из лимона. Но не останется ли тогда в лимоне одно ветхое дерьмо, не дающее вкусу никакого достоинства...»

— Гады! — заорал кто-то у окна.— Испотрошу всякую сволочь, всякую баптистскую ересь...

И вдруг голос смилостивился и зазвучал милосердно.

— Друг, скажи по-матерному, по-церковнославянски! Ага, нельзя!.. Эх ты, гниденыш!

Шаги удалились, и пустынно застучал колотушечник, предупреждая грабеж.

Шмаков сначала насторожился, а потом поник в удручении от многочисленности хамства.

Одолев нравственную тревогу, он продолжал:

«Что нам дают вместо бюрократизма? Нам дают — доверие вместо документального порядка, то есть дают хищничество, ахинею и поэзию.

Нет! Нам нужно, чтобы человек стал святым и нравственным, потому что иначе ему деться некуда. Всюду должен быть документ и надлежащий общий порядок.

Бумага лишь символ жизни, но она и тень истины, а не хамская выдумка чиновника.

Бумага, изложенная по существу и надлежаще оформленная, есть продукт высочайшей цивилизации. Она предучитывает порочную породу людей и фактирует их действия в интересах общества.

Более того, бумага приучает людей к социальной нравственности, ибо ничто не может быть скрыто от канцелярии».

Часто бывало, что мысль Ивана Федотыча увлекалась сторонними соображениями во вред пользе. Вот и сейчас, пренебрегая временем, он задумался о сравнительной административной силе предуика и исправника. Затем он подумал о воде земного шара и решил, что лучше спустить все океаны и реки в подземные недра, чтобы была сухая территория. Тогда не будет беспокойства от дождей, а народ можно расселить просторнее. Воду будут сосать из глубины насосы, облака исчезнут, а в небе станет вечно гореть солнце, как видимый административный центр.

«Самый худший враг порядка и гармонии,— думал Шмаков,— это природа. Всегда в ней что-нибудь случается...

А что, если учредить для природы судебную власть и карать ее за бесчинство? Например, драть растения за недород. Конечно, не просто пороть, а как-нибудь похитрее — химически, так сказать!

Не согласятся,— вздохнул Шмаков,— беззаконники везде сидят!»

Потом он очнулся и продолжал работать:

«И как идеал зиждется перед моим истомленным взором то общество, где деловая официальная бумага проела и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными. Ибо бумага и отношение следовали за поступками людей неотступно, грозили им законными карами, и нравственность сделалась их привычкой.

Канцелярия является главной силой, преобразующей мир порочных стихий в мир закона и благородства.

Подумать надо над этим — и крепко подумать. Я кончаю сегодняшнюю очередную запись, чтобы крепко подумать о бюрократии».

Тут Иван Федотыч встал и действительно задумался.

Так думал он о бюрократии долго, пока его не перебил собачий лай на ночной улице, и тогда он уснул, зря не потушив лампы.

На другой день Шмаков явился на службу — в губернское земельное управление, куда он назначен был заведовать подотделом.

Явившись, он молча сел и начал листовать разумные бумаги. Сослуживцы дико смотрели на новое молчаливое начальство и, вздыхая, не спеша чертили какие-то длинные скрижали.

Иван Федотыч постепенно входил в самое средоточие дел, но сразу усмотрел ущерб стройности и делопроизводственной логике.

Вечером, лежа на кровати, он раздумывал о своей новой службе. Круг обязанностей каждого сотрудника очерчен недостаточно четко, служащие суетятся с малой пользой, в бумагах запор смысла и скользкая бесплановая логика, в толчее и подотдельной тесноте сотрудники утратили самую цель своих трудов и исторический смысл своей службы.

Поев вчерашней колбасы, Шмаков сел писать доклад начальнику земуправления.

«О соподчинении служащих внутри вверенного мне подотдела в целях рационализации руководимой мною области сельскохозяйственных мероприятий».

Трактат свой Иван Федотыч кончил поздней ночью — за полночь.

Утром хозяйка сжалилась над одиноким человеком и дала Ивану Федотычу бесплатно чай. Ночью она слышала, как у спящего Шмакова рычала и резко трескалась сухая жирная пища в животе.

Иван Федотыч принял чай без всякого одобрения и без

интереса прослушал хозяйкин рассказ об их глухой стороне.

Оказалось, что в ближних к Градову деревнях — не говоря про дальние, что в лесистой стороне,— до сей поры весной в новолунье и в первый гром купались в реках и озерах, умывались с серебра, лили воск, окуривали от болезней скот и насвистывали ветер.

«Холуйство! — подумал Иван Федотыч, послушав старуху.— Только живая сила государства — служилый, должный народ способен упорядочить это мракобесие».

Идя на службу, Иван Федотыч чувствовал легкость желудка от горячего чая старухи и покой мысли от убежденности в благотворном государственном начале.

На службе Ивану Федотычу дали дело о наделении землей потомков некоей Алены, которая была предводительницей мятежных отрядов Поценского края в XVIII столетии и которую сожгли за чародейные дела в срубе в г. Кадоме.

«Ездили они, отцы наши, воровские казаки,— читал в деле Шмаков,— по уездам, рубили помещиков и вотчинников, за которыми были крестьяне, а черных людей, крестьян и боярских людей и иных служилых людей никого не рубили и не грабили».

Дело о землеустройстве потомков Алены тянулось уже пятый год. Теперь пришла новая бумага от них с резолюцией начальника учреждения:

«Тов. Шмакову. Реши это дело, пожалуйста, окончательно. Пятый год идет волокита о семи десятинах. Доложи мне срочно по сему».

Шмаков исчитал все дело и нашел, что это дело можно решить трояко, о чем и написал особую докладную записку начальнику учреждения, не предрешая вопроса, а ставя его на усмотрение вышестоящих инстанций. В конце записки он вставил собственное изречение, что волокита есть умственное коллективное вырабатывание социальной истины, а не порок. Управившись с Аленой, Шмаков углубился в поселок Гора-Горушку, который жил на песках, а на лучшие земли не выходил. Оказалось, что поселок жил тихим хищничеством с железной дороги, которая проходила в двух верстах. Поселку давали и деньги и агрономов, а он сидел на песке и жил неведомо чем.

Шмаков написал на этом деле резолюцию:

«Гору-Горушку считать вольным поселением, по примеру немецкого города Гамбурга, а жителей — транспортными хищниками; земли же надлежит у них изъять и передать в трудовое пользование».

Далее попалось заявление жителей хутора Девьи Дубравы о необходимости присылки им аэроплана для подгонки туч в сухое летнее время. К заявлению прилагалась вырезка из газеты «Градовские известия», которая обнадежила девьедубравцев.

«Пролетарский Илья Пророк.

Ленинградский советский ученый профессор Мартенсен изобрел аэропланы, самопроизвольно льющие дождь на землю и делающие над пашней облака. Будущим летом предположено испытать эти аэропланы в крестьянских условиях. Аэропланы действуют посредством наэлектризованного песка».

Изучив все тексты сего дела, Шмаков положил свое заключение:

«Ввиду сыпящегося из аэроплана песка, чем уменьшается добротность пахотных почв, признать отпуск аэроплана хутору Девьи Дубравы пока преждевременным, о чем и уведомить просителей».

Остаток трудового дня Шмаков истратил целиком и полностью на заполнение форм учета учетной работы, наслаждаясь графами и терминами государственного точного языка.

На пятый день службы Шмаков познакомился с заведующим административно-финансовым отделом земельного управления Степаном Ермиловичем Бормотовым.

Бормотов принял Шмакова спокойно, как чуждое интересам дела явление.

— Товарищ Бормотов,— обратился Шмаков,— у нас дело стоит: вы почту приказали отправлять два раза в месяц оказиями.

Бормотов молчал и подписывал ассигновки.

— Товарищ Бормотов,— повторил Иван Федотыч,— у меня тут срочные бумажки, а отправлять почту будут через неделю чохом...

Бормотов нажал кнопку звонка, не глядя на Шмакова.

Вошел испуганный пожилой человек и прищурился на Бормотова с почтительным и усиленным вниманием.

— Отнеси это в ремесленную управу,— сказал Бормотов человеку.— Да позови мне какую-нибудь балерину из переписчиц.

Человек не осмелился ничего сказать и ушел.

Вошла машинистка.

— Соня,— сказал ей Бормотов, не взирая на нее, а узнав по запаху и иным косвенным признакам.— Соня! Ты оперплан не переписала еще?

— Переписала, Степан Ермилыч! — ответила Соня.— Это операционный план? Ах, нет, не переписала!

— Ну вот, ты спроси сначала, а потом отвечай, а то — переписала!

— Вы про операционный спрашиваете, Степан Ермилыч?

— Ну да, не про опереточный! Оперплан и есть оперплан!

— Ах, я его сейчас только вдела в машинку!

— Вдела и держи там! — ответил Степан Ермилыч.

Тут Бормотов кончил подписывать ассигновки и заметил Шмакова.

Бормотов прослушал и ответил:

— А как же в Вавилоне акведуки строили? Хорошо ведь строили? Хорошо! Прочно? Прочно! А почта ведь там раз в полгода отправлялась, и не чаще! Что теперь мне скажешь? — Бормотов знающе улыбнулся и принялся подписывать подтверждения и напоминания.

Шмаков сразу утих от такого резона Бормотова и недоуменно вышел. По дороге он дышал воздухом старой деловой бумаги и думал о том, что значит ремесленная управа, которую упомянул Бормотов. Думал Шмаков и еще кое о чем, но о чем — неизвестно.

В дверях административно-финансового отдела спорили два человека. Каждый из них был особенный: один утлый, истощенный и несчастный, пьющий водку после получки, другой — полный благотворности жизни от сытой пищи и внутреннего порядка. Первый, тощий, свирепо убеждал второго, что это глина, держа в руке какой-то комочек. Другой, напротив, стоял за то, что это песчаный грунт, и удовлетворялся этим.

— А почему? Ну почему песок? — пытал его тощий.

— А потому, что сыплется,— резонно говорил тот, что поспокойнее.— Потому, что мукой пылит. Ты дунь!

Тощий дунул — и что-то вышло.

— Ну? — спросил утлый человек.

— Что — ну? — сказал плотный.— Сыплется — значит, песок!

— А ты плюнь,— догадался тощий.

Его недруг взял в свои руки комок неведомого грунта и смачно харкнул, уверенный в неразмочимой природе песка.

— Ну? — торжественно возгласил тощий.— Помни теперь!

Тот помял и сразу согласился, чтобы не рушить равновесия чувств.

— Глина! Мажется. Дребедень!..

Шмаков прослушал беседу друзей и, достигнув своего стола, сейчас же сел писать доклад начальнику управления — «О необходимости усиления внутренней дисциплины во вверенном Вам управлении, дабы пресечь неявный саботаж».

Но вскоре саботаж явился перед Шмаковым как узаконенное явление. Во вверенном Шмакову подотделе сидело сорок два человека, а работы было на пятерых; тогда Шмаков, испугавшись, донес рапортом кому следовало о необходимости сократить штат на тридцать семь единиц.

Но его вызвали сейчас же в местком и там заявили, что это недопустимо — профсоюз не позволит самодурствовать.

— А чего ж они будут делать? — спросил Шмаков,— им дела у нас нет!

— А пускай копаются,— сказал профсоюзник,— дай им старые архивы листовать, тебе-то што?

— А зачем их листовать? — допытывался Шмаков.

— А чтоб для истории материал в систематическом порядке лежал! — пояснил профработник.

— Верно ведь! — согласился Шмаков и успокоился, но все же донес по начальству, чтобы на душе покойнее было.

— Эх ты, жамка! — сказал впоследствии Шмакову его начальник,— профтрепача послушал — ты работай, как гепеус, вот где умные люди!

Раз подходит к Шмакову секретарь управления и угощает его рассыпными папиросами.

— Покушайте, Иван Федотович! Новые: пять копеек сорок штук — градовского производства. Под названием «Красный Инок»,— вот на мундштучке значится — инвалиды делают!

Шмаков взял папиросу, хотя почти не курил из экономии, только дарственным табаком баловался.

Секретарь приник к Шмакову и прошептал вопрос:

— Вот вы из Москвы, Иван Федотович! Правда, что туда сорок вагонов в день мацы приходит, и то будто не хватает? Нюжли верно?

— Нет, Гаврил Гаврилович,— успокоил его Шмаков,— должно быть, меньше. Маца не питательна — еврей любит жирную пищу, а мацу он в наказанье ест.

— Вот именно, я ж и говорю, Иван Федотович, а они не верят!

— Кто не верит?

— Да никто: ни Степан Ермилович, ни Петр Петрович, ни Алексей Палыч — никто не верит!

4

А меж тем сквозь время настигла Градов печальная мягкая зима. Сослуживцы сходились по вечерам пить чай, но беседы их не отходили от обсуждения служебных обязанностей: даже на частной квартире, вдали от начальства, они чувствовали себя служащими государства и обсуждали казенные дела. Попав раз на такой чай, Иван Федотыч с удовольствием установил непрерывный и сердечный интерес к делопроизводству у всех сотрудников земельного управления.

Желчь дешевого табака, шелест бумаги, запечатлевшей истину, покойный ход очередных дел, шествующих в общем порядке,— эти явления заменяли сослуживцам воздух природы.

Канцелярия стала их милым ландшафтом. Серый покой тихой комнаты, наполненной умственными тружениками, был для них уютней девственной натуры. За огорожами стен они чувствовали себя в безопасности от диких стихий неупорядоченного мира и, множа писчие документы, сознавали, что множат порядок и гармонию в нелепом, неудостоверенном мире.

Ни солнца, ни любви, ни иного порочного явления они не признавали, предпочитая письменные факты. Кроме того, ни любовь, ни учет деятельности солнца — в прямой круг делопроизводства не входили.

Однажды в темный вечер, когда капала неурочная вода — был уже декабрь — и хлопал мокрый снег, по улицам Градова спешил возбужденный Шмаков.

Предназначалась сегодня пирушка — по три рубля с души — в честь двадцатипятилетия службы Бормотова в госорганах.

Шмаков кипел благородством невысказанных открытий. Он хотел выступить перед Бормотовым и прочими на свою сокровенную тему «Советизация как начало гармонизации вселенной». Именно так он хотел переименовать свои «Записки государственного человека».

Градов еще не спал, потому что шел восьмой час вечера. Злились от скуки собаки на каждом дворе. Замечательно — потому что он был один — горел вдалеке электрический фонарь. Небо было так низко, тьма так густа, а город столь тих, невелик и явно благонравен,— что почти не име-

лось никакой природы на первый взгляд, да и нужды в ней не было.

Проходя мимо пожарной каланчи, Шмаков слышал, как вздыхал наверху одинокий пожарный, томясь созерцанием.

«А все-таки он не спит,— с удовольствием гражданина подумал Иван Федотыч,— значит, долг есть! Хотя пожаров тут быть не может: все люди осторожны и порядочны!»

На вечер, в условный дом вдовы Жамовой, сдавшей помещение за два рубля, Шмаков пришел первым. Вдова его встретила без приветливости, как будто Шмаков был самый голодный и пришел захватить еду.

Иван Федотыч сел и затих. Отношений к людям, кроме служебных, он не знал. Если бы он женился, его жена стала бы несчастным человеком. Но Шмаков уклонялся от брака и не усложнял историю потомством. Шмаков не чувствовал в женщинах никакой прелести, как настоящий мыслитель, в котором циркулирует голый долг. Воли в себе он не знал, ощущая лишь повиновение — радостное, как сладострастие; он любил служебное дело настолько, что дорожил даже крошками неизвестного происхождения, затерянными в ящиках своего письменного стола, как неким царством покорности и тщетности.

Вторым явился Степан Ермилович Бормотов. Он держался не как именинник, а как распорядитель.

— Марфуша,— обратился он к Жамовой,— ты бы половичок в передней постелила! Ноги могут быть нечисты, калоши людям не по бюджету, а у тебя все-таки горница, а не кабак!

— Сейчас, Степан Ермилыч, сейчас постелю! А вы проходите — я вам престольное место приготовила. Выше вас чина ведь не будет!

— Да не должно быть, Марфа Егоровна, не должно! — И Степан Ермилович сел в лучшее кресло старинного устройства.

Чуя, что Степан Ермилович уже на месте, быстро стали подходить другие гости.

Пришли четыре делопроизводителя, три счетовода, два заведующих личными столами, два бухгалтера, три заведующих подотделами, машинистка Соня и заведующий местной черепичной мастерской — старинный приятель Бормотова по земской службе — гражданин Родных. Этими людьми мир Бормотова замкнулся в своих горизонтах и плановых перспективах, и началось чаепитие.

Чай пили молча и с удовольствием, разогревая им настроение. Марфа Жамова стояла за спиной Бормотова и

меняла ему пустые стаканы, сластя чай желтым экономическим песком, купленным в кооперативе как брак.

Степан Ермилович Бормотов сидел с сознанием чести. Почтительный разговор не выходил из круга служебных тем. Поминались лихие случаи задержки распоряжений губисполкома — и в голове говорившего чувствовался страх и скрытая радость избавления от ответственности.

Выплыло событие об исчезновении Градовской губернии. Центр вдруг перестал присылать циркуляры. Тогда Бормотов добровольно поехал дешевым поездом в Москву выяснить положение. Денег ему дали мало — не пришли из Москвы кредиты, а отпустили пышек из инвалидной пекарни и выписали удостоверение о командировке. В Москве Бормотов узнал, что Градов хотят передать в область и в областной же город передали поэтому все градовские кредиты.

А областной город отказывался от Градова.

— Город не пролетарский,— говорят,— на черт он нам сдался!

Так и повис Градов без государственного причалу. После своего возвращения Бормотов собрал на своей квартире старожилов и хотел объявить в Градовской губернии автономную национальную республику, потому что в губернии жили пятьсот татар и штук сто евреев.

— Не республика мне была нужна,— объяснял Бормотов,— я не нацменьшой, а непрерывное государственное начало и сохранение преемственности в делопроизводстве.

Шмаков тлел возбуждением и шумел переполненным сердцем, но молчал до поры и тер свои писцовые руки.

Много еще случаев помянули присутствующие. История текла над их головами, а они сидели в родном городе, прижукнувшись, и наблюдали, усмехаясь, за тем, что течет. Усмехались они потому, что были уверены, что то, что течет, потечет-потечет и — остановится. Еще давно Бормотов сказал, что в мире не только все течет, но и все останавливается. И тогда, быть может, вновь зазвонят колокола. Бормотов, как считающий себя советским человеком, да и другие не желали, конечно, звона колоколов, но для порядка и внушения массам единого идеологического начала и колокола не плохи. А звон в государственной глуши, несомненно, хорош, хотя бы с поэтической точки зрения, ибо в хорошем государстве и поэзия лежит на предназначенном ей месте, а не поет бесполезные песни.

Незаметно чай кончился, самовар заглох. Марфа осунулась и села в уголок, устав угождать. Тогда за чай заступилась русская горькая.

— Вот, граждане,— сказал счетовод Смачнев,— я откровенно скажу, что одно у меня угощенье — водка!.. Ничто меня не берет — ни музыка, ни пение, ни вера,— а водка меня берет! Значит, душа у меня такая твердая, только ядовитое вещество она одобряет... Ничего духовного я не признаю, то — буржуазный обман...

Смачнев, несомненно, был пессимист и, в общем и целом, перегнул палку.

Но действительно, что только водка разморозила сознание присутствующих и дала теплую энергию их сердцам.

Первым, по положению, встал Бормотов.

— Граждане! Служил я в разных местах. Я пережил восемнадцать председателей губисполкома, двадцать шесть секретарей и двенадцать начальников земуправлений. Одних управделами ГИКа при мне сменилось десять человек! А чиновников особых поручений,— как их, личных секретарей, председателей,— целых тридцать штук прошло... Я страдалец, друзья, душа моя горька, и ничто ее не растрогает... Всю жизнь я спасал Градовскую губернию. Один председатель хотел превратить сухую территорию губернии в море, а хлебопашцев в рыбаков. Другой задумал пробить глубокую дырку в земле, чтобы оттуда жидкое золото наружу вылилось, и техника заставлял меня сыскать для такого дела. А третий все автомобили покупал, для того чтобы подходящую систему для губернии навеки установить. Видали, что значит служба? И я должен всему благожелательно улыбаться, терзая свой здравый смысл, а также истребляя порядок, установленный существом дела! И более того — ремесленная управа, то есть губпрофсовет, однажды исключила меня из союза рабземлеса за то, что я назвал членские взносы налогом в пользу служащих профессиональных союзов. Но, однако, членом союза я остался — иначе и быть не могло! Ремесленной управе невыгодно лишаться плательщика налога, а об остальном постаралось мое начальство — без меня ему бы делать нечего было!

Бормотов хлебнул пивца для голоса, оглядел подведомственное собрание и спросил:

— А? Не слышу?

Собрание молчало, истребляя корм.

— Ваня! — обратился Бормотов к человеку, мешавшему пиво с водкой.— Ваня! Закрой, дружок, форточку! Время еще раннее, всякий народ мимо шляется... Так вот, я и говорю, что такое губком? А я вам скажу: секретарь — это архиерей, а губком — епархия! Верно ведь? И епархия

мудрая и серьезная, потому что религия пошла новая и посерьезней православной. Теперь на собрание — ко всенощной — попробуй не сходи! Давайте, скажут, ваш билетик, мы отметочку там сделаем! Отмето́чки четыре будет, тебя в язычники зачислят. А язычник у нас хлеба не найдет! Так-то! А я про себя скажу: кто в епархии делопроизводство поставил? Я! Кто контрольную палату — РКИ, скажем, или казначейство — губфо наше — на ноги поставил и людей там делом занял? Кто? А кто всякие карточки, НОТы и прочую антисанитарию истребил в канцеляриях? Ну, кто?..

— Без Бормотова, друзья,— сказал Степан Ермилович со слезами на глазах,— не было бы в Градове учреждений и канцелярий, не уцелела бы советская власть и не сохранилось бы деловой родственности от старого времени, без чего нельзя нам жить! Я первый, кто сел за стол и взял казенную вставочку, не сказав ни одной речи.

Бормотов умиленно подождал и закончил веско:

— Вот, милые мои, где держится центр власти и милость разума! Мне бы царем быть на всемирной территории, а не заведовать охраной материнства и младенчества своих машинисток или опекать лень деловодов!..

Тут Бормотов захлестнулся своими словами и сел, уставившись в пищу на столе. Собрание шумело одобрением и питалось колбасой, сдерживая ею стихию благородных чувств. Водка расходовалась медленно и планомерно, в круговую и в общем порядке, оттого и настроение участников ползло вверх не скачками, а прочно, по гармонической кривой, как на диаграмме.

Наконец встал счетовод Пехов и спел, поверх разговоров, песнь о диком кургане. Счетоводство — нация артистов, и нет ни одного счетовода или бухгалтера, который бы не смотрел на свою профессию как на временное и бросовое дело, почитая своим исконным призванием искусство — пение, а изредка — скрипку или гитару. Менее благородный инструмент счетоводы не терпели.

За Пеховым, так же молча и без предупреждения, встал бухгалтер Десущий и пропел какой-то отрывок из какой-то оперы, какой — никто не понял. Десущий славился своей корректностью и культурностью в областях искусства и полным запустением своих бухгалтерских дел.

Наконец, приподнялся и постучал вилкой о необходимости молчания заведующий подотделом землеустройства Рванников.

— Любимые братья в революции! — начал раздобревший от горькой Рванников.— Что привело вас сюда, не ща-

дя ночи? Что собрало нас, не сожалея симпатий? Он — Степан Ермилович Бормотов — слава и административный мозг нашего учреждения, революционный наставник порядка и государственности великой неземлеустроенной территории нашей губернии!

И пусть он не кивает там мудрой головой, а пьет рябиновую златыми устами, если я скажу, что нет ему равных среди людского остальца после революции! Вот действительно человек дореволюционного качества!

— Граждане советские служащие! — проревел в заключение Рванников.— Приглашаю вас выпить за двадцатипятилетие Степана Ермиловича Бормотова, истинного зиждителя территории нашей губернии, еще подлежащей быть устроенной такими людьми, как наш славный и премудрый юбиляр!..

Все вскочили с места и пошли с рюмками к Бормотову.

Плача и торжествуя, Бормотов всех перецеловал — этого момента он только и ждал весь вечер, сладко томя честолюбие.

Тогда не выдержал Шмаков и, встав на стул, произнес животрепещущую речь — длинную цитату из своих «Записок государственного человека»:

— Граждане! Разрешите поговорить на злобу дня!

— Разрешаем! — сказало коллективно собрание.— Говори, Шмаков! Только режь экономию: кратко и не голословно, а по кровному существу!

— Граждане,— обнаглел Шмаков,— сейчас идет так называемая война с бюрократами. А кто такой Степан Ермилович Бормотов? Бюрократ или нет? Бюрократ положительно! И да будет то ему в честь, а не в хулу или осуждение! Без бюрократии, уважаемые ратники государства, не удержаться бы Советскому государству и часа — к этому я дошел долгою мыслью... Кроме того... (Шмаков начал путаться, голова его сразу вся выпотрошилась — куда что девалось?) Кроме того, дорогие соратники...

— Мы не ратники,— прогудел кто-то,— мы рыцари!

— Рыцари умственного поля! — схватил лозунг Шмаков.— Я вам сейчас открою тайну нашего века!

— Ну-ну! — одобрило собрание.— Открой его, черта!

— А вот сейчас,— обрадовался Шмаков.— Кто мы такие? Мы за-ме-сти-те-ли пролетариев! Стало быть, к примеру, я есть заместитель революционера и хозяина! Чувствуете мудрость? Все замещено! Все стало подложным! Все не настоящее, а суррогат! Были сливки, а стал

маргарин: вкусен, а не питателен! Чувствуете, граждане?.. Поэтому-то так называемый, всеми злоумышленниками и глупцами поносимый бюрократ есть как раз зодчий грядущего членораздельного социалистического мира.

Шмаков сел и достойно выпил пива — среднего непорочного напитка; высшей крепости он не пил.

Но тут встал Обрубаев... Его заело; он озлобился и приготовился быть на посту. Пост его был видный — кандидат ВКП; но такое состояние Обрубаева службе не помогало, он был и остался делопроизводителем с окладом в двадцать восемь рублей ежемесячно, по шестому разряду тарифной сетки при соотношении 1:8.

— Уважаемые товарищи и сослуживцы! — сказал Обрубаев, доев что-то.— Я не понимаю ни товарища Бормотова, ни товарища Шмакова! Каким образом это допустимо! Налицо определенная директива ЦКК — борьба с бюрократизмом. Налицо — наименования советских учреждений девятилетней давности. А тут говорят, что бюрократ — как его? — зодчий и вроде кормилец. Тут говорят, что губком — епархия, что губпрофсовет — ремесленная управа и так и далее. Что это такое? Это перегиб палки, констатирую я. Это затмение основной директивы по линии партии, данной всерьез и надолго. И вообще в целом я высказываю свое особое мнение по затронутым предыдущими ораторами вопросам, а также осуждаю товарищей Шмакова и Бормотова. Я кончил.

— Закон-с, товарищ Обрубаев! — сказал тихо, вразумляюще, но сочувственно Бормотов.— Закон-с! Уничтожьте бюрократизм — станет беззаконие! Бюрократизм есть исполнение предписаний закона. Ничего не поделаешь, товарищ Обрубаев, закон-с!

— А если я губкому сообщу, товарищ Бормотов, или в РКИ? — мрачно сказал Обрубаев, закуривая для демонстрации папиросу «Пушку».

— А где у вас документики, товарищ Обрубаев? — спросил Бормотов.— Разве кто вел протокол настоящего собрания? Вы ведь, Соня, ничего не записывали? — обратился Бормотов к единственной здесь машинистке, особо чтимой в земуправлении.

— Нет, Степан Ермилыч,— я не записывала; вы ничего не сказали мне, а то бы я записала,— ответила хмельная, блаженная Соня.

— Вот-с, товарищ Обрубаев,— мудро и спокойно улыбнулся Бормотов.— Нет документа, и нет, стало быть, самого факта! А вы говорите — борьба с бюрократизмом! А был бы

протокольчик, вы бы нас укатали в какую-нибудь гепею или рекаю! Закон-с, товарищ Обрубаев, закон-с!

— А живые свидетели! — воскликнул зачумленный Обрубаев.

— Свидетели пьяные, товарищ Обрубаев. Во-первых, а во-вторых, они, так сказать, масса, существа наших разногласий не поняли и понять не могли, и дело мое наверняка пойдет к прекращению. А в-третьих, товарищ Обрубаев, выносит ли дисциплинированный партиец внутрипартийные разногласия на обсуждение широкой массы, к тому же мелкобуржуазной,— попытаю я вам? А?! Выпьем, товарищ Обрубаев, там видно будет... Соня, ты не спишь там? Угощай товарища Обрубаева, займись чистописанием... Десущий, крякни что-нибудь подушевней.

Десущий сладко запел, круто выводя густые ноты странной песни, в которой говорилось о страдальце, жаждущем только арфы золотой. Затем делопроизводитель Мышаев взял балалайку; я, говорит, хоть и кустарь в искусстве, но побрякаю! И он быстро залепетал пальцами, выбивая лихой такт веселящегося тела.

Бормотов прикинулся благодушным человеком, сощурил противоречивые утомленные глаза и, истощенный повседневной дипломатической работой, вдарился бессмысленно плясать, насилуя свои мученические ноги и веселя равнодушное сердце.

Шмакову стало жаль его, жаль тружеников на ниве всемирной государственности, и он заплакал навзрыд, уткнувшись во что-то соленое.

5

А утром Градов горел; сгорели пять домов и одна пекарня. Загорелось, как говорят, с пекарни, но пекарь уверял, что он окурки всегда бросает в тесто, а не на пол, тесто же не горит, а шипит и гасит огонь. Жители поверили, и пекарь остался печь хлебы.

Далее жизнь шла в общем порядке и согласно постановлениям Градовского губисполкома, которые испуганно изучались гражданами. В отрывных календарях граждане метили свои беспрерывные обязанности. Со сладостью в душе установил это Шмаков в бытность на именинах у одного столоначальника, по прозвищу Чалый.

В листках календаря значилось что-нибудь почти ежедневно, а именно:

«Явиться на переучет в терокруг — моя буква Ч, подать на службе рапорт о неявке по законной причине».

«В 7 часов перевыборы горсовета — кандидат Махин, выдвинут ячейкой, голосовать единогласно».

«Сходить в ком. отд.— отнести деньги за воду, последний срок, а то пеня́».

«Подать сведения горсанкомиссии о состоянии двора,— штраф, см. постановление НИК».

«Собрание жилтоварищества о забронировании сарая под нужник».

«Протестовать против Чемберлена,— в случае чего стать, как один, под ружье».

«Зайти вечером постоять в красном уголке, а то сочтут отступником».

«Именины супруги сочетать с режимом экономии и производственным эффектом. Пригласить наш малый совнарком».

«Узнать у Марфы Ильиничны, как варить малиновый узвар».

«Справиться в загсе, как переменить прозвище Чалый на официальную фамилию Благовещенский, а также имя Фрол на Теодор».

«Переморить клопов и проверить лицевой счет жены».

«Суббота — открыто заявить столоначальнику, что иду ко всенощной, в бога не верю, а хожу из-за хора, а была бы у нас приличная опера, ни за что не пошел бы».

«Попросить у сослуживцев лампадного масла. Нигде нет, и все вышло. Будто для смазки будильника».

«Отложить 366-ю бутылку для вишневой настойки. Этот год високосный».

«Сушить сухари впрок — весной будет с кем-то война».

«Не забыть составить 25-летний перспективный план народного хозяйства — осталось 2 дня». Каждый день был занят.

Не в первый раз и не во второй, а в более многократный констатировал Шмаков то знаменательное явление, что времени у человека для так называемой личной жизни не остается — она заменилась государственной и общеполезной деятельностью. Государство стало душою. А то и надобно, в том и сокрыто благородство и величие нашей переходной эпохи!

— А как, товарищ Чалый, существует в вашей губернии точный план строительства?

— Как же-с, как же-с! В десятилетний план сто элеваторов включено: по десяти в год будем строить, затем-с двадцать штук мясохладобоен и пятнадцать фабрик валяной обуви... А сверх того, водяной канал в земле до

Каспийского моря рыть будем, чтобы персидским купцам повадно стало торговать с градовскими госорганами.

— Вот оно как! — дал заключение Шмаков.— Курс значительный! Ну, а денег сколько же вам потребно на эти солидные мероприятия?

— Денег надо множество,— сообщил Чалый второстепенным тоном.— Того не менее, как миллиарда три, сиречь — по триста миллионов в год.

— Ого,— сказал Шмаков,— сумма почтительная! А кто же даст вам эти деньги?

— Главное — план! — ответил Чалый.— А уж по плану деньги дадут...

— Это верно! — согласился Шмаков.

Вопрос получил надлежащее уточнение.

6

И жил Шмаков в Градове уже без малого год. Жизнь для него выдалась подходящая: все шло в общем порядке и по закону.

Лицо его было беззаботным, пожилым и равнодушным, как у актера в забвенной игре. Труд его жизни — «Записки государственного человека» — подбивался к концу. Шмаков обдумывал лишь заключительные аккорды его.

Как и всюду по республике, над Градовом ночью солнце не светило, зато отсвечивало на чужих звездах.

Прогуливаясь для укрепления здоровья и поглядывая на них, Шмаков нашел однажды заключительный аккорд для своего труда:

«В сердце моем дышит орел, а в голове сияет звезда гармонии».

Придя домой и завершив рукописный труд, Шмаков до раннего утра сидел за ним, увлекшись чтением своего сочинения.

«...Стоит ли,— читал он середину,— измышлять изобретения, раз мир диалектичен, сиречь для всякого героя есть своя стерва. Не стоит!

И тому пример: в Градове пять лет тому назад, и двадцать лет обратно, было всего две пишущие машинки (обе системы «Ройяль», то есть король), а теперь их близко сорока штук, не обращая внимания на системы.

Но увеличился ли от этого социальный прок? Нисколько! А именно: сидели ранее писцы за бумагой, снабженные гусиными перьями, и писали. Затупится перо или засквозится от переусердия, писец его начинает зачини-

вать; сам зачинивает, а сам на часы смотрит,— глядь, время уже истекло, и пора идти в собственный деревянный домик, где его ждала как-никак пища и уют порядка, высшим образом обеспеченный государственным строем.

И ничего не нарушалось от течения дел рукописным порядком. Ничто не спешило, а все поспевало.

А теперь что? Барышне попудриться не успеть, как втыкают ей новое черновое произведение...

Да и то видно, как появляется человек, так и бумага около него заводится, и не малая грудка. А что, если лишнего человека не заводить! Может, и бумаге завестись будет неоткуда?..»

Тут Иван Федотыч вздохнул и задумался.

«Не пора ли ему отправиться в глухой скит, чтобы дальше не скорбеть над болящим миром? Но так будет бессовестно.

Хотя оправданием такого поступка может послужить то, что мир официально никем не учрежден и, стало быть, юридически не существует. А если бы и был учрежден и имел устав и удостоверение, то и этим документам верить нельзя, так как они выдаются на основании заявления, а заявление подписывается «подателем сего», а какая может быть вера последнему? Кто удостоверит самого «подателя», прежде чем он подаст заявление о себе?»

Почувствовав изжогу в желудке и отчаяние в сердце, Иван Федотыч сходил на кухню попить водицы и посмотреть, кто там пищит все время.

Возвратившись, он снова принялся за чтение, трепеща всеми чувствами.

«...Возьмем соподчиненный мне подотдел. Что там есть?

Я за ошибки подчиненных не упрекаю, а лишь вывожу из них следствие, что, значит, дело идет. А когда мне заявили, что построенные под моим руководством водоудержательные плотины почти все вровень с землей уничтожены, я ответил, что постройка их, следовательно, велась.

А никакая земля воды не держит, тому доказательство — явление оврагов...»

После этого Шмаков успокоился и уснул с легким сердцем и удовлетворенным умом.

Но известно ли что-нибудь достоверно на свете? Оформлены ли надлежаще все факты природы? Того документально нет! Не есть ли сам закон или другое присутственное установление — нарушение живого тела вселенной, трепещущей в своих противоречиях и так достигающей всецелой гармонии?

Эта преступная мысль, собственно, разбудила Ивана Федотовича.

Оказалось, что стояло раннее счастливое утро. В Градове топились печки, разогревая вчерашний ужин на завтрак. Хозяйки шли за теплым хлебом для мужей, резаки в пекарнях его резали и метрически взвешивали, мудря на граммах: никто из них не верил, что грамм лучше фунта, знали только, что он легче.

Кроме того, чувствовалось счастье, что новый день уподобится вчерашнему и оттого терзаний жизни не причинит.

7

Сапожник Захар, сосед Ивана Федотыча по двору, каждый день будился от сна женою одинаковыми словами:

— Захарий! Вставай, садись за свой престол!

Престол — круглый пенек, на котором сидел Захар перед верстаком. Пенек на треть стерся от сидения, и Захар много раз думал о том, что человек прочней дерева. Так оно и было.

Захарий вставал, закуривал трубку и говорил:

— Я в мире человек сверхштатный! Не живу, а присутствую, и учета мне нет... На собранья я не хожу и ничего не член!

— Ну, будя, будя тебе, Захарий,— говорила ему жена.— Будя бурчать, садись чай пить. Член! Обдумал тоже, член!

После чая Захар садился за работу, которой не вынес бы ни один зверь: столько она требовала мужества и терпения.

Шмаков постоянно латал свои сапоги у Захара, которым тот много удивлялся:

— Иван Федотыч, вашей обуже восьмой год идет, и как вы ее терпите? Когда их на фабрике сшили, с тех пор дети выросли и грамоте выучились, а многие померли из них, а сапоги все живут... Кустарник лесом стал, революция прошла, может, и звезды какие потухли, а сапоги все живут... Это непостижимо!..

Иван Федотыч ему отвечал:

— В этом и есть порядок, Захарий Палыч! Жизнь бесчинствует, а сапоги целы! В этом и находится чудо бережного разума человека.

— А по мне,— говорит Захар,— бесчинство благородней! А то на сапожном престоле так и будешь сидеть, как и я!

Иван Федотыч убеждал Захария Палыча не глядеть на жизнь такими чувствительными глазами и не скорбеть влекущей мыслью. На свете того не бывает, чем бы утешилось беспутное сердце человека. А что такое утешение, как не мещанство, опороченное Октябрьской революцией?

— Порядок — дело чинное,— говорил Захар.— Да уж дюже землюназлили, Иван Федотыч! В порядок ее теперь добром не приведешь,— опустошать надо, не иначе!

По уходе Ивана Федотыча Захар Палыч втайне думал, что постная жизнь все же лучше благородного бесчинства, и удовлетворительно глядел на свой порожний двор, ландшафт которого плетень, а житель — курица.

8

Через три месяца для всего государственного населения Градова настали боевые дни. Центр решил четыре губернии, как раз и Градовскую, слить в одну область.

И заспорили четыре губернских города, кому приличествует быть областным.

Особенно лютовал в этом деле Градов.

Он имел четыре тысячи советских служащих, да безработных имелось две тысячи восемьсот тридцать семь человек; только область могла поглотить этот писчий народ.

Бормотов, Шмаков, управделами ГИКа Скобкин, зампред губплана Наших и другие заметные люди Градова стали во главе бумажной войны с другими городами перед лицом Москвы.

Градовцы спешно приступили к рытью канала, начав его в лопухах слободы Моршевки из усадьбы гражданина Моева.

Канал тот учреждался для сплошного прохода в Градов персидских, месопотамских и иных коммерческих кораблей.

О канале губплан написал три тома и послал их в центр, чтобы там знали про это. Градовский инженер Паршин составил проект воздушных сообщений внутри будущей области, предусмотрев необходимость воздушной перевозки не только багажа, но и объемистых кормов для скота; для последней цели в мастерских райсельсоюза строился аэроплан сугубой мощности, с двигателем, работающим на порохе.

Сам предгубисполкома тов. Сысоев рвал, метал и внушал подчиненной ему губернии, что только Градов будет областным центром — и никакой иной населенный пункт.

Тов. Сысоев распорядился заказать штампы и вывески с наименованиями Градовского облисполкома и отдал приказ называть себя впредь предоблисполкома.

Когда никто из служащих не сбивался с области на губернию в отношениях и устных словах, тов. Сысоев повышался в добром чувстве и говорил кому попало, кто оказывался на глазах:

— Область у нас, братец! А? Почти республика! А Градов-то почти столица европейского веса! А что такое губерния? Контрреволюционная царская ячейка, и больше ничего!

Началась беспримерная война служащих. Соседние города — претенденты на областной престол — не отставали от градовцев в должном усердии.

Но Градов истреблял всех перед молчаливой Москвой. Иван Федотыч Шмаков написал на четырехстах страницах среднего формата проект администрирования проектируемой Градо-Черноземной области; за соответствующими подписями он был отослан в центр.

Бормотов Степан Ермилович подошел к делу исподволь. Он предложил учредить такой облисполком, чтобы он собирался на сессии по очереди во всех бывших губгородах и нигде не имел постоянного местопребывания и вечного здания.

Но тут была уловка: Москва на это, конечно, не согласится, но спросит, кто это изобрел. И когда станет известным, что это измышление принадлежит гражданину города Градова, Москва улыбнется, но учтет, что в Градове живут умные люди, подходящие для руководства областью.

Так раздоказал свою мысль Бормотов товарищу Сысоеву, председателю ГИК. Тот подумал и сказал:

— Да, это орудие высшего психологического увещания, но теперь нам всякое дерьмо гоже! — и подписал доклад Бормотова для следования его в Москву.

Много дел наделали градовцы, доказывая свое явное превосходство перед соседями.

Шмаков извелся и застрадал общей болью в теле, с ужасом думая о поражении Градова, но тихо заходя сердцем при мысли о Градове — областном центре.

Большую книгу стоит написать, излагая борьбу пяти губгородов. Букв в ней было бы столько, сколько лопухов в Градовской губернии[1].

---

[1] Но можно ее и не писать, так как градовцам читать ее некогда, а прочим — неинтересно.— *Примеч. автора.*

Сапожник Захарий Палыч умер, не дождавшись области; сам Шмаков поник на уклоне к пожилому возрасту.

Бормотов же был уволен старшим инспектором Наркомата РКИ за волокиту и чах дома, заведя частную канцелярию по выработке форм учета деятельности госорганов; в этой канцелярии он служил один, и притом без жалованья и без охраны труда.

Наконец, через три года после начала областной войны пришло постановление Москвы:

«Организовать Верхне-Донскую земледельческую область в составе территорий таких-то губерний. Областным городом считать Ворожеев. Окружными центрами учредить такие-то пункты. Градов-город, как не имеющий никакого промышленного значения, с населением, занятым преимущественно сельским хозяйством и службою в учреждениях, перечислить в заштатные города, учредив в нем сельсовет, переместив таковой из села Малые Вершины».

Что же случилось потом в Градове? Ничего особенного не вышло,— только дураки в расход пошли. Шмаков через год умер от истощения на большом социально-философском труде: «Принципы обезличения человека, с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Перед смертью он служил в сельсовете уполномоченным по грунтовым дорогам. Бормотов жив и каждый день нарочно гуляет перед домом, где раньше помещался губисполком. Теперь на том доме висит вывеска «Градовский сельсовет».

Но Бормотов не верит глазам своим — тем самым глазам, которые некогда были носителями неуклонного государственного взора.

1927

ПРИМЕЧАНИЯ

Алексей Толстой: Похождения Невзорова, или Ибикус.

Повесть, точнее, первые ее три книги под заглавием «Ибикус» (Повесть)» напечатаны в журнале «Русский современник». 1924. № 2, 3, 4. Полностью впервые в отдельном издании: Похождения Невзорова, или Ибикус (Л.; М.: Гиз, 1925).

Печатается по изд.: Толстой А. Н. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М.: Худож. лит., 1982.

Николай Никандров. Диктатор Петр.

Повесть впервые опубликована в альманахе издательства «Недра». Кн. 2. М., 1923. Печатается по этому изданию.

Константин Федин. Наровчатская хроника.

Под названием «Наровчатская хроника, веденная Симоновского монастыря послушником Игнатием в лето 1919-е» повесть впервые опубликована в альманахе «Ковш». Кн. 2. М.; Л.: Госиздат, 1925.

Печатается по изд. Федин К. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1982.

Илья Ильф, Евгений Петров.

Повесть «Светлая личность» впервые опубликована в журнале «Огонек», 1928. № 28—39.

Печатается по изд.: Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1961.

Михаил Булгаков. Собачье сердце.

Повесть написана в 1925 году. Впервые опубликована в журнале «Знамя». 1987. № 6.

Печатается по этому изданию.

Михаил Зощенко. О чем пел соловей.

Повесть впервые опубликована в альманахе «Ковш». Кн. 2. М.; Л.: Госиздат, 1925.

Печатается по изд.: Зощенко Мих. Избр.: В 2 т. Т. 1. Л.: Худож. лит., 1978.

Андрей Платонов. Город Градов.

Повесть впервые напечатана в книге А. Платонова «Епифанские шлюзы». М.: Мол. гвардия, 1927.

Печатается по изд.: Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М.: Сов. Россия, 1984.

СОДЕРЖАНИЕ

Р89 **Русская советская сатирическая повесть 20-е годы** / Сост., автор вступ. ст. и примеч. С. Г. Боровиков.— М.: Сов. Россия, 1989.—432 с.

В сборник вошли сатирические произведения, созданные в 20-е годы ведущими советскими писателями. В него вошли повести А. Толстого, А. Платонова, М. Зощенко, М. Булгакова и др.

Р $\frac{4702010201-204}{М-105(03)89}$ 100—1989 г. Р2

ISBN 5—268—00648—7

Составитель
Сергей Григорьевич Боровиков

**РУССКАЯ
СОВЕТСКАЯ
САТИРИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ**

20-е годы

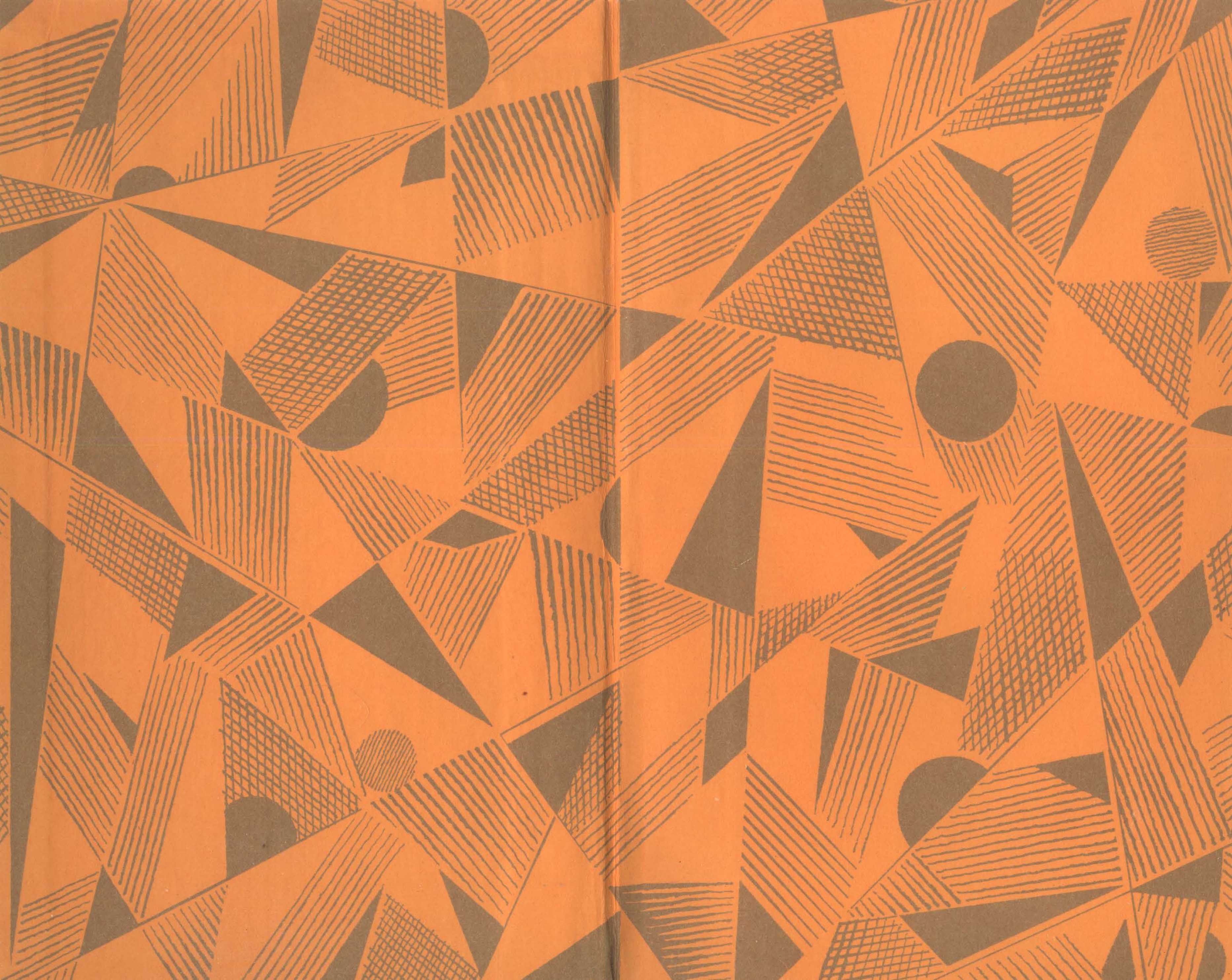
Редактор
И. Н. ФОМИНА
Художественный редактор
Г. В. ШОТИНА
Технический редактор
Г. П. МАРТЬЯНОВА
Корректоры
С. В. МИРОНОВСКАЯ, Л. М. ЛОГУНОВА,
М. Е АПАРЦЕВА, А. З. ЛАЗУТКИНА

ИБ № 5483

Сдано в набор 01.09.88. Подписано в печать 13.01.89. Формат 84×108/32 Бумага типогр. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 23,10. Уч.-изд. л. 23,96. Тираж 300 000 экз. (2-й завод 66 001—300 000 экз.) Заказ 2548. Цена 2 р. 30 к. Изд. инд. ЛХ-241.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного Комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.




«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»